95-783

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[4] 2002

РОМАН ПОЛА ТЕРУ "КОУЛУН ТОНГ" / РАССКАЗЫ КОРНЕЛЯ ФИЛИПОВИЧА И ВОЛЬФГАНГА ХИЛЬДЕСХАЙМЕРА / СТИХИ САЛЬВАДОРА ДАЛИ И ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКИ / "АМЕЛИЯ И ЖЕРМЕНА" БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР О ЛУЧШИХ КНИГАХ XX ВЕКА

Основан в 1891 году

До конца года в "ИЛ" будут напечатаны:

"Платформа" француза МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА – новый роман-бестселлер автора "Элементарных частиц", посвященный теме любви в силовом поле современного конфликтного мира.

"Траектория краба" – новая повесть нобелевского лауреата 1999 года ГЮНТЕРА ГРАССА, рассказывающая о трагической гибели десяти тысяч человек на борту немецкого суперлайнера "Вильгельм Густловф" в январе 1945 года.

"Как все было" англичанина ДЖУЛИАНА БАРНСА – роман о двух мужчинах и одной девушке, история, рассказанная ими самими.

"Голубой ангел" американской писательницы ФРАНСИН ПРОУЗ – роман, иронично повествующий о современных нравах в американской университетской среде.

"Урок непослушания" французского писателя поколения 40-летних ЖАН-ФИЛИППА АРРУ-ВИНЬО – роман о попытке одаренного неудачника осуществить свои юношеские мечты.

"Harmonia caelestis" – фрагменты развернутого повествования венгерского писателя ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ о своем древнем и знаменитом роде.

"Аллах не обязан" одного из самых ярких писателей современной Африки АХМАДУ КУРУМЫ – трагикомическая эпопея африканского Гекльберри Финна с калашниковым в руках.

"Первоочередная доставка" молодой датчанки ИСЕЛИН ХЕРМАН – любовный роман в письмах с весьма неожиданной развязкой.

"Биография Лондона" – город как текст, как миф, как сплетение великого, трогательного и смешного в новой книге постоянного автора "ИЛ" англичанина ПИТЕРА АКРОЙДА.

"Памфлет на самого себя" – мудрые, ироничные и парадоксальные размышления, наблюдения, записи польского прозаика и кинорежиссера ТАДЕУША КОНВИЦКОГО.

"Литературный гид", посвященный творчеству английского писателя МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ.

Автобиографическая проза АРТУРА КЕСТЛЕРА и КИНГСЛИ ЭМИСА.

Эссеистика ИТАЛО КАЛЬВИНО, ДЖ. М. КУТЗЕЕ, СЬЮЗЕН СОНТАГ, ОЛДОСА ХАКСЛИ.

Новые выпуски постоянных рубрик журнала: "Документальная проза", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "Путешествие по книге", "Трибуна переводчика", "Среди книг", "Комментарий", "Курьер 'ИЛ'"...

Специальный номер будет посвящен литературе современной Швейцарии.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России и стран СНГ), УФПС (для Московской области) и Моспочтамта (для Москвы).

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 70394 (на полгода).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

[4]

2002

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Пол Теру. *Коулун Тонг.* Роман. Перевод с английского и послесловие С. Силаковой

135 Федерико Гарсиа Лорка. *Ода Сальвадору Дали.* Перевод с испанского А. Гелескула

140 Сальвадор Дали. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Н. Малиновской

161 Корнель Филипович. *Рассказы.* Переводы с польского

194 Вольфганг Хильдесхаймер. *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Колесова

Литературное наследие

208 Бенжамен Констан. *Амелия и Жермена.* Перевод с французского, вступление и примечания В. Мильчиной

Статьи, эссе

237 Фредерик Бегбедер. *Последняя инвентаризация перед продажей.* Главы из книги. Перевод с французского Ирины Волевич. *"Нам хочется ломать свои игрушки".* С Фредериком Бегбедером беседует Ирина Кузнецова

Трибуна переводчика

257 Александра Борисенко. *Песни невинности и песни опыта.* О новых переводах "Винни-Пуха"

Трибуна издателя

266 *Издательство "Дедалус"*

Среди книг

273 Марина Курганская. *Мир любви Анджея Стасюка.* Екатерина Тарасова. *Мещанин во дворянстве*

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

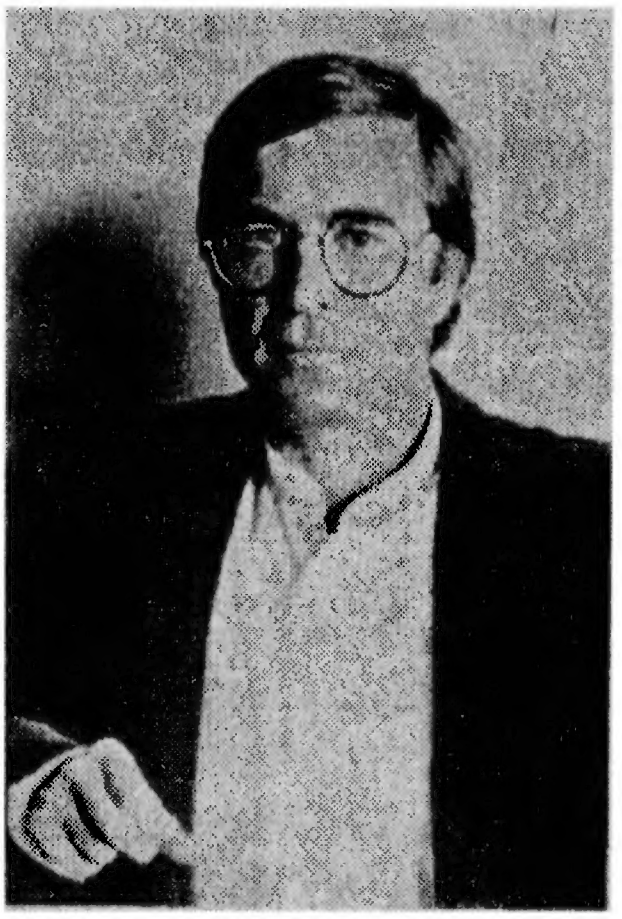
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Е. Д. Богатыренко
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Пол Теру



Коулун Тонг

Роман

Перевод с английского и послесловие С. Силаковой

Ма цзи пао,
Моу цзи тяо.
(Скачущие лошади не перестанут скакать.
Танцующие люди не перестанут танцевать.)

Публичное обещание Дэн Сяопина Гонконгу
(перевод с кантонского диалекта)

1

БЫВАЛИ дни, когда Гонконг во всем походил на лондонский пригород, где она жила до войны. Вот и сегодня холодное раннее утро с обрывками тумана, липнущими к окнам, вернуло ее в Болхэм. Серое небо падало крупными, мягкими, расползающимися клочьями, точно наверху прорвалась подушка — и уж конечно не вонючая китайская подушка, набитая соломой. При каждом порыве ветра казалось, будто прямо у Бетти над головой кто-то спускает воду: дождевые струи еще яростнее обрушивались на крышу Альбион-коттеджа, которая заодно служила потолком гостиной. В такие ненастные дни что небо, что крыша, что потолок — все едино.

Бетти Маллерд сидела в комнате, которую сама называла залой, и ждала, пока ее сын Чеп явится завтракать.

© 1997 by Paul Theroux
© С.Силакова. Перевод, послесловие, 2002

— Ну это надо же, — тихо проговорила она под "хлюп-хлюп" дождя. — Кидай-катайцы.

И в сотый раз подумала: "Китайские родственники? Какие еще китайские родственники?"

Она только что положила трубку после разговора с Монти, который был поверенным мистера Чака и ее тоже — их общим поверенным, поверенным фирмы; Монти Бриттейну доверяли просто все. Он был свой — тоже лондонец, коренной, носил котелок и только усмехался, тараща бесстрастные глаза, когда Бетти говорила: "Я вам доверяю, потому что вы еврейчик".

Мистер Чак никогда не говорил ни о каких китайских родственниках.

Как сказать Чепу? — вот в чем загвоздка-то.

Крыша опять загремела под напором дождя, и Бетти вновь переместилась в Болхэм. Подняв голову, она встретилась взглядом с Ее Величеством — крупноформатной фотографией, которая висела над сервантом красного дерева, по соседству с небольшим снимком покойного мужа Бетти, Джорджа, в форме ВВС. Портрет королевы был частью комнаты, такой же ее неотъемлемой принадлежностью, как висячие лампы и подсвечники-бра, но в последнее время у Бетти появилась привычка пристально, испытующе всматриваться в лицо королевы. Ее Величество была чуть ли не богиня, но в то же самое время мать — и правительница. В ее владениях царили постоянство, покой и порядок. Всякий раз, когда речь заходила о королеве, Бетти произносила только одну фразу: "Она рук не покладает"; это звучало как благословение.

Самой ошеломительной переменой в жизни Бетти, еще более разительной, чем смерть отца, еще более ужасной, но такой же внезапной и разрушительной, как война ("Господи, что же еще стрясется-то?!" — вечно вздыхала Бетти), стал сейсмический сдвиг в частной жизни королевской семьи. Отец у Бетти был больной и старый: он свое отжил. Война завершилась победой. Но все эти годы Бетти охватывало убийственное разочарование — чувство горя, утраты и почти кощунственного, сводящего с ума недоумения — при каждой вести о разводах, сварах, неурядицах, адюльтерах, скандалах и тайнах королевского семейства. Если не считать Ее Величества, все члены этой семьи оказались обыкновенными — попросту кошмарными — людьми, которых выставили голяком на обозрение всего мира. Впервые в жизни Бетти увидела их плоть: простецкие веснушки на лице Ферги — ну совсем корова деревенская! — тощие руки Дианы, даже Чарльз — и тот... тьфу, до чего же бледноногий. Чепу, который понятия не имел о величии королевы и масштабе произошедших перемен, мать говорила: "Ну а младший — стыд-то какой! — он педрила, тут и сомневаться нечего".

Соскальзывая с нависающих над домом веток, дождь шумно ударялся о булыжник с парадной стороны дома и так называемые "лоскутные плитки" на заднем дворе, уложенные еще Джорджем с помощью Вана. Обернувшись на громкий и невнятный лепет тонких струй, Бетти наткнулась взглядом на заросли лилий: капли молотили по их большим листьям, и цветки — вылитые девочки в белых чепчиках — кивали головками, словно тоже горевали, тоже разделяли ее печаль.

Бетти в своей лиловой шерстяной кофте сочеталась по цвету с лиловой грелкой, грузно восседающей на стоящем перед ней чайнике, и парными яичными грелками, что красовались матросскими шапочками на сваренных всмятку яйцах. В такие утра Ван всегда использовал при сер-

вировке стола эти мелочи, связанные Бетти лично. Цвет, конечно, неудачный, но шерсть ей досталась задешево, по оптовой цене от одного из поставщиков фирмы, и, понятное дело, в большом количестве. Были изготовлены лиловые подставки для сувенирных стаканчиков, стоявших в серванте — там же, где сувенирные тарелочки, шкатулка для писем, приземистый термос, крохотный керамический винный бочонок из Испании, набитый зубочистками, и разные безделушки (медный кувшинчик, хрустальный мишка, эмалевая пепельница), которые Бетти покупала в транзитных аэропортах, когда летала в Лондон.

Та же пряжа пошла на манжетки для стульев и воротнички для ламп; не были обойдены и фотографии (Джордж с Айви в Каршолтоне, Рини с Кеном, Чеп в коляске в Саутенде, а также странная четверка: матери и сыновья на пляже Силвер-Майн-Бей на острове Ланьтао — Бетти с крошкой Чепом, Цзя-Цзя и ее карапуз Ван) — рамки украсились лиловой вязаной каймой. Все это впитывало влагу и наполняло гостиную запахом мокрой шерсти. В данный момент к этому запаху примешивались ароматы остывающих тостов и жирного бекона, вкусная кислинка только что нарезанной папайи — Ван не прикрыл кухонную дверь.

Альбион-коттедж стоял неподалеку от Лугард-роуд, на обрыве, прямо над пожарной частью, что обслуживала район Пика Виктории, который в Гонконге именовался просто Пик. Сегодня пожарные сидели в здании, за плотно закрытыми окнами и дверями. В такие утра все внутри коттеджа облепляла влажная пленка, как-то даже оживлявшая замшелую обстановку, распространявшая по комнатам запах выдержанного сыра — похожий, впрочем, еще и на запах морга. Полировка на мебели портилась; корпус настенных часов, отличавшихся докучливым тиканьем и тугой пружиной, от сырости тускнел, зато дубовая шкатулка с маленькой серебряной пластинкой "ДЖОРДЖ И БЕТТИ, 1946" (в ней хранилось столовое серебро) начинала блестеть. Механический календарь, показывающий "ЧТ 7 МАРТ 96" (недавно он сломался, и теперь его приходилось ежедневно переставлять вручную), софа и подушки в наволочках, вышитых гарусом, кожаный табурет (упорно сохраняющий вмятины от каблуков Джорджа), банки с вареньем, чашки на подносе, штабель старых журналов у кресла и само кресло — все запотевало от сырости, все воняло.

Зато если утро выдавалось ясное, в выходящих на восток окнах, за ящиком с дебрями настурций, кишащих мошками и тлями, становился виден далекий, похожий на галлюцинацию Китай — Красный Китай, говоря по-старому. От фабрики, находившейся в Коулун Тонге на той стороне бухты, до Шэнчжэня было рукой подать — час езды по железной дороге. Но за сорок пять лет она не побывала там ни разу, как и Джордж, пока был жив, как и Чеп, ведь — пусть он и неподалеку — какой смысл ездить в Китай?

Вошел Чеп, сморкаясь, бормоча:

— Ты слышала, телефон в шесть утра наяривал? Что за идиот звонил так рано?

За Чепом еле поспевал Ван. Слуга нес полный лоток тостов, блюдо с беконом и папайей — все, что Бетти уже предвкушала по запаху, — и стопку салфеток.

Свернув носовой платок, Чеп убрал его в карман. Прежде чем сесть за стол, замешкался. Сорокатрехлетний, лысеющий, он осторожно ощупал свое темя, точно силясь прочесть что-то, написанное азбукой Брай-

ля. Зачем он это делал — бог весть: то ли по суеверной привычке, то ли в надежде обнаружить на плеши волосы... Или то был рефлекс, сохранившийся со времен, когда он еще не лишился шевелюры?

— Ван только-только овсятки испек. Съешь овсятку, Чеп. Дай ему овсяточку, Ван, ты же на них мастер.

Расточая Вану похвалы, Бетти на самом деле тешила свое самолюбие. В действительности его заслуга была невелика — овсяные лепешки, как и все прочие блюда, Ван готовил по рецептам, которым его научила Бетти, а потому всякий завтрак был ее творением.

Ван был высок ростом — еще выше, чем Чеп, — с широким северокитайским лицом, приплюснутой головой и широко расставленными глазами, что придавало ему сходство со змеей. Сходство усиливалось, когда Ван улыбался, но такое случалось редко. Его смех слышался чаще, но казался еще более зловещим, чем улыбка, поскольку никогда не выражал радости — а только тревогу и страх. Этим утром он, по-видимому, еле удерживался от смеха. Может, утренний телефонный разговор подслушал?

Не проронив ни слова, Ван поставил завтрак на стол и удалился. Ходил он бочком, сутулясь — Бетти объясняла это его высоким ростом. Человек он был нелюдимый, но ни в коей мере не загадочный. У него имелось хобби — бег трусцой.

Чеп тоже ничего не говорил. Набив рот овсятками, он возился с яйцом. К его щеке пристала яичная крошка.

— Тут у меня манюсенький ломтик бекона пропадает, — произнесла Бетти.

— Раз уж пропадает... — Чеп взмахнул ложкой.

— Дай я сама за тобой поухаживаю.

Мать столкнула на его тарелку три жестких ломтика, а затем включила приемник. Он был величиной с хлебницу, в зеленом бакелитовом корпусе, с желтой подсвеченной шкалой, и трещал. Приемник купил Джордж. "За бесценок", — всегда подчеркивала Бетти, а Чеп до сих пор хвастался, что приемник не японский, а фирмы "Робертс". Как и стоящий в серванте приземистый термос с Джоном Буллем[1], он был сделан в Англии. "Да, когда-то и мы аппаратуру производили!" Телевизор был фирмы "Буш". Патефон — тоже "Буш". Тостер — "Дуалит". Вся сантехника — раковина, ванна, унитаз с бачком — от "Твайфорд Адамант". "И автомобили тоже". Маллерды ездили на черном "ровере" 1958 года, купленном Джорджем. Муж Бетти гордился этими английскими товарами, поскольку, как он часто говаривал, они хоть порой и требуют ремонта, но никогда — по крайней мере при его жизни — не выйдут из строя окончательно. Толкуя о бытовой технике или о своей добротной одежде, Джордж с чувством огромного удовлетворения провозглашал: "Эти меня переживут!"

Теперь из динамика "Робертса" обычно неслось такое, что приемник хотелось сравнить с милой старушкой, которую заставили обучиться новому языку. Этим утром он заявил: "Накануне 1997 года, этого как бы важного рубикона в нашей жизни..."

А, опять Передача. Ее насмешливое неофициальное прозвище — Сдача по-китайски — уже превратилось в бородатую шутку, навязло в зубах. К теме Передачи в Гонконге сводились все выпуски последних изве-

1. Джон Булль — крылатое выражение, обозначающее типичного англичанина. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

стий; какую местную новость ни возьми — будь то состояние экономики, освоение пустующих земель, расценки на аренду офисных помещений, цены на бензин, строительство нового аэропорта, громогласные сетования празднующих труса политиков, — все имело непосредственное отношение к Передаче. Поскольку каждый день долдонили ровно то же самое и продолжалось это уже долго, Чеп вообще избегал темы Передачи. Кроме того, Маллерды поклялись остаться — просто ради спортивного интереса. Они ничем не рискуют — ведь паспорта у них британские. К тому же в отличие от большинства представителей английской колонии они не были вольными птицами: Маллерды пополам со своим компаньоном, мистером Генри Чаком, владели в Гонконге фабрикой.

— Надень свой английский свитер, — сказала Бетти. Свитер она связала сама. — И макинтош не забудь.

Ожидая обычного "Ма, а солдатики?" (так Чеп называл хлебные пальчики[1]), Бетти мазала хлеб маслом. По своему обыкновению, она, стоя на широко расставленных ногах, взяла целый батон и опустила его одним концом в масленку. Разровняла масло, отрезала получившийся бутерброд и протянула Чепу. Но тот замотал головой, потому что уже набрал полный рот чаю — щеки чуть не лопались.

Чувствуя, что отпереться ему будет трудно, Бетти заметила:

— Что-то ты у нас носиком клюешь. И вид усталый.

Она знала, что правды от него не добьется, — но ей было любопытно, какую отговорку он придумает. Под ее пристальным взглядом Чеп проглотил чай. Она постаралась припомнить все, что он сегодня съел: яйцо всмятку, пять прослоенных салом ломтиков бекона, одна овсятка, полпапайи, два тоста (один — с джемом); ни одного солдатика.

В это утро Чеп вместо того, чтобы врать или оправдываться, улыбнулся, взял с вешалки плащ-дождевик и заявил, что ему пора.

— Ты вчера припозднился, — сказала мать, пытаясь спровоцировать его на вранье.

Чеп улыбнулся. Ответил:

— Да так, в Крикет-клубе. Пропустили по рюмочке с мистером Чаком.

Более неудачной лжи нарочно нельзя было придумать, но тут и без отговорок все было как на ладони. Вчера, убирая рубашку Чепа в корзину для белья, она почуяла аромат дешевых духов — гадостный кошачий запах гулящей твари. Спросить — так ведь ни в чем не признается. Узнать бы хоть, кто она. Да кто угодно может оказаться, это-то и страшно, любая встречная-поперечная, — в Гонконге живем.

Пробившись сквозь толщу дождя, Чеп завел машину. Растирая озябшие руки, отпустил ручной тормоз своего грузного черного "ровера". Поднял глаза — и разинул рот при виде матери, которая шла к нему, борясь с ветром и ливнем. К стеклу дверцы с пассажирской стороны приблизилось ее лицо, прилизанные дождем, усеянные каплями волосы.

— Мистер Чак умер, — сказала она.

Казалось, она запамятовала сообщить об этом раньше — хотя дело обстояло ровно наоборот. Из-за печальной вести она места себе не находила с шести утра, с самого звонка Монти. Бетти просто и не знала, как сказать сыну о смерти их делового партнера.

1. В Англии так называются продолговатые бутерброды или тосты, которые едят с яйцами всмятку.

Чеп не отличался суеверностью, но тут мгновенно понял, что отныне всякий раз, когда, чуть подавшись вперед на кожаном сиденье своего дряхлого "ровера", он будет отпускать ручной тормоз – или вообще при каждом прикосновении к рукоятке тормоза, – ему вспомнятся эти слова. Удовлетворенный щелчок, сопровождающий высвобождение рычага, навеки будет ассоциироваться у него со смертью мистера Чака. "Смерть – это когда тебя снимают с тормозов", – подумал Чеп; сравнение показалось ему точным.

– Извини, – проговорил Чеп. – Вообще-то я его в Крикет-клубе не видел.

Бетти состроила гримасу – сощуренные глаза, надутые губы, – которая означала: "Замнем".

Она сказала:

– Похоже, у него не было никаких шан...

Мать все еще говорила, но он перестал ее слушать. Не до того теперь. Вместо четко распланированной, рутинной работы на фабрике "Империал стичинг" в Коулун Тонге придется весь день импровизировать. Чеп ненавидел сюрпризы, даже приятные. Этот же был кошмарен – и даже хуже, ведь теперь на волоске повисло все, из чего состояла его жизнь.

Ненавистник сюрпризов, человек, которого выбивало из колеи любое непредвиденное происшествие, Чеп питал чисто английское отвращение к импровизациям. Когда от него требовались незамедлительные действия, он нервничал, начинал заикаться, из рук у него все валилось. Но хлопоты, связанные с кончиной мистера Чака, легли на его плечи, и, когда день прошел, Чеп сам поразился, как много успел за такой короткий срок.

Он договорился насчет отпевания в соборе Святого Иоанна на Бэттери-Пэт-роуд – мистер Чак был хоть и китаец, но ревностный прихожанин англиканской церкви. Цветы взяла на себя мисс Лю с фабрики, а публикацию извещения о смерти во всех газетах, включая китайские, – мистер Чун. Мистер Ву приспустил Юнион Джек[1] на крыше фабрики. Лили, секретарша мисс Лю, отправила в газету "Саут Чайна морнинг пост" факс с перечнем дат и названий клубов – для некролога. Битый час Чеп просидел в Гонконгском клубе со своим поверенным Монти – и к вечеру ощутил, что узнал мистера Чака гораздо лучше, чем за все прошлые годы. Чепу впервые в жизни доводилось хоронить человека из своего ближайшего окружения – если не считать смерти отца, конечно, но тогда Чепу было всего одиннадцать... И теперь он обнаружил, что смерть влечет за собой самые неожиданные открытия.

Они – Чеп и его мать – считали, что знают китайцев, знают на редкость хорошо благодаря тому, что так хорошо знают мистера Чака и Вана. Китайцы бережливы, и это в них самое главное, но они не скаредны; живут по-спартански, во всем себе отказывая, но со скупостью в них странно уживается склонность к кутежам – а еще они способны, в одночасье лишившись рассудка, спустить все свое состояние на скачках в "Счастливой долине" или Ша Тине. В игорных домах Макао они предаются меланхолическому саморазрушению. В обычное же время китайцы порой кажутся суровыми, но на деле это застенчивость – потому-то

1. Государственный флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

они и избегают смотреть вам прямо в глаза. Иногда они впадают в сентиментальность, но слез никогда не проливают — должно быть, потому, что им и вправду есть над чем плакать. Со вкусом у них неважно, поскольку бережливость — враг моды. Они не жалуются, не переживают, они совершенно предсказуемы.

Тот, кто назвал китайцев загадочными, возможно, и повстречал на своем жизненном пути одного китайца — но никак не двух. Почти все они — полная тому противоположность: простые, прямолинейные до беспардонности, однозначные и... какой там есть антоним у слова "загадочный"? В частной жизни они шепчутся, а в бизнесе орут во всю глотку. Решив сделать тебе подарок, пристают с ножом к горлу и всовывают. Дорогих вещей не дарят никогда. Простота им милее, чем искусность, — ведь за искусность надо платить. Но всякие занятные штучки по сходной цене они любят. Еще они любят детей и вообще семейную жизнь. Практически не берут в рот спиртного. Никогда не произносят выспренних речей. Слывут терпеливым, многострадальным народом. Но в Гонконге ими движет одна-единственная эмоция — нетерпение. Они не робкого десятка — умеют драться, как боевые петухи. Вся поза и осанка китайца говорит: "Не мешкай!", хотя из застенчивости вслух они этого не произносят.

Монти сказал:

— И разумеется, как я уже говорил вашей маме, надо подумать о китайских родственниках.

Чеп так и вскинулся. *Китайские родственники?* Мистер Чак о них никогда не упоминал. Он вообще отказывался говорить о Китае. Тоже очень по-китайски, кстати: не оглядываться назад, вообще не думать о прошлом. Мистер Чак приехал в Гонконг в 1948-м, а спустя два года вместе с отцом Чепа основал "Империал стичинг". Тогда фабрика называлась "Империал стичинг энд лейблс". В Китае мистер Чак с тех пор не бывал. Возможно, своим нежеланием ездить в эту страну Чеп заразился именно от мистера Чака. Много лет Китай был закрыт для иностранцев, затем перешел из разряда недоступных стран в разряд труднодоступных, а лет пятнадцать назад возобладало мнение, что не побывать там просто неприлично. Американцы ринулись в Китай миллионами — и это окончательно утвердило Чепа в решении, что ноги его там не будет, хотя его и уверяли, что туда и обратно можно запросто скатать в обеденный перерыв.

— Я их уведомил, — продолжал Монти. — Они захотят что-нибудь учинить.

— Ума не приложу — что, — пробурчал Чеп.

— А если они выдвинут какие-то свои требования?

— Перебьются.

Китайские родственники! Чеп увидел себя на "Империал стичинг" в окружении сотни докучливых китайских партнеров. И всех зовут Чак.

Отпевание мистера Чака в соборе Святого Иоанна было исполнено торжественности; присутствовали восемьдесят семь работников "Империал стичинг" — все, кроме дворника, мистера Ву. Некоторым из них в церкви явно было неуютно, другие же молились вслух, даже не заглядывая в распорядок службы.

— Мы здесь единственные гуэйло[1], — заметил Чеп.

1. Полупрезрительное прозвище белых, прежде всего англичан, в Гонконге (от искаженного кантонского "иностранный дьявол").

— Еще он, — возразила мать, обернувшись к кафедре проповедника, где, готовясь заговорить, стоял отец Бриггс в своей отделанной оборками сутане.

В похвальном слове усопшему отец Бриггс говорил о бескорыстии и щедрости мистера Чака, а также о том, что его успешно работающая фабрика внесла большой вклад в благополучие Гонконга. Возникнув сразу после войны как скромное предприятие малого бизнеса, она росла вместе с колонией и ныне превратилась в настоящую золотую жилу. Всякий раз, когда священник упоминал Маллердов, мать и сын хмурили брови, чтобы не казалось, будто они упиваются похвалами.

— Говоря без преувеличений, — почти пропел священник, — "Империал стичинг" — лучшее из английских предприятий. Оно воистину и есть Гонконг.

В течение всей церковной службы окруженный скорбящими китайцами Чеп вспоминал давешнюю филиппинку, которая называла себя Бэби, — как она, голая, встала на четвереньки, подставила ему задницу и, оглянувшись на него, сказала: "Давай-давай делать щенят!" И засмеялся, вспомнив, что она выговаривает не "щенят", а "сенят".

— Чеп?

Опомнившись, он пробормотал:

— Бедный мистер Чак.

Машины останавливались, пропуская погребальную процессию, но у кладбища Пок Фу Лам произошло нечто странное. Из проулка между двумя доходными домами наперерез кортежу устремились, словно бредовое видение, два десятка фигур в капюшонах. Это были китайцы, но в белых клобуках вроде монашеских — зловещие друиды, язычники, напавшие из засады на христианские похороны мистера Чака. Одни несли флажки с китайскими иероглифами, написанными золотой краской, другие били в гонги, третьи трясли колокольчиками. На одном из флагов красовалось изображение молодого мистера Чака с прилизанными волосами, в черном костюме и твердом воротничке. Дети, тоже одетые в накрахмаленные белые халаты, несли пачки ненастоящих бумажных купюр наподобие денег для игры "Монополия", маленькие легко воспламеняющиеся копии домов и автомобилей, венки в виде подков и мишеней для стрельбы из лука.

— Господи, сохрани нас и помилуй, — прошипела Бетти.

Монти обратился к шоферу:

— Посигнальте им! Не тормозите, езжайте!

Это и были китайские родственники. Шумно оплакивая покойного, они вскакивали на подножки черных лимузинов, взятых напрокат в похоронном бюро, подбегали с истошными воплями к катафалку и вновь звонили в колокольчики. На кладбище они сожгли символы богатства и бумажные деньги, а также устроили фейерверк; красные огненные гроздья все расцветали и расцветали в небе, пока наконец кладбище Пок Фу Лам — амфитеатр, врезанный в склон холма, — целиком не наполнилось дымом и пороховой гарью, а землю под ногами не усеяли рваные обертки ракет.

Только тогда гроб мистера Чака с привинченным к крышке христианским крестом опустили в могилу — гроб, увитый цветочными гирляндами и всяческими китайскими атрибутами из красной и белой бумаги, напоминающими груду изодранных воздушных змеев.

После семи дней напряженного ожидания в Хатчинсон-хаусе, в конференц-зале адвокатской конторы Монти — "Бриттейн, Квок, Лум и Левин" — было оглашено завещание. Бетти и Чеп сидели за овальным столом; китайские родственники толпились вокруг — одни сидели, другие стояли, но почти все что-то бубнили под нос.

Монти зачитал завещание по-английски, а его партнер Й. К. Квок перевел его на кантонский. Условия были изложены безо всяких двусмысленностей. Между родственниками следовало разделить личное имущество мистера Чака — книги, обстановку, коллекцию изысканных флаконов от духов, автомобиль "ягуар ванден плас". Деньги и "ресурсы" (было употреблено именно это слово) мистера Чака отходили ряду гонконгских благотворительных учреждений. Тут родственники возмущенно загалдели, но это было еще не все. Пай мистера Чака в "Империал стичинг" предназначался Чепу "в знак почтения к моему покойному партнеру". Если не считать пая Бетти, эквивалентного четверти фабрики, Чеп стал единоличным владельцем фирмы "Империал стичинг (Гонконг), лтд".

На тротуаре перед Хатчинсон-хаусом Бетти улыбнулась китайским родственникам мистера Чака, которые по большей части уже примолкли, и сказала:

— Гляньте-ка, они подавились.

2

У матери Чепа всегда екало сердце, когда она на него смотрела. Он был для нее двумя сыновьями сразу. Всего за год до рождения Чепа лихорадка — жар, перемежающийся ознобом, — отняла у Джорджа и Бетти сына-младенца. Маленького Невилла они прозвали Чеп, а полностью Чепчик. Бетти пела ему:

Чепчик, чепчик кружевной
Моей детке дорогой.
Папа из лесу идет,
Шкурку кроличью несет.
Будем чепчик обшивать,
Нашу детку согревать.

Крошка Чеп изнемог и умер. Бетти зарыдала. "Когда про понос говорят "холера", понимаешь, что ты в чужой стране", — сказала она. И вернулась домой к пустой кроватке и бережно собранному приданому для младенца в "детской", как они уже начали называть темную комнату в своей первой совместной квартире близ перекрестка Боуэн-роуд и Боррет. При виде детской — зримого воплощения ее скрупулезных приготовлений и радужных надежд — Бетти поняла, что вызывает у мужа жалость. Ей отчаянно захотелось опять родить ребенка — и не просто ребенка, а Чепчика. Пусть *он* вернется. Не прошло и года, как им с Джорджем это удалось, и потому на протяжении всех сорока трех лет Бетти часто думала о Чепе как о двух мальчиках, а иногда — как о втором Чепе, Чепе-младшем. Она знала, что никогда его от себя не отпустит.

Чеп отлично помнил день, когда ему рассказали об умершем братике.

Это было в "Счастливой долине", на скачках. У амы[1] был выходной, Чеп отправился с матерью – а где же был папа? День накрепко запомнился Чепу ощущением небывалого дотоле счастья. Ему понравилось ехать на двухъярусном трамвае: сверху он увидел заполненные людьми трибуны на ипподроме. Мама, крепко стиснув его руку, дала Чепу подержать монетки, которые следовало опустить в турникет на передней площадке трамвая. Хотя Чеп не мог выразить свое счастье словами, это было сильное чувство – уверенность, что мама о нем заботится, ощущение ее близости, тепла ее тела; это была любовь. Потом он услышал, как мать выкрикнула имя лошади и оглушительно захлопала. Оказалось, выиграла. Она сходила в кассу и получила деньги.

А потом, за чаем в клубной ложе, она сказала:

– Чеп, ты должен жить за двоих, – и объяснила почему.

У покойного братика было то же самое имя и прозвище, и от этого получалась страшная путаница. И потому, если для матери Чеп был двумя людьми, сам Чеп воспринимал себя как половинку человека.

Джордж, его отец ("Джор получил бы Кавалера Британской Империи, самое малое, если бы не умер", вздыхала Бетти), никогда не упоминал того, первого ребенка, никогда не говорил об утрате. И не из равнодушия или бесчувственности – хотя эти недостатки Джорджу Маллерду в Гонконге приписывали очень многие, – а напротив, именно потому, что был способен на глубокие переживания. За его благодушным, обычно невозмутимым лицом и вечной присказкой: "Не ворчать!" скрывался крайне впечатлительный и сентиментальный человек. Таковы были, кстати, и его родители. Английский обычай всеми силами утаивать эмоции Джордж считал правильным – нехорошо быть в тягость окружающим. Пусть американцы плачут; у американских мужчин вообще глаза на мокром месте. Джордж держал себя в руках. У него был принцип не поверять никому своих чувств, а выход страстям давать лишь по таким пустячным поводам, как дороговизна почтовых марок, чей-то непочтительный отзыв о королевской семье или недостаточная, как казалось Джорджу, бережливость домашних. "Банан совершенно нормальный. Темные пятна означают, что он зрелый, только и всего". Осторожно освобождая покупки от оберточной бумаги, он затем разглаживал ее и сворачивал в трубочку; пивные бутылки не выбрасывал, а хранил, чтобы потом, распространяя звон по всей улице, отвезти на пивоварню; гордился огромным клубком из найденных на улице и аккуратно связанных одна с другой веревочек.

Экономия на веревках и свела его с мистером Чаком, поскольку мистер Чак тоже подбирал всякие обрывки. Как-то раз в парке Виктория, наматывая на ладонь бечевку от ничейного воздушного змея, Джордж столкнулся лицом к лицу с мистером Чаком, который сматывал ту же самую бечевку с другого конца. "Рвем!" – воскликнул Джордж. "Генри", – представился мистер Чак. Двое мужчин – англичанин и китаец – посмеялись над нелепостью случившегося и над своей бережливостью, мгновенно распознав друг в друге родственную душу; так и началась их дружба.

К тому времени подполковник Маллерд демобилизовался и стал просто Джором, молодоженом, младшим клерком в фирме "Джардайнс". Мистер Чак недавно приехал из Китая – он честно называл себя

1. Ама – няня.

беженцем и не стыдился своей признательности британской колонии, допустившей его на свою территорию. Он искал помещение, чтобы открыть швейную фабрику. Джордж тоже давно грезил о собственном деле и, больше для развлечения, чем всерьез, уже взял на заметку несколько пустующих зданий в Коулуне. Он смог подкинуть мистеру Чаку немало идей; а необычные действия, предпринятые мистером Чаком в связи с этими идеями, Джорджа просто восхитили. Проверить достоинства и недостатки всех участков мистер Чак поручил китайцу-геоманту. Джордж ожидал увидеть хмурого колдуна с огненными глазами, в остроконечном колпаке и пестром халате. Но геомант оказался маленьким улыбчивым человечком с встрепанными волосами и в мятом костюме — ни дать ни взять кондуктор трамвая. Звали его Мо. В добротной деревянной шкатулке он носил особый компас для фэн шуй, с помощью которого и оценивал участки.

С очевидным знанием предмета, что-то увлеченно чертя на обороте использованного конверта, мистер Мо объяснял, как течет животворная энергия Гонконга, как ее направлять и приводить в состояние равновесия. Это был урок ворожбы, и, когда мистер Мо умолк, Гонконг показался Джорджу краем чудес. Выяснилось, что горы над Коулуном — не что иное, как девять драконов. А сам Гонконг с его красивыми очертаниями, отрезанный от материка водой, — шар, с которым играют драконы.

— Видите лун чжу? Шар? — спрашивал мистер Мо, набрасывая свою карту.

Они — Джордж, мистер Чак и мистер Мо — сидели в кофейне в Мун Коке, где жил мистер Мо.

— Мы — Сыновья Дракона, — говорил мистер Мо, черкая карандашом по бумаге. — Сыновья Желтого Императора.

— Это значит, мы китайцы, — пояснял мистер Чак. — Вот и все.

Изо всех участков геомантический компас счел подходящим лишь один — расположенный в Коулун Тонге. Его фэн шуй — "ветер-вода" — было так гармонично, что мистер Мо провозгласил эту точку на Ватерлоо-роуд достойной классического термина "Брюхо Дракона", который для китайца означает идеальное местоположение. Участок находился у старого "тонга", пруда, к которому в баснословные времена склонялись, чтобы утолить жажду, Девять Драконов. Правда, сейчас он изобиловал символами несчастья — тут вам и ветхая лачуга, и сухое дерево, и заброшенная могила, — но все это было легко убрать. Если же новое здание объединит в себе все Пять Стихий, если в нем не будет треугольников, если оно будет длинным и узким, причем узкие торцы должны быть обращены на север и юг, параллельно Ватерлоо-роуд — этому естественному энергетическому каналу, настоящему транспортеру текучей жизненной силы, не менее эффективному, чем река; и если над красными дверями сделать сильно выступающие арки, через которые свободно польется ци — поток энергии, пересекающий Коулун, — тогда фабрика на этом благоприятном месте принесет великую удачу и небывалое процветание. При строительстве в здание были включены все Пять Стихий: Земля — кирпичи, Огонь — электричество и красные двери, Дерево — балки и обшивка стен, Вода — зеркала и засыпанный тонг, Металл — швейные машинки.

Через год "Империал стичинг" открылась. Большую часть капитала внес мистер Чак. Джордж, чей вклад состоял из всех его сбережений и обещания работать, сделался партнером мистера Чака. Принадлеж-

ность Джорджа к английской нации оказалась очень кстати, поскольку "Империал стичинг" специализировалась на форменной одежде: шоферских тужурках и школьной форме, сюртуках консьержей, белых платьях старших медсестер и халатах младшего медперсонала, и все эти изделия власти колонии заказывали крупными партиями — надо было только добиться подряда, что Джорджу как раз и удавалось. Фабрика с штатом в двести человек (в основном это были женщины) производила также рубашки, брюки, простенькие платья и белье. Мистер Чак закупил в Японии оборудование для изготовления сложных вышивок — имен, рисунков, монограмм, галунов с надписями, этикеток, эмблем для клубных галстуков и флагов, всевозможных гербов. Потому фирму и назвали "Империал стичинг энд лейблс (Гонконг), лтд". Она прославилась на всю колонию как производитель замысловатых нашивок-гербов для нагрудных карманов английских клубных пиджаков.

Мистер Чак бежал из Китая в сорок восьмом, в год военных поражений. Сам он о Китае никогда не заговаривал, а если при нем говорили, не слушал. Джордж Маллерд втайне радовался, что китайский партнер не докучает ему рассказами о разочарованиях, ужасах и утратах, — ведь Джордж не терпел разговоров о непоправимом. У них была их новенькая, с иголочки фабрика и новехонькая дружба; вдобавок продукция шла нарасхват. Мистера Чака и мистера Маллерда объединяло нежелание оглядываться назад; кроме того, поскольку оба попали в Гонконг совсем недавно, их переполняло чувство свободы и нетерпеливого волнения, весьма характерное для жителей этой колонии, где законы были мягкими, а налоги — минимальными.

Когда на втором году существования "Империал стичинг" Бетти потеряла ребенка, мистер Чак ничего особенного не сказал, но в каждом его поступке чувствовалось сострадание. Джордж мысленно поблагодарил его за это; демонстративной скорби (да и любых ее внешних проявлений) он бы не вынес. Джордж предполагал, что китаец, подобно ему самому, слишком эмоционален, чтобы говорить вслух о таком печальном событии, как смерть ребенка. Может быть, мистер Чак в прошлом испытал подобную тяжкую утрату?

Вскоре Бетти забеременела вновь. Но радоваться было рано — а если и этот ребенок не выживет? Родился Чеп — Невилл Джордж Маллерд, здоровый, крикливый, как два младенца. Мистер Чак прислал подарки, да и позже баловал мальчика. Маллерды звали мистера Чака дядей. О его личной жизни они не знали ровно ничего. По-видимому, мистер Чак был холост и бездетен.

Своей удачей этот деловой союз был обязан взаимной учтивости, почтительному молчанию, соблюдению дистанции. У обоих — Джорджа и мистера Чака — врожденное любопытство сочеталось с тактом и благоразумием, потому они и оставались друзьями. Пускай они — китаец и англичанин — жили буквально в разных мирах и вполне это сознавали, тем не менее они находили, что их многое объединяет: не только фабрика, но и глубинные черты характера, например способность искренне сопереживать ближнему... А еще и у Джорджа Маллерда, и у Генри Чака было то, что каждый миг напоминало о себе, но никогда ими не упоминалось, — доброе сердце.

Со стороны за ними наблюдал мальчик в гольфах, в школьной форме производства отцовской фабрики, с туго набитым книгами ранцем, — Чеп. Других гонконгских детей отсылали учиться в Англию. Они

толковали о поездках туда-сюда — в школу и домой на каникулы, о "денежном довольствии" в разных школах, о Лондоне. Но у Джорджа, местного предпринимателя, не было ни льгот, ни ежегодных отпусков, ни дотаций на проезд, ни пенсии. Гонконг стал всей его жизнью. Джордж был в равных условиях с мистером Чаком, с большинством местных китайцев — он мог рассчитывать лишь сам на себя.

Мать отвозила Чепа на автобусе и трамвае в школу "Куинс", в район бухты Козуэй. Она же встречала его после уроков: ее одинокая фигурка маячила у гигантских кованых ворот на Тун-Лованъ-роуд, по соседству с тележкой торговца эскимо. Мать везла Чепа домой; под ее присмотром он пил чай, заваренный его амой, Цзя-Цзя, и поданный на стол Ваном, сыном амы. Спустя много лет Чеп всякий раз сгорал от стыда, когда мать рассказывала, как он начал говорить. Свои первые слова он произнес на хоккиенском[1] диалекте. "Ней-ней", — пролепетал Чеп, тыча в названный предмет, а потом и цепляясь своими пухлыми пальчиками. Слово означало "груди". Цзя-Цзя научила его множеству других слов. Она утверждала, что ребенок свободно болтает по-хоккиенски.

— Весь в меня, — говорила Бетти и раскатисто хохотала, срываясь на кашель. В те годы она курила.

Все свои страхи и предубеждения Чеп перенимал у Вана. Ван не выносил корнеплодов, черных головных уборов и чая с молоком; у порога он разувался, а по дому ходил в пластмассовых сандалиях; напитки со льдом считал вредными для здоровья; ненавидел свиное сало и волосы на теле; некоторые насекомые вызывали у него тошноту, хотя крыс он не боялся. Чеп разделял все эти чувства и прибавлял к ним свои. Кукурузными усиками он давился, считая, что это человеческие волосы. Плавленый сыр путал с белым жиром, вырезанным из свинины, и срыгивал. Как и Ван, он испытывал жуткий ужас перед червями; каждое рисовое зернышко необычной формы вызывало у него страх и приступ неудержимой рвоты. Правда, не всегда он бывал угрюм и пуглив, но частенько напоминал маленького старичка.

Когда Чеп был совсем еще малыш, отец подарил ему игрушечный телефон и научил набирать номер срочного вызова полиции.

— А теперь скажи: "Я хочу поговорить с полисменом-гуэйло".

— Я хочу поговолить с полишменом-гуэ.

Как-то раз, встретив Чепа после школы, Бетти повезла его не домой, а в больницу, где, обложенный подушками, лежал отец. Лицо у отца было все желтое. Он хрипел, пытаясь что-то сказать. Потом взял Чепа за руку — пальцы у отца оказались костлявые и холодные. Ночью его не стало. Панихида была мрачной, томительной и непонятной — столько незнакомых, а Чепу, наоборот, хотелось побыть в одиночестве. В церкви присутствовал и мистер Чак, ошарашенный, бледный.

Чепу тогда было одиннадцать лет.

На той же неделе — как раз проходили скачки — Бетти повезла сына в "Счастливую долину". Зажав в руке билеты, она следила за лошадьми, но ничего не говорила. Проигрывает? — предположил Чеп.

За чаем Бетти сказала:

— Как же мне хочется, чтобы ты попробовал с молоком, хоть разок... — А потом добавила: — Ты уже не маленький.

1. Хоккиенский — диалект китайского языка, один из самых распространенных среди китайской диаспоры Юго-Восточной Азии.

Шел очередной заезд. Чеп чувствовал, как дрожит под ним стул — так отдавались удары копыт по утоптанной скаковой дорожке. Звучный английский голос комментировал скороговоркой: "Вырвалась вперед темная лошадка..."

— Теперь ты должен занять папино место, — сказала мать.

"И вот финальный отрезок круга..."

— Ты теперь будешь папой.

Мистер Чак опять выказал свою преданность не на словах, а на деле: решил без проволочек все связанные со смертью Джорджа проблемы. Почетному титулу "Дядя" вполне соответствовал и стиль отношений Чака с Маллердами. Китаец был доброжелателен и некритичен, хлопотлив, участлив, практичен и ласков. С Бетти он держался почти по-братски, а с Чепом — как самый тактичный из отчимов. Вообще говоря, с ними он становился другим человеком, совсем не тем мистером Чаком, каким его видели прочие жители Гонконга. И Бетти доверяла ему своего сына так же безраздельно, как Вану и Цзя-Цзя, но в то же время, не ощущая тут никакого противоречия, оставалась тверда в своей нелюбви к китайцам — смеялась над ними, повторяла: "Как же я от них устала", восклицала: "Мы же на них работаем!" И так и не перестала называть их "кидай-катайцами".

Бетти отмечала про себя, что мистер Чак развивает мальчика. Он звал его Невиллом и брал на себя роль его защитника. А в защите Чеп нуждался. В 1967-м произошли кошмарные, зверские, неожиданные беспорядки. Пострадала и "Империал стичинг": рабочим угрожали, выполнение заказов срывалось. Власти, в свою очередь, заподозрили некоторых работников в сочувствии бунтарям, но мистер Чак, понимавший истинную подоплеку этой вспышки насилия, вступился за своих, заявив, что они действовали под нажимом. Постепенно все улеглось. Правда, в здании побили стекла и разрисовали лозунгами стены первого этажа. Но такой же хаос царил во всем городе — нельзя было сказать, что против этой фабрики кто-то особенно ополчился. Вот разве что название со словом "Империал" распаляло некоторых демонстрантов, толкало их на бесчинства. Вывеску со стены над проходной дважды срывали, а флаг сдирали с флагштока и сжигали посреди Ватерлоо-роуд.

В 1969 году Чеп получил аттестат зрелости и начал стажироваться на фабрике под руководством мистера Чака. Чеп сознавал, что продолжает дело своего отца, и не противился. Бремя долга было ему не в новинку — взять хоть умершего брата, за которого он словно бы жил на свете. Чепу было всего шестнадцать, но волосы у него уже начинали редеть. Из мнительного ребенка он превратился в мнительного взрослого и — если не считать школьного друга Коркилла — почти напрочь забыл свое странное укороченное детство.

Гонконг рос — прибавлялось домов и дорог, расширялись освоенные территории. Каждый год с шкатулкой под мышкой являлся геомант мистер Мо и производил замеры с помощью своего компаса. "Очень хорошо", — восклицал он, имея в виду, что фэн шуй по-прежнему находится в состоянии полного равновесия. Иногда мистер Мо вносил поправки — указывал, куда переставить столы, оборудование, табуретки. "Если хочешь изменить свою жизнь, передвинь у себя дома двадцать семь вещей", — утверждал он. Когда новый виадук рассек Коулун надвое, мистер Мо заявил, что фабрику спасло ее равнение на одну из эстакад. "Бабушкины сказки", — фырчала Бетти, но втайне радовалась: показания ком-

паса мистера Мо она воспринимала как лестный комплимент им, Маллердам, хозяевам столь удачного места. Чеп отмалчивался, так как в глубине души верил.

Шло время, и мистер Чак постепенно отходил от дел, перекладывал руководство предприятием на Чепа. Особенно напрягаться Чепу не пришлось: работницы, очень ответственные, трудолюбивые и дотошные, почти не нуждались в надзоре. Продолжая работать по устоявшемуся графику, Чеп организовал для себя другую, параллельную жизнь.

"Империал стичинг" находился в Коулун Тонге, то есть неподалеку от железнодорожной станции, откуда составы по главной ветке шли через Ло У и Шэнчжэнь в Китай. Железной дорогой Чеп никогда в жизни не пользовался и интереса к ней не испытывал. Но благодаря близости вокзала район изобиловал барами и "синими отелями". В "синих отелях" уединялись ненадолго — они стояли лишь на одну ступеньку выше "тук-тук-лавок". Были еще массажные салоны и стрип-клубы, а не так давно к ним прибавились и караоке-бары. Были и квартиры на верхних этажах, разгороженные на множество конурок — ты явственно слышал, как похрюкивают ржавые пружины в каморке по соседству; такие квартиры называли курятниками — гай дао. Чеп знал это выражение и, хотя по-китайски не мог прочесть ни слова, с ходу научился узнавать черные штрихи четырех иероглифов, торопливо начертанных на красном полотнище, — суньдоу бакмуй, что означало "новая девушка с севера", свежая пожива. Тут и там трудились на дому проститутки-одиночки: йет лао, йет фун — "одна комната, одна птица феникс". Законом это не запрещалось, поскольку девушка — птица феникс — работала сама по себе, без сутенера.

Ван делал ему сандвичи. Мать складывала их в коробку для завтрака. Чеп съедал их в клубах -- в "Киске", "Сиреневом салоне", "Веселых минутках", "Вверх тормашками", "Пузатом Чжуне", "Баре счастья" и "Баре Джека". Даже в полдень — что для этой отрасли означало время затишья, ужасную рань — клубы были открыты и радушно встречали клиентов.

— Вам курочку? — говорила Чепу мама-сан, пока он жевал у стойки свои сандвичи с сыром и пикулями. Держалась эта женщина по-деловому, глядела без похабной хитринки, в голосе не сквозили лукавые нотки. И это помогало. При малейшем намеке на подмигивание Чеп смешался бы окончательно. В самый первый раз он подумал, что ему предлагают поесть, и, поскольку был голоден, ответил утвердительно. Наверху у него не хватило духу признаться в ошибке; а опытная женщина с худыми бедрами вошла в положение пыхтящего, таращащего глаза Чепа и постаралась ему помочь. Она похвалила его мастерство, он по молодости ей поверил — так и произошла инициация.

Когда Чеп обмолвился маме-сан из "Киски" о своем занятии, упомянув "Империал стичинг", та недвусмысленно намекнула, что знала его отца. А ведь в подобные заведения просто так не ходят. Сидя здесь, не забывай об истинной цели визита и вообще не зевай (правда, явно выказывать настороженность тоже нехорошо). И все-таки... неужели отец?

Чеп нашел способ коснуться этой темы в разговоре с матерью. С улыбкой, пожимая плечами, он сказал:

— Не подумай только, что я ему это ставлю в вину ...

— А я, наоборот, ставлю, — отозвалась мать, закашлявшись от негодования. — Он ни одной юбки не пропускал.

Отец не упал в глазах Чепа. Напротив, ему стало казаться, что, посещая в обеденный перерыв "Киску", "Бар счастья" и "Чжуна", он продолжает семейную традицию.

В заведениях работали китаянки, филиппинки, вьетнамки, порой попадались евразийки; в большинстве своем молодые и хорошенькие — с ними было легко. Если ты живешь с матерью и твоя мать — Бетти Маллерд, без девушек не обойтись. Они ничего от него не требовали, цены назначали мизерные, да и то больше половины шло маме-сан. Это же не Ваньчай или Цим Шацзуй с нелепыми клубами, где ошиваются местные гуэйло и туристы: вот где самая дороговизна, "давай-давай, мистер, только тири тыща". В Коулуне он просто-таки дома.

Итак, у него, совсем как у отца, появилась своя тайна — возможно, единственное, чего о нем не знала мать. Потому-то Чеп и дорожил этой тайной. Только она давала ему силу. Он подумывал признаться мистеру Чаку, подозревая, что старик и так в курсе, — эти китайцы умудряются, не раскрывая рта, все обо всех выведать, — но когда, запинаясь, приступил к исповеди, мистер Чак оборвал его. Чеп навсегда запомнил предостережение мистера Чака:

— Тайна остается тайной, только пока ее хранишь, — сказал мистер Чак и улыбнулся.

Лишь спустя годы Чеп осознал всю мудрость старика. К тому времени он стал завсегдатаем курятников и караоке-баров в Мун Коке, куда гуэйло не ходили вообще. Свидания были краткими, по большей части беззвучными, страстными и торопливыми, потому что ему надо было возвращаться на фабрику или к матери. Да и девушки тоже ужасно спешили, хотя, будучи опытными профессионалками, не подавали виду.

Как-то в Коулун Тонге, в "Киске", Чеп заметил в укромной кабинке мистера Чака — точнее, его отражение в зеркале. Девушка рядом с ним тоже показалась знакомой — он и сам с ней наверняка бывал. С того дня Чеп начал лучше понимать старика. Этим девушкам можно было сказать все что угодно или вообще ничего не говорить. В Крикет-клубе он слышал, как мужчины, толкуя о девушках из баров, жалуются: "Ну просто ноль эмоций". Точно сказано. В том-то и состояло их величайшее достоинство: они ни на что не претендовали, ничего не требовали, ни на что не надеялись. Они воплощали собой скоростной, ничем не отягощенный секс: "ну привет — ну пока". Единственная задача — ублажить тебя, а сами они как бы и ни при чем. Свои чувства они приберегали для других сторон жизни. Работницы "Империал стичинг" — взять хоть самых хорошеньких, Мэйпин или А Фу — никогда не заявляли, что работа им не нравится, но и не говорили, что нравится; просто садились и работали. Ты им платишь, они делают свое дело и уходят. Девушки из баров — точно такие же. Это их работа, и они согласны выполнять чуть ли не любое приказание. Их главный талант — умение исчезать в финале, оставляя Чепа наедине с самим собой. Он предпочитал девушек попроще, молчуний. Разговоров не терпел. Юмор, считал он, в моменты интимной близости неуместен. От шуток он терялся, начинал чувствовать себя идиотом. Филиппинки — как правило, неплохо владевшие английским — не нравились ему, потому что пытались острить.

Мэйпин была хороша собой. И работала отлично. Однажды она засиделась в его кабинете уже после окончания рабочего дня — они обсуж-

дали рисунок одной эмблемы. "Я не хочу вас задерживать". Она не уходила. "Ничего, мистер". Она сидела на диване. Он встал из-за стола и сел рядом. Прикоснулся к ней, поцеловал. "Вам это приятно?" Она молчала. Молчание — знак согласия. Вот так, как водится в Гонконге, Мэйпин и вошла в число его любовниц.

Он завоевал Мэйпин тем, что относился к ней как к курочке, как к птице феникс. Он ничего от нее не ожидал, кроме удовлетворения его желаний, а после всегда вручал ей вознаграждение — деньги или подарок. Она утверждала, что предпочитает подарки; он же подозревал, что ее больше устраивают деньги. Он старался, чтобы другие фабричные девушки не узнали, но они наверняка знали — тут все всё про всех знают. Семьи у Мэйпин не было. По ее словам, она приехала из Китая несколько лет назад. Она снимала комнату на пару с другой девушкой, А Фу, у которой в Гонконге тоже никого не было. Чеп не отказался бы переспать и с А Фу, но понимал, что это все усложнит. Когда они уехали из Китая и как им это удалось, подруги не рассказывали. Наверно, обе были "неим" — нелегальные иммигрантки... впрочем, какая разница? Это не Китай, это британская колония, где Юнион Джек реет над публичными домами и фабриками, барами и банками, полицейскими участками и Домом правительства.

Свои дела Чеп обделывал после обеда и ранним вечером, в промежутке между работой и домом, между своей фабрикой и своей матерью. Под материнским кровом прошли чуть ли не все дни и ночи его жизни. Каждый вечер они ужинали в Альбион-коттедже. В рестораны ходили редко — оба не любили блюда китайской кухни и из принципа отказывались их есть. Пока не появилось телевидение, они слушали "Радио вооруженных сил", да и сейчас часто включали зеленый приемник величиной с хлебницу, который сильно нагревался, если работал долго.

Бетти посещала скачки в "Счастливой долине" и Ша Тине, но никогда не теряла головы. "Так, играю по маленькой". Свои ставки она страховала, пользуясь способом, называвшимся на гонконгском ипподроме "квинелла", — выбирала лошадей, которые займут первое и второе место в одном заезде. В дни скачек она, вооружившись биноклем и тарелкой жареной картошки, обычно восседала в ложе для членов клуба. Чеп состоял в Гонконгском клубе — как ранее его отец, — а также в Крикет-клубе, но не ради крикета, а ради лаун-боулинга. К службе он ходил в собор Святого Иоанна. С мистером Чаком Чеп сталкивался на фабрике все реже, но как минимум раз в месяц показывал старику бухгалтерские книги, накладные, платежные ведомости, отчетность о доходах и производственных расходах предприятия.

— Хорошо здесь, прохладно, — однажды сказал ему посетитель в закройном цехе. Стоял обычный гонконгский май, и весь город изнывал от духоты. — Отличные кондиционеры.

Но кондиционеров на фабрике не было — только открытые окна и сырые кирпичи, вентиляция и тень. Фэн шуй в идеальном равновесии.

Чепу исполнилось сорок. Он бросил курить. Его отец курил, и мать тоже. Когда на фабрике выпадал неудачный месяц, Чеп выкуривал по три пачки в день; скоро кожа его предплечий сделалась бурой, цвета копченой селедки, а из пор вместе с потом, как ему чудилось, стали выделяться ядовитые испарения. В горле пересыхало, глаза чесались, пальцы дрожали. Прожить без сигарет один день оказалось несложно — даже чуть полегчало. Но спустя два дня тягу к курению пришлось

подавлять усилием воли. Он сосал леденцы, вышагивал из угла в угол, орал, даже лаял. И почти совсем перестал пить, потому что от алкоголя курить тянуло еще пуще.

Он надеялся, что в итоге отказ от курения мало скажется на его здоровье. Но в нем произошли глубокие и неприятные перемены. Перестав курить, он стал совсем другим — поглупел, располнел, превратился в невротика с хроническим несварением желудка. У него появилась привычка делить свою жизнь на два периода — курения и воздержания. Он гордился собой, испытывал некоторое самодовольство от того, что сумел бросить, и в то же самое время оплакивал разлуку с сигаретами. И страдал.

Прежде всего этот подвиг обернулся встряской для всего организма. Кружилась голова, не спалось по ночам, донимала садняшая, точно от курева, боль в горле. Без сигарет Чепу пришлось заново учиться питаться. Нащупывать новые способы переваривания пищи. Бросив курить, он начал мучиться сильнейшими запорами, от которых так и не сумел избавиться. Голод ощущался гораздо острее, а после еды рука всякий раз сама тянулась за сигаретой. Чеп стал больше есть, превратился в сладкоежку, чуть ли не с год пил только сливочный ликер. Спустя некоторое время его начал раздражать запах чужих сигарет, но он сознавал, что курильщики уже высосали из них все самое лучшее, эту горячую сладость высушенного листа, проглотили присущие табаку ароматы жареных орехов и спелых фруктов, а то, что они выдыхают обратно, — лишь тухлые отработанные газы.

Курение было промокашкой, впитывающей время — минуты телефонного разговора, часы между деловыми встречами и совещаниями, сами встречи. Теперь, без курения, его дни удлинились часа на три-четыре; и, не зная, на что потратить эти излишки, а также постоянно тоскуя по табаку и связанным с ним усладам, Чеп начал проводить больше времени в "Киске" и "Пузатом Чжуне", чем на "Империал стичинг". Решение бросить курить изменило жизнь Чепа, и он вряд ли рискнул бы назвать это переменой к лучшему.

В пятидесятые годы деловая жизнь била ключом — если верить тому, что рассказывают люди, сам-то Чеп вошел в сознательный возраст лишь в шестидесятых, в период спада. В семидесятых спрос немного оживился, восьмидесятые ознаменовались бумом, который закончился крахом, а затем, после краткого периода финансового оздоровления, почти все фабрики, и прежде всего швейные, перебрались в Китай, обосновались, едва перевалив границу, в провинции Гуандун.

Мистер Чак переезжать отказался. Он приспособился к новым обстоятельствам: пошел на сокращение штатов, переоборудовал фабрику под выпуск более дешевых галунов и эмблем, производство форменной одежды урезал, а от рубашек отказался вовсе — разве мог он конкурировать с фабриками, расположенными в Китае? — и "Империал стичинг" съежилась. Фабрика по-прежнему занимала восемь этажей, но пустующих помещений прибавилось. На верхнем этаже находилась дирекция. На нижнем — экспедиция. Соседние фабрики работали на фирмы "Эдди Бауэр", "Энн Клейн", "Донна Каран" — порой один и тот же цех шил на пять разных брэндов. Но Чеп почти исключительно сосредоточился на эмблемах и с согласия мистера Чака, как бы назло переменам, убрал из названия компании слово "лейблс", оставив только "Империал стичинг".

В 1984 году Маргарет Тэтчер объявила о "передаче Гонконга Китаю". Китайцы толковали о такой перспективе уже много лет, но британцы лишь презрительно фыркали. И вдруг это невероятное обещание.

Бетти сказала: "Да может, еще ничего и не будет". Еще одно из ее присловий, означавшее: "Не унывай!"

Но события развивались, приводя в недоумение мать и сына Маллердов, а также очень многих их знакомых и доводя до бешенства мистера Чака. Стало ясно: с этого пути уже не свернуть. Что же изменилось? Экономика не в лучшем состоянии, но появились свободные деньги. Много китайцев уехали в Канаду, некоторые вернулись. Теперь Маллерды вообще перестали размышлять о Передаче — вспоминали, лишь наткнувшись на тягомотные описания в газетах или услышав краем уха разглагольствования некоторых политиков — например, весьма почитаемых мистером Чаком Эмили Лао и Мартина Ли. Бетти вообще не желала думать о Передаче, и бесконечные разговоры на эту тему ей претили.

— Нытики! — шипела она. — Подумаешь, дело: обыкновенная Сдача по-китайски!

Вот почему, когда мистер Чак умер, Бетти сказала: "Может, и хорошо, что так получилось", вспомнив о том, как расстраивался мистер Чак в ожидании 1997 года. "Наверно, тут следует сказать: Господь его из жалости прибрал".

3

После похорон по двойному обряду, после оглашения завещания, после отъезда родственников мистера Чака, после всех сбоев и неотложных проблем, которые возникли из-за смерти старика, -- суеты, причитаний, расходов — жизнь Бетти и Чепа потекла по-старому. Яйца всмятку в Альбион-коттедже и коробочка с ланчем. Овсяные лепешки Вана, его же унылые фруктовые салаты, его же изготовления вареные овощи и пережаренное мясо на ужин. Вязанье Бетти: "Я нашла новый цвет, — сообщила она, — графитовый называется". Она опять принялась за салфетки. "Империал стичинг" вновь заработала в полную силу. Заказчиков даже немного прибавилось: накануне Передачи из названий многих клубов и фирм изымалось слово "королевский", что влекло за собой заказы на новые эмблемы и монограммы. Жизнь на фабрике забила ключом, в дирекции телефоны звонили чаще, закройный и швейный цехи стрекотали громче, а экспедицию оглашало своей бестолковой музыкой "Радио Гонконг".

Сырые холодные дни, типичные для начала марта, сменились влажной жарой. То был образчик ближайших шести месяцев, когда с каждой неделей погода будет становиться все противнее, предвестье апрельской духоты, майских муссонов, июньского убийственного зноя и летней парилки. Дурную погоду Чеп любил — это была удачная тема для разговоров с матерью и правдоподобное объяснение поздних возвращений и утомленного вида, если на самом деле время и силы потрачены с женщиной, в "синем отеле" или в дальнем зале "Киски".

Чепу было очень приятно, что теперь вся "Империал стичинг" принадлежала ему. Но вместе с тем он ощущал, как давят на него другие компаньоны предприятия, всем скопом заглядывающие ему через плечо: покойный брат-тезка, покойный отец и новопреставленный мистер

Чак. Они командовали им, надоедали советами, делали умоляющие знаки. Их бестелесное присутствие было для него таким же реальным, неприятным и стесняющим, как присутствие Бетти, его матери, владелицы четверти "Империал стичинг". На них на всех он работал не меньше, чем на себя. Покойники не унимались, не оставляли его в покое — а как он был бы рад хоть минутке уединения. Встречая его, знакомые по клубу говорили: "Невилл, что ты все один да один, ну прямо отшельник" — и, кажется, его жалели. Но наедине с собой он не оставался никогда.

Дней через десять после оглашения завещания жизнь Чепа вернулась в привычную колею. В семь он просыпался, слушал радио, выключал его, когда заходила речь о Передаче, затем спускался в залу к матери и съедал под ее надзором завтрак. "И манюсенький кусочек тоста..." Залпом выпивал чай, набивал рот тостами, ударял наискось ложкой по макушке яйца, одним махом сдирая скорлупу, дочиста выскребал содержимое этого миниатюрного черепа и принимался за поджаренных "солдатиков". Жевал не переставая, дышал носом, и все это — под испытующим взглядом стоящей у него над душой матери. Поскольку сама она ничего не ела, происходящее больше напоминало спектакль, чем завтрак.

Ван курсировал между кухней и залой, шаркая пластмассовыми шлепанцами, громоздя тарелки одну на другую, действуя Чепу на нервы..В слуге впечатлял его рост — шесть с лишним футов, — поскольку при его профессии от долговязости не было никакой практической пользы. Но Чепа тревожил совсем не рост Вана. Время от времени Чеп вспоминал, что они с Ваном одногодки, и это его раздражало, а иногда даже приводило в недоумение: неужели они действительно одного возраста? Вообще-то теперь Чеп о Ване и не думал; разве что в памяти вдруг всплывала Цзя-Цзя — его ама и мать Вана — или вспоминалось, как в детстве Ван его пугал. Сравнивая себя с Ваном, Чеп всякий раз приходил к одному и тому же выводу: хотя у них нет никаких общих черт, хотя они совершенно не похожи, для них обоих ничего уже в жизни не изменится. У обоих судьба предопределена заранее: один — и это навсегда — хозяин, другой — и это тоже навсегда — слуга.

В то утро все было как обычно. Чеп встал из-за стола; постоял, причмокивая, пока мать соскребала с его подбородка крапинку желтка, а затем, бормоча под нос что-то насчет жары, вышел из дома. Отпустил, с мыслью о мистере Чаке, ручной тормоз и покатил на своем "ровере" мимо пожарной части, вниз по пологому склону. По запруженному машинами туннелю достиг Коулуна, направился к фабрике известными назубок окольными путями. По дороге от дома до работы Чеп ровно ничего не замечал. После всех прожитых здесь лет Гонконг стал для него городом-невидимкой; даже когда Чепу указывали на новый отель или административно-деловой комплекс, на очередной освоенный участок земли, на только что открывшийся магазин, он смотрел — и ничего не видел. Город для него был не более реален, чем недоступные ему вывески на кантонском диалекте — кстати, и на слух кантонский казался Чепу просто скрежетом, не имеющим даже отдаленного сходства с человеческой речью. Теперь по эстакаде на Принсесс, к Ватерлоо-роуд; и вот наконец машина замерла на своей положенной, отчерченной краской по асфальту стоянке у здания, которое Чеп уже мысленно начал называть своим.

Дворник мистер Ву сказал: "Доброе утро", а затем, засунув руку в кабину лифта, придержал дверь и нажал на верхнюю кнопку, чтобы Чеп не

утруждался. Чеп прошел прямо в свой кабинет. Мисс Лю принесла ему чашку чая и папку с почтой: счета, запросы, назойливые рекламно-информационные брошюрки. "Бред собачьей Передачи, – пробурчал Чеп и сунул весь ворох – графики, новые нормативы – обратно мисс Лю. – В архив". О будущем ему думать не хотелось. Когда его спрашивали о планах, он всякий раз отвечал: "Я остаюсь. Ничего не изменится" – и в большинстве случаев не лукавил. Гонконг, казалось ему, это всего лишь муравейник с Юнион Джеком на вершине. Флаг скоро сменят, но муравейник останется муравейником.

Так, а где же мистер Чун? Куда подевался его главный управляющий? Каждое утро они вместе садились обсудить заказы и планы на день. Благодаря Чуну фабрика работала слаженно и эффективно, заказы выполнялись в срок. Чепу оставалось лишь утверждать предложения управляющего – тот ведь тоже прошел выучку у мистера Чака.

Чтение "Саут Чайна морнинг пост" Чеп обычно откладывал до второй чашки чая, которую выпивал после ухода Чуна, но сегодня – изменив обыкновению – сразу раскрыл газету. Скользнул взглядом по международным новостям, проигнорировал новости о Передаче и остановил свой выбор на криминальной хронике, где всегда обнаруживалось что-нибудь необычное, а иногда даже захватывающее. Из всех жутких историй на полосе его внимание привлекла одна: человек, сидящий в тюрьме за нанесение телесных повреждений своей жене, подал на эту несчастную женщину в суд, потому что она отказалась продать принадлежащий семье дом. В этой истории Чепа заинтересовали два момента. Во-первых, наглость мужчины, который подал в суд на жену, на собственную жертву; во-вторых, само преступление. Муж обвинил жену в измене и потребовал, чтобы она ушла. "Ты должна уйти, но твое лицо принадлежит мне, – сказал муж и, связав жену своими галстуками, плеснул ей в лицо кислотой. – Я отниму у тебя лицо". Ожоги так ужасны, что ее никуда не берут на работу, и дом ей очень нужен. У нее двое детей. Муж-садист добивается, чтобы ему выплатили деньги, полученные от продажи его половины дома. "Сильно обезображена" – было написано в статье. Чеп попытался вообразить ее лицо.

– Прошу прощения, сэр.

От неожиданности Чепу почудилось, будто в дверях его кабинета стоит злодей из газеты.

Но это был мистер Чун. Он дергал головой и покрякивал – такая у него была манера извиняться.

– Поезд опоздал.

– Какой поезд? – Чун жил в Коулун Тонге.

– Сегодня утром я ездил в Китай, – пояснил мистер Чун.

– Ничего себе!

Вскочить с постели, посетить Китайскую Народную Республику и в то же утро, в десять без скольких-то минут, явиться на работу – все это показалось Чепу глупостью, и он сказал себе, что от таких путешествий никакого толку нет. А значит, об этом бессмысленном фортеле не стоит и расспрашивать. Послюнявив палец, мистер Чун пролистал папку с договорами и, только подняв глаза, осознал, что Чеп все еще смотрит на него и размышляет о поездках в Китай.

– Я ездил в Шэнчжэнь, – сообщил мистер Чун. – Оттуда в Донгуань. Знаете Донгуань?

– Даже вообразить себе не могу, – отозвался Чеп.

— Он подальше Шэнчжэня. Они производят игрушки. Расчески. Все на свете. Очень деловой город.

— Как же вы столько успели?

— Поезд. Отсюда. Коулун Тонг, — сказал мистер Чун. — Без пересадок, знаете, да?

— Верю на слово. Приятно прокатились?

— Купил квартиру.

— Прямо сегодня?

От всех этих расспросов мистер Чун начал ежиться, но кивнул. Да, квартиру он купил сегодня.

— Квартиру вы могли и в Гонконге купить.

— Здесь квартира — миллионы. В Донгуане большая квартира — двести тысяч.

Чеп так и не избавился от перенятой у родителей привычки переводить астрономические суммы в гонконгских долларах на фунты стерлингов. Вышло даже меньше двадцати тысяч. За сумму, которой хватит разве что на японский автомобиль не самой лучшей модели, мистер Чун приобрел по ту сторону границы просторное жилье.

— Ничего себе, — повторил Чеп, на сей раз с интересом.

Пока они обсуждали заказы, Чеп не сводил глаз с человека, который встал с постели, съездил по железной дороге в Китай, купил квартиру и вернулся в Гонконг, опоздав на работу всего лишь на несколько минут. Чепу все это казалось какой-то небылью, и даже после ухода Чуна, который отправился вниз в цехи, он еще долго чесал в затылке.

Чеп вернулся к газете, перечитал историю ревнивого мужа. "Ты должна уйти, но твое лицо принадлежит мне... Я отниму у тебя лицо". Еще один резон не вступать в брак.

— Первая линия, — крикнула мисс Лю из своего отсека.

— Доброе утро, сквайр, — Монти, он всегда так по телефону здоровается, — нужна твоя подпись.

— Опять?

— Привыкай-привыкай, сквайр, — отозвался Монти. — Этим бумагам ни конца ни краю. Трансферты, понимаешь ли. Радуйся, что все прошло так гладко.

— Эти китайские родственники меня по рукам и ногам связали.

— Чертики вернулись в коробочку, сквайр. Не беспокойся.

— И где же их коробочка?

— Родная деревня Чака, Чжуншань, к югу от Кантона. Родина Сунь Ятсена. Прелестное местечко.

— Раз там так хорошо, почему нам пришлось отгонять Чаковых родичей поганой метлой?

— Личжи ешь? Чжуншань ими славится. Там-то их и выращивают. И лонганы тоже. И разные прочие фрукты.

В ответ Чеп только рассмеялся. Его ненависть к китайской кухне распространялась на туземные растения, фрукты, деревья, да и на страну как таковую — на всю целиком. Китай не вызывал у него ни малейшего интереса. И всякий раз, когда Чеп чувствовал — как сейчас, например, при разговоре с Монти, — что его пытаются подколоть, в сердце у него вскипала неприязнь.

— Если бы кто-то из этих родственников унаследовал долю в "Империал стичинг", ты бы не смеялся, — проворчал Монти. — Вот была бы заварушка.

— Не то слово, — согласился Чеп и, уговорившись встретиться с Монти в Крикет-клубе сегодня вечером, после работы, повесил трубку.

Среди стратегий менеджмента, которым научил его мистер Чак, была и такая: ежедневно в самый неожиданный момент проходить по каждому цеху из конца в конец и всячески делать вид, будто тщательно проверяешь рабочих. Это было нужно, чтобы напомнить им, кто тут главный, чтобы не расслаблялись и не распоясывались. Надлежало быть безмолвным и непредсказуемым, держать подчиненных в напряжении — пускай сами ломают головы, что у него на уме. И пока Чеп каждодневно обходит все отделы и цехи, по-настоящему следить за работниками ему уже необязательно — не это главное. "Они должны тебя видеть", — советовал мистер Чак. Также рекомендовалось поднести к глазам галун или недошитое изделие и, пробурчав что-то нечленораздельное, презрительно фыркнуть, ненадолго сморщить нос и пойти дальше, не удостоив швею взглядом.

Чеп бурчал над столом в швейном цехе, когда к нему подошла Мэйпин и робко произнесла:

— Мне очень жаль.

Далеко не сразу он сообразил, что она имеет в виду мистера Чака. Эту девушку Чеп не видел с самых похорон. Чеп замялся. Улыбнулся. Подумал, что Мэйпин страшно хорошенькая.

Держа в руке коробочку с ланчем, Чеп пришел в расположенную на той же улице "Киску". Заказал кружку пива, затем, устроившись в кабинке, стал жевать сандвичи с сыром и чатни[1] — Ванова работа, понял Чеп по аккуратно обрезанным корочкам. Был полдень — ужасная рань; в баре находилось всего несколько девушек и один клиент — Чеп. Бармен Венделл, повернувшись к стойке спиной, смотрел телевизор; похоже, его ничуть не смущало, что гремящая в зале музыка совершенно заглушала звук. Хотя с девушками или мамой-сан бармен иногда разговаривал, на приветствие Чепа он отзывался редко. Обычно Венделл смотрел скачки, но сегодня на экране была какая-то китаянка, у которой брали интервью. По визгливому голосу Чеп узнал Эмили Лао из Законодательного совета.

— Британцы могли бы предоставить нам гражданство, но они отказываются. Потому что мы — желтые! А австралийцам и канадцам дают!

Мама-сан принесла ему бутылку пива и, пока Чеп ел и пил, пристроилась рядом, держа в руке свой мобильный телефон. В клубе Чепа так хорошо знали, что ничего от него не ждали — ничего, кроме обычной стопочки для девушек, чаевых бармену, подарка маме-сан. Они знали, что он сбегает сюда тайком с работы, знали, что мистер Чак умер; знали, что в час ланча Чепа лучше не беспокоить. Другое дело — после работы; девушки на него так и вешались, борясь за внимание.

— ...Да, это аренда. Но когда у квартиры кончается срок аренды, вы возвращаете хозяевам только квартиру. Одну квартиру, без жильцов.

— Венделл, сделай телевизор потише! — вскричала мама-сан. А затем произнесла соболезнующим тоном:

— Жалко мистера Чака.

Как странно, что Чеп оправился от утраты, что фабрика перешла в его собственность, срок траура истек. И все же, хотя, на посторонний

1. Заимствованный англичанами из индийской кухни кисло-сладкий соус. Содержит манго или яблоки, перец, травы и т. п.

взгляд, с этим грустным делом вроде бы и покончено, Чепу постоянно что-нибудь да напоминало об умершем.

— Я как-то раз видел его здесь, — сказал Чеп.

Мама-сан кивнула. Это была полная кантонка с розовым веснушчатым лицом. Она носила очки, но обычно сдвигала их на лоб. Находиться рядом с ней Чепу было привычно, но в то же время неловко; как-никак эта женщина одной лишь гримасой, не сказав ни слова, дала понять Чепу, что спала с его отцом. С тех самых пор у Чепа отпала охота разузнавать подробности чужой жизни. В том числе жизни мистера Чака.

Зазвонил ее мобильный. Мама-сан нажала на кнопку ответа, что-то проговорила в трубку повелительным тоном и отключила телефон.

— Плохая линия, — пояснила она. — Китай.

Припомнив своего управляющего, Чеп сказал:

— Я сегодня утром говорил с одним — он буквально только что сгонял в Китай и купил квартиру.

— Они дешевые, — сказала мама-сан. — Отсюда ехать совсем легко. Поезд до Шэньчжэня — всего час.

— Да, в Шэньчжэне он и был, — подтвердил Чеп. — Значит, ваши девушки туда ездят?

— Даже там работают. Я посылаю девушек даже в Пекин. В Шанхай, в Гуанчжоу тоже.

— А это разве не опасно? — поинтересовался Чеп. Поскольку в Китае он никогда не был, эта страна представлялась ему царством тьмы и неожиданных подвохов.

— Да, опасно. В Китае бизнес с девушками — незаконный бизнес. Но клиенты там — большие люди. И деньги хорошие.

— Девушки не боятся, — заключил Чеп. — Ради денег они на все что угодно готовы.

Ему нравилось строить теоретические предположения о том, на что именно они готовы. Нравилось сидеть и поедать ланч — сандвичи с сыром и чатни, с паштетом и пикулями, печенье, бананы — в уютной прохладе стрип-бара, с кружкой "Сан-Мигеля" в руке, в окружении красивых девушек, что восседают, закинув ногу на ногу, на табуретах и смотрят, как ты рассуждаешь с мамой-сан о проституции.

— Японцы грубые. И даже китайцы иногда.

— Неужели грубые? Это на них не похоже, — улыбнулся Чеп, пытаясь изобразить недоверие. Ему страшно хотелось, чтобы она начала приводить примеры из жизни.

— Связывают девушек. Бьют. Нехорошо с ними обращаются. Им это развлечение, а девушкам... — мама-сан скривилась, — ужас.

— А вот гуэйло они не боятся, — опять закинул удочку Чеп.

— Некоторые девушки смотрят порно, видят гуэйло с большими членами, думают, такие у всех гуэйло. Они начинают бояться, что гуэйло им сделает больно, когда вставит.

— Я сам такой гуэйло, — заметил Чеп.

Его взбесило, что это заявление вызвало у мамы-сан улыбку.

— Вас они знают, — сказала она. — Они мне рассказывали.

— Вы этих девушек посылаете в Китай?

— Нет. Девушек от ма фу. Как по-вашему сказать: ма фу — человек держит лошадей?

— Владелец конюшни, — сообщил Чеп.

— Да. Они приходят ко мне, потому что должны денег змееголовым. Девушки хотят побольше денег — купить дом, начать свое дело.

Разговоры о деньгах, о сутенерах, о бандитах, прозванных змееголовыми, о девушках, мечтающих обзавестись собственным домом или магазином, — все это как-то расхолаживало. Чепу захотелось сменить тему.

— Если я сунусь в Китай, меня, наверно, даже не впустят, — пробурчал Чеп.

Мама-сан встала, улыбнулась:

— Суньтесь лучше в меня, я вас всегда впущу! — И оставила его доедать ланч.

Вернувшись в свой кабинет, Чеп прокрутил этот разговор в голове и опять почувствовал прилив возбуждения. Он попытался вообразить себе все наглядно: гонконгская девушка садится в Коулун Тонге на поезд и едет в Китай, чтобы переспать с китайским функционером. Он увидел, как девушка выходит из вагона, увидел ожидающую машину, гостиницу. И встряхнул головой: дальнейшего он представить не мог. Его фантазия была бессильна. Того Китая он не знал.

Чеп ощутил, как разгорелась первая искра вожделения — наподобие жажды, она иссушала губы, и тело, словно от недоедания, казалось легким-легким. Мысли в голове еле ворочались. Охваченный истомой, он не мог думать больше ни о чем, кроме своей немудрящей потребности. Когда он был с женщиной, его редко тянуло немедленно ею овладеть — он просто говорил и слушал, а сам одновременно старался ее запомнить, чтобы потом, расставшись с ней, предаться досужим размышлениям — и только тогда возбудиться. Разлука будила в нем вожделение, а встречи — вселяли робость. Теперь он думал уже не о маме-сан, не о девушках из "Киски". Он видел перед собой Мэйпин и хотел именно ее. Ее печаль, ее попытка его утешить, грусть, придающая хрупкую красоту ее лицу, впечатление слабости, возникшее, когда она слегка наклонила голову: глаза припухшие, плакала, наверное, — от всего этого Чеп только сильнее ее желал.

На исходе рабочего дня, за минуту до того, как мистер Ву нажал на кнопку гудка, Чеп нашел предлог, чтобы оказаться у дверей швейного цеха. Он дождался гудка, стал смотреть, как девушки подхватывают зонтики и сумки, готовятся уйти. Мэйпин подняла на него глаза. Он кивнул ей.

Она не направилась к нему тут же, а, проходя мимо, спросила:

— Вам меня?

Английским она владела плохо. Поняла ли она сама, что сказала? Всего два слова — и он вконец потерял голову. Конечно, на фабрике эта фраза была дежурной, ее употребляли все кому не лень: мисс Лю, мистер Чун, мистер Ву, и трактовки могли быть самые разные — но в устах Мэйпин этот вопрос значил только одно.

Мэйпин ушла вместе с остальными. Чеп отправил мистера Ву домой: "Просто спустите флаг. Я сам запру" — и уселся в кабинете, распахнув дверь, чтобы видеть лифт: вот кабина едет по вызову вниз, вот загорается буква Ц — цокольный этаж, а затем все цифры поочередно вплоть до восьмерки, восьмого, где он ждет за опущенными жалюзи, поглаживая свое лысеющее темя.

Ни единого слова. Пока он запирал дверь, Мэйпин прошла к дивану и села так, как сидела всегда, сильно подавшись вперед, точно пассажирка автобуса, которая уже подъезжает к своей остановке и собирается встать. Чеп подошел к ней, осторожно опрокинул на спину, поцеловал.

Потом сорвал с нее блузку — сшитую этажом ниже, отлично знакомые ярлык, ткань, фасон. Скоро Мэйпин стояла перед ним на коленях, а он сидел, разинув рот; в висках бешено стучало, глаза лихорадочно блестели. Он был в панике, потому что попался в капкан; струсил, что оказался во власти чар этой простой девушки. От слепого, перехватывающего горло ужаса Чепа удерживало только одно — его страх она принимала за какое-то другое чувство, возможно за уверенность, приличествующую мужчине и хозяину целой фабрики. Вскоре он начал повизгивать и дергать ее за волосы.

Потом отправился в Крикет-клуб, радуясь, что есть куда пойти, радуясь предлогу. К возвращению в Альбион-коттедж, к новой встрече с матерью и домом Чеп был не готов; встреча с Монти пришлась очень кстати. Благодаря Мэйпин он расслабился и прочистил мозги, да и аппетит нагулял. После секса тянет на пиво и сандвичи с беконом.

Крикетом Чеп особо не интересовался — даже за чемпионатами едва следил. В Крикет-клуб он вступил ради игры в лаун-боулинг, а также общения с хрычами-старожилами, отцовскими друзьями. Своих друзей у Чепа было раз-два и обчелся. Что до боулинга, то, несмотря на развинченную походку и рассеянность, на поле Чеп проявлял агрессивную целеустремленность, а потому считался одним из лучших игроков клуба.

Войдя в столовую — с мечтательной улыбкой на лице, чувствуя себя баловнем судьбы... "молодчина Мэйпин, до чего же с ней легко"... — он увидел Монти: тот стоял у стойки бара с каким-то китайцем. Монти принял улыбку Чепа на свой счет и как-то даже опешил, когда после оклика "Сюда-сюда, сквайр" Чеп внезапно посерьезнел и только тогда поздоровался. Для Чепа воспоминания были слаще, чем настоящее, а Монти вывел его из приятного забытья.

— Вот хочу тебя, Невилл, познакомить с одним из наших новых членов, — Монти потрепал Чепа по загривку. — Мистер Хун — Невилл Маллерд.

— Рад познакомиться.

— Для меня это большая честь, — отозвался китаец, как-то слишком отчетливо выговаривая согласные.

Чеп не стал продолжать разговор, тяготясь навязанным ему собеседником, досадуя, что образ Мэйпин, стоящей на коленях в его кабинете, уже стремительно тускнеет.

— Я угощаю, — заявил Монти. — Ты что будешь, сквайр?

— Пинту размягчения мозга.

— Одобряю, — и Монти обернулся к бармену.

Мистер Хун сказал:

— Вы владелец "Коулун Тонг билдинг".

Вот она, китайская тактичность. Не успев сказать "Здрасте", тут же обухом по голове.

— "Империал стичинг", — подтвердил Чеп. — Раньше мы шили мужские рубашки всех моделей. Одеждой мы заниматься не перестали, но наш профиль — галуны. Эмблемы. Тесьма с надписями. Сложные вышивки. На эмблемы сейчас большой спрос. Переделываем их по случаю Передачи. — Мистер Хун пододвинулся к Чепу. — А откуда вы знаете, что я владелец?

— Это не секрет, — ответил мистер Хун.

Хороший английский мистера Хуна не вызвал у Чепа ничего, кроме раздражения. В Гонконге те, кто бегло изъяснялся по-английски, всегда оказывались самыми отъявленными мошенниками. У этих скользких людишек что ни слово, то ложь. Ох уж эти уклончивые, неискренние ёрники, чей безупречный английский означал, что они получили образование где-то за пределами колонии, а заодно научились презрительно фыркать и задирать нос. Если же акцент при этом американский — вообще караул. Чепу по душе были местные китайцы с их анекдотическим диалектом — лишь немногие выпускники гонконгских школ владели английским хорошо, и потому всякий сверчок знал тут свой сословный шесток.

— Я бы хотел поговорить с вами о приобретении вашего здания, — сказал мистер Хун.

Абсурдность ситуации вызвала у Чепа приступ смеха — нет, это надо же додуматься ляпнуть такое в первую же минуту! Опять китайская деликатность!

Услышав громкий хохот с примесью негодования — Чеп все еще досадовал, что ему не дали посмаковать воспоминание о Мэйпин, — мистер Хун поморщился. Но не отвел от Чепа глаз, словно надеясь его загипнотизировать.

Тут Монти начал расставлять бокалы, приговаривая свое “сквайр”, “сквайр”, и Чеп вновь заулыбался.

— Оно не продается, — сказал Чеп. Произнося эти слова, он не смог удержаться от злорадной интонации. — Я его никогда не продам. Даже думать забудьте. Не тешьте себя надеждами.

4

Когда он запаздывал, а мать, дожидаясь его, стояла в дверях, всякий раз она словно бы разрасталась, заполняла собой весь дверной проем, чтобы перехватить сына, задержать, обратиться в стену прямо перед его носом, швырнуть в лицо горсть упреков. Так она вела себя и сегодня. Ей была свойственна выматывающая душу агрессивность то ли матери, то ли жены — между женой и матерью, кстати, Чеп особой разницы не видел. Порой, когда он читал в бульварных газетах статьи о людях, совершивших кошмарные преступления, его вдруг осеняло, что у большинства из этих кровожадных психопатов были точно такие же, как у него, семейные обстоятельства: “средних лет, тихий, вежливый, не изменял своим привычкам, женат никогда не был, друзей не имел, иногда его видели выходящим из стрип-клубов, жил с матерью и был преданным сыном”. Чепа эти статьи просто-таки бесили.

— Девятый час! — вскричала она. — У меня все из рук валится. Ты что, Чеп, где тебя носило?

Не покидая своего поста в дверях, мать повторила все это вновь. Путь в дом Чепу был закрыт.

Вопрос “Где тебя носило?” не вызывал у него никаких чувств, кроме скуки. Мать и сын частенько кричали друг на дружку. Чепа тревожило иное — то, что они живут синхронно, в один и тот же час едят, моются, ложатся спать и встают. Жизнь по распорядку Чепа всегда устраивала, он ничуть не боялся прослыть рабом рутины, но тут другое — камень на шее, тоска. Тебе сорок три, твоей матери — скоро семьдесят, а она заяв-

ляет, что ей кусок в горло не идет, если ты не сидишь с ней за столом. И все допытывается: "Где тебя носит?" да "Где тебя носит?"

— Засиделся над счетами, — ответил Чеп.

В глаза он ей не смотрел. Встретившись с ней взглядом, он бы сломался, но как открыть матери правду?

— Из-за всего этого... из-за Чака... я запустил дела. Сегодня весь день корпел не поднимая головы.

Чеп рассчитал верно — ложь мгновенно помогла. Мать посторонилась, пропуская его, сочувственно потрепала по щеке. Когда ее гнев остыл, Чеп ощутил прилив энергии: успешно утаенный секрет доставил ему прямо-таки физическое наслаждение. Иначе с Бетти нельзя: он знал, что слаб характером, и потому любая тайна прибавляла ему сил. Если бы мать прознала, чем он занимается днем, его жизнь стала бы невыносимой. Цель этой стратегии далеко не исчерпывалась простым утаиванием секретов. Пока он держал мать в неведении, ему самому легче было забывать о своих некрасивых тайнах.

Поужинали они в "зале". Подавал Ван.

— Я сегодня Вана на пробежке видела.

В присутствии Вана Бетти имела привычку говорить о нем как бы за глаза — чтобы спесь сбить. Вот и сейчас она ощутила, как Ван напрягся, вскинул подбородок, почти увидела, как судорожно сжались его ягодицы.

Маршрут обычных пробежек Вана пролегал по тропке, спускающейся с Пика на Веллингтон-стрит, — до самого низа и обратно наверх. Когда Чепа спрашивали, бегает ли он трусцой, он всякий раз отвечал:

— Я сам — нет, у меня на это слуга есть.

— Вид у него был впечатляющий в этом его трико, — продолжала Бетти.

— Оставь, мама, — взмолился Чеп. Его взбудораженная душа жаждала хоть минутки покоя.

Сразу после того, как Мэйпин покинула его кабинет, Чеп впал в сладкую дрему, но одновременно ему захотелось есть. Когда он занимался сексом под вечер, после акта у него начинали шалить нервы — а он, полностью выложившись, ничего уже не мог с ними поделать. Половой акт приносил ему ошеломляющее облегчение, внезапное, как чихание, — но это ощущение мгновенно переходило в свою противоположность, в неодолимое удушье. Как-то раз в Радужном театре в Цим Шацзуй он видел китайца-акробата, державшего на голове — макушка к макушке — свою партнершу. Вытянув ноги кверху, женщина крутила на них целую кучу колец. Это приятно щекотало нервы Чепу, так как выглядело очень рискованным. Но когда его опасения оправдались — когда женщина покачнулась и упала, роняя кольца, — Чепу подумалось: "Как похоже на секс". Секс — акробатический номер, всегда завершающийся неудачей, падением, осознанием, что — сам не зная как — ты поскользнулся, сплоховал.

Не забывайте и о партнерше: эта женщина посвящена в тайну. Другое дело, если бы ты грешил в одиночку. А тут — заговор, но заговорщики в неравном положении. Когда вожделение достигало пика, он ловил себя на мольбах и посулах. Но потом ощущал какую-то опустошенность, от страсти не оставалось даже воспоминания — только странный рыбный запах, исходящий от пальцев, да тускнеющий образ смехотворной позы, которую он навязал своему телу. Дилетантская акробатика, моло-

тящие по воздуху ноги, все как в цирке, вплоть до колец, — разве удивительно, что никогда не получается! Он чувствовал себя обманутым и уязвленным. И виновата тут была именно женщина. Одновременно становилось ясно, что занятие это абсолютно бессмысленное, поскольку девушки в большинстве своем ненавидят секс, а соглашаются только потому, что Чеп — здоровенный ненасытный гуэйло.

Чеп слишком часто замечал, как эти девушки, лежа под ним, гримасничают и сдерживают тошноту, а потому не обольщался, будто доставляет им удовольствие. Перед расставанием, пока женщина еще не привела себя в порядок — волосы взлохмачены, лицо раскрасневшееся и помятое, взгляд стеклянный, — Чеп обычно думал: "Как пьяная" и спохватывался: может, и сам он выглядит не лучше? Секс был для этих девушек услугой, оказываемой в обмен на массу встречных одолжений. Они вечно спрашивали:

— Вы уже?

И каждый раз потом он жутко злился на себя за то, что с языка едва не срывалось: "Извините".

А после секса никогда не стоит ходить на деловые встречи вроде той, сегодня, с Монти. Надо было просто тихо посидеть с пинтой пива и тарелкой жареной картошки в сумрачном баре, сделать передышку, чтобы вновь стать собой — вернуться в спокойное состояние. Устроить перерыв, сладостный, как затяжка вероломной сигаретой в антракте. А эта встреча в Крикет-клубе, сначала показавшаяся пустячным дурацким происшествием, теперь пробудила в нем негодование. Возможно, потому, что за спиной у Чепа маячил Ван — Ван, чем-то напоминавший того, другого китайца, Хуна.

"Я бы хотел поговорить с вами о приобретении вашего здания" — какая бесцеремонность. Какое оскорбление. Это не здание. Это его дело. Фирма со своей продукцией и штатом работников. Крупное, бесперебойно работающее предприятие. Живое существо. Источник дохода. Разве слово "здание" здесь подходит?

Чеп не привык к пытливым расспросам чужаков, а чужак Хун был для него вдвойне иностранцем по сравнению с большинством его гонконгских знакомых, чужаками местными. Хун смотрел Чепу прямо в глаза, на сингапурский манер, но английским владел куда лучше, чем любой китаец из Сингапура или Гонконга; из чрезмерной правильности и выверенности его речи Чеп вывел, что Хун из континентального Китая. Хун получил хорошее образование: английский в него вдалбливали силком, по распространенной в Китае методике промывания мозгов; и овладел он языком исключительно для того, чтобы сбивать с толку и обмишуливать англичан.

Все время ужина Чеп предавался мрачным размышлениям. О Мэйпин матери рассказывать нельзя. Что до предложения Хуна — как его пересказать, если оно самому Чепу неясно?

По крайней мере, Чепу удалось повлиять на тон матери: из сварливого он сделался жалостливым. "Где тебя носило?" — вечно твердила она еще в те давние времена, когда они жили на Боуэн-роуд и он слонялся по закоулкам в районе Голливуд-роуд, заглядывая в окна лавок и жилых комнат, надеясь застукать какую-нибудь женщину полураздетой. В те дни он прикидывался, будто у него жар, или говорил: "Ушиб ногу" — тогда она таяла, превращалась в заботливую мать, которой было уже не до брюзжания.

Мучительно чувствуя, как она его стесняет, просто по рукам и ногам связывает, он с ребяческим упорством старался обмануть ее при любом удобном случае. Мать знала о его жизни так много, что он нарочно сам для себя создавал новые тайны. Танцовщицы, работницы с фабрики, филиппинка Бэби на карачках ("Давай-давай делать сенят!"), а теперь и Мэйпин. Обман был тут важен не меньше, чем секс. Чепу нужно было иметь в жизни какое-то убежище, какое-то свое пространство, куда матери был бы закрыт вход. В пространстве, отгороженном обманом, он жил чуть ли не постоянно. Никакого честного способа устроить так, чтобы мать хотя бы немного удлинила поводок, Чеп не знал. Ложь не отягощала его совесть — скорее наоборот. Он ликующе распускал хвост, потому что имел нечто свое и только свое — пустячную, но никому больше не ведомую тайну. И это лишь одна из приятных сторон лжи, есть и другие: чувство, что совершенствуешься в искусстве обмана, обучаешься управлять настроением матери. Ложь была для него мастерством сказителя, чревовещанием, мимикрией — благодаря ей он вырывался на волю.

Но что ему особенно помогало беззастенчиво лгать матери, так это убеждение, что и сама она никогда не была с ним до конца искренна. Он часто напоминал себе, что именно она научила его лгать — "привирать", выражалась она, "пудрить мозги". Но Чеп был ей только благодарен. Тайны стали для него замечательной отдушиной.

Теперь мать начала за него переживать, сокрушаться, что он так много работает ("Весь день корпел не поднимая головы"), и Чеп был доволен, что так ловко обманул ее, в один момент сбил со следа. Ему нравилось слегка растравлять в ней совесть. Так ей и надо — раз уж он столько от нее вытерпел, пусть теперь немного помучается попусту, вреда не будет.

Сколько бы он потерял, если бы отчитывался перед ней во всем. Рассказав о Мэйпин, он всего лишь оскандалился бы в глазах матери, нарвался бы на брезгливую гримасу. "Ну ты и скотина", — процедила бы она. А как бы она себя повела, услышав из уст того китайца наглое предложение продать фабрику? Если бы Чеп мог предугадать ее реакцию, он бы, пожалуй, все-таки осмелился пересказать их разговор. "Так уж у них заведено, — скажет она, наверное. — Кидай-катайцы всюду свои загребущие руки запускают, верно я говорю?"

— Что-то ты сегодня молчаливый, — заметила мать.

За ужином Чеп не проронил ни слова.

— Все в порядке? — продолжала она.

В таких случаях, когда Чеп с головой уходил в свои тайны, она принималась допрашивать его с упорством тюремной надзирательницы.

— Да все нормально, мама. Просто устал.

— Верно, тут устанешь. На фабрике все в порядке?

— Хлопот полон рот.

Какие там хлопоты! Он сидел и глядел на красивые волосы Мэйпин. А теперь никак не мог вспомнить, целовались они или нет. Чужие прикосновения ему претили, но с Мэйпин он всякий раз терял голову. Она все равно что оказала ему первую помощь. "Памятка бойскаута", незамедлительные действия при змеином укусе. До ее прихода в кабинет он чувствовал себя отвратительно — сбивчивый пульс, дрожь в руках, сухость во рту, влажная испарина на ладонях. И тут она его исцелила. Высосала яд из его саднящей раны.

— Чеп, как же мне не нравится, когда ты допоздна торчишь на работе.

— Кто-то же должен это делать.

Ха! Ланч в "Киске", секс в кабинете за опущенными жалюзи, пинта размягчения мозга в Крикет-клубе с Монти, напористый китаец Хун с его бестактными расспросами. От секса и пива Чеп и стал похож на утомленного труженика.

Ван снова появился в комнате, чтобы убрать со стола, и Чеп увидел в нем Хуна. Ответив этому типу "нет", Чеп преисполнился сознанием силы — собственно, он ведь не ограничился простым отказом, а еще и поиздевался. При жизни мистера Чака Чеп не смог бы так поступить. Пришлось бы ехать к старику домой, излагать ему идею Хуна, спрашивать, разрешает ли Чак тому отказать, — хотя заранее было бы ясно, что мистер Чак, ненавидящий КНР, ни за что не даст согласия. Возможно, мистер Чак ненавидел не только КНР, но и китайцев — всех скопом.

В мистере Хуне настораживало многое — не только отличный английский, но и манеры. Чепу нравилось думать, что китайцы — люди предсказуемые. Чеп понимал, как они устроены, — изучил их на примере мистера Чака и Вана. Порой его посещала тревожная мысль: а вдруг эти двое — совсем нетипичные китайцы и на всех остальных ни капли не похожи? Вот был бы номер! Эту гипотезу в чем-то подтверждало завещание мистера Чака: Чеп в жизни бы не догадался, что старик хочет завещать фабрику ему. А ведь ему казалось, что мистера Чака он видит насквозь. Что же тогда можно сказать про остальных китайцев?

— Бифштекс вышел удачный, — говорила мать.

За чаем она предавалась воспоминаниям об ужине, который они только что съели.

— Высший класс, — поддакнул Чеп.

— И капустка свежая. С Новых Территорий. Ван сегодня взял на рынке.

Чеп прихлебывал чай. Да, думал он, полное ощущение, что Мэйпин оказала ему первую помощь при змеином укусе, словно высосала яд из ранки, оставленной на его члене зубами какой-то твари.

— Я тебе сберегла поджарки к завтраку.

— Ага.

— По радио сейчас будут новости. Уже двадцать пять десятого.

— Не надо, мам. Ты же знаешь, что они скажут.

Что скажут, знали оба — опять Передача. Других тем нет. Просто пытка какая-то — тут ведь ничего уже не поделаешь, верно? С Передачей они давным-давно смирились. Новые подробности только вконец сбивали их с толку.

Мать промолчала. Как всегда, она наблюдала за ним, криво улыбаясь; вставная челюсть во рту съехала, и потому ее лицо исказила странная, какая-то бульдожья гримаса. Но лицо это ничего не выражало. Зато душу переполняли старые печали и горькие обиды.

Чеп задремал, и перед глазами у него поплыли образы: голова Мэйпин, ее хрупкие плечи у него между колен, мама-сан, произносящая "человек держит лошадей" и "все что угодно". И еще одно будоражащее душу воспоминание: страшная статья из газеты, "Твое лицо принадлежит мне". Так Чеп и заснул прямо в кресле, прикрыв ладонью темя, привалившись головой к лиловой вязаной накидке,

В половине одиннадцатого мать, тронув его за руку, сказала:

— Чеп, давай-ка к себе.

Проснувшись, он зевнул, хмуро покосился на лампу; мать и сын, пробурчав "Спок-ночи", расползлись по своим спальням.

На следующий день он был в швейном цехе — делал обход, когда из селектора раздался голос мисс Лю:

— Мистера Маллерда вызывают по первой линии.

Когда его фамилию произносили китайцы, она звучала страннова-то, точно ирландская, а не английская; Чепа это раздражало. И к телефону идти никакого желания не было.

И вдруг, в это же мгновение, сам не понимая ассоциативной связи, он подумал, что никогда не женится на женщине, которая привлекает его в сексуальном смысле. Своих партнерш он выбирал из тех, на ком не женятся. С женщиной, которая не была ни китаянкой, ни филиппинкой, он переспал всего один раз в жизни. И то это была шлюха из Макао, португалка — представительниц этой нации Чеп считал не совсем белыми, так что своему правилу, можно сказать, не изменил. Назвалась она Розой Коэльо. Фамилия распространенная; означает она, как он выяснил — и прямо-таки пожалел Розу, — "кролик". Роза Кролик была вся волосатая; когда она разделась, от нее запахло, как от рыбацкого траулера, — солью и смазкой. Но случилось это в Макао, за горизонтом, а потому не в счет. Отчего же все эти мысли беспокойным роем кружились в его голове, пока он шел по швейному цеху к телефону? Неизвестно.

— Чеп, на одно словечко...

— Мама?

— Сегодня ужинаем у "Толстячка", — сообщила она.

Таверна "Толстячок" — так и значилось на вывеске этого заведения в бухте Козуэй. Любимый ресторан его матери: заплеванные опилки на полу, футбольные вымпелы и медные бляхи, которыми украшают лошадиную сбрую, фальшивые потолочные балки, оловянные кружки на крючках, дубовые столы, а летом, как значилось в рекламе, "бойкие служаночки", набранные в большинстве своем из числа нелегальных иммигранток, вьетнамок, что пробираются в Гонконг на джонках.

— Хочу тебя с одним человеком свести, — добавила мать.

Как-то раз давным-давно, сидя в "Толстячке", Чеп сказал: "Наверно, в Лондоне таких ресторанов полно, только готовят вкуснее и официанты — не китайцы", но мать подняла его на смех: "В Лондоне таких ресторанов раз-два и обчелся, но готовят хуже, а официанты — сплошь кидай-катайцы".

Она часто пересказывала этот диалог знакомым.

Чеп приехал заранее, но мать уже сидела за столиком.

— Он разрешил мне самой выбрать, — заявила она Чепу. И улыбнулась своему спутнику.

А спутником оказался не кто иной, как мистер Хун. В новом костюме. На рукаве пиджака, на самом видном месте, красовался фирменный лейбл, что у континентальных китайцев считалось последним писком моды.

Чеп неискренне улыбнулся. Настроение у него сразу испортилось. На мистера Хуна глядеть было тошно, но еще неприятнее оказалось видеть мать при полном параде. Дешевое вечернее платье — дурно сидящее, расшитое стразами — смотрелось вульгарно. В своей повседневной

одежде — неказистой, но добротной — Бетти, по крайней мере, выглядела порядочной женщиной. Сегодня же она была вылитая мама-сан.

— Мой сын Невилл.

— А вы...? — поинтересовался Чеп.

Он демонстративно не протянул руки мистеру Хуну, а также решил сделать вид, будто раньше они не встречались, — ведь вчера Чеп так ничего матери и не рассказал. Мистер Хун, со своей стороны, тоже явно не собирался афишировать их знакомство.

— Моя фамилия — Хун, мистер Маллерд, — произнес он. Хотя английским он владел прекрасно, фамилия Чепа вновь прозвучала на ирландский манер.

Значит, Хун подыграл Чепу в комедии с повторным знакомством. Чеп облегченно вздохнул — и одновременно окончательно решил, что доверять этому китайцу никак нельзя.

— Мистер Хун хотел пойти в китайский ресторан, — сказала мать. — Я была вынуждена ему сказать: "Исключено. Я этой дряни не ем".

Мистер Хун сложил губы в улыбку, но его глаза словно бы провалились внутрь головы, а лицо превратилось в бесстрастную маску.

— Туфта, а не продукты, сами знаете.

Мистер Хун улыбнулся еще шире. Чепу хотелось верить, что этот субъект молчит потому, что не понял слова "туфта".

— Тут-то я и смекнула: "Толстячок", вот где Чепу будет привольнее всего.

Это означало следующее: Бетти не желала, чтобы сын подумал, будто она выбрала "Толстячка" по своему капризу, хотя в реальности дело обстояло именно так.

— Чеп иногда не прочь скушать ростбиф, — продолжала Бетти. — Мы в этом смысле настоящие британцы, ростбифоеды. Но вообще-то у них здесь есть все: и бифштексы, и отбивные. Колбаски и пудинг им очень удаются. Самая настоящая "жаба в норке" — это сардельки по-английски, в конвертах из теста. У вас на континенте таких днем с огнем не найдешь.

Мистер Хун по-прежнему улыбался, постукивая пальцами по спичечному коробку с эмблемой "Толстячка".

— Вы не удивляйтесь, что я смеюсь... — продолжала Бетти и, заливаясь хохотом, принялась рассказывать, как Чеп заявил: "Наверно, в Лондоне таких ресторанов полно".

— Мама, — произнес Чеп, и она умолкла.

Но тут же, подмигнув Чепу, начала рассказывать, что однажды на пляже Силвер-Майн-Бей, как-то в воскресенье, еще при Джордже, так вот, Чеп пустил ветры....

— Мама, — вновь прервал ее Чеп.

Соль истории состояла в том, что Чеп, повернув голову, оглянулся на свой собственный задик и сказал: "Тихо, попка!"

Склеенные в улыбке губы мистера Хуна, его молчание, нервная барабанная дробь, выбиваемая его пальцами по коробку, — все ясно свидетельствовало: он ни слова не понимает из речей собеседницы. Чеп заключил, что Хун при всех его недюжинных способностях к английскому еще пасует перед такими тонкостями, как названия блюд или южнолондонский выговор миссис Маллерд, которая к тому же не говорит, а шамкает, пришепетывает — опять вставные челюсти разболтались. И Чеп простил матери унизительные россказни о его детстве — зато она сбила спесь с Хуна, этого великого знатока английского языка.

— Господи, что ж это я разболталась, а вы, наверно, хотите спокойно пивка выпить, мистер Хун. С Чепом все заранее ясно: он без пива жить не может.

— Что ж, я выпью чашку, — произнес мистер Хун.

— Чаю?

— Пива, — пояснил мистер Хун.

Типичная для китайцев путаница в названиях сосудов.

— Чашку пива мистеру Хуну, — произнес Чеп, чтобы подколоть китайца.

Перед Бетти лежала груда подарков: коробка шоколадных конфет, кожаный кошелек, бутылка красного вина, прозрачный пластиковый кубик с живым цветком внутри. Кто их преподнес, Чеп спрашивать не стал — все и так понятно.

Бетти выбрала "шанди"[1], Чеп залпом проглотил пиво, мистер Хун практически не пил — только прикладывался к кружке. Они заказали ужин. Бетти попыталась рассказать еще одну историю ("Едем на трамвае, а Чеп вдруг поднимает головку и спрашивает: "Мама, почему у дяди лот лазинут?"), но Чеп вновь ее оборвал. Подали кушанья — как полагалось в "Толстячке", на досках и оловянных блюдах. Они приступили к ужину, и разговор на минуту прервался.

— Удачный ростбиф, — заметила Бетти.

Мистер Хун, прокашлявшись, произнес:

— Скажите ему, будьте так добры.

Чеп смерил злорадно-уничтожающим взглядом этого беспардонного субъекта, но одновременно обрадовался. На прямой вопрос нахала он даст столь же прямой ответ.

Жуя мясо, Бетти с набитым ртом пробурчала:

— Мистер Хун хочет сделать нам одно предложение.

Предвидя дальнейшее, Чеп еле удержался от ехидной усмешки.

Проглотив мясо, утирая жирные губы, Бетти продолжала:

— Он хочет купить фабрику.

— А ты ему, надеюсь, сообщила, что его предложение нас не интересует?

Теперь мать заулыбалась. И сказала:

— Погоди, погоди, это ведь еще не все предложение, правда?

Мистер Хун просиял, как бы одобряя отпор, который мать дала сыну — точно старая львица, размахнувшись, отшлепала широкой могучей лапой непокорного детеныша. Хуну было приятно, что Бетти проделала это ради него.

— Чеп, сколько, по твоим расчетам, стоит эта старая фабрика?

— Если под "старой фабрикой" ты подразумеваешь "Империал стичинг", понятия не имею, — отрезал Чеп. Его просто выворачивало от гадливости. Как только Хун разыскал мать? Он добавил: — Стоит она наверняка немало. Но это не фабрика. Это фирма. У нас большой штат, мы производим товары и получаем неплохую прибыль. Это не просто способ заработать на жизнь. Это живое существо.

— Миллиона четыре-пять?

— Я бы не удивился.

В действительности он понятия не имел, сколько может стоить фабрика, и названная матерью сумма его по-настоящему изумила. Он никог-

1. Смесь простого пива с имбирным.

да и не думал об "Империал стичинг" как о чем-то выражающемся в долларах или фунтах. Фирма была его жизнью, а жизнь на деньги не переводится. Половинным паем в "Империал стичинг" они с матерью владели, казалось, всегда. Он еще не привык к мысли, что теперь половина мистера Чака тоже принадлежит им.

— Он нам предлагает вдвое больше, — сообщила Бетти. — Редкостный куш. Миллион гиней[1].

Чтобы ничем себя не выдать, Чеп вновь принялся жевать, хотя уже чуть ли не давился. Как же противно толковать о фабрике и деньгах в обществе совершенно чужого человека — этого пролазы-китайца. От выражения "миллион гиней" в устах матери его просто передернуло, как передергивало от крепких ругательств, слетавших с языка у отца.

— И тебя это предложение привлекает? — спросил Чеп наконец.

Бетти покосилась на мистера Хуна, который уставился на нее, словно бы подстрекая окоротить сына.

— Тут не в предложении суть, — заявила мать. Отодвинув стул, она уже вставала. — Суть в цене. Расскажите ему, мистер Хун, а я пока отлучусь — схожу потрачу пенни.

Мистер Хун улыбнулся ей:

— Когда я все слажу, у вас пойдет счет уже не на пенни.

Чеп сощурил глаза.

— Простите, что вы сказали?

5

— Ну ладно, ты ему дал понять, что даже дослушать до конца не хочешь. Но зачем так грубо-то? Зачем сразу в штыки, а?

Тут Бетти прервала свою речь, чтобы набрать в рот воздуха и, округлив покрытые легким пушком щеки, подуть на свою чашку с "Майло"[2]. Они были уже дома — в Альбион-коттедже, на окутанном туманом Пике — и пили один из множества известных Вану горячих напитков, прежде чем по очереди посетить ванную и достать из сушильного шкафа (у матери и сына были отдельные полки) свои пижамы; этот ритуал отхода ко сну всегда вызывал у Чепа чувство неловкости, особенно после свиданий с Бэби или Мэйпин. Нет, он не чувствовал себя распутником или грешником, но у него появлялось ощущение, что он изменил матери, пренебрег ею. Когда какая-нибудь женщина стягивала с него джемпер, он порой говорил себе: "А ведь этот джемпер мать связала".

— Меня его предложение не заинтересовало, — сказал Чеп.

— А ты бы еще чуточку послушал.

— Я услышал все, что хотел.

В подобных ситуациях у него пробуждались неприятные воспоминания — он сознавал, что говорит отцовским голосом, и даже чувствовал себя тщедушным старичком, которого вечно пилит властная жена. Мать он любил и иногда жалел за малообразованность — бедняжка окончила всего четыре класса. Однако Чеп был просто вынужден проявлять здоровый эгоизм, чтобы не попасться в капкан сочувствия к матери с ее ранним горем — безвременной смертью Чепа Первого — и с ее нелепой

1. Гинея — зд.: разговорное название фунта стерлингов.
2. Витаминизированный растворимый напиток на основе какао.

заботливостью, которой она его сковала по рукам и ногам. Он часто замечал, что ее зловещие предостережения насчет местных женщин — дескать, все они одинаковы, все только о наживе думают — лишь распаляют в нем жажду, разжигают безрассудство. Вероятно, так вышло и с его отцом, если только можно верить маме-сан.

— А вот меня оно очень даже заинтересовало.

Бетти шумно отхлебнула "Майло" и, плотно сжав губы, пропустила жидкость через свои вставные челюсти, словно просто полоскала рот, не собираясь глотать.

— Такие деньги, — продолжала она.

— От добра добра не ищут.

— Ничего ты не понимаешь, — заявила мать. — Будущее колонии крайне сомнительно.

Чеп улыбнулся этой высокопарной фразе, которую произнесла мать, старуха с мокрыми от "Майло" губами.

— С будущим уже все ясно, мама. Будет Передача.

— А после Сдачи по-китайски — что? Невесть что начнется. Смешно даже — когда наш друг мистер Хун растолковывал мне свое предложение, я прямо обзевалась со скуки. А потом вдруг до меня дошло: он нам все равно что одолжение делает.

— Ничего себе одолженьице.

— Живые деньги, Чеп.

— Фирма процветает.

— Фабрика на ладан дышит.

Она говорила "фабрика", "цеха", "гоудаун"[1]; а он — "фирма" или просто "Империал". Восемь этажей: на трех жужжит оборудование и трудятся люди, еще один занят дирекцией, еще один этаж с зачехленными машинками — на замке, на остальных — склад, экспедиция, транспортный отдел.

— Теперь вся фирма наша. Благодаря мистеру Чаку. Разве это совсем ничего не значит?

— Все остальные швейники перебежали в Китай. Как нам с Китаем конкурировать?

— Через год этот город будет в Китае.

— Открыл Америку! — вздохнула мать. — Какой же ты... упертый, Чеп.

Он жестом взмолился, чтобы ему позволили договорить.

— Вот тогда мы и сможем конкурировать.

— Нам выдадут виды на жительство.

— У нас они и так есть, мама.

— Эти задрипанные птичьи права? Тоже мне документы. Я говорю о документах, где между строчек написано: "Большой Брат смотрит на тебя".

— Какая разница, что там написано? У нас еще и британские паспорта есть.

— Паспорт Великобритании — это разрешение на выезд. Захотят — возьмут их да отменят. Захотят — заставят нас принять кидай-катайское гражданство. — Бетти, шумно чмокая, набрала полный рот "Майло". — Очень даже логично. Как ты сам сказал, Гонконг будет в Китае.

— Ты говоришь, что согласна получить китайский паспорт?

1. Англо-индийское слово, заимствованное из малайского языка; обычно обозначает склад.

— Да я раньше удавлюсь. — Бетти вновь зачмокала, и Чепу показалось, что она сейчас извергнет напиток обратно: мать озиралась по сторонам, будто высматривая плевательницу. Но нет — проглотила все, как хорошая девочка.

— Ну продадим мы все мистеру Хуну. И что дальше? — спросил Чеп.

— Вернемся в Британию и найдем достойное жилье. Что-нибудь на побережье. Бунгало-шале. На условиях полноправного владения. И поновее.

Он снова почувствовал себя ее мужем.

— Там холодно и тоскливо.

— Дешево и привольно, — отрезала она. — И у нас будет — сколько там? — миллион гиней.

Слово "миллион" в устах его матери казалось полной нелепицей. Как только оно срывалось с ее языка, лицо у Бетти глупело. Чеп в принципе мог вообразить себя владельцем миллиона фунтов, но представить, как будет этот миллион тратить, не мог. На что такие деньжищи, собственно, тратят? На свете не было ничего такого — если не считать еще одной галунной фабрики, — что Чепу хотелось бы иметь, ничего, что обошлось бы в миллион фунтов. Ну купят они новый дом с центральным отоплением, новую машину, новый телевизор, ящик копченой лососины и прочие предметы роскоши, которые приобретают люди; все равно деньги останутся, еще несколько сот тысяч — и куда их, скажите, девать?

— Живые деньги нам не нужны, — заявил Чеп. — Все долги погашены. С такой фирмой, как "Империал", мы куда богаче.

— В Гонконге?

— Разумеется.

— Чеп, у гуэйло здесь будущего нет, — заявила мать. — Вот почему я говорю: надо брать миллион.

Брать миллион! Чепу вновь показалось уморительным то, что его мать запросто разглагольствует о миллионах — та самая женщина, которая, рискуя попасть под машину, выискивает в урнах трамвайные билеты; отпаривает с конвертов нечетко погашенные марки, чтобы использовать еще раз, да и старые конверты тоже идут в дело; облизывает крышки банок с вареньем, а сами пустые банки служат вместо стаканов; веревочки собирает так же прилежно, как ее покойный муж, от которого она и переняла эту привычку; хранит отмытые дочиста бутылочки от соусов, а свое изношенное фланелевое белье пускает на тряпки — Чепа всю жизнь коробит, что Ван вытирает пыль панталонами его матери. Произнося "миллион", она казалась легковерной дурехой.

Тем паче что люди, которые употребляют слово "гинея", в жизни не имели миллиона чего бы то ни было — даже миллиона пенсов. Слыша из уст матери "миллион", Чеп только отчетливее чувствовал: перед ним простушка Бетти Маллерд из Болхэма, которая до сих пор сгорает со стыда, вспоминая, что после визита угольщика оставила Джорджу записку: "Угол при весли".

— Пораскинь мозгами, — заявила Бетти.

— Мне его афера сразу не понравилась.

— Он все продумал.

— С первого взгляда ясно — дело скользкое.

— Больно уж косо ты на него смотрел.

— Потому что он мерзавец.

— Откуда ты знаешь? Ты его впервые в жизни видел.

Было слишком поздно признаваться, что он видел Хуна не впервые в жизни и что из их беседы, начавшейся по инициативе Монти, ничего хорошего не вышло.

— Изъясняется он как культурный человек, — продолжала мать.

"Вот тоже нашлась судья, — подумал Чеп, — сама из простых, а об аристократическом акценте рассуждает, как настоящий сноб". Однако это было в ее духе и очень по-английски, под стать ее собственноручно связанной кофте, под стать манере невольно присвистывать и прищелкивать вставными челюстями. Над простонародным выговором обычно насмехаются продавщицы: одержимые самоуничижительным снобизмом, они презирают сословие, к которому принадлежат, чтобы хоть в этом приблизиться к напыщенным покупателям своих магазинов.

В таких случаях Чепу вспоминалось, что его отец познакомился со своей будущей женой в Магазине армии и флота на Виктория-стрит. Бетти стояла за прилавком в галантерейном отделе. Ее мать была из почти нищей семьи, а предки по отцовской линии — потомственные "господские слуги". Папаша, заядлый картежник, не вылезал из долгов; Бетти именовала его возвышенно — "джентльменом при джентльменах". Он занимался чисткой серебра — тщательно драил его особой пастой. "Белые перчатки носил". Впрочем, все это было пустое хвастовство. Как-то раз, рыдая, Бетти поведала сыну, как бедняга, доведенный до отчаяния карточными проигрышами, бродил по улицам южного Лондона, пытаясь набраться решимости и покончить с собой. Однако, так и не наложив на себя руки, он вернулся домой в Болхэм, весь посерев от безысходности, еще острее чувствуя себя неудачником. "Но изъяснялся он как культурный человек". При одном только упоминании о дедовой манере выражаться Чеп вскипал и еле удерживался от искушения перейти на язык кокни.

— Мистер Хун — не чета нашим местным кидай-катайцам.

— Ну и что? Мистер Чак был местный.

— Мистер Чак был джентльмен, — провозгласила мать.

Этого статуса их компаньон-китаец удостоился лишь посмертно.

— И очень щедрый человек, — продолжала она. — Съешь еще овсятку, Чеп.

— Я уже сыт. Кушай, мам, на меня не гляди.

— Я свою меру знаю, — заявила она.

Значит, вопрос закрыт? Но нет. Чепа насторожило, что она перестала толковать о предложении Хуна — значит, еще много чего имеет сказать, но решила выждать: до завтра, до будущей недели, до следующего месяца, до китайской Сдачи. Она хочет "миллион гиней". И ради этих денег всю душу из него вынет. В болтливость она впадает от растерянности; когда же мозг у нее пухнет от множества путаных мыслей, Бетти, полностью утратив мыслительные способности, погружается в загадочное — а иногда даже агрессивное — молчание, словно это Чеп виноват, что у нее голова кругом идет. Чеп почувствовал усталость. Когда он наедине с матерью, она из него все жизненные силы высасывает.

Так закончился еще один вечер: пустые разговоры, "Майло", ванная, сушильный шкаф, постель.

На следующий день, в субботу, мистер Хун пригласил Бетти и Чепа к себе домой, в квартиру в центре Коулуна. Он им хочет кое-что подарить, сообщил он. "Это по пути к вашему зданию".

Чеп отказался наотрез, но мать стала настаивать. "Это же по дороге на фабрику". Чепу все равно нужно было на "Империал" за почтой. "Если уж человек тебе что-то дарит, нельзя швырять ему подарок в лицо".

— Я один съезжу, — заявил Чеп. Он чувствовал, что мать уже проявила чрезмерную уступчивость, и хотел показать мистеру Хуну: его лично предложение о покупке "Империал стичинг" ничуть не впечатляет.

Сколько Чеп себя помнил, местные китайцы никогда никого не приглашали в гости. Жители Гонконга встречались в ресторанах, а свои дома окружали тайной. Почему — потому ли, что твой дом и обстановка слишком много о тебе говорят? Или из-за беспорядка: домочадцы все как один в пижамах, шаркают шлепанцами, истошно орут друг на друга — и тут же шумные соседи, убогий быт?

Как бы то ни было, Чеп согласился заехать к Хуну прежде всего из любопытства: хоть какое-то разнообразие. Кстати, мистер Хун не соврал: его квартира действительно была Чепу по пути, в десяти минутах пешком от "Империал".

Мистер Хун принял Чепа в своем элегантном костюме с нашитым на рукав лейблом. Жил он на восьмом этаже в доме неподалеку от Эргайл-стрит. Из одного окна Чеп увидел Гонконг и горную гряду за трамвайной линией Пик—Пристань, где под сенью небольшой рощицы ютился Альбион-коттедж; за противоположным окном, величественное, как древний памятник, возвышалось здание "Империал стичинг". Прямо над фабрикой пролегал "воздушный коридор" аэропорта Кай Так.

— Чаю?

— Нет, спасибо. Надо бежать. Вы говорили, у вас что-то есть для моей мамы?

— И для вас.

Когда мистер Хун вышел из комнаты, Чеп обрадовался — ему хотелось хорошенько рассмотреть обстановку. Когда на "Империал" приезжал заключать договор новый заказчик, Чеп частенько посылал мистера Ву на автостоянку поглядеть машину гостя — марка, год выпуска, внешний вид? По автомобилю человека, будь то англичанин или китаец, можно составить достаточно точное представление о его характере.

В квартире мистера Хуна Чепа весьма озадачили белые мохнатые ковры — последний крик моды двадцатилетней давности, а также застекленная горка в гостиной, заполненная фарфоровой посудой: синие фарфоровые миски, суповые ложки того типа, что больше напоминают рожки для обуви. Когда Чеп подошел к горке по неровному полу, все ее содержимое зазвенело. На верху китайского буфета, похожего на алтарь, — совершенно дурацкие часы: подделка под Францию, эрзац-деревянный корпус на львиных лапах, покрытых эрзац-позолотой, идиотское тиканье. На стеклянном журнальном столике — пепельница. Рядом с ней — спичечный коробок с надписью "Толстячок". На дне пепельницы значилось "Золотой дракон". Какая изысканность манер: Хун спер пепельницу из коулунского ресторана!

Чтобы подковырнуть мистера Хуна, Чеп заметил:

— Мистер Чак там обычно обедал.

— Рад знать, что вам это известно, — отозвался мистер Хун. Намек Чепа его ничуть не задел. Напротив, он был, похоже, искренне польщен.

Краденые спички и пепельница еще больше усиливали впечатление безликого убожества, но Чеп почувствовал, что заглянул в душу мистера Хуна, и, чтобы увидеть побольше, спросил:

— Разрешите воспользоваться вашими удобствами?

Даже тут — на полу белый мохнатый ковер. Крышка унитаза опущена. Одно из предписаний геоманта мистера Мо гласило: держи унитаз закрытым, иначе животворная энергия ци покинет здание через слив.

Вернувшись в гостиную, Чеп обнаружил, что мистер Хун уже разложил подарки. Эти дешевенькие мелкие презенты вовсе не требовали чем-то отблагодарить дарителя; по китайским обычаям их следовало понимать в чисто ритуальном смысле, как знак щедрости.

Корзина с фруктами, содержащая, помимо всего прочего, лонганы, личжи и манго, — очень мило, но Чеп сказал себе, что мог бы купить все это и на рынке. Засахаренные сливы. "А это что?" — поинтересовался Чеп. "Холодные закуски-ассорти", — пояснил мистер Хун. Мать к ним и на милю не подойдет. Вышивка шелковыми нитками — изображение котенка — в огромной ромбовидной рамке, запечатанной в пластик. Зонтик. Пара наволочек. Термос. Мазь "Оленьи панты". Чай "Лун-Цин" в расписной жестяной банке веселенькой расцветки. Бутылка ликера "Мао тай" в деревянном ящичке с откидной крышкой.

Из всего этого явствовало, что Хун скареден, причем скареден даже не нарочно, а по неискоренимой привычке. Чеп изобразил на лице удивление и радость — он-то знал, что Бетти такие подарки только взбесят. Все эти грошовые приношения лишний раз доказывали Чепу, что мистер Хун не заслуживает доверия. В тот же вечер он принес их в двух пакетах домой.

Мать заявила, что дорогие подарки были бы гораздо подозрительнее — вот уж что точно не в китайском стиле.

— Посмотри еще, подумай, — сказала она.

— Я все равно не согласен, — стоял на своем Чеп.

В понедельник утром мистер Хун позвонил Чепу на фабрику.

— Хочу спросить: вы сегодня вечером свободны? Пропустим по рюмочке?

— По понедельникам я в Крикет-клубе не выпиваю, — ответил Чеп.

— Я надеялся, что мы могли бы найти местечко повеселее. Как насчет "Киски"?

— Извините, — отрезал Чеп.

Зачем это Хун приплел к разговору "Киску"?

На той же неделе, как-то после окончания рабочего дня, Мэйпин тихонько поскреблась в дверь кабинета Чепа. Она была в голубой кофте, пушистой, свободного покроя, — ангора, наверное, — и Чепу ужасно захотелось эту кофту погладить. Мэйпин нежно улыбалась.

— Я просто сказать спасибо, — произнесла она.

Чеп попятился, убрал руку в карман. О чем это она?

— За кофту, — докончила она.

А Чеп уставился на кофту, потому что в гардеробе Мэйпин таких дорогих вещей еще не бывало и потому что он этой кофты Мэйпин не дарил.

Она смущенно рассмеялась:

— Тот китаец сказал: это ваша идея. Сделано в Китае, — Мэйпин профессиональным жестом провела пальцем по швам, ощупывая стежки. — Хорошая работа.

Значит, кофту ей подарил Хун и тем самым дал Чепу понять, что знает об их связи — их встречах после работы, тайно распиваемых бутыл-

ках, соитиях украдкой, — но как он докопался? И какой мерзкий способ оповестить, что твоя тайна уже не тайна: ведь Чеп не может сказать Мэйпин правду, не может ее предостеречь, а то она до смерти испугается этого пронырливого мерзавца.

Она стояла в своей новой кофте на пороге его кабинета, и Чеп запаниковал, осознав, что его тайну кое-кто знает и что этот "кое-кто" — мистер Хун.

— Вам меня?

— Нет, — выпалил Чеп. — Пожалуйста, уйдите.

— Спасибо еще раз, — проговорила Мэйпин, окончательно испортив ему настроение. Чепу захотелось ее обнять, но он чувствовал на себе взгляд мистера Хуна.

Чепа потянуло выпить. В тот же вечер он отправился в "Бар Джека" и влил в себя сразу две порции виски. А затем увидел в зале филиппинку Бэби и ее подругу Лус. Чего, спрашивается, этим красоткам не сидится на их положенном месте — в "Киске"?

— Мы пресредоваем тебя, — сказала Лус.

А Бэби заявила:

— Наверно, я тебе больше не нравлюсь.

— У меня много забот, — сказал Чеп.

— Все мы не ангелы (это слово она выговаривала как "анхелы"). Так танцуй со мной, Невилл.

Когда это он открыл Бэби свое настоящее имя? Ведь он из принципа всегда представляется выдуманными именами. Это вторжение в его частную жизнь насторожило Чепа. Правда, еще две порции виски загасили беспокойство. Но впереди его ждал сюрприз — попытавшись расплатиться за виски, он услышал, что с него ничего не причитается.

— Вас друг заплачил, — сообщила Лус.

И, расхохотавшись, пошла танцевать с Бэби. Чеп отвлекся от своих тревог, не без изумления наблюдая за их жеманными движениями. Но вскоре его вновь обуяла паника. Какой еще друг?

По-видимому, мистер Хун знает его маршруты, его подружек, его любимые бары. Когда в тот вечер он вернулся в Альбион-коттедж, мать — как всегда, когда он задерживался, — уже стояла на посту, заполняя собой дверной проем.

— Почему ты на меня так смотришь?

— У меня пастилка от кашля в горле застряла, вот и все.

Сдвинув вбок вставную челюсть, мать состроила гримасу.

— Красивый джемпер, — заметил Чеп.

— Наш друг подарил.

— О господи, — вырвалось у Чепа. Его мутило.

— Сейчас орать начнешь? Так я и знала, — проговорила мать. Затем со вздохом добавила: — Придержи-ка язык! Я считаю, что с этим человеком можно иметь дело.

6

В четверг вечером, как обычно, Чеп отправился в Крикет-клуб — поиграть в боулинг, а заодно обсудить свою проблему с Монти. Но говорить с ним следовало обиняками. "Есть у меня один приятель, так вот, он все гадает, что будет после Передачи..." Вообще-то разговоров на эту тему

Чеп никогда в жизни не поддерживал — что толку? О Передаче всякий имел свое мнение, но никто не мог однозначно сказать, чем она обернется. А поделать ничего нельзя — она надвигается, словно предсказанный синоптиками атмосферный фронт, который скоро накроет Гонконг. Причем тут перемена необратимая: тучи придут, но не уйдут. Климат в Гонконге изменится раз и навсегда.

— Вечер добрый, сквайр.

Не дожидаясь, пока Чеп откликнется, Монти кого-то поманил рукой. На миг Чеп испугался, что поверенный опять подзывает этого гнусного Хуна. Но нет — на зов Монти явился странновато одетый американец: дорогой костюм, ковбойские сапоги, ремень с огромной серебряной пряжкой, голубая рубашка, крикливый шелковый галстук.

— Вот, Невилл, хочу тебя познакомить с Хойтом Мэйбри. Это мой коллега, только что приехал из нашего сингапурского офиса меня навестить.

— Здравствуйте, — произнес Чеп. Обнаружив, что рукопожатием его не удостоили, Хойт Мэйбри сжал пальцы в кулак.

— У Невилла фамильное дело.

— И какое же?

— Швейно-текстильное, — сказал Чеп.

— Мы создали ряд успешных совместных предприятий, — сообщил Хойт. — В области текстиля Китай совершил настоящий скачок. Речь о продукции высочайшего класса. Лучших брэндах. И все это проплывает мимо Гонконга.

— Потому что мы не используем детский труд, — сказал Чеп.

— Секундочку, — возразил Хойт, заметив, что Монти засмеялся. — Я хочу ответить.

— Не стоит, я все это уже слышал, — сказал Чеп. — Знаю я вас, янки!

Монти обернулся к Хойту:

— Он вас дразнит.

— Гонконг — случайный огрех истории, который вскоре будет исправлен, — продолжал Хойт.

— В качестве британской колонии Гонконгу жилось прекрасно, — сказал Чеп.

— Куда уж прекраснее. Никаких выборов. Никакой демократии. Однокашник однокашника поддерживает — только по знакомству все и делается, — не унимался Хойт. — Не надо мне ничего рассказывать.

Чеп продолжал:

— Здесь была свобода. Свобода жить или умереть, свобода в духе "выживает сильнейший", но толк от нее был, и ничего лучшего не смогут сделать ни китайцы со всеми их чертовыми полицейскими, ни вы, американцы, со всей вашей ханжеской болтовней насчет демократии.

— Китайцы — чудной народ, — сказал Хойт. — Я их вот как воспринимаю: что бы ты ни делал, они вечно держат фигу в кармане. Вот вам, в принципе, вся китайская философия — фига в кармане.

— Хойт во многом прав, — заметил Монти.

Хойт улыбнулся Чепу:

— И давно вы здесь?

— Я здесь родился, — проговорил Чеп и, игнорируя американца, обернулся к Монти: — Одному моему приятелю некий китайский чиновник предложил сделку. Всех подробностей я не знаю...

— Да они тут не важны, — затараторил Хойт. — Просто рассчитывайте на быстрые и грязные деньги, с поправкой на большую вероятность подставы.

— Простите? — и Чеп вновь обернулся к Монти: — Ситуация такая. Земельный участок моего приятеля стоит семь миллионов. Ему предложили учредить зарубежную фирму, через которую и будут производиться расчеты. Цена продажи оговорена заранее — девять миллионов. Китайский чиновник платит девять миллионов из средств своего министерства. Деньги переводятся на счет новой фирмы. Продавец — этот мой приятель — получает семь миллионов плюс еще кое-что наподобие комиссионных, примерно около миллиона.

Монти выслушал, не моргнув и глазом; зато Хойт Мэйбри заулыбался.

— Ты когда-нибудь слышал о таких сделках? — спросил Чеп.

— А разве другие бывают? — воскликнул Хойт.

Чепа это задело; он устыдился своей наивности. Но, по крайней мере, он не выдал себя, свалив все на выдуманного приятеля. Сохранил тайну.

— Сейчас живых денег просто море, ликвидность бешеная, — сообщил Хойт. — На инвестиции в Китай специально выделено двадцать пять миллиардов. Тут и американцы участвуют, и транснациональные компании.

— Мой приятель пока колеблется, — проговорил Чеп и заглянул в лицо Хойту. — Он говорит, что хотел бы здесь еще пожить.

— Умные деньги уезжают, — заметил Монти.

— Я хочу посмотреть, что будет, — сказал Чеп.

— Будет бум, — сообщил Хойт.

— Я вам скажу, что будет, — заговорил Монти. — Китайская Народная Республика начнет исподтишка, постепенно затягивать петлю. Поглядите, что делается в школах, что говорят детям об англичанах. Думаете, им там будут расписывать достоинства британского колониализма? Нет, им будут вдалбливать официальную китайскую версию всемирной истории. Рассмотрим иммиграцию. Кто получит вид на жительство? Только те, кто нужен китайцам. Остальных — взашей. Чтобы заниматься бизнесом, нам всем понадобятся разрешения на работу — специальные такие бумажки. Аннулировать их ничего не стоит.

— Всех подозрительных они вышлют, — подхватил Хойт.

— Это и к вам относится, — заметил Чеп, — и ко всем американцам вообще.

— Хойт не американец, — сообщил Монти.

Словно декламируя стишок, ибо он явно повторял эту фразу уже не впервые, Хойт пояснил:

— Я не американец, но я из Америки.

— Что это значит? — осведомился Чеп.

— Отказался от гражданства.

— А как вам это удалось?

— Легко. Пошел в американское консульство. Подал заявление. Вернулся домой. На следующий день опять пошел в консульство, подписал "Клятву об отказе". Сдал паспорт, — Хойт засунул большие пальцы под ремень. — На том и разбогател.

— Я никогда не отрекусь от Великобритании, — произнес Чеп.

— Или взять моих партнеров по фирме, — вставил Монти. — Квок — канадец. Лум — подданный протектората Тонга. Левин — гражданин Каймановых островов. Да хоть здесь, прямо в этом зале погляди по сторонам — кто белизец, кто панамец, кто вообще с Кабо-Верде.

Чеп невольно осмотрелся. И узрел вокруг только англичан — по большей части знакомых. Вот это новость...

— У меня паспорт Гвинеи-Бисау, — продолжал Хойт.

— Господи, а где это?

— Недалеко от Кабо-Верде, — пояснил Хойт. — Если не врут.

— Ага, государство с черным лицом. Значит, вы черномазый.

— Полегче! — воскликнул Хойт.

— А ты, вероятно, израильтянин, — сказал Чеп Монти, зная, что тот — еврей.

— Австриец, — поправил Монти, отхлебнув пены из своей глиняной кружки. — Здешний австрийский консул предложил. По собственной инициативе. Ему известно прошлое нашей семьи. — Монти слизнул с верхней губы ошметок пены и с серьезным видом добавил: — Я воспринял это как акт искупления грехов с их стороны.

— Монти, ты что же это, перец-колбаса?

— Австрийцев так не называют, — возразил Монти. — Ты нас с немцами перепутал.

— А разве страна не одна и та же?

Чеп был в шоке — ведь Монти всегда с такой любовной интонацией говорил о своем отце, лечившем бедняков в Уайтчепеле, и его бескорыстной преданности пациентам, о своих студенческих годах в Лондонской школе экономики, об офисе на Чэнсери-лейн. Лондонец до мозга костей, господин в котелке и с туго стянутым ремешками зонтиком — вот как Чеп воспринимал Монти, а себя самого считал англичанином колониального розлива, так как мог похвастаться лишь аттестатом зрелости гонконгской средней школы Куинс-колледж.

— Ничего общего, — заявил Монти, вновь поднося к губам глиняную пивную кружку. — Я из старинной династии венских интеллектуалов.

Чеп заключил, что виноват тут не Монти, виноват Гонконг — город, обрубающий у людей корни, заражающий их себялюбием и высокомерием, алчностью и бесхребетностью. Его родная мать и та не устояла. И Чеп ничего говорить не стал. Окинул взглядом зал Крикет-клуба и понял, что все эти люди сбегут при первых же признаках опасности.

— Если твой приятель надумает насчет сделки, скажи, чтобы связался со мной, — сказал Монти.

— Или со мной, — вставил Хойт.

"Какой приятель?" — чуть не сорвалось с языка у Чепа, но он вовремя спохватился.

Вернувшись в тот вечер в Альбион-коттедж, он увидел, что мать выставила на стол корзину с фруктами. Отчего, интересно, у нее такое сияющее лицо? Фрукты — они фрукты и есть. Назавтра на фабрике Мэйпин тоже принесла ему в кабинет корзину с фруктами. Очередную. На сей раз — с японской мушмулой, лонганами, мангустанами и киви. Красивые пальцы Мэйпин крепко стискивали ручку корзины.

— Человек дает это вам.

— Что за человек? — Чеп развернул записку, приклеенную к корзине скотчем. "Позвоните, пожалуйста".

— Из Китая, я думаю. Я его не знаю.

— Но он вас знает?

— Может быть.

Чепа взбесило это уклончивое "может быть", означавшее, что просьбу автора записки придется исполнить.

Провожая Мэйпин взглядом, он вновь ощутил, что возбуждается. В манере уходить, свойственной как ей, так и почти всем женщинам на свете, сквозила какая-то поразительная невинность: женщины всегда казались несколько беспомощными, неуверенными, робкими. Мужчины по большей части удаляются враскачку, словно в любой момент готовы обернуться, презрительно ощерить зубы; но женщины всегда как бы спешат убежать. У Чепа часто возникало безотчетное желание схватить уходящую за худые плечи и повалить на пол; он ненавидел себя за эти фантазии, больше подобающие какому-нибудь насильнику-психопату.

Когда в то же утро он позвонил мистеру Хуну, тот мгновенно взял трубку, судорожно схватил — вот именно схватил, словно всю неделю держал над телефоном руку в ожидании звонка.

— Вэй! — впопыхах произнес Хун на родном языке, а затем добавил: — Да?

— Я бы хотел с вами повидаться по одному делу, — сообщил Чеп, надеясь навязать Хуну свои правила игры.

— Большое спасибо, что перезвонили, — ловко увернулся мистер Хун. — Я так рад, что вы получили мою записку.

— У меня не очень-то много времени, — прервал его Чеп.

— У меня еще меньше, — отозвался мистер Хун. — Допустим, в клубе в шесть?

— В Крикет-клубе?

— В "Киске", — отрезал мистер Хун и положил трубку прежде, чем Чеп успел возразить.

Чеп и сам не мог бы сформулировать, чем его так напугала перспектива увидеться с мистером Хуном в подобном месте. И все же сердце у него екало. В "Киску" он явился, снедаемый чувством своей беззащитности. Мистер Хун, напротив, был сама бодрость и учтивость. Ага, вот в чем штука: в самоуверенности этого типа, а также в том, что он уже втерся в жизнь Чепа — великолепно поладил с матерью, свел знакомство с Мэйпин, мамой-сан, Бэби и Лус. Да и с Монти они, верно, закадычные приятели. Таким-то образом мистер Хун и обрел власть над Чепом.

Встретились они случайно еще на улице, у двери клуба, подле которой находился красный ящик-кумирня со злорадно ухмыляющейся богиней-дьяволицей, подсвеченной двумя красными лампочками. Мистера Хуна богиня не заинтересовала, но Чеп при ее виде, как всегда, внутренне поежился. Мама-сан провела их в кабинку в дальнем зале. Мистер Хун держался в "Киске" как завсегдатай. Он поздоровался с барменом Венделлом, а тот, прежде чем отвернуться к телевизору, радушно помахал Хуну рукой. Это тоже насторожило Чепа. Девушки держались поодаль — видимо, Хун с ними об этом договорился заранее.

— Выпьем? — спросил мистер Хун.

— Мне — ничего, — заявил Чеп. — И никакие подарки мне больше не нужны, так что, пожалуйста, перестаньте их присылать.

Лицо мистера Хуна было скрыто тенью, но Чепу почудилось, что китаец мрачно улыбнулся, отвечая:

— Я пригласил вас встретиться со мной здесь именно потому, что для вас больше нет подарков.

Чеп, заранее отрепетировавший сцену отказа от даров, опешил.

— Да и ценными их, честно говоря, не назовешь, — тем не менее сказал он. — Фрукты были помятые, да и, как ни странно, у нас в хозяйстве уже есть один или два термоса.

Мистер Хун сказал:

— Думаю, вы согласитесь, что мне лучше пропустить мимо ушей то, что вы сейчас сказали, — и его улыбка, точнее, ухмылка сделалась очень зловещей. Но что он может сделать Чепу, этот заезжий китаец?

— Послушайте, — заговорил Чеп. — Мы вполне довольны нашей фирмой и участком, который она занимает. Мы не намерены ничего продавать.

— Это я знаю, — отозвался мистер Хун. — Но есть несколько моментов, которых не знаете вы.

Музыка в клубе играла, пожалуй, слишком громко. Она раззадорила Чепа, и он даже начал подумывать, не наорать ли на мистера Хуна так, как орал сейчас певец.

— Первое: если вы не продадите, через год вы будете уже не так довольны.

— Вам, значит, это наперед известно?

— Да. В моей власти будет сделать так, чтобы вы не были довольны.

Предчувствия Чепа оправдались: мистер Хун явился сюда, чтобы его запугать. Чеп весь затрясся, взбешенный наглостью этого китайского агрессора.

— Даже слышать не хочу, старина.

— С вашей стороны было бы умнее выслушать.

— По английским законам угрозы — это преступление. Стоит мне только вызвать сюда констебля из Лай Чжи Кока, и вас упрячут в каталажку.

— Не думаю. В конце концов, мы в клубе, где вас хорошо знают как пьяницу, если не похуже. Вы хотите, чтобы об этом везде стало известно?

— Вы пытаетесь меня шантажировать.

— Ничуть, — возразил мистер Хун. — После тридцатого июня будущего года я буду в Гонконге в официальном качестве, то есть с целью приобретения земельных участков, отвечающих стратегическим интересам Народно-освободительной армии. В будущем году это будет не предложение, а приказ, распоряжение, которому вы подчинитесь.

Издевательская музыка все гремела, в зале начали танцевать — проститутки и гуэйло, Бэби, Лус, другие девушки.

— Я рискну, — отрезал Чеп.

— Цена будет гораздо ниже. Мы сами оценим стоимость вашего участка.

— Мне-то что.

— Продажа будет принудительной, согласно директиве военных властей. По фиксированной цене. Возможно, мы решим расплатиться с вами в ренминби[1]. Вы сможете потратить их в Китае — и больше нигде.

Чеп повторил:

— Вы мне и вправду угрожаете.

— Я предсказываю вашу судьбу, — парировал мистер Хун.

1. Валютные сертификаты, выпускавшиеся в КНР. Не подлежат конвертации в иностранную валюту. С 1994 года постепенно выводятся из обращения.

От этой фразы Чеп так и обмер. Теперь, сжимая и разжимая кулаки, он жалел, что отказался выпить.

— Если вы не согласитесь на солидную прибыль сейчас, в твердой валюте, на будущий год вы получите намного меньше и в юанях. Так или иначе вы продадите участок — сейчас по доброй воле или через год под нажимом. Выбирать вам не из чего. Вопрос только во времени. Рис сварился.

— А по-моему, вы блефуете. Как я проверю, что вы действительно высокопоставленное лицо?

— Вместо того чтобы наводить справки обо мне, задумайтесь, как много я знаю о вас, — сказал мистер Хун. — Я знаю о ваших отношениях с Мэйпин и филиппинкой. Венделл — так называемый евразиец.

— Это-то здесь при чем?

Хун продолжал:

— Я показываю вам, что у меня широкие знакомства. Я также знаю, что у вас есть отдельный банковский счет, о котором не подозревает даже ваша мать. Я знаю, сколько на нем денег. Я знаю, что вы снабжаете некоторые свои изделия фальшивыми ярлыками...

— Так все делают, — вставил Чеп, надеясь заткнуть собеседнику рот.

— А полученный доход присваиваете, что означает нестыковки в ваших налоговых отчислениях. В английскую казну, конечно. Но в будущем году это будут налоговые отчисления Китаю. В Китае мошенничество — преступление против народа. Мошенников судят скорым судом и казнят выстрелом в затылок. Мне продолжать?

— Не утруждайтесь зря.

— В будущем году вы на коленях будете просить, чтобы мы купили вашу фабрику.

Мистер Хун почти убедил его. Познания этого субъекта привели Чепа в ужас.

Чеп заметил:

— В будущем году вы ничего не сможете выгадать.

— Как и вы, — отрезал мистер Хун. — Понимаете, почему нам так важно стать партнерами?

— Я не хочу быть вашим партнером. Вы мне не нравитесь. Сказать по чести, я вас ненавижу, — заявил Чеп. — Вы грязная свинья.

Тут Чеп уже совершенно определенно почувствовал, что мистер Хун улыбается.

— Это не важно, — проговорил китаец. — Ваши рабочие вам, наверное, тоже не нравятся. Но они делают свою работу, и вы им платите.

Он выразил именно то, что Чепу частенько приходило в голову, а его мать провозглашала во всеуслышание. Откуда только мистеру Хуну известно такое?

— Женщина, с которой вы занимаетесь сексом, — это та, которая вам нужна, а не та, которую вы любите, — продолжал мистер Хун.

И вновь он словно заглянул в душу Чепа; тому стало стыдно и страшно.

— Я говорю вам, что я вам нужен, — заключил мистер Хун.

— И я вам — тоже!

Услышав вопль Чепа, мистер Хун резко склонил голову набок, и на его лицо упал узкий луч прожектора, освещающего танцпол. При виде улыбающихся губ Хуна — самой отвратительной черты его лица — у Чепа что-то оборвалось в груди.

— Подумайте о себе.

Эту фразу повторяли все. Но тут ее произнес человек совсем невиданного сорта. Впервые в жизни Чеп услышал эту суровую истину из уст китайца, который утверждал, будто является представителем властей.

— Здесь у вас будущего нет.

Предсказание показалось Чепу не очень убедительным. Но фраза китайца возбудила в Чепе иное, неодолимое чувство — чувство уверенности, что в следующем году и вообще в будущем таких Хунов станет хоть пруд пруди: все они будут улыбаться, докучать, угрожать, намекать, проводить в жизнь законы — все эти новые статьи насчет подрывной деятельности и измены. Вот оно, будущее Гонконга — китайская система угроз, взяток и плутовства, передаваемые шепотом слухи о гибельных последствиях, которыми чреваты визиты в "Киску" и прочие сомнительные заведения. По сравнению со старыми новые порядки изменятся мало — вот только сам Чеп окажется уже не британским гражданином в британской колонии, а британским гражданином в "особом административном районе" Китая. Дважды гуэйло.

Чеп посмотрел на человека, сидящего напротив него в полутемной кабинке. Подсвеченное неверными огнями "Киски" лицо мистера Хуна походило на злобную рожу богини-дьяволицы в красном ящике у входа — в кумирне мамы-сан, с яркими фруктами в чаше для подношений. В будущем году людей-дьяволов, подобных мистеру Хуну, станет больше, и Чеп знал, что этого не вытерпит и захочет уехать куда глаза глядят.

Чеп сказал:

— Мне надо спросить у матери.

— Ваша мать уже согласилась на все условия.

Да, и в ней Хун тоже не ошибся.

Чеп выбежал из "Киски". С проституткой он на людях показался бы не задумавшись, но если его увидят уходящим вместе с мистером Хуном... Нет уж!

Монти, казалось, ничуть не удивился, когда Чеп оповестил его о своем решении. Собравшись в конференц-зале офиса "Бриттейн, Квок, Лум и Левин" в Хатчинсон-хаусе, партнеры учредили холдинговую компанию на Каймановых островах. Фирму нарекли "Полная луна", поскольку день ее основания совпал с полнолунием в Коулуне. Сошлись на том, что продажная цена "Империал стичинг" — девять миллионов гонконгских долларов: семь миллионов выплачиваются за землю, а два надлежит разделить поровну между мистером Хуном, с одной стороны, и матерью и сыном Маллердами — с другой.

— В целом выходит восемь, сквайр.

— Только рабочим не говори, — попросил Чеп.

7

Едва согласившись продать "Империал стичинг" мистеру Хуну, Чеп раскаялся в своем решении. На душе у него кошки скребли. Конечно, тут пахло огромными деньгами, но разве деньги в жизни главное? Чепа не утешало даже слово "миллион". При мысли о костистом лице мистера Хуна и его кривой усмешке у Чепа все внутри обрывалось; Хун мерещился Чепу таким, каким предстал перед ним в кабинке бара: глаза, скрытые зловещей тенью, мстительный прищур китайского идола. Но этого идола не улестишь зрелым апельсином или связкой тлеющих благовонных

палочек. "Делай, как я велю, или тебе конец" — вот каков был девиз мистера Хуна. Всё решили не деньги, а угрозы.

"У меня не было выбора", — вновь и вновь твердил себе Чеп.

Казалось, еще до начала каких бы то ни было переговоров Хун считал себя владельцем фабрики и не признавал иных вариантов, а Чепу оставалось лишь смириться и отдать фабрику. Но мысль, что мистер Хун вынудил его на этот шаг, бередила Чепу душу.

Зато Бетти радовалась — но от этого, как ни странно, Чепу становилось лишь тоскливее. Радовалась она не только деньгам — "миллиону гиней", но и тому, что, продав фабрику, наконец-то сумела расквитаться с мужем — с постылым мужем, как наконец-то понял Чеп. Ее слова "А я, наоборот, в вину ему ставлю" не шли у Чепа из головы.

Ее недоверие к Чепу, ее докучливая опека — все это объяснялось тем, что он очень походил на отца. Теперь Чеп понял, как жилось его отцу, какую обиду затаила на отца мать. Она не могла простить Джорджу ни его интрижек со швеями-китаянками с фабрики, ни предосудительных связей с филиппинками-официантками, ни тайных визитов в "курятники" и "гнезда фениксов", массажные салоны и "синие отели", ни состряпанных на ходу отговорок. Интересно, а насчет мамы-сан она тоже знает?

— Он меня за дуру держал, — твердила Бетти.

Возможность получить крупную сумму наличными вселила в нее отвагу, разожгла мстительность. Кредит, процентные выплаты, "бумажная прибыль"[1], даже строчки цифр, отпечатанные на страницах банковской книжки, — все эти премудрости так и остались выше ее понимания, но образ лежащего в сумочке кирпичика — оклеенной коричневой липкой лентой пачки розовых банкнот Гонконгско-Шанхайского банка, пахнущего свежей типографской краской денежного брикета трехдюймовой толщины — вселял в нее ощущение силы и даже словно бы возвращал здоровье. "Вот что мне нужно, Чеп, — маленький знак внимания от сэра Гоншанбанка".

— Да, он ни одной юбки не пропускал, дорогой мой муженек, — говорила она. — Гулял напропалую.

Чеп молчал, а сердце у него болезненно сжималось. Говоря об отце, она имела в виду и самого Чепа.

На сделку с мистером Хуном Бетти согласилась охотно. Ее-то убедили безо всяких угроз, она даже благодарна китайцу за приятный сюрприз. Возможно, она права. Но Чепа все равно нервировал этот скользкий, бойко лопочущий по-английски тип с континента — с какого боку ни взгляни, все равно монстром кажется. Нельзя, кстати, забывать, что мать пошла на сделку прежде всего из мести мужу — правда, сама бы она в этом никогда не призналась, стала бы возражать, что мужа любила, — а также ради денег, хотя никогда не знала, что с деньгами делать.

Самые фантастические представления о деньгах — у последних бедняков. Девушки из баров имели обыкновение требовать — если уж дело доходило до требований — чуть ли не луну с неба. "Мне надо десять тысяч", — как-то объявила Чепу Бэби. Он только рассмеялся. Бэби возомнила, что имеет над ним власть, что заворожила его своей сексуальной виртуозностью. Все пошло от "Давай-давай делать сенят". Всякий раз, когда он просил ее об этом, Бэби начинала ломаться и говорить: "Я тебе позволю это мне делать все-все время, когда мы приедем в Англию". Од-

1. Прибыль, показанная в записях операций и в бухгалтерской отчетности организации, но могущая оказаться нереализованной.

нажды, словно вздумав раздразнить его аппетит, Бэби заявилась в "Киску" в кожаном собачьем ошейнике. Вот какой награды она требовала за свои трюки ученой собачки: в благодарность за ее милостиво подставленный зад он должен до гробовой доски обеспечивать саму Бэби и ее мать с сестрой, а возможно, и еще целую ораву родственников. Но Чеп не был рабом секса. Сам акт надолго не затягивался, а потом ему вообще ничего не хотелось — разве что уединиться с пинтой пива и закуской: тарелкой маслянистой жареной картошки или сандвичем с беконом.

Цены, которые назначают люди с пустыми карманами, всегда нелепы; порой речь идет о жалких грошах, но чаще — об астрономических величинах. Такую же чушь они несут, толкуя о домах или машинах. "Почему у тебя нет "мерседес-бенца"?" — спросила Лус как-то дождливым вечером (Чеп ее подвозил), презрительно оглядев его престарелый "ровер". Лус была из Манилы, города маршрутных такси, переделанных из армейских джипов, и древних легковушек. У этих доверчивых нищих только одно на уме, и сколько им ни дай — все будет мало; короче, слово "миллион" не значит, по сути, ничего. Пустой звук, а не реальная сумма.

Чеп подозревал, что все это относится и к мистеру Хуну, который вряд ли хоть когда-нибудь в жизни видал нормальные деньги. Вплоть до позавчерашнего дня китайцев можно было исчерпывающе описать одной фразой: "Все они одинаково нищие и несчастные". Чеп терпеть не мог иметь дело с нуворишами, но, разумеется, теперь они все там нувориши; каждый встречный — гениальный финансист, а Китай — страна будущего, как будто она и не простояла сорок пять лет на своих костлявых коленях, распевая дурным голосом социалистические гимны и лобызая гипсовые статуи Председателя Мао.

Мистер Хун в своих мешковатых брюках чем-то напоминал Председателя Мао. Возможно, это тоже сыграло свою роль в том, что Бетти согласилась на сделку. Китай она презирала, пожалуй, даже сильнее, чем Гонконг. Продать фирму вместе с землей и тут же упорхнуть в Англию значило для нее отомстить одновременно рабочим (которых она считала неблагодарными) и мистеру Хуну (которого, как мнила Бетти, она обвела вокруг пальца). И все же Чеп подозревал: если припереть ее к стенке и спросить о причинах, она ограничится оправданиями типа: "Так ведь Джордж был кобель, согласись?" Или: "Мой муж, черт его задери, ни одной юбки не пропускал".

Но всего неприятнее было растущее чувство уверенности: мать знает, что Чепа припугнули, и этим упивается. Угрозы самой Бетти на него никогда не действовали — а вот у Хуна получилось. Откуда только она узнала — наверно, сам мистер Хун сказал. Решение, на которое Бетти пошла охотно, Чеп принял поневоле; она обогатилась, его же втоптали в грязь. Чеп никак не мог внутренне смириться с тем, что его беда вызывает у матери только злорадство.

Но дело, считай, сделано. Почти что сделано — только формальности остались.

Тем временем мистер Хун без устали повторял, что сделку следует обмыть. По-видимому, китайский бизнесмен — впрочем, бизнесмен ли? — твердо настроился закатить пир, но как все это было преждевременно, как неуместно. И что тут праздновать? Чеп все острее чувствовал: Хун поступил с ним подло. И отвечал отказом на настойчивые приглашения Хуна.

Как же быстро все произошло. Только-только он познакомился с мистером Хуном в Крикет-клубе и дал ему от ворот поворот: "Даже думать забудьте. Не тешьте себя надеждами", но не прошло и месяца, как Чеп уже согласился продать свою фирму и предпринял все практические шаги, разве только договор еще подписью не скрепил — дело стало лишь за регистрацией холдинга на Каймановых островах. "Империал стичинг" — его наследство, все его состояние в единственном городе, который Чеп считал родным. Одним махом он вот-вот потеряет и фирму, и родину, и мать, поскольку лишь после скоропостижной кончины мистера Чака и появления мистера Хуна он осознал, какую обиду она затаила на своего мужа — его отца.

Мысли о сделке вселяли в него скорбь — какие уж там праздники, о которых мечтал Хун. Чеп страдал, сцепив зубы. Быть может, попозже, когда деньги окажутся на его банковском счету, он поднимет бокал и произнесет невеселый тост, но пока речь могла идти только о траурных мероприятиях.

И все-таки каждый день он являлся на работу, и то, что раньше казалось монотонной обязанностью, превратилось в обряд прощания, который с каждым днем все больше преисполнялся печали; Чеп сознавал, что покидает уютные стены "Империал", что впереди — только неведомое будущее на другом конце света. Чеп, никогда не живший нигде, кроме Гонконга, уезжает из Гонконга насовсем. Бросает своих рабочих — "наша семья", называл их обычно мистер Чак — на произвол судьбы, отдает этих людей в чужие руки вместе с оборудованием, вместе с запасами рулонов материи и мешков ваты.

Почему же тогда идея отъезда так воодушевляет его мать? Этого Чеп не знал. Впрочем, удивляться нечего: она выросла в Болхэме, работала в Магазине армии и флота, ей есть что вспомнить. Лондон реален для нее так, как никогда не был реален Гонконг. Да, наверно, дело именно в этом: она едет домой, а Чепа скидывают за борт. Об Англии — о "Британии" — гонконгские англичане говорили часто, но в каком-то неискренне-ностальгическом духе, в той же манере, в какой вспоминали о детстве или о войне. Англия стояла с детством и войной в одном ряду; она была смутным воспоминанием, которое ни проверить, ни пережить вновь.

Конечно, англичане были рады, что Англия существует, — иначе и поговорить было бы не о чем; конечно, они были слишком преданы родине, чтобы вслух говорить о ее постыдном упадке, но на деле никто из них не хотел возвращаться назад. Гонконг превратил их в свободных людей — у них были деньги, они наслаждались экзотикой и ощущали себя высшей расой. Возвращение домой было равносильно капитуляции — там им пришлось бы считать каждый шиллинг, превратиться в граждан среднего класса, сносить насмешки снобов. Возвышенный образ Англии тем легче лелеять в сердце, чем дальше ты от нее отъехал, — в том-то и вся беда.

Теперь Чеп, чувствуя себя отбывающим срок заключенным, избегал своих обычных убежищ. Слишком уж грустно ему было. Его не тянуло в "Киску" с тамошней громкой музыкой, залихватским весельем и назойливыми расспросами. Если сказать Бэби или любой другой филиппинке, что он уезжает в Лондон, они попытаются увязаться за ним вместе с семьями: с отцами и матерями, сестрами и братьями.

Однажды утром, выйдя из метро на Джордан, Чеп столкнулся с мамой-сан. Увидеть ее при дневном свете было все равно что узреть сгус-

ток эктоплазмы, вынырнувший из параллельного мира, — бледная, пучеглазая, неуверенно ступающая, руки похожи на клешни.

— Почему не идете в клуб?

Чеп не знал, как отговориться, — не скажешь же, что боишься.

— Я болею, — сказал он.

Более неудачного ответа нельзя было и нарочно придумать. Мама-сан поглядела на него косо, точно на разносчика опасной инфекции, и разговор на том закончился. Маме-сан, как и китайцам вообще, была свойственна суеверная, почти паническая боязнь всего связанного с хворями.

В тот же день в кабинет Чепа тайком проскользнула Мэйпин. В рабочем комбинезоне, с волосами, закрытыми сеткой, она выглядела невинной дурнушкой, но он знал, как хороши ее стройное, тонкое в кости тело, красивая шея, поджарые, как у мальчика, ягодицы.

— Да? — насторожился Чеп, поскольку она могла явиться с новой весточкой от мистера Хуна.

— Вам меня? — спросила Мэйпин.

Чеп был вынужден ответить отрицательно. Слишком уж грустно было на нее смотреть; и слышать, как она предлагает себя таким манером, просто невыносимо.

Мэйпин замялась, но из кабинета не ушла.

— Мы можем сходить в кино? — спросила она.

Как-то они вместе посмотрели фильм. "Смертельное оружие". Сцены насилия ее напугали.

— Или на музыку?

Возможно, она вспомнила, как он водил ее в "Киску", как они сидели и смотрели на гологрудых танцовщиц; возможно, она знала, что это зрелище его возбуждает. Но чтобы она раньше позволяла себе такие беспардонные намеки?

— Я себя не очень хорошо чувствую, — сказал Чеп.

— Может быть, я помогу вам чувствовать лучше, — она улыбнулась и, не меняя выражения лица, подмигнула.

Чепа шокировала ее прямота.

— Нет проблем, — произнесла она.

Так могла бы сказать девушка из "Киски", зазывая его в кабинку дальнего зала, или скабрезно усмехающаяся женщина из караоке-бара. Может быть, в том, что Мэйпин приучилась так себя вести, есть и его вина? Из бесхитростной девушки он сделал шлюху.

Мэйпин отошла к двери — но не для того, чтобы уйти, а просто чтобы ее прикрыть, затем, упав перед ним на колени, умоляюще взглянула снизу вверх, стащила с головы сетку, разметав черные волосы по плечам. Ее лицо покорно запрокинулось.

Усилием воли Чеп сдвинул ноги. Близость Мэйпин так одурманивала его, что он, бестолково всплеснув руками, только спросил:

— Что-нибудь еще?

Коленопреклоненная женщина по-прежнему смотрела на него голодными глазами.

— Мне нужен паспорт, мистер, — произнесла она и схватила его за ноги — так, садясь в трамвай, берутся за ручки у дверей.

Чеп окаменел. Колени у него онемели, ступни начало покалывать. Он не имел никакой возможности ни добыть ей паспорт, ни протащить ее без очереди в "Иммиграционную башню".

— Я для вас что-нибудь устрою, — пробормотал он.

— Вы можете помочь мне, мистер.

Она прикоснулась рукой к его паху — прикоснулась ласково, шутливо, не более того, но Чепа охватил ужас, словно к нему потянулась, угрожая кастрировать, когтистая лапа.

— Ради бога, — выдохнул он и больше не мог произнести ни слова.

— Просто говорю "привет" моему другу, — сказала она.

Огонь желания у Чепа гас по самым разным причинам — но быстрее всего его затаптывал, надолго отбивая охоту к сексу, именно юмор, в особенности плоские шуточки вроде этой. К тому же было заметно: Мэйпин шутит как из-под палки.

Она одинока, она в отчаянии, она ведет грубую и неумную игру — и все из-за него. Когда она наконец-то покинула кабинет, зажав в руке сетку для волос, Чеп чуть не расплакался от разочарования. И тут же, едва она скрылась из виду, взмолился, чтобы она вернулась, недоумевающе задумался, почему вдруг ее отверг. Чеп поспешил вниз, выскочил на улицу. Увидел Мэйпин на автобусной остановке с А Фу — ее подругой из закройного цеха. Интересно, что Мэйпин о нем рассказала А Фу. Две молодых женщины, ужасно милые, всеми покинутые; это мистер Хун разлучил его с ними.

Чеп сказал:

— Мэйпин, вы не позволите кое о чем с вами поговорить?

— Не сегодня, — ответила она. — Мне нужно ехать домой.

Поделом ему — мало она от него вытерпела!

По дороге домой он заехал в район Ваньчай. "Просто ради прогулки", — сказал он себе. Увидев свободное место, где можно было припарковаться, он остановил машину, говоря себе, что просто хочет полюбопытствовать. Оказался у дверей какого-то клуба под названием "Ла бамба", прочел на доске, что вход бесплатный, а на напитки — скидка пятьдесят процентов... и, говоря себе, что никаких денег не теряет, поднялся наверх. В темном зале звучала громкая музыка. К Чепу подходили женщины и здоровались. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел на танцполе с десяток филиппинок: танцуя друг с дружкой, они манили его руками. Чеп сказал себе, что в Коулун Тонге такого никогда не бывает — ну что за беспардонность; подобные вещи Чеп про себя именовал "посулы Гонконга": все эти черные глазки, вихляние задницами...

— Чего пожелаете?

Чеп шарахнулся от танцпола; толпа оттеснила его к бару. Он заказал бутылку пива, которая стоила вдвое дороже, чем в "Киске".

— А-а, опять вы, — протянул кто-то рядом. — Добро пожаловать в Ваньч!

Сосед, мужчина в черной рубахе и темных очках-консервах, стоял, положив локти на стойку. К танцующим он был обращен спиной, но, возможно, наблюдал за ними в зеркало над батареей бутылок с виски.

— Я вас знаю? — спросил Чеп.

— Вы — друг Монти, — заявил мужчина и, пытаясь поймать руку Чепа и насильно пожать, чуть не заехал ему ладонью по бедру. — Хойт Мэйбри.

— Я уже ухожу, — сообщил Чеп.

— Пивка выпейте, — сказал Хойт. Точнее, проорал, перекрикивая музыку.

— Спасибо. Я уже взял.

Вновь во всю глотку — с каким-то фальшивым надрывом — Хойт объявил:

— У нас в Сингапуре ничего такого и близко нет. Нашего главного начальника знаете? Ли Кван Ю? Я его называю "Широкой души Гитлер".

Чеп молча потягивал пиво. Он терпеть не мог пить из горлышка, но в таких районах, как Ваньчай, просить кружку считалось дурным тоном. Хойт продолжал:

— Послушайте вашего друга Монти. Сделайте себе новый паспорт. Кабо-Верде очень рекомендую.

— Спасибо за совет, но я пока не планирую отказываться от британского гражданства. — Едва произнеся фразу, Чеп осознал, как напыщенно выразился. Впрочем, с таким-то наглецом...

— Я это сделал, — не унимался Хойт. — А я американец.

— Полагаю, американцу выбросить свой паспорт на помойку намного труднее.

— Уж поверьте на слово.

Теперь Чеп, окончательно разозлившись, стал потихоньку отступать. В этих потемках раствориться несложно. Глаз американца Чеп за черными очками не видел, но зато видел его улыбку. Чепу вдруг стало стыдно, и он задумался, что бы такого сказать, как заполнить неловкую паузу.

— А чем вы вообще здесь занимаетесь? — спросил он.

— Клюю мертвечину, — не задумываясь ответил Хойт.

— Простите? — В момент, когда прозвучала эта загадочная фраза, Чеп как раз наткнулся взглядом на танцовщиц, которые по капризу прожектора на миг мертвенно побледнели.

— Здесь все переменится, — говорил Хойт, размахивая руками во тьме. Вначале Чеп подумал, что он имеет в виду "Ла бамбу", но Хойт мыслил шире. — Сами подумайте: Гонконг в руках китайцев, а? Всем переменам перемена.

Невежественные американцы, пытавшиеся читать каждому встречному лекции о Гонконге, попадались Чепу часто и были лишь чуточку менее нелепы, чем бесчисленные американцы, рассуждающие о Китае. Мать просто говорила "Янки!" и хохотала, но Чеп постепенно пришел к мысли, что это страшные люди — пираты, опасные прежде всего своим нудным педантизмом.

— Но ведь это не так уж важно, а? — произнес Чеп, мысленно уже собравший чемоданы.

— Еще бы не важно! Дело пахнет преступностью и коррупцией, взятками на каждом шагу, откатом для полиции, детским трудом, работой за гроши. И, наверно, бардаками вдоль всей Сентрал. — Отхлебнув пива, Хойт заключил: — И все за бесценок. Прелесть.

Несколько дней подряд мистер Хун регулярно звонил Чепу и информировал о том, как продвигается дело. Чеки скоро будут выписаны, новая фирма уже зарегистрирована под названием "Полная луна" на Каймановых островах. "А где эти самые Каймановы острова находятся?" — спросил Чеп у Монти, а тот ответил: "По-моему, на Тропике Рака"... А еще мистер Хун вновь и вновь предлагал обмыть сделку.

"Обмыть" — то есть собрать свидетелей, пощелкать фотоаппаратами, обменяться никчемными подарками, съесть, неискренне хихикая, отвратительный ужин, завершить сделку, подписать бумаги.

— Я занят, — отреза́л Чеп.

Болен, занят, беспомощен — вот шаткие отговорки, за которыми он прятался от печальной истины: его душа сохнет, он теряет свое дело и дом, теряет мать, ополчившуюся против него самого и против Гонконга.

— Почему бы вам не пригласить мою мать? Она обожает вечеринки.

— Это между нами, мужчинами, — возразил мистер Хун.

Следовательно, ее подписью он уже заручился.

Также это значило, что вместо сближения с его матерью, которая была благодарна Хуну и охотно воспользовалась бы возможностью порассказать ему всякие байки, Хун присосался к Чепу, который его терпеть не мог. Казалось, удостоверившись в слабости Чепа, Хун захотел еще прочнее втереться в его жизнь, содрать с Чепа три шкуры, поиграть с ним в кошки-мышки, смакуя унижение иноземного дьявола, кичась своею властью.

Не называя вещей своими именами — впрочем, он мог и не знать этих имен, — Хун, по-видимому, хотел принудить Чепа к участию в пирушке. "Надо отпраздновать как следует", — лаконично выразился он, но Чеп отлично понимал, что за этим стоит: попойка, кутеж, загул и кое-что почище. Очень английский обычай в определенном смысле, рассудил Чеп, но и очень китайский тоже.

Когда люди пируют, за спинами у них каким-то загадочным образом маячит их нищее, голодное прошлое, где никогда ничего не бывало вдосталь, где попойки были редкостным, нетерпеливо предвкушаемым событием; эти приукрашенные фантазией услады сродни маниакальной алчности: так пьяницы на каждое Рождество до хрипоты орут песни и набираются под завязку, чтобы потом облевать себе все ботинки. Типичное времяпровождение для очень многих англичан, живущих в Гонконге. Чеп втайне подозревал, что его мать тоже имеет слабость к подобным пирушкам, пока она не объявила их пошлыми; тут-то у него отпали все сомнения, поскольку Бетти ругмя ругала именно то, что ей было всего желаннее.

"Как же эти местные о деньгах талдычат — фу, пошляки они и свиньи", — обожала твердить Бетти до того, как появился мистер Хун со своими девятью миллионами гонконгских долларов в банкнотах Гонконгско-Шанхайского банка, на которых изображен длиннолицый английский лев. Тут и дурак догадается: настойчивые уговоры отпраздновать сделку — "затянуть петлю", как понимал это Чеп — доказывают, что мистер Хун происходит из крестьянской семьи, искони не знавшей хороших урожаев. Мистер Хун приехал из Китая. Китай сидит на голодном пайке. Все они такие — бойкие на язык, но оборванные, учтивые, но беспощадные. Цивилизованные каннибалы — пользуются салфетками, благопристойно ведут себя за столом и все равно мечтают лишь о том, как бы вонзить в тебя клыки. Впрочем, веди себя Хун по-иному, Чеп насторожился бы еще больше — но отличный английский мистера Хуна скрывал под собой все что угодно, кроме утонченности. Просто этот китаец лучше образован, чем его незадачливые гонконгские братья, а их превзойти несложно: местные школы в плачевном состоянии.

Мистер Хун не отступался, названивал Чепу на работу.

И вскоре припер его к стенке — что было неизбежно, учитывая податливость Чепа, особенно при настойчивом напоре; Чеп понял, что от пирушки не отвертеться. Измором Чепа можно было вынудить совершить то, на что бы он не пошел даже под давлением самых разумных ар-

гументов; таким его сделала мать. Оставалось лишь договориться, как, собственно, праздновать.

— Если вы имеете в виду банкет, — произнес Чеп, привычный к гонконгским банкетам: скука, неразличимые по вкусу блюда, напрасные траты, едва замаскированные субпродукты: рыбьи головы, свиные ножки, губчатый рубец, сухожилия, и таких помоев запросто могут подать хоть пятнадцать перемен, — любой банкет, вы зря теряете время. От китайской кухни у меня дикая мигрень.

— Не банкет, просто мы вдвоем, — сообщил мистер Хун.

Радость-то какая — ничем не лучше банкета. Чувствуя свое бессилие, Чеп опасался общества человека, который его сломил. Энтузиазм Хуна тоже как-то настораживал.

— Тогда просто пропустим по рюмочке, — заключил Чеп.

— Но не по одной! — вскричал мистер Хун.

Загул, другими словами. Стоит китайцу — любому китайцу — выпить две рюмки, он становится красным, как вареный рак, беспомощно разевает рот, часто дыша, — полное впечатление, что его удар хватил; опухшие глаза наливаются кровью, лицо страдальчески искажается. Вместо опьянения у китайцев начинается токсическая реакция: их печень не умеет перерабатывать алкоголь; не очень-то приятно смотреть, как они валятся под стол, точно отравленные, задыхаясь и держась за животы.

— Думаю, мы можем с вами встретиться и немного выпить, — сказал Чеп, воодушевленный памятными ему картинами гонконгского пьянства.

Если выпить чего-нибудь крепкого, пирушка надолго не затянется; когда мистер Хун согласился, Чеп со злорадством вообразил его валяющимся на боку под барной стойкой: красное распухшее лицо, на губах пенится блевотина, язык синий, из ушей бьет пар.

— Кстати, — заметил Чеп, — мама уже начинает нервничать из-за сделки.

— Когда пересечемся, я вас введу в курс дела.

Если в Гонконге на твоем пути попадается человек, правильно употребляющий жаргонные словечки вроде “пересечемся”, — знай: с ним надо держать ухо востро.

8

Мечтая поскорее разделаться с Хуном, бормоча: “Это в последний раз”, Чеп приехал в отель “Риджент” заранее; его взгляд, скользнув по забитой судами гавани, уперся в крышу трамвайной станции “Пик”, затем, оттолкнувшись от этой отправной точки, нашел пожарную часть и по кронам деревьев вычислил Альбион-коттедж. При виде своего дома Чепу стало как-то спокойнее.

Он не пожалел, что явился первым, — ему удалось увидеть, как плосколицый, слегка растерянный мистер Хун входит в бар отеля. Это позволило Чепу поглубже заглянуть в душу Хуна: оказывается, китаец человек нетерпеливый и не очень-то раскованный, а с официантами хамоват. Хун по-солдатски печатал шаг, по-офицерски задирал нос, словно ожидая, что перед ним все будут расступаться. Но люди не расступались, и Хун спотыкался, размахивал руками. Что это он держит?

— Вот и вы, — произнес Хун, заметив Чепа. Вместо улыбки у Хуна получился лишь алчный оскал.

Вытянувшись по стойке "смирно", слегка кивая головой, все с тем же видом голодного хищника он постучал сигаретой по корпусу своего мобильного телефона. Хун был в том же костюме, что и в "Толстячке", по-прежнему сверкал лейблом на рукаве. Рубашка новая, с характерными складками — ее только что вынули из коробки и, не отгладив, надели. Галстук завязан кое-как. Черные ботинки начищены.

— Вот и я, — отозвался Чеп, внимательно глядя на Хуна. Так, бывало, стоял навытяжку его отец; в клубах часто попадаются мужчины с подобной выправкой. Гонконг — не только деловой центр, но и военная база; отставников здесь предостаточно. Изучая осанку Хуна, Чеп пытался вспомнить: упоминал ли Хун хоть раз об армии?

— Как приятно увидеть вас вновь, — произнес Хун.

Стиснув зубы, он начал жать на кнопки своего телефона: энергично, мстительно, точно глаза выдавливал.

— Я рад, что вы начали без меня, — продолжал он.

Китаец овладел фальшивыми формальными любезностями английской речи, но разве это главное? Все равно он — настоящая змея, каждое его слово отравлено зловещим радушием.

В этой новой обстановке Чепу открылись грани характера Хуна, которые не были заметны раньше. Стало очевидно, что Хун — деревенщина. Так обстояло дело почти со всеми приезжими из Китая, и когда они попадали в Гонконг, особенно в бар пятизвездочного отеля это выглядело комично. Человек, без труда сливающийся с толпой где-нибудь в Цим Шацзуй, здесь разом терялся. Как только Хун, постучав о телефон сигаретой, начал прикуривать, телефон запищал, но у Хуна не получилось ответить на звонок: неловко попытавшись переложить телефон в другую руку, он выронил сигарету. Официант проворно вставил сигарету на прежнее место между пальцами мистера Хуна; движения служителя, отмеченные высокомерным, замаскированным под учтивость самообладанием, еще сильнее оттеняли недотепистость Хуна.

— Извините, в этом зале курить не разрешается, — оповестил официант и удовлетворенно усмехнулся, когда мистер Хун с кислым видом загасил сигарету.

— Бренди, — буркнул мистер Хун.

Чеп внутренне просиял — для организма китайцев алкоголь всегда был ядом; ему хотелось увидеть, как Хун набычится, побагровеет и, наконец, начнет хрипеть. Бренди! В шесть вечера!

— Вы отдаете предпочтение какой-то конкретной марке, сэр?

— Лучший, — заявил Хун, выдав себя с потрохами, и все его позерство пошло прахом, ибо такое может ляпнуть лишь полный невежда. "Лучший"! Рисовка деревенского дурня!

Чеп улыбнулся, наконец-то ощутив чувство превосходства, а мистер Хун поддернул рукав рубашки, чтобы взглянуть на часы. Часы примитивные, пластмассовые, немногим лучше игрушки; ни один гонконгский китаец не стал бы на такой ерунде экономить. А Хун то и дело на них косился, невольно привлекая внимание к этой убогой поделке — этой "туфте", если выразиться словами Бетти.

Официант принес на подносе рюмку бренди.

— За ваше здоровье, — выпалил Хун, схватив ее.

Словно сгорая от жажды, он выпил рюмку залпом, и его глаза почти мгновенно остекленели. Он сощурился, язык у него начал заплетаться; в общем, не проведя в "Ридженте" и нескольких минут, он превратился в неотесанного простака.

От бренди лицо Хуна стало еще отвратительнее, и Чепу вновь бросилось в глаза его сходство с солдатом, с рядовым солдатом: все офицерское из его облика улетучилось. Бормоча под нос китайские названия цифр, он потыкал в кнопки своего телефона — послышались короткие гудки. Выругавшись, он огляделся по сторонам.

— Вы кого-то ждете? — спросил Чеп.

Он никогда еще не видел Хуна таким растерянным: конечно, здесь китаец был не в своей тарелке и, как всякий в подобном положении, нервно ерзал на стуле. Официант попытался обратиться к Хуну на кантонском диалекте, которого тот не понимал; тогда официант перешел на английский — Хун не разобрал, о чем речь; тогда официант уставился на Хуна с улыбкой, точно на незадачливую ученую собачку. В каком-нибудь сверхмодном месте, где снисходительные официанты, рассчитывая на чаевые, так и стелются перед клиентом, мистеру Хуну пришлось бы не столь солоно. Но, как и другие приезжие из Китая, мистер Хун до сих пор не усвоил, что путь к хорошей жизни в Гонконге вымощен щедрыми чаевыми. Покинутый на произвол судьбы, среди враждебно настроенных или безразличных официантов, мистер Хун выглядел настоящим растяпой, чего по неопытности не сознавал.

— Давайте-ка допьем и разойдемся, — предложил Чеп. — Я бы хотел пораньше лечь спать.

Расслышав в своем голосе просительные нотки, он разозлился на себя; также он с горечью осознал, что перед его мысленным взором уже возникла картина: мать, в халате и пушистых тапочках, сидит в тускло освещенной "зале", читает какую-то макулатуру и ждет его. "Я встречался с твоим другом мистером Хуном, большое спасибо, мама".

Чеп зло улыбнулся, недоумевая, почему его заставляют ждать. Мистер Хун опять самоутверждается, что ли? Или просто выдумал чего-то спьяну — все мозги от бренди отшибло?

— Думаю, они вот-вот появятся, — заявил мистер Хун.

Говорил он медленно, потому что был пьян, но опьянение только усугубляло правильность его речи. Мало что так раздражало Чепа в Гонконге, как слышать из уст какого-нибудь заведомого мерзавца — неприятного ему человека, тем более китайского бизнесмена — безупречный английский. Чеп знал беспроигрышный способ сбивать спесь с американцев в Гонконге — достаточно заговорить на настоящем английском языке; но Чеп был слишком горд, чтобы подделываться под аристократический выговор.

Чеп рассчитывал, что от бренди у мистера Хуна помутится в голове, но у китайца, наоборот, только прибавилось напыщенности и апломба. Чеп решил, что рта больше не откроет, — зачем помогать мистеру Хуну поддерживать разговор? Он решил напиться до фазы безразличия и затем, подыскав предлог, уехать.

— А, вот они. Чудесненько, — сказал мистер Хун.

Подняв глаза, Чеп увидел, как официант ведет к их столику Мэйпин и А Фу.

— Вы знакомы? — спросил Чеп.

Мэйпин застенчиво опустила голову. В подобные моменты она походила на котенка: кошачья, без подбородка, мордочка, нежная кожа, огромные глаза. А Фу опасливо заулыбалась. Чеп, приуныв, тоже занервничал, но по другой причине. Его страхи оправдались. Мистер Хун намекнул на еще одну из его тайн, чуть ли не важнейшую. Отнял у Чепа козыри и присвоил.

— Мы просто познакомились. Совершенно случайно, — пояснил мистер Хун.

— На фабрике, — подхватила А Фу. — Коулун Тонг.

А Фу была хорошенькой, как уточка, и ее сбивчивая речь с кантонским акцентом тоже напоминала кряканье; она оглядывалась по сторонам, крутя головой на длинной шее.

— Чистой воды совпадение, — уверял мистер Хун.

"Дебил", — сказал себе Чеп.

— Он говорит, вы друг его, — сказала Мэйпин.

Парадоксально-трогательная деталь ситуации: свободный английский Хуна позволял ему лгать, меж тем как мучительная борьба женщин с английским языком была сама правдивость.

— Что вы его компаньон, — добавила А Фу.

— И это в практическом плане совершенно верно, не так ли, Невилл?

Хун впервые назвал его по имени, и как жестоко это прозвучало — словно вызов: попробуй, дескать, отопрись. Мэйпин, его любовница, видевшая его голым, никогда бы не посмела так к нему обратиться.

— Возможно, — процедил Чеп, окончательно разозлившись на Хуна: из-за сделки, из-за этой попойки, из-за женщин; он развратил его мать, опутал сетями обмана его любовницу. Чеп не мог взять в толк, как, собственно, Хун мог пронюхать о Мэйпин. Ведь это Хун подарил ей голубую кофту. Историю в "Баре Джека" объяснить легко — Чеп там бывает регулярно. Но связь с Мэйпин он всеми силами старался сохранять в тайне — а Хун все равно докопался. И добился своего. Китаец пригласил Мэйпин с А Фу нарочно — чтобы запугать Чепа и похвалиться своей осведомленностью. Интересно, что там еще ему известно...

— Мне скоро придется уйти, — заметил Чеп.

Выдумать предлог поубедительнее и сбежать отсюда. Спрятаться. Но как бросить двух ни о чем не подозревающих женщин в обществе человека, который уже втерся в его жизнь?

— После, как поедим, — возразил Хун.

Худшие опасения Чепа сбылись — Хун, осознав свою власть, начал распоряжаться.

— Я это и имел в виду, — пробурчал Чеп, поскольку ничего другого тут сказать было нельзя, и, сидя в тесном такси, притиснутый к Мэйпин, дулся всю дорогу до ресторана. Правда, ему было приятно чувствовать, как, возбуждая его, вдавливаются в бок маленькие, нервно трепещущие, птичьи косточки Мэйпин.

Ресторан оказался китайский — "Золотой дракон", знакомое название — хотя Чеп неоднократно сообщал мистеру Хуну, что ненавидит блюда китайской кухни, не ест их, сто лет не притрагивался, поскольку они вызывают у него бессонницу и головную боль. Так почему же они сидят в "Золотом драконе" и попивают чай, а официантка щипцами протягивает им холодные цилиндрики полотенец, закатанные в пластик, точно сосиски?

Все это Хун затеял в пику Чепу. Грубо, беспардонно — китайцы вообще околичностей не знают. Именно сюда Хун намеревался повести их в прошлый раз, когда мать настояла на "Толстячке". Да, конечно же: в нелепо обставленной квартире Хуна, с белыми мохнатыми коврами, дурацкой стеклянной горкой и смехотворными часами, Чеп видел пепельницу с надписью "Золотой дракон", точную копию этой, стоящей на столике. Как показательно, что китайский бизнесмен ее украл.

Мэйпин и А Фу сидели бок о бок, оробело перешептываясь, а Хун, уткнувшись в меню, делал заказ. Теперь Чеп обозлился и на женщин. Как он только мог их пожалеть? Их приход предусмотрен заговором против него. Вот каковы они, его верные работницы, работницы "Империал стичинг" — а одна из них вдобавок его любовница... ну хорошо, просто женщина, с которой он иногда занимается сексом... — они помогают Хуну его запугать.

Чеп опять принялся репетировать отговорки, а сам уже воображал, как резко и деловито даст Хуну от ворот поворот. "Обратитесь к моему поверенному. Монти все уладит... Об этом не может быть и речи... Боюсь, вы очень сильно заблуждаетесь, мистер Хун... Ага, так я и думал, что вы это скажете".

Мистер Хун заметил:

— Вы меня не слушаете, Невилл.

— Простите, — буркнул Чеп и возненавидел свой язык, с которого сорвалось это ненавистное слово.

Официант с умным видом записывал заказ в блокнот, быстро строча и одновременно повторяя каждое слово Хуна. Спустя какое-то время Чеп догадался, почему Мэйпин и А Фу чувствуют себя неловко. Мистер Хун обращался к официанту не на кантонском, а на мандаринском диалекте[1]. Чеп не говорил ни на одном из них, но различать их умел: гусиный гогот и гнусавый рык, такая же разница, как между газонокосилкой и ксилофоном (понимая под газонокосилкой кантонский выговор).

Хун резко отослал официанта и обернулся к женщинам:

— Вы поняли, что я говорил?

А Фу хихикнула.

— Чуть-чуточку, — призналась Мэйпин.

— Рад за вас.

"Засранец".

— И что я заказал?

"Дебил".

— Фун цай, — произнесла Мэйпин. — Ноги кур, — пояснила она Чепу.

— Но фун — это не курица, — поправил Хун. — Фун — это феникс.

— Знаю, — отозвался Чеп. — Йет лао, йет фун — "одна комната, одна птица феникс". Это местная древняя традиция.

Услышав из уст Чепа местное название проститутки, работающей без сутенера, Мэйпин зарделась и с растерянно-фальшивым смешком обернулась к А Фу.

— Это курочки, — объявил Хун, когда принесли заказ. Официант поставил в центр стола шесть тарелок.

1. Мандаринский диалект китайского языка распространен в северных и центральных районах Китая; также он выполняет роль литературного языка. На кантонском диалекте говорят жители южных провинций Китая.

— А это — тоже курочки, — указал Чеп подбородком на женщин. — Гай дао — курятник. "Тук-тук-лавка", как у нас говорят.

Мэйпин смущенно прикрыла лицо ладонью. А Фу вскинула голову, проверяя, не услышал ли эту фразу Чепа кто-нибудь из посторонних. Хун снова начал сверлить Чепа своим беспощадным взглядом.

— Я здесь родился, — заявил Чеп. — Знаю, что, где и как.

По-кантонски Чеп знал с десяток слов и считал, что этого больше чем достаточно. Жил себе и жил в Гонконге безвыездно целых сорок три года — и лишь теперь, оглядываясь назад, начал кое в чем сомневаться. Китаец заставил Чепа с горечью задуматься о пролетевшей жизни — вот в чем худшее преступление мистера Хуна.

— Надеюсь, что вы проголодались, — сказал мистер Хун.

Все блюда он заказал, не советуясь ни с кем из сидящих за столом, — то есть нарушил этикет, известный даже Чепу, который ругал китайскую кухню и чурался подобных ресторанов. Но Хуну-то что? Женщины, при всей их красоте, — простые фабричные работницы, а Чеп — его пленник.

— Ножки кур, — сказал мистер Хун. — Ножки фениксов.

После этой фразы Чеп решил, что куска в рот не возьмет — даже прикидываться не станет, будто ест. Отказ от еды будет его протестом — пусть Хун подавится своей щедростью. Также Чеп решил остаться трезвым — назло мистеру Хуну, который от трезвого состояния ушел уже очень далеко. Китаец глупо улыбался, чуть ли не пуская слюнявые пузыри.

— Что смешного? — спросил мистер Хун у женщин.

Те продолжали хихикать и шушукаться; в их глазах застыл безумный страх.

— Сядьте рядом со мной, — обратился мистер Хун к А Фу. — Вот так. Несомненно, Мэйпин будет приятнее сидеть с Невиллом.

Чеп впал в ярость, но он понимал: возразить — значит навлечь на себя новые издевательства.

— Пусть возьмет и мою долю, — сказал Чеп, заметив, что Мэйпин начала поклевывать холодные закуски, запуская палочки в миски.

Будь Чеп сам себе хозяин, он бы заявил: "По мне, все это на еду даже не похоже; просто в голове не укладывается, как такое можно есть". Когда Мэйпин предложила ему попробовать, он отшатнулся, надеясь, что мистер Хун увидит его гадливую гримасу, и сказал:

— Да что вы, нет.

Губы мистера Хуна лоснились от коньяка. На вид он был совсем пьян: лицо багровое, расплывшееся, глаза какие-то вареные; злобно улыбаясь, он жевал с разинутым ртом. Чепу вспомнилось выражение жадности и безудержного голода, которое он прочел на лице Хуна в баре "Риджент-отеля". Точь-в-точь отчаявшийся крестьянин, который чудом перенесся из родной деревни в мир роскоши. В тот миг Хун не знал, что Чеп за ним наблюдает, а потому приоткрыл свое истинное лицо.

Хун заявил:

— Это первоклассные куриные ножки. Вы ими довольны?

Разговаривая с А Фу, он исследовал желтую куриную ножку: зажал ее палочками, как щипцами, и поднес к своим слезящимся глазам. Затем, уронив ее на тарелку, принялся раздирать на части.

— Наверно, да, — тихо проговорила А Фу срывающимся голоском.

— Вы ими абсолютно очарованы? — Хун разинул рот, чтобы откусить мяса, и стала видна его нижняя челюсть.

А Фу что-то прошептала Мэйпин, которая сказала:

— Она сказала, вы так хорошо говорите по-английски.

Хун наклонился над свисающей с тарелки куриной ножкой, обдирая с нее желтые чешуйки, выдергивая из стройной голени белые нитки сухожилий.

— В будущем мы и вас научим, — пообещал он, вонзая зубы в ножку.

"В будущем — после Передачи", — подразумевал Хун. После Сдачи по-китайски, назначенной на следующий год. Когда при Чепе заговаривали на эту ненавистную ему тему, он всегда заявлял: "Даже думать не желаю". А теперь вот сидит здесь, сам себя ненавидит и слушает, как китаец, обжираясь курицей, злорадно предвкушает Передачу.

— Столько людей приедет в Гонконг, — вставила Мэйпин. — Китайских людей.

Хун еще не дожевал мясо. Наклонившись к ножке, жадно вгрызаясь в нее, с трудом шевеля губами, к которым прилипли обрывки чешуйчатой кожицы, он тем не менее произнес:

— Это еще неизвестно.

— Они отнимут у нас работу, мы думаем, — продолжала Мэйпин.

Хун сурово глянул на нее, точно учитель, которому мешают разговоры на задней парте. Придерживая куриную ножку палочками, поставил ее вертикально.

— Так все говорят, — сообщила Мэйпин. — Потому что китайцы умные и хорошо обученные. И еще упрямые.

— А мы никудышные, — вставила А Фу, жуя печальным ртом.

Вместо ответа Хун засунул куриную ножку в рот и дочиста обглодал. Выплюнув на тарелку хрящ, потянулся за второй ножкой.

— Не надо переживать, — сказал он и начал рвать ножку зубами. Его лицо сморщилось, глаза исчезли среди складок. — Мы вас обучим.

Тем временем А Фу осторожно сдирала крапчатую кожицу со своей куриной ножки. Мистер Хун, невнятно бурча, показал ей, как надо отделять кожу, и А Фу робко поблагодарила его.

Заметив, что она от него отодвинулась, Хун чуть ли не боднул ее головой и заявил:

— Я хочу съесть вашу ножку.

Чеп без удовольствия тянул пиво, косился на стол, на блюда с клейкой свининой и увядшим, размокшим салатом, черными овощами, серым бульоном, лиловым мясом. Горку желтой курятины на одном из блюд венчала отрубленная голова с выколотыми глазами и фестончатым гребешком, похожим на обрывок красной ткани.

Выставив локти в стороны, высунув синий язык, Хун запустил палочки в блюдо с желтым мясом и, работая ими как плоскогубцами, ухватил кусок куриной грудки. Надкусил, обнажив белое мясо под кожицей, принялся жевать, подавился, надул губы. И вновь, рыгнув, выплюнул объедки на стол.

— Это очень вкусно, потому что ее вздернули, — сказал он. — Умеете? Кусок веревки — связать ее, — он наглядно показал на пальцах, как душит и связывает курицу. — Как следует скрутите и подвесьте на несколько дней. Пусть сохнет на воздухе. Пусть просто висит.

Чеп отметил, что, рассказывая, китаец пускает слюни.

— Она становится нежной и ароматной.

Все еще обливаясь слюнями, Хун уставился в пространство перед собой и, по-видимому, узрел своими слезящимися глазами то, о чем рассказывал, — висящую в воздухе тварь с веревкой на шее, с безжизненно болтающейся головой. Вероятно, призрак вызывал у него самое настоящее возбуждение.

Чеп нахмурился. Да, китаец недаром сказал: "Я хочу съесть вашу ножку".

Чеп нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Его тоскливое безразличие рассеялось; теперь, слушая пьяные россказни о том, как связывают и подвешивают кур, он разозлился и насторожился.

— Скажите что-нибудь.

Чеп не сразу понял, что фраза обращена к нему.

— Мне нечего сказать.

"Дебил, — подумал он. — Что я здесь делаю?"

— Мой компаньон, — и Хун взял за руку А Фу; от его прикосновения она напряглась и словно бы скукожилась; платье вдруг стало ей велико. — Возьмите, у меня для вас кое-что есть.

Пошарив у себя в карманах, мистер Хун нашел шелковый мешочек. Открыл его. Достал кусочек нефрита — маленький, темно-зеленый, что-то вроде кулона. Поднес к глазам А Фу.

— Откройте рот.

Молодая женщина повиновалась. Ее язык нервно задрожал. Мистер Хун засунул кулон ей в рот. Сложив губы бантиком, она немного пососала его, точно леденец от кашля, а затем выплюнула на ладонь и испуганным голосом поблагодарила Хуна.

Тот, расхохотавшись, спросил:

— Где горькая дыня?

Услышав этот требовательный вопрос, подскочил официант — подскочил, подергиваясь, как подергивался весь вечер: нервы у него не в порядке, что ли?

— Я вам дал указания, — заявил Хун.

— Да, сэр.

— Горькая дыня, — завопил Хун. — Дурак, что ли?

Чепа всегда удивляло, когда он слышал, как два китайца общаются между собой по-английски, но то, что происходило здесь, вообще ни в какие ворота не лезло.

— Видите на этом столе какую-нибудь дыню? — с этими словами мистер Хун схватил нож и завопил: — Здесь? Или здесь? Или здесь?

Для доходчивости он ударял по столу ножом, всякий раз оставляя на запачканной скатерти узкий разрез.

— Ее не принесли, сэр, — сообщил официант, водя по своему блокноту пальцем. — Очень извините.

— Если вы ее не записали, это ваша проблема, — заключил мистер Хун. — Так что хватит со мной пререкаться, несите. Я сейчас хочу!

Он широко разинул рот, полный желтых зубов, железных коронок и ошметков еды. Язык у него был уже не синий, а бесцветный. Остекленевшие, переутомленные, испещренные красными прожилками глаза заплыли, исчезли в отечных складках. Голова взмокла от пота, волосы слиплись в сосульки.

Возможно, Хун не осознавал, что с того момента, как он наорал на официанта, прошло уже несколько минут. Он повернул свое хмельное лицо к А Фу и Мэйпин.

— Курочки, — пробурчал он и пустил слюни.

Чеп отлично видел, что они в ужасе. Так им и надо — нечего было приходить.

— Эй, вы чего это? Вы куда? — завопил мистер Хун совсем как на официанта. Но прежде чем вопль повторился, Чеп уже проскочил расписанный золотой краской вестибюль-арку и выбежал на улицу.

9

Пересекая бухту на пароме ("ровер" не пожелал заводиться, и Чеп добрался с Пика до пристани на трамвае), Чеп остро терзался неясным предчувствием какой-то беды. Это предчувствие походило на безумие, перекидывающееся в явь из кошмарного сна, когда просыпаешься в жару, в мокрой пижаме, с привкусом клея во рту, терзаемый неопределенным чувством вины. Ты что-то украл, что-то сломал, кого-то обидел, непоправимо опоздал — подобными нелепыми промахами полнились все его сны. Стоя у поручней парома, Чеп заметил, что под водой, у самой ее поверхности, плавает раздутый, как воздушный шарик, пластиковый пакет. За пакетом тащилась мокрая веревка. Чепу стало любопытно, оборвут ли ее винты парома. Неподалеку подпрыгивала на волнах, каблуком кверху, туфля, словно отмечая место, где кто-то утонул.

За завтраком мать спросила: "Стряслось что-нибудь?" — и Чепу стало еще хуже: он и вправду подозревал, что стряслось что-то ужасное, но что? Не понять.

— До сколого сивданя, — услышал он. Голос был детский.

На сиденьях у поручней сидели мужчина и женщина, а между ними — их маленький сын.

— До скор-р-рого с-с-сви-да-ни-я, — произнес мужчина.

— До сколого сивданя, — повторил ребенок.

— А вы как поживаете? — сказала женщина.

— А вы как поживатете? — ребенок прямо-таки повизгивал от восторга.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, — проговорил мужчина.

— Раз, два, тили, четы, пя, шесь, — пропел малыш.

— До скорого свидания.

— До сколого сивданя!

Чепу было бы приятнее, если бы они говорили по-китайски. Урок английского он воспринял как укор себе. С учетом ситуации изучение этого языка вообще казалось бессмысленным занятием. Болезненно кривясь — людской гвалт его сегодня раздражал, — Чеп прошел на корму. Причин своего беспокойства он никак не мог нащупать, но отчетливо сознавал: сегодня что-то радикально изменилось. Появилось ощущение пустоты — будто какая-то намозолившая глаза вещь вдруг исчезла. Сегодня утром в мире появилась маленькая прореха, и Чепа снедало противное чувство, словно эту прореху проделал он сам. Нет, даже не прореху, еще хуже — пробоину в дне лодки.

Гонконг не был для него подлинным домом. Гонконг всегда был ему чужд; что ни день Чепа преследовало ощущение, будто все происходящее — наполовину сон. Кстати, видя настоящие сны, Чеп тоже воспринимал как свое лишь то, что находилось на первом плане, а дальше начиналось чужое; туман, предметы с размытыми краями, перетекающие

друг в друга, — вот каково было обычное содержание его сновидений. Во сне он летал, раскинув руки, но редко знал, над какой страной летит, и никогда не приземлялся. Часто бывало, что Чеп уезжал с работы, покидал Коулун Тонг, входил вечером в бунгало — и при виде матери ему начинало чудиться, что он провел день в царстве абстракций, а теперь очнулся, вернулся в явь. Дурной воздух, кутерьма и яростный гомон города вынуждали его сидеть взаперти. "Я здесь живу, но не здесь я умру", — сказал Чеп себе. Нигде, кроме этого города, ему жить не доводилось, и все же Гонконг ему не дом. "Дом" — слишком высокое, слишком нежное для Гонконга слово. Может быть, дом Чепа в Альбион-коттедже — но Альбион-коттедж до самого конька крыши заполнила собой мать.

Все происходившее с Чепом сегодня — даже такой пустяк, как забастовка "ровера", — лишь разжигало его тревогу. Он предчувствовал: истина откроется и кто-то разъяснит, что именно не в порядке. Но одновременно Чеп надеялся, что забытый сон не был вещим и он, Чеп, ни в чем не виноват.

На подходе к "Империал стичинг" он заметил, что Юнион Джека на флагштоке нет. Без флага здание казалось каким-то обесцвеченным, присмиревшим — точно капитулировало.

— Мистер Ву сегодня не пришел, — пояснила мисс Лю.

На памяти Чепа не бывало такого, чтобы мистер Ву не явился на работу. Строго говоря, с 1984 года мистер Ву стал из принципа поднимать флаг точно в назначенный час — словно назло Передаче. А еще мистер Ву отказывался произносить имя китайского диктатора — что совершенно не волновало Чепа, поскольку он все равно не знал, как там этого диктатора зовут. Мистер Ву подобрал этому субъекту кличку, и все вокруг хихикали, когда мистер Ву именовал диктатора "Старая Черепаха".

— Неужели никто, кроме мистера Ву, не умеет поднимать флаг? — спросил Чеп.

Мисс Лю замялась. Очевидно, так оно и было.

— Давно пора еще кому-нибудь научиться, так? — процедил Чеп.

Было решено: пока мистер Ву не выйдет на работу, его обязанности, включая подъем флага, будет выполнять Уинстон Лак из экспедиции.

Отсутствие мистера Ву встало для Чепа в один ряд с забарахлившим "ровером" — насторожило еще больше.

Незадолго до полудня, когда Чеп просматривал отчеты о производительности фабрики за истекший месяц, — мистер Чак был бы доволен, подумал он, и сердце у него сжалось, — позвонил Монти Бриттейн и сообщил, что Чепу нужно подписать кое-какие документы по "Полной луне". А не встретиться ли им за ланчем в Гонконгском клубе?

— Идет, — отозвался Чеп.

Может, это и будет тот момент истины, которого он дожидается с самого утра, как только вышел за порог? И даже если нет, все равно звонок Монти — просто спасительный подарок судьбы, рассудил Чеп. Он понимал: сегодня расслабляться нельзя. Разгадка где-то рядом — главное, ее не прозевать.

О том, что Монти отказался от британского гражданства и стал австрийцем, Чеп все еще не мог думать спокойно. Фамилия Монти — Бриттейн — придавала всему делу какой-то фарсовый оборот; Чепу вспомнилось, что словечко "австриец" Монти прошептал с пивной кружкой в руке, а усы Монти были в тот миг облеплены пеной.

Эта картина не выходила у Чепа из головы. Разумеется, он отлично знал: Монти просто пытается таким образом увильнуть от налогов и вовсе не планирует обосноваться под старость в предместьях Вены. Разве этого семита-адвоката можно вообразить в кожаных шортах и дурацкой тирольке, внимающим духовому оркестру: дробь охотничьих барабанов, пуканье труб и мужской хор, орущий что-то вроде "Зунь зебе звой палец ф зад, умца-умца-тра-ля-ля"?

Монти — австриец. Странно. Даже еще более странно, наверное, чем тот упертый американец с африканским паспортом, заявляющий, что приехал клевать мертвечину. Вероятно, до такого бреда людей доводит жизнь в Гонконге — в этом кипучем водовороте, где любая метаморфоза кажется возможной.

Тем не менее в Гонконгский клуб Чеп отправился, воспрянув духом, радуясь возможности поговорить с человеком, который ему посочувствует. Какой Монти молодец, что позвонил, — с ним можно поделиться всеми опасениями, он ведь знает Хуна. Вчерашний вечер был ужасен — весь этот балаган в "Золотом драконе" с Хуном и куриными ножками. После мерзостного ужина Чеп отправился домой и, переступив порог Альбион-коттеджа, увидел мать в халате и шлепанцах — она дожидалась его, будто жена. Целуя его, она встала на цыпочки, демонстративно принюхалась и состроила гримасу. Обычные ее вечерние штучки: она часто изображала из себя бесцеремонного инспектора, оценивающего качество продукции: морщила нос и, ничего вслух не говоря, просто излучала однозначное неудовольствие.

Чеп сообщил:

— Я опять задержался с твоим другом мистером Хуном.

— Не сомневаюсь.

Пытаясь изобразить брезгливое высокомерие, она всегда выглядела нелепо: у бедняжки образования — четыре класса. Она сама часто прохаживалась на свой счет. "Я тупая, как дубина неотесанная", — говорила она, либо: "Я колледж Святой Дубины закончила". Но бывало, что ее ехидство разило не в бровь, а в глаз — если она, распоясавшись, выдавала какую-нибудь вульгарную народную мудрость, которую переняла от родителей. "Ну, этого на помойке нашли", — произносила она с авторитетностью человека, знающего помойки как свои пять пальцев.

— Ходили в китайский ресторан, — продолжал Чеп. — Я ничего не ел. Выпил две кружки пива, извинился, что не могу остаться, и ушел.

— Ну конечно же.

Ее сарказм уязвлял именно потому, что был тривиальным, — Чеп считал, что заслуживает большего. Мало того, что пришлось вытерпеть такой вечер, теперь еще и мать не хочет посочувствовать — поводит носом, фыркает, демонстративно кривится, словно от дурного запаха...

— Мама! — укоряюще воскликнул он..

— От тебя прямо разит "Женщиной", — заметила она. — Чую духи "Потаскушка".

— Приятельницы мистера Хуна.

О Мэйпин с А Фу он теперь не мог думать без неприязни — ведь они согласились прийти. Ладно Хун, с Хуном все понятно — но они-то почему не пораскинули мозгами? На кого они работают? Кто платит им зарплату? Дура А Фу из закройного цеха — сама разинула рот, чтобы этот мерзкий тип засунул ей туда нефритовый кулончик. Возможно, это какой-то китайский обычай — но глаза бы его не глядели на такие обычаи.

— Не сомневаюсь, — процедила мать и вернулась в свое кресло. Нарочно зашуршав страницами, отгородилась от него раскрытой газетой.

Быть обвиненным во лжи, когда говоришь правду... У Чепа зачесались кулаки, поскольку слова сейчас были бессильны — она его больше не слушает. Ему захотелось что-нибудь сломать; нет, на нее он руку не поднимет, просто разобьет вдребезги какую-нибудь штукенцию, чтоб перепугалась, просто швырнет в стену, например, уродливой сувенирной тарелкой, которые она покупает в аэропортах.

Ну допустим. И что потом? Мать съежится, втянет от страха голову в плечи. Расплачется и одержит победу — это орет она, как матрос, а нюни пускает, как маленькая девочка. Ван выйдет из своей комнаты и молча, укоризненно уберет осколки. И еще с неделю или больше Чепу будут на каждом шагу припоминать, что он оскорбил мать в лучших ее чувствах. Вся вина падет на него.

— Ван тебе попить приготовил горяченького.

— Нет, спасибо, — ответил он в знак протеста. А также, назло матери, лег спать раньше ее.

Когда она вернулась к этой теме утром — опять стала морщить нос, строить гримасы, неодобрительно цокать языком, — Чеп понял, что то же самое она устраивала его отцу много раз по утрам, когда подозревала, что он навещал свою любовницу-китаянку. Маму-сан. И Чеп простил Бетти, пребывавшую в унизительном положении жены неверного мужа. Как она, должно быть, страдала. Однако, поразмыслив, Чеп задумался, не сама ли она довела отца до всех этих походов на сторону. Но я-то в чем виноват? Какая несправедливость — обвинения, недоверие.

— Ненавижу этого Хуна, — пробурчал Чеп.

— Да что тебе в нем? — возразила мать. — Он наш деловой партнер, вот и все. Если, как обещал, выложит хорошие деньги, плевать я на него хотела.

— По-моему, он — скот.

Слово сорвалось с языка невольно, неожиданно для самого Чепа. Он поразился его меткости. "Скот" — исчерпывающее определение Хуна.

— Он покупает фабрику, — заявила мать, точно высказывание Чепа не имело никакого отношения к делу.

Может, она и права. Будь Хун абстрактным покупателем, просто именем в графе документа, его личные качества не играли бы никакой роли. Но Хун — не абстракция, а скот; неужели это не играет никакой роли? Тот жуткий янки-стервятник сказал о китайцах: "Они все время держат фигу в кармане".

— Я бы ему с удовольствием все кости переломал.

— Уймись, Чеп. Даже думать не смей.

— Был бы жив мистер Чак...

Старик заменил Чепу отца. Порвав с Китаем, он наладил новую жизнь в Гонконге, следовал непреложным законам беженца: хранил верность своим принципам, во многом себе отказывал, упорно трудился, питал благодарность к властям. Мистер Чак не скрывал своего презрения к Китаю. Китай — тюрьма. Председатель Мао — Старая Черепаха. Именно у мистера Чака позаимствовал это прозвище мистер Ву, порой исполнявший при владельце фабрики обязанности шофера. Чепу не хватало мистера Чака, не хватало воплощенных в нем оптимизма и стабильности. Когда же Чеп случайно заметил его в "Киске", то проникся к старику еще большей симпатией.

— Бедный Геннерс, — произнесла мать. — Но будь Генри Чак еще жив, ты был бы намного беднее.

— Зато тогда бы ничего не произошло, — возразил Чеп. — Это его смерть все изменила.

С этими словами Чеп вышел из дома. И не сумел завести "ровер". Еще одно звено в цепи утрат и неопределенных дурных предчувствий. Затем — ни Юнион Джека, ни мистера Ву. Его захлестнуло отчаяние, и, глядя вокруг, он провидел во всем одно — знак, что выбора у него теперь нет и судьба неотвратима.

Монти ждал его в холле Гонконгского клуба, под портретом королевы. Завидев Чепа, он тут же расстегнул портфель.

— Тебя записать как гостя, сквайр?

— Нет, я еще состою в клубе, — сказал Чеп. — Сам не знаю почему. Я сюда никогда не хожу.

— Понимаю-понимаю: тут официантки полностью одеты, — протянул Монти. И тут же добавил: — Извини остряка-самоучку, сквайр.

Осекся Монти потому, что увидел, как Чеп побагровел. Но Чеп и сам устыдился своей реакции. Значит, он слывет завсегдатаем "курятников" и караоке-баров, стриптиз-клубов и "синих отелей"? И самое постыдное — что это говорят о человеке, который до сих пор живет под одной крышей с матерью.

— Так оно и есть. Я — типичный гуэйло, ходок по шлюхам, — процедил Чеп.

— Да что ты, ничего подобного, — выпалил Монти и, чтобы побыстрее замять конфуз, вытащил из портфеля кипу бумаг. И продолжал: — Придется заняться этим здесь. В Джексоновском зале вести деловые переговоры не разрешается. Сам наверняка помнишь — устав клуба не велит.

Казалось, Монти не без удовольствия напомнил Чепу об этом странном, создающем множество неудобств правиле. В таких обычаях находили смак экспатрианты, но Чеп — коренной житель Гонконга — считал эти заскоки вопиющей глупостью, худшей из английских национальных черт: чудачеством ради чудачества, стремлением выдавать недостатки за достоинства, а дичайшие обычаи — за прелестные странности.

— Дурацкое правило, — пробурчал Чеп, расписываясь на бланках с шапкой "Полная луна (Каймановы острова), лтд.". — Наверно, потому я сюда и не хожу. В "Вверх тормашками" ведь можно вести деловые переговоры, так?

— Очень по-британски, — заметил Монти.

— А я про что? — отозвался Чеп. И шутливо добавил: — Но ты же у нас вроде в немцах ходишь?

— В австрийцах, — поправил Монти. — Только не ори так, ладно, сквайр? Строжайшая тайна.

Они поднялись в Джексоновский зал. На лестнице Монти здоровался с другими членами клуба.

— Спасайтесь, пока можно, — говорил один.

— Чепуха, сейчас разумному человеку только здесь и место, — возражал его собеседник.

— Золотые слова, — заметил Монти, вновь — весь добродушие.

Когда их провели за столик, Монти, перегнувшись к Чепу, прошептал:

— Австрийский паспорт. Это не совсем то же самое, что австриец по национальности.

— Значит, я тупой, — буркнул Чеп.

— Неужели всякий, кто имеет британский паспорт, британец? — спросил Монти.

— От всей души надеюсь, что да, — отрезал Чеп. Некоторое время он дулся, недоумевая, отчего у него вдруг испортилось настроение — он ведь нетерпеливо предвкушал этот ланч? Чеп озирался в переполненном ресторане, смотрел на перешептывающихся посетителей в темных костюмах — за редкими исключениями все это были гуэйло, — на официанта, катившего тележку с кровавыми бифштексами. Затем Чеп сказал:

— Монти, я хочу покончить с этим делом.

— Не волнуйся, сквайр, осталось всего ничего. Ваш холдинг уже получил статус юридического лица. Документы я подготовил, — сообщил Монти, прихлебывая джин с тоником. — Ты уверен, что тебе не нужен новый паспорт?

— У меня есть паспорт.

— А другой не желаешь — поудобнее стандартного британского документа?

— Австрийский?

— Сквайр! — умоляюще воскликнул Монти и вновь перешел на деловой тон. — Каймановы острова — это верняк. Еще ты мог бы стать американцем.

— Да какой из меня янки!

— Нерезидентом[1], сквайр, — пояснил Монти. — Разница колоссальная.

— Что-что, а это мне не угрожает, черт подери, — заявил Чеп, а затем добавил сквозь зубы: — Янки. Я тут на днях видел этого янки, твоего приятеля. Он как — лицедействует или просто, по их обыкновению, строит из себя колоритную личность?

— Хойт огреб миллион американских долларов на том, что обзавелся новым паспортом. Тебе это проделывать не обязательно, но хотя бы подумай, не взять ли тебе год отпуска. Исчезнуть из виду на один налоговый год. Перекантуешься в Монако. В Ирландии тоже можно. Кучу денег сэкономишь.

Чеп, подавшись вперед, сказал:

— Монти, я подумываю остаться здесь, в Гонконге.

— Согласно условиям нотариально заверенного соглашения, это исключено. Тебе придется уехать.

— А кто узнает? — улыбнулся Чеп.

На этом он умолк. Сделал заказ, выждал, пока официант отойдет.

— Я тут кое-какие раскопки произвел, сквайр, — заметил Монти. — Теперь я чуть поглубже знаю нашего мистера Хуна.

— Я его ненавижу, — произнес Чеп ровным голосом. — Кошмарный человек. Грязная свинья. Я ему так и сказал.

— И правильно сделал, — улыбнулся Монти, точно находя в кошмарной натуре Хуна нечто заслуживающее восхищения. — Я проверил. Он тот, за кого себя выдает.

Монти сделал паузу, пока на столе расставляли салаты и посыпали их черным перцем. Подождав ухода официанта, вернулся к рассказу.

1. Нерезидент — в законодательстве некоторых государств гражданин страны, работающий за рубежом по контракту продолжительностью полный налоговый год и более. Статус нерезидента позволяет не платить налогов в казну страны гражданства при условии, что в течение налогового года человек проводит в этой стране не дольше определенного срока.

— Он ноаковец, кадровый офицер. Его подразделение уже частично разместилось в Стэнли.

Чеп заметил:

— Меня всегда смешило, что китайцы называют свои войска Народно-освободительной армией.

— А это смешнее, чем называть солдат бифитерами[1]?

— Не знаю, — протянул Чеп. — Австрийцы ведь зовут своих штурмовиками?

— Ты имеешь в виду немцев. Разница огромная, — возразил Монти, болезненно скривившись. — Я уже жалею, что тебе рассказал. Поверь, это было непростое решение.

Чеп уже готов был извиниться, но, поглядев на Монти, подумал: "Кожаные штаны, тиролька, пукающие трубы духового оркестра, 'Зунь звой палец...'"

— Твой мистер Хун почуял, что на сделку ты идешь не очень охотно, — сообщил Монти. — Поэтому он и включил в условия продажи вашей фабрики требование, чтобы вы уехали из Гонконга окончательно.

— А если я не захочу уезжать?

— Ему ничего не стоит сделать так, чтобы ты захотел. Указать тебе на дверь, умник, — пробурчал Монти. — Может, с виду он и кажется идиотом, но на деле это опасный противник.

Громко хрустя салатом, глядя прямо в лицо Монти, Чеп сказал:

— Я ни разу не говорил, что он дурак. Я сказал, что он дебил.

— Занятная градация, — заметил Монти. — Один из пунктов документа, который ты только что подмахнул, гласит: чтобы получить денежное возмещение по сделке о продаже фабрики, ты согласен уехать из Гонконга, причем не позднее 1 июня 1997 года.

— Ты почему мне этого раньше не сказал?

— Я тебе сейчас говорю, сквайр. Затем я тебя сюда и пригласил.

— Тьфу! — вскричал Чеп.

Им подали свиные отбивные с жареной картошкой и брюссельской капустой, а на десерт — заварной крем. Чеп подумал, что сам себе подсудобил несварение желудка. Он-то рассчитывал услышать от Монти что-нибудь утешительное, но ланч только прибавил ему поводов для волнений. Хун — не просто скот, но и опасный зверь, к тому же коварный.

— Побереги себя, сквайр, — произнес Монти и для вящей убедительности поднял палец. — Знаешь, что случилось с Фитли?

За кофе в Садовой гостиной — Монти ожидал там супругу, которую как представительницу женского пола в Джексоновский зал не допускали, — упершись локтями в колени, Монти под строжайшим секретом поведал Чепу историю гонконгского адвоката Фитли. Фитли влюбился в проститутку-китаянку, с которой познакомился в клубе в Мун Коке. Чеп навострил уши: он и сам частенько посещал клубы в этом районе.

Воспылав неутолимой страстью, Фитли не давал женщине проходу, осыпал подарками, сделался ее монопольным клиентом, пока бандиты, на которых она работала, не отослали ее назад в Шанхай.

Фитли поспешил вслед с полным чемоданом денег, надеясь выкупить ее на свободу. Бандиты при соучастии самой женщины назначили Фитли встречу, чтобы обсудить дело, и убили. Разумеется, деньги они забрали, но суть тут была не в деньгах. Труп Фитли, разрубленный на ку-

1. Бифитеры — стражники лондонского Тауэра.

сочки, был обнаружен в ярко раскрашенной железной бочке с надписью "Опасно для жизни". Бандиты перевезли бочку через границу Гонконга и бросили прямо за проволочными заграждениями, на капустном поле, в Лок Мачао. Это было предупреждение всем, кто подобно Фитли вздумает спутать проституцию с амурными делами или усомнится в главенстве китайцев.

— Китайская трагедия, — заметил Чеп.

— Я бы сказал, гонконгская история любви, — возразил Монти.

— Я не такой дурак, чтобы переходить дорогу триадам, — заявил Чеп.

— Кто тут говорит о триадах? — сказал Монти. — Китайская армия — вот кто его убил. Она владеет половиной массажных салонов в Шэнчжэне. В будущем году она придет сюда. Я говорю о твоем мистере Хуне.

Чеп промолчал. Затем ему вспомнилось, как он познакомился с Хуном. Он спросил:

— А как Хун стал членом Крикет-клуба?

— Я дал ему рекомендацию, — ответил Монти и, не дожидаясь реакции Чепа, добавил: — Надо идти в ногу со временем.

Чеп кивнул. Постарался изобразить на лице беспечность. А сам сознавал: Монти его убедил. Сведений, полученных от Монти, было вполне достаточно. Все остальное время Чеп просидел молча, чтобы не выдать своего панического ужаса.

Вскоре в Садовой гостиной появилась миссис Бриттейн. Официант провел ее к их столику. Это была миниатюрная, хрупкая на вид, нервозная женщина. "Приве-ет", — произнесла она с неистребимым суррейским[1], похожим на конское ржание акцентом. Заявила, что просто иссохла от жажды и выпьет бокал белого сухого, и как поживает Бетти Маллерд? Чеп поддержал беседу, но скорее на автопилоте: он никак не мог смириться с тем, что супруг сделал миссис Бриттейн австриячкой, господи прости. Чеп вообразил эту маленькую женщину в облегающих кожаных брюках на фоне пивных кружек и толстых ломтей сыра, под звуки оркестра, наяривающего среди увитых гирляндами нацистских танков.

После ланча Чеп впал в какое-то полубредовое состояние. Тут сказалось все — и салат, и свиные отбивные, и пинта пива, и калорийный десерт, и весть о всесилии Хуна. Вначале рассказ Монти не вызвал у Чепа, размякшего от сытной еды, ничего, кроме недоумения. Однако постепенно многое прояснилось. И теперь ему нужно было побыть в одиночестве и попробовать поразмыслить. Но плотная трапеза парализовала его ум — Чеп весь извелся от тревоги, но ничего толкового придумать не мог.

Стоя на пристани, он вспомнил утро и ребенка, который распевал "До сколого сивданя" и "Раз, два, тили, четы, пя, шесь". Бесполезный урок английского.

Переправившись в Коулун, Чеп не стал садиться ни на автобус, ни в такси. Пошел пешком. Углубился в лабиринт улочек за Ханькоу-роуд и, дойдя до самой Хайфон-роуд, двинул напрямик через парк, все еще мучаясь дурными предчувствиями, глотая зловонный воздух. Всю дорогу он посматривал в витрины магазинов и на лица встречных, полагая отыскать разгадку. Но ничего не ощущал, кроме нарастающей, на грани отчаяния тревоги; наконец, в Яу Матэй он сел на метро и доехал до Коулун Тонга.

1. Суррей — одно из графств, окружающих Лондон.

Было поздно, почти половина пятого, когда Чеп вышел из лифта на верхнем этаже, чтобы направиться прямо к себе. У самых дверей лифта стояла Мэйпин. Давно она тут? Она в жизни никогда еще его вот так не поджидала.

Лицо девушки не выражало ровно ничего. Чеп пригласил ее войти. Как только дверь захлопнулась, Мэйпин утратила самообладание и заговорила, срываясь на панический визг:

— А Фу вчера так и не вернулась!

Чеп сделал ей знак, чтобы говорила потише. Мисс Лю наверняка подслушивает из соседней комнаты. И Лили с Чуном тоже неподалеку.

— Она была со своим другом мистером Хуном, разве не так? — сердито спросил Чеп. Мэйпин вывела его из вызванного тревогами ступора, чтобы подкинуть новый повод для беспокойства. Как тут думать, если она вопит в самое ухо?

— Я жду вчера ночью. Я жду сегодня. А Фу не приходила сегодня на работу, — выпалила Мэйпин. Ее лицо, бескровное, распухшее от горя, напоминало своей бледностью китайские клецки.

— Думаю, она там, где ей хочется быть. Извините, — отрезал Чеп.

Пытаясь обойти Мэйпин, укрыться за дверью дальней комнаты, которая была его личным кабинетом, Чеп припомнил, как неприятно ему было увидеть подруг в "Золотом драконе". Их появление было гнусной уловкой мистера Хуна. А женщины сыграли ему на руку, даже не подозревая, в какое трудное положение поставили этим Чепа. С их помощью мистер Хун напомнил Чепу, что тот лишился всех своих тайн. Они сидели и слушали, как мистер Хун именует его "Невилл".

Мэйпин, при всем ее несчастном виде, не сдавалась. По-прежнему преграждая Чепу дорогу, она заявила:

— Я волнуюсь.

Чепу захотелось без церемоний вытолкать эту настырную интриганку.

— Вернитесь на свое рабочее место, — процедил он. — Наверняка вы чего-нибудь не дошили.

Этого хватило, чтобы Мэйпин поникла и с опущенной головой побрела к двери. Чеп проводил ее взглядом. Услышал, как она спускается по лестнице. Потом — как ненадолго усилилось стрекотание машин: это открылась и вновь закрылась дверь швейного цеха. Чеп, сидя в кабинете, вернулся к бухгалтерским отчетам. Поднес бумагу к самому носу — но цифры расплывались перед глазами. Ему казалось, что он сходит с ума. Он окончательно обозлился на Мэйпин — своей наглостью, своими безосновательными причитаниями она выбила его из колеи. Еще одна проблема, еще один дурной знак.

Но тут Чепа кольнула новая мысль — словно бы неведомая тварь вонзила когти в самое уязвимое место его мозга и вцепилась намертво. "Ага, ага", — забормотал Чеп. Исчезновение А Фу — не дурной знак, а то самое ужасное событие из его кошмара.

Он позвонил начальнику цеха и велел прислать Мэйпин к нему в кабинет.

— Извините меня, что я вас рассердила, — проговорила Мэйпин.

— Я не сержусь, — возразил Чеп. Он был совершенно спокоен и впервые за этот день избавился от ощущения, будто помутился в рассудке. — Расскажите, почему вы волнуетесь.

Мэйпин замялась, перевела дух. Затем сказала:

— Потом, когда вы ушли от нас вчера, мне стало так плохо. Я хотела пойти домой и забыть. — Мэйпин помолчала, повздыхала. — Мистер Хун говорит: он хочет повести нас на танцы. Я говорю: нет. А Фу говорит: нет.

На минуту она опять умолкла — но не от замешательства. Просто сделала паузу. Мэйпин сама задавала темп своего рассказа. Она четко знала, что хочет сказать.

— Мистер Хун говорит мне вот что: "Уходи". Мистер Хун увозит А Фу.

Об этом скоте — все "мистер" да "мистер".

— На танцы?

— Я не знаю. Домой она так и не приходит.

— Не волнуйтесь, — сказал Чеп, а сам подумал: "Именно это мне и надлежало узнать".

— Я волнуюсь.

— Может быть, она прекрасно проводит время, — предположил Чеп.

На лице Мэйпин не выразилось ни малейшей убежденности в вероятности такого оборота дела.

— Я выясню, — сказал Чеп. — Я ему позвоню.

— Может быть, позвоните в полицию, — проговорила Мэйпин.

После всего, что сообщил ему Монти о могуществе Хуна, Чеп понимал: эту идею надо задушить в зародыше. Он перестал быть сочувственным слушателем и вновь вошел в образ начальника Мэйпин.

— Я разберусь, — сказал он и встал, давая Мэйпин понять, что ей пора удалиться. — Можете идти домой.

Что тут подействовало — слово "дом"? Как бы то ни было, Мэйпин залилась слезами, ее тело затряслось от рыданий. Казалось, она рожает чудовищное дитя и, обезумев от боли, пытается куда-то уползти, несмотря на родовые схватки. Ее маленькое тело напружинилось, когда она вышла из кабинета со своим горем на плечах и потащила его по коридору. Плач доносился даже из кабины лифта; Чеп отчетливо услышал, как рыдания спустились на улицу; вскоре они раздались за окном, где спустя секунду-другую растворились во всех прочих воплях Коулун Тонга.

Утром Чеп проснулся с неопределенным подозрением, будто что-то не в порядке, а теперь узнал, что именно. Нет, радости он не испытывал и все же ощутил резкое облегчение, новый прилив жизненных сил. Сделано важное открытие — найдено то, что он проискал весь день. А Фу пропала. Именно это событие будоражило его душу. Именно об этом его должны были известить. Тут как с дурным запахом: Чеп наконец-то обнаружил источник вони. И возгордился своей догадливостью.

Хотя тот факт, что А Фу не вернулась домой, настораживал, а ее неявка на работу была, с точки зрения Чепа, чуть ли не преступлением, Чеп утешился сознанием, что неясное знамение, весь день маячившее на периферии его мысленного взора, не было галлюцинацией. Теперь, зная, что в Гонконге действительно зияет прореха, Чеп относился к городу спокойнее.

В тот же вечер, разговаривая с матерью, он упомянул, что одна из работниц фабрики исчезла.

Мать уронила вязанье на колени. Присосалась к чашке, шумно втягивая чай. И заявила:

— Потому нам и удалось здесь прожить столько лет, что мы в чужие дела не лезли, о том, что нас не касается, не расспрашивали.

— Дома ее нет, на работу тоже не явилась, — добавил Чеп.

— Вечно что-нибудь да было, — продолжала Бетти обобщать, горбясь над чашкой. — Война эта треклятая. Мао. Студенты чертовы — выдумали, что британцам здесь не место. Первая волна бунтов. Вторая волна — ничего особенного, просто кидай-катайцы пошвырялись крышками от мусорных баков, но все равно. Сколько убийств! Сколько погромов! А полиция — педики, шантаж, взятки, наркотики, целые пачки гнусных фотографий. В это мы тоже не совались. Пусть сами расхлебывают. Лодки с нелегальными иммигрантами, а теперь эта треклятая Передача. Все это мы пережили, потому что знали: наше дело сторона.

Чеп отмалчивался — но мать все равно догадалась, что голова у него пухнет от мыслей.

— Меньше знаешь — крепче спишь, — заключила она и, видя, что Чеп собирается что-то сказать, торопливо добавила: — И не говори мне, как ее зовут.

Чеп сел ужинать. Опять творения Вана: "пастушеский пирог" — картофельная запеканка с мясом, жареная фасоль, брюссельская капуста, бисквит со взбитыми сливками. Вид у Чепа был задумчивый. Казалось, он все порывается что-то сказать, но сдерживается.

Бетти, вернувшись к своему вязанью, добавила из кресла:

— И в полицию не ходи.

Спал Чеп плохо. Утром "ровер" опять не завелся, но это уже не было знамением — как и то, что паром качнула волна от грузового парохода, как и нефтяная пленка на воде бухты, плавающий по гавани мусор, пристальные взгляды пассажиров, — ничего зловещего вокруг не ощущалось. Чеп знал, что именно не в порядке — но как уладить дело?

У двери кабинета ждала Мэйпин с благочестиво-страдальческим лицом.

— Вы звоните в полицию, мистер?

— Я навел кое-какие справки.

Мэйпин мгновенно догадалась, что он лжет.

— Почему вы не звоните в полицию, мистер?

— Потому что А Фу, возможно, у своих родственников.

— Здесь у нее нет родственников. Только я. Вы можете пойти увидеть мистера Хуна?

Чеп процедил:

— Мы не можем просто так обвинять людей в преступлениях.

С Хуном он объясняться не хотел. Рука не поднималась набрать его номер. Чеп мешкал, сам не зная, что его удерживает. Страх, что ли? Рассказанная Монти история о жестокой мести гонконгскому адвокату, изрубленный труп в железной бочке — все это вселяло опасения.

Какое-либо официальное расследование, возможно — да что там, наверняка, — повредит сделке по "Империал стичинг". Даже спрашивать Хуна об исчезновении А Фу, и то не стоит. Китайцы нюансов не понимают и просто так ничего никогда не делают. Одно слово все испортит, и мать — которая мысленно уже выехала из Гонконга и, более того, мысленно обосновалась в солидном эдвардианском особняке на набережной в Сент-Леонардс-он-Си — обвинит в срыве сделки именно Чепа.

Чем больше крепли подозрения Чепа, что Мэйпин права и мистер Хун причастен к исчезновению А Фу, тем меньше ему хотелось что-либо выяснять. Если совершено преступление... вообще неясно, что делать.

10

Итак, мать никаких полезных советов не дала — потому что ревнует, а также чувствует неопределенность своего положения, рассудил Чеп. Говоря "Не встревай", она словно бы бросала ему вызов: дескать, только попробуй ослушаться. С годами — Чеп считал, что под давлением Гонконга, из-за своей отшельнической жизни на Пике, — она все чаще старалась при каждом удобном случае испытывать его сыновнюю преданность.

Хотя для вящей убедительности Бетти царственно вскинула голову, величественной она не казалась: все равно у нее не лицо, а сморщенная черепашья мордочка, шея жилистая, нос — вечно сующийся в его дела нос — горбатый; словом, она странно походила на жалкую, беззащитную зверюшку из Красной книги.

За ее словами таился негласный, подразумеваемый приказ: "Если ты мне верен, делай, как я велю".

— Мистер Хун, — произнесла она, явно размышляя вслух; улыбнулась и прищурилась, словно вызывая из памяти его лицо. — Даже если тебе кто-то расскажет со всеми доподлинными подробностями, что у китайца на уме, все равно ничего не поймешь.

Чеп, уставившись на нее, слышал только одно: "Делай, что велю".

— Когда я была девчонкой, мы всегда говорили: "Он полоумнее китайца, а у китайцев нет ума". Это что-нибудь да значит, Чеп.

Это значило, что она никогда не вступала ни в какие отношения с жителями Гонконга. И верно: хотя она и спускалась с Пика, чтобы играть на скачках в "Счастливой долине" или Ша Тине, ходить по магазинам, посещать банк, пить чай в вестибюлях отелей или завтракать в Красном зале Гонконгского клуба с кем-нибудь вроде Монти, она вращалась в кругу англичан, а китайцев всерьез не принимала. Китайцы преуспевают в торговле, потому что не закрывают своих лавчонок до полуночи; это же беженцы, им нечего терять. В отличие от англичан, они не знают ни досуга, ни хобби, ни удовольствий. Играть на скачках или в казино китайцев толкает страсть к саморазрушению. Для спорта у них "кишка тонка". Магазины англичан строго соблюдали цивилизованный распорядок: закрывались ранним вечером, не работали после обеда в среду, а также в субботу и воскресенье. Англичане — правители, а китайцы — их подданные. Народы — подданные Британской империи всегда были загадкой, разве не так? Китайцы — вообще загадка из загадок, непроницаемая, как их косые глаза. Они в зоне вечной нерезкости, и чем ближе к ним подходишь, тем сильнее расплываются.

— Меня это не затрагивает, — повторяла Бетти.

За время жизни Чепа — почти полстолетия — гонконгские китайцы отдалялись, становясь все многочисленнее и непонятнее, пока наконец не превратились в непостижимую тайну.

— Великая Китайская стена, китайские церемонии, китайские шашки. Для меня это все китайская грамота, — говорила мать с кривой усмешкой, означавшей: "И тебя пусть тоже это не затрагивает".

В другое ухо, обращенное к фабрике, ему нудила Мэйпин: допытывалась, почему А Фу исчезла, твердила, что боится полиции.

Возможно, мать заподозрила, что в его отношениях с Мэйпин есть что-то интимное. Чеп сознавал: мать вообще утаивает многое из того, о чем знает, для нее это способ крепче держать его в руках. Но, по предпо-

ложениям Чепа, мать не желала думать о его связи с Мэйпин иначе как о безрассудной прихоти, которую нельзя ни извинить, ни объяснить. Если кто тут и виноват, так это Мэйпин. Все они свою выгоду ищут, эти кидай-катайцы. Панический страх толкает китайцев на самые несусветные выходки; чтобы спроворить себе паспорт, верный кусок хлеба с маслом, билет за границу, они превращаются в чудовищ с тыщей загребущих рук и цепких пальцев.

И все же Чепу казалось, что Мэйпин не такая. Всего за два дня Мэйпин превратилась в красавицу. Расцвела с горя. Печаль поселилась внутри нее, придав ей очарование. Видя ее исхудавшее лицо с бездонными, темными, полными слез глазами, Чеп стыдился своего робкого влечения к ней. Она ходила, покорно согнувшись под грузом скорби, слегка прихрамывая; когда же Мэйпин появилась в его кабинете, бормоча, что А Фу все нет и нет, Чеп, потеряв контроль над собой, прижал ее к себе. Хрупкая, нежная, податливая, Мэйпин слишком изумилась, чтобы заподозрить его в предосудительных намерениях. А Чепу страшно хотелось слизать слезы с ее впалых щек, расцеловать печальные губы.

Делая вид, что пытается ее успокоить, Чеп обнял Мэйпин, начал гладить мягкое тело под тоненькой блузкой. Нащупав пальцами ее кости, он засопел от вожделения и забормотал:

— Все будет хорошо. Положитесь на меня.

Ужас заставил Мэйпин забыть о хороших манерах — и расхрабриться. Она то проявляла необычную отвагу, то вся съеживалась от страха. Другие работницы "Империал стичинг", по-видимому, начали ее побаиваться — они видели, как она является к Чепу без спросу, хлопает дверьми лифта или торопливо взбегает по лестнице на этаж дирекции. Она пристально смотрела на Чепа, порой вскрикивая: "А Фу!" И точно светилась изнутри.

У Чепа же перед глазами стояли куриные ножки, в голове крутились идиотские монологи мистера Хуна: "Это очень вкусно, потому что ее вздернули... Как следует скрутите и подвесьте на несколько дней. Пусть сохнет на воздухе. Пусть просто висит... Она становится нежной и ароматной".

И эти его красные глаза, и злорадно-томное "Я хочу съесть вашу ножку".

Спустя четыре дня после ужина в "Золотом драконе" — спустя четыре дня после исчезновения А Фу — Мэйпин перехватила Чепа на лестнице. Он только что приехал из дома. В руке у нее были ножницы — она вскочила из-за своего рабочего стола, когда Чеп мелькнул в приоткрытой двери.

— Я хочу пойти в полицейский участок, — заявила она.

Чеп видел, что идти туда ей страшно не хочется, но она больше не в силах бороться со своим ужасом и отчаянием.

— Это не поможет, — сказал он. — Что толку от полиции?

— Я напишу заявление, — срывающимся голосом пробормотала Мэйпин. — Для следствия.

При слове "заявление" Чеп мысленно увидел никчемный официальный бланк с львом и единорогом на печати; порыв ветра выдергивает этот листок из беспомощных рук Мэйпин и, скомкав, уносит высоко в гонконгское небо. Неужели она сама этого не видит?

— Они повесят его под стекло, — продолжала Мэйпин.

Да что она такое несет?

Недоуменное лицо Чепа словно бы усилило ее решимость, но в следующую же секунду она потеряла контроль над собой и расплакалась. Плакала она горько, сморщив лицо, прижимая кулачки к распухшим глазам. Зажатые в руке ножницы придавали ей сходство скорее с задерганной, растерянной домохозяйкой, чем со злобной фурией, и все же Чеп предпочел бы, чтобы она положила ножницы и поплакала как-нибудь... поаккуратнее. На ножницах и на подбородке блестели слезы, а на рукаве — сопля, похожая на след улитки.

— Пожалуйста, сходите к мистеру Хуну.

Чеп был тронут. Она так бесхитростно рыдала... трагичность происходящего потрясла его, всколыхнула в нем страсть, разбила ему сердце, растравила плоть. От плача все ее тело напряглось, точно скрученное эпилептическим припадком. Теперь дело показалось ему безотлагательным — а запавшая в память фраза матери "Меня это не затрагивает" взбесила. Где уж матери понять?! Мэйпин она знает слишком плохо — а по-настоящему не узнает никогда.

В его воспоминаниях об их с Мэйпин тайных встречах тоже была растворена какая-то печальная страстность; встречались они у него в кабинете или на складе, где постелью им служили рулоны новой материи; один раз были в "Киске", где ее шокировали гологрудые филиппинки; и много раз — в "синих отелях" Коулун Тонга. Иногда после свиданий по ее лицу текли слезы — то ли от смятения, то ли от паники, то ли потому, что она стыдилась собственного вожделения. Она ни о чем его не просила, но соглашалась на самые разные позы и способы, даже садилась на него верхом и прикидывалась, что принуждает повиноваться. И все же Чеп окончательно терял голову лишь тогда, когда она изображала рабыню, молящую о милости.

— Я схожу к мистеру Хуну, — сказал Чеп.

Сознавая, что идет к мистеру Хуну назло матери, он чувствовал, как прибавляется у него сил. Чепа обуяло нехарактерное для него бунтарство — вероятно, его расшевелили смерть мистера Чака и история с продажей фирмы. Но главной причиной было происходящее со всем Гонконгом: вскоре, на закате существования колонии, Чеп лишится дома. И это бесило. В последнее время Чеп считал, что всякое решение, принятое им вопреки воле матери, совершенно правильно: ведь, поступая по-своему, он обрывал пуповину и поневоле старался себя беречь.

Если бы мать одобрила расследование, поддержала Чепа или проявила хоть малейший интерес, Чеп спустил бы дело на тормозах. Но она требовала от него повиновения. Мэйпин она невзлюбила. К мистеру Хуну питала брезгливо-снисходительное уважение: "Я считаю, что с этим человеком можно иметь дело". Неодобрение матери заставляло Чепа, замкнувшись в себе, целеустремленно оттачивать свой тайный план; он наперед знал, что, поступая назло матери, продумает все более толково. Одновременно его все больше тянуло к Мэйпин — казалось, что, требуя повиновения, мать поставила вопрос ребром: либо она, либо китаянка.

Давным-давно, когда Чеп был худосочным застенчивым учеником школы "Куинс" — когда мать ежедневно торчала у ворот, ожидая его с уроков, — у него был приятель по имени Коркилл, которого в классе недолюбливали и травили не меньше, чем Чепа. Мальчики вместе сидели на школьном дворе, вслушиваясь в дребезжание трамваев на Козуэй-роуд и перешептываясь. Они поверяли друг другу свои фантазии, в основ-

ном на темы секса. У них была общая греза: они воображали себя богачами, живущими в огромном усадебном доме в Уэссексе (по литературе как раз проходили "Джуда Незаметного") с китаянкой-нимфоманкой, у которой были длинные красные ногти и прозрачная ночная рубашка; там они пили бы шампанское, предавались утехам у пылающего камина и вылизывали бы языками ее "просторы" (тоже слово из романа Харди).

Эту грезу, греховную и сладкую, Чеп втайне лелеял еще много лет. Коркилл, малорослый и прыщавый, стыдился своего отца-полицейского, но жалел Чепа, чей отец умер. Целое полугодие, сидя на школьном дворе, они расцвечивали образ китаянки-нимфоманки новыми и новыми подробностями. Она была принцесса и шлюха. Мальчики доводили друг друга до танталовых мук, воображая запретные фразы, игры в "кто кого защекочет", извращения. То было райское видение. Коркилл говорил: "Иди подгляди за ней в сортире, Нев!", а Чеп восклицал: "Сдирай с нее трусы, Корки!"

Позже, уже взрослым, Чеп порой ловил себя на том, что высматривает женщину своей мечты в "Киске", "Баре Джека" или "Пузатом Чжуне". "Интересно, а Коркилл сейчас о чем думает?" — спрашивал Чеп себя. Коркилл вернулся в Британию, наверняка женился, обзавелся детьми и полностью разочаровался в жизни — а он, Чеп, все еще мечтает.

— Погода для свитера, — объявила мать, пока он глотал завтрак, собираясь ехать к мистеру Хуну. Сунула в руки сложенный дождевик, а затем чуть не ткнула в бок зонтиком — своим, дамским, с досадой заметил Чеп. — Макинтош, — напомнила она. — На пароме не забудь.

Но за то время, пока Чеп добрался до пристани, необычный холод, туман и дождь сменились влажным зноем. С повышением температуры усиливались и ароматы Гонконга: вонь местного воздуха, этой песочной взвеси, и автобусных выхлопных газов, пар, курящийся над крапчатым морем, что шумно колотится о пирс, ядовитая пыль стройплощадок — все эти отвратительные запахи словно вцеплялись ему в лицо когтями. Серая дымка пожелтела, и за полчаса — столько времени ему понадобилось, чтобы, задыхаясь от жары, доковылять до квартала, где жил Хун, — гул города продолбил ему все уши и, расшвыривая мысли, хлынул в мозг.

Переходя через Ватерлоо-роуд, он заметил Юнион Джек, реющий над полицейским участком на углу Эргайл-стрит. Чеп улыбнулся ему, точно ярким флажкам у входа в цирк. Флаг уже сейчас выглядел анахронизмом, предрекающим неминуемый отъезд самого Чепа. Какой флаг здесь поднимут взамен Юнион Джека — китайскую красную простыню или гонконгский, с цветком баугинии? "Яркий, бесплодный гибрид" — так называл Монти цветок — символ колонии.

Снова подняв глаза на флаг, Чеп ощутил прилив гнева. Ему не хотелось, чтобы мистер Хун и иже с ним срывали Юнион Джек. Какое унижение! Он сам медленно спустит его, свернет аккуратно, как салфетку, и, уезжая, положит в чемодан.

Застекленная доска объявлений полицейского участка состояла из трех частей. Над каждой значился крупный заголовок: "В РОЗЫСКЕ", "ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ПОЛИЦИИ ЗА СВЕДЕНИЯ" и "ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ". Последнюю категорию, наверно, и имела в виду Мэйпин, говоря: "Его повесят под стекло". Но внимание Чепа привлекло "ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ПОЛИЦИИ", поскольку там не только

значились суммы — иногда обещали по сто тысяч долларов, — но и дотошно описывались преступления. Преступления эти были с особым гонконгским оттенком: безрассудные, зверские, часто комичные, порой бессмысленные. Чепу вспомнилась обезображенная женщина: "Твое лицо принадлежит мне... Я отниму у тебя лицо".

На одном из листочков он прочел об офицере, который в обычный для себя час вернулся в казарму за портфелем и, открыв его, подорвался на подложенной туда бомбе. Для дачи показаний разыскивается некий рядовой гуркхских[1] стрелков. За информацию, изобличающую виновника или виновников преступления, обещают пятьдесят тысяч долларов.

А вот совсем свежее: "Примерно в 7.50 утра 13 января 1996 года женщина, миссис Чун Ичань, подверглась нападению на галерее четвертого этажа многоквартирного дома по Лай Ци Кок-стрит, где она проживает, в то время как вела в школу своего маленького сына. Миссис Чун была оглушена и лишилась чувств. Ребенок получил ножевое ранение. Очнувшись, она обнаружила, что ее золотые украшения исчезли, а ребенок в крови. Его отвезли в больницу, где он позднее скончался. Всех, кто располагает информацией, просят связаться..."

Печально, жестоко, необъяснимо. Может быть, и А Фу станет героиней одной из историй, выставленных в этих витринах? Пытаясь вообразить ее в списке под заголовком "ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ", он увидел имя "Ву, Фрэнсис Мао Юн" и подумал о своем мистере Ву. Этот исчезнувший человек и его собственный дворник Фрэнк Ву, отсутствующий на работе уже много дней, — наверняка одно лицо. Чеп нацарапал "Мао Юн" на обороте своей визитки; надо спросить мисс Лю, таково ли полное имя мистера Ву.

Он пошел к дому, где была квартира мистера Хуна, но все так же неспешно, потому что не знал, с чего начать. К тому же Чеп обратил внимание, что дом Хуна стоял на прямом как стрела, направленном с севера на юг участке Ватерлоо-роуд, которая начинала описывать петли лишь дальше, в районе Эргайл-стрит и Фат-Квонг. С точки зрения фэн шуй дом Хуна находился в идеальном равновесии со зданием фабрики Чепа — но это, разумеется, просто совпадение. Чеп с удовлетворением — сам сознавая бессмысленность этого удовлетворения — увидел с лестницы в подъезде Хуна, в раме окна, в глубине каньона, стенами которого служили скученные здания и бамбуковые палки с вывешенным на просушку бельем, старомодную башню "Империал стичинг".

На площадке восьмого этажа Чеп достал свой сотовый телефон и набрал номер Хуна.

— "Вэй"! — взревел Хун раздраженно, точно его застали врасплох.

— Это я, Невилл Маллерд.

— Как приятно слышать ваш голос.

Чепа взбесило, что китаец так быстро взял себя в руки.

— Ура-ура, — пробурчал он, чтобы хоть что-то сказать.

— Где вы?

— Я на лестничной клетке перед вашей дверью, — сообщил Чеп, улыбаясь в откинутую крышечку телефона.

Хун ничего не сказал, и в этой тишине Чеп громко постучал в дверь квартиры.

1. Гуркхские стрелки — одно из подразделений армии Великобритании, вербуемое из непальского племени гуркхов.

Хун — какой-то незащищенный, похожий на слизняка, опешивший — приоткрыл дверь, с недоумением выглянул. Он был в мешковатых пижамных штанах, от которых Чеп тут же брезгливо отвел глаза. Майка на Хуне была заношенная, а пластмассовые шлепанцы такие же старые, потрескавшиеся, как у Вана, — Чеп слышал их шарканье по полу, когда Хун шел к двери. В общем, типичный китаец, застигнутый не вовремя у себя дома: злой, неопрятный, потный, растрепанный, сонный, точно его только что с кровати столкнули.

— Да-у?

Даже его английский стал каким-то нечистым.

Судя по тому, как медленно Хун открыл дверь, как он упорно скрипел ею, пока в зазоре полностью не появился его остроконечный череп, китаец явно ждал неприятностей. Вид у него был нервный; за дверь он цеплялся, точно за щит, чуть ли не вонзая в дерево свои желтые ногти.

В первый же момент знакомства с Хуном Чепа покоробило, что китаец выше него ростом. Похоже, на несколько десятых дюйма. А может быть, и на целый. Это казалось чем-то ненатуральным — или, по крайней мере, неположенным, как и в случае долговязого Вана, — ведь китайцам надлежит быть коротышками. Сегодня это вновь покоробило Чепа, потому что он не мог заглянуть через голову Хуна в квартиру.

— Вы что-нибудь забыли? — спросил Хун, обретший свой обычный голос.

— Я просто шел мимо. И подумал, что нам с вами нужно увидеться.

— Если бы вы только позвонили...

— Еще как позвонил, — помахал Чеп своим сотовым телефоном.

— Сейчас неудачный момент, — сказал мистер Хун.

На странице китайской газеты у Хуна в руке Чеп увидел фотографию официального представителя Китая, который, неискренне улыбаясь, стоял рядом с губернатором Гонконга. Вспышка, отразившись в очках китайского представителя, превратила его глаза в пустые бельма. Зловещая картина. Где-то в комнате, за спиной Хуна, надрывался включенный телевизор: гнусавые голоса, дебильная музыка — детский канал, тупые и жестокие мультфильмы весь день напролет.

— Мне нужно с вами поговорить.

По-видимому, это заявление ошарашило Хуна. Такого он не ждал. Чеп и сам отлично знал, что к *этим* так просто не заходят. Для гонконгских китайцев не было угрозы страшнее, чем внезапный стук в дверь. Да и для гонконгских англичан — тоже. Без приглашения в гости заваливаются одни американцы. Но другого способа ответить на вопрос Мэйпин у Чепа не было.

— В данный момент я очень занят, — продолжал Хун. Чем занят-то? Детские передачи смотрит? Газету читает? — Можно где-нибудь встретиться.

— А здесь чем плохо?

— Я не принимаю гостей дома.

— На прошлой неделе вы меня приняли, — возразил Чеп. Он явственно это помнил, поскольку тогда сам подивился, что китаец вдруг пригласил его к себе.

— Я имею в виду, по деловым вопросам.

— У меня вопрос не деловой, — заявил Чеп, не давая Хуну пощады, надвигаясь на китайца, который словно бы застрял между косяком и

приоткрытой дверью. — Мы должны поговорить, как мужчина с мужчиной.

С почти беззвучным вздохом Хун произнес:

— Ну хорошо, вернитесь через час.

И вновь — Юнион Джек над крышами; штабель клеток, в которых с жердочки на жердочку перелетают взбудораженно щебечущие птицы; безвкусная кумирня со статуей обезумевшей краснолицей богини-демоницы и гирляндой ярмарочных лампочек — это в магазине засахаренных фруктов, где продавец орал на кого-то по сотовому телефону; визг обреченных поросят из кузова проезжающего мимо грузовика; семейство, расположившееся для обильной трапезы посреди сварочной мастерской, белоснежная скатерть наброшена прямо на отрезной станок; огромные сверкающие пассажирские лайнеры, пролетающие на бреющем в сторону Кай Така (казалось, воздушный коридор раскинулся над всем Коулуном), — вот на что Чеп убил час ожидания.

Вернувшись, Чеп нашел Хуна преобразившимся; китаец выглядел надменным, почти неприступным в костюме цвета дыни с лейблом "Пьер Карден" на рукаве. Теперь визит мог иметь только формальный характер. В знак официальности встречи Чеп, предугадавший такой оборот событий, принес под мышкой ярко-красную коробку с фунтом засахаренных фруктов. Входя, он вручил ее Хуну, точно пропуск, дающий право присутствовать, например, на унылой маловажной церемонии в зарубежном государстве.

И не в каком-то абстрактном государстве, а в Китае. Войдя в комнату, переступив порог, Чеп ощутил, что пересек границу. Обстановка, насколько Чеп успел заметить, моментально оглядевшись по сторонам, значительных изменений не претерпела: все тот же китайский неуют. Хун подталкивал его к креслу, как в тюремный карцер, но Чеп прошел к окну и вновь увидел позади мигающего огнями "маяка Белиши"[1] на перекрестке здание "Империал стичинг" — окна верхних этажей: дирекции с комнатой мисс Лю и закутком Лили, закройного цеха, бывшего отделочного цеха, кабинета мистера Чака с опущенными жалюзи.

Обернувшись, чтобы улыбнуться Хуну — усмехнуться над неудачной попыткой китайца загнать его в кресло, — он осознал, что в комнате что-то изменилось, но что?

— Прошу вас, — мистер Хун пихнул кресло в его сторону.

Усевшись, Чеп еще острее почувствовал: что-то не так. Из той части комнаты, которую он видит боковым зрением, что-то исчезло.

— Чаю, — произнес Хун. То был приказ. Хун улыбнулся. Отошел, шагая по сверкающему полу — по лаковому паркету, прямо-таки горящему на полуденном солнце.

Где же белый мохнатый ковер, которым был застлан пол?

— Обратите внимание: листья плоские, — говорил мистер Хун; моментально вернувшись, он тут же пустился объяснять, что это самый редкий сорт китайского чая, особенно эта партия, она собрана с лучших кустов на склоне одной-единственной горы под Ханчжоу, непременно в месяц, предшествующий празднику Цин Мин.

— Прелестно, — заметил Чеп, нарочно подражая матери. — Тысяча благодарностей.

— "Лун-цин", — сообщил Хун название чая.

1. Дорожный знак — желтый мигающий шар на полосатом столбе. Показывает место перехода через улицу.

Придерживая костлявым пальцем крышку чайника, он разлил чай по чашкам; хотя ноготь походил на желтый коготь, сам палец был бел, как фаянс.

— Колодец Драконов, — пояснил Хун.

— Верно сказано, — буркнул Чеп.

— Вам это ничего не напоминает?

— Для меня это все китайская грамота, — возразил Чеп.

— О да, — продолжал Хун. — Дракон на мандаринском "лун", а на кантонском "лунь".

— А, это я, кажется, знаю.

— "Коулун". Девять Драконов.

— Логично.

— "Тонг" — это...

— Тайное общество, вроде триады.

— Где вы это слышали?

— Я здесь всю жизнь прожил, — сказал Чеп.

— "Тонг" — "пруд".

— "Тонг"? Какой еще пруд? — усмехнулся Чеп. — Есть слово "гонг". Есть слово "тон" — это оттенок цвета или интонация при разговоре. "Враждебный тон"... Больше ничего похожего вроде нет.

— Не на вашем языке, — проговорил мистер Хун. — "Тонг" значит "пруд". "Коулун Тонг". Пруд Девяти Драконов.

— Ага, ясно.

— Откуда пьют драконы.

— Разумеется.

Кажется, мистер Мо, геомант, специалист по фэн шуй, говорил что-то подобное? Китайцы есть китайцы. Все слова одинаковы на слух, все люди на одно лицо. Но "эйвон" значит "река"[1], а маяк Белиши, вроде того, что за окном, назван в честь Лесли Хор-Белиши, члена Палаты общин и министра транспорта. Знает ли это Хун?

— Каждое слово что-нибудь да значит, — заметил Чеп.

Хун пристально уставился на него, словно силясь проникнуть в скрытый подтекст этой фразы.

— Зеленый чай делает нас здоровыми, — заявил Хун. И поставил полную до краев чашку на подлокотник кресла Чепа.

Чайные принадлежности он расставил на маленьком столике, и их хаотическое расположение всколыхнуло воспоминания о том, как выглядела эта комната раньше. Чепу она запомнилась другой — не такой голой, как сейчас. Отмалчиваясь, Чеп пил чай. В память ему врезался белый ковер, белизна, лохматый ворс — и еще что-то, но что?

— Можно воспользоваться вашими удобствами?

Попытавшись скрыть досаду, Хун неуверенно заерзал; очевидно, просьба Чепа его взбесила. Хун не хочет пускать его дальше этой комнаты.

— Все ваш треклятый чай! — Чепу понравилось пародировать словечки матери. Пусть Хун почешет в затылке.

В туалете ковра тоже не было. Но Чеп был уверен: раньше ковер тут имелся: белый, мохнатый, совершенно неуместный. Странно: эти люди никогда ничего не выбрасывают. Крышка унитаза была по-прежнему опущена — чтоб не утекала энергия.

1. Имеется в виду значение слова "эйвон" в староанглийском языке и связанный с ним топонимический курьез: получается, что река Эйвон — это "река Река".

— Чай заварен в воде, которая не была доведена до кипения, — произнес Хун, когда Чеп вернулся. Китаец вновь наполнял его чашку. — Достаточно восьмидесяти градусов по Цельсию — в отличие от индийских сортов, которые нужно заливать кипятком и долго настаивать.

— Мама говорит, что вы изъясняетесь как культурный человек; так оно и есть, — проговорил Чеп. Привстал из кресла, чтобы выглянуть в окно. — Отсюда видно мое здание.

Хун повернул голову, точно начиная фигуру танца, — она плавно скользнула вбок.

— Фэн шуй, — сказал он.

— Знаю, — отозвался Чеп. Он имел в виду само понятие. О фэн шуй толковали все, даже мистер Чак: у "Риджента" фэн шуй хорошее, у нового здания Китайского банка[1] — трехгранного, с асимметричным расположением окон и стен — дурное.

Голова Хуна не прекращала скольжения — то ли чтобы привлечь внимание Чепа, то ли чтобы подчеркнуть важность сказанного.

— Они должны течь в обе стороны. Нет препятствий — фэн шуй хорошее.

— Они?

— Ци стихий.

— Место для фабрики подобрал мистер Чак. Наверно, у него были свои резоны, — Чеп собрался было упомянуть о ежегодных визитах мистера Мо, вооруженного диском-компасом, картами и таблицами вычислений, но что зря тянуть? Он пришел выяснить судьбу А Фу. — Фабрика расположена удачно. Сами знаете.

Про себя Чеп рассудил, что этим, вероятно, и объясняется настойчивость Хуна: "Империал стичинг" находится в идеальном месте, в брюхе дракона.

Хун не подал виду, что задет холодностью Чепа, только лицо у него сморщилось, точно на сильном ветру, — такое выражение появлялось на лице мисс Лю, когда она отлаживала вентилятор в кабинете Чепа.

— Что до нашей сделки, — продолжал Хун, — то обсуждать тут больше нечего. Договоренность достигнута. Еще чаю?

— Я хочу поговорить об А Фу, — заявил Чеп, чувствуя себя так, словно переходит в рукопашный бой с мистером Хуном.

— Прежде чем вы заговорите, — ровным голосом произнес Хун, никак не реагируя на слова Чепа, — мне хотелось бы кое-что вам показать.

Своей странной, развинченной, шаркающей домашней походкой — совсем не так, как вышагивал вне дома, — Хун, клацая шлепанцами, подошел к буфету, встал на колени, распахнул маленькие дверцы и начал копаться внутри, шурша бумагой. Чеп наклонился посмотреть, но так и не увидел, что же делает хозяин. Китайский буфет вполне мог сойти за кумирню.

На буфете стояли большие бесшумно идущие часы, неверно показывающие время; для Чепа это стало еще одной приметой того, что он находится в Китае, где, как он воображал, время всегда неверное. Стрелки указывали на четверть четвертого, хотя было уже полпятого. Китай отстает, Китай медлителен, неаккуратен и старомоден. Часы были механические, во французском стиле, на золоченых ножках, в выгоревшем на солнце — или вообще пластмассовом, лишь имитирующем дерево — кор-

1. Китайский банк (Bank of China) представляет финансовые интересы КНР на территории Гонконга.

пусе тыквенного цвета. Округлость часов резко контрастировала с остроконечным черепом Хуна.

Прикрыв и заперев дверцы буфета — нет, самой настоящей кумирни, — Хун встал на ноги. Возвысился над Чепом. Протянул ему конверт — точно вытянутую из колоды карту.

— Это вам.

Красный пакетик "ли синь" с золотыми оттисками китайских иероглифов был Чепу не в новинку — по праздникам гонконгские китайцы дарили друг другу в подобных конвертах "деньги на счастье". Сколько таких он получил от мистера Чака — правда, исключительно на день рождения или на Рождество. Конверт отлично соответствовал ледяной чопорности квартиры Хуна, всему этому ритуалу вопросов, которые остаются без ответов.

— Откройте, если желаете.

Чеп сжал края пакета, затем, поднатужившись, дунул в него с открытого конца. В надутом пакете обнаружилась сложенная бумажка, которую Чеп достал и развернул. То был чек Китайского банка на пятьдесят тысяч долларов — что-то около четырех тысяч двухсот фунтов, — выписанный на его имя.

— Вашей матери я уже вручил такой же.

— Благодарствую, — пробурчал Чеп, вновь употребив материнское выражение. О чеке она и словом не обмолвилась.

Подумаешь, чек. Китайский чек — как вообще все китайское — это лишь имитация, обманка, которую заведомо нельзя использовать по назначению. Образец бутафорского искусства, не более того. Чек, несомненно, ничем не обеспечен — в лучшем случае это символические деньги, которые нельзя пустить в оборот, неисполнимое ритуальное обещание. Все они букашки при бумажках, эти гонконгские китайцы — мастаки выписывать фиктивные векселя, сбивать цену и завышать накладные расходы. Для Чепа этот чек в красном конверте был чем-то несерьезным — а сказать по чести, оскорбительным, — но, чтобы не дразнить Хуна, Чеп отбарабанил все приличествующие случаю фразы.

— Это не идет на счет компании "Полная луна", — пояснил Хун, яростно кивая. — Это подарок лично вам. Маленький презент другу от друга. В знак благодарности и доверия.

Опять деликатность по-китайски: в самый щекотливый момент сунуть тебе пачку денег. Как в таких случаях водилось, намерения дарителя были абсолютно прозрачны: связать Чепа какими-то обязательствами, заморочить ему голову, отвлечь — но зачем?

Чеп не сомневался: Хун нарочно помешал ему додумать до конца какую-то важную мысль, но какую?

С недоуменной улыбкой Чеп начал потерянно озираться по сторонам. Наткнулся взглядом на часы. Они по-прежнему показывали четверть четвертого. Стрелки не двигались. Значит, часы не отстают, а стоят. И еще одна тревожная деталь — стекло, прикрывавшее циферблат, исчезло. Вероятно, разбилось — тогда и часы остановились. Прикинув все это в уме, Чеп вспомнил о своем вопросе.

— Судя по всему, А Фу исчезла.

— Да?

Как Чеп уже имел случай узнать, Хун особым образом выражал безразличие к теме разговора или нежелание ее касаться: согнув руки в лок-

тях, начинал судорожно подергивать пальцами, точно отряхивая с них воду.

— А Фу уже неделю не появляется на работе.

Маской Хуну служила гримаса человека, которому в лицо дует сильный ветер: щеки втянуты, вместо глаз — узкие щелочки, никаких эмоций. Что действительно умеют делать китайцы, так это блефовать с непроницаемым видом.

— И мы гадаем, где она, — швырнул Чеп в это равнодушное лицо.

— Очевидно, ей нездоровится. Она дома.

— Женщина, с которой они вместе снимают квартиру, ее не видела. Она очень волнуется. И я тоже.

— И я.

— Это хорошо. Потому что вы видели ее последним, — заявил Чеп.

И встал с кресла. Хун начал обходить Чепа сбоку, словно стараясь преградить ему путь, но тот, оттеснив китайца, прошел через всю комнату к окну. Выглянув наружу и увидев свое здание, он так поразился гармонии прямых линий, связывающих это окно с его собственными окнами, что невольно потянулся рукой к стене и ухватился за горку.

— Осторожно, — произнес Хун, сделав шаг в его сторону.

Пальцы Чепа, пройдя сквозь дверцу горки, натолкнулись на полку. Стекло в дверце отсутствовало. Керамика, прежде заполнявшая горку, исчезла. Безделушек на полках поубавилось. Серебряная ложка, раскрашенная жестяная кошка, медный колокольчик — и все. Где же фарфор? Где стекло?

Чеп стоял на замусоренном, не покрытом ковром полу, в комнате с голыми стенами, где из дверцы горки и с циферблата мертвых часов исчезли стекла. В квартире китайца, где царит полный Китай, — какая-то почти противоестественная пустота.

Жители Гонконга редко принимают гостей у себя дома, но если уж до этого доходит, кичатся своей бытовой техникой и прочими игрушками: неисправимые любители транжирить деньги, они ненавидят фамильные реликвии, зато обожают чудесные современные приспособления. Бывшие беженцы, они превыше всего ценят движимое, портативное имущество, то, с чем можно легко удрать. Но унылая квартира Хуна полностью отвечала представлениям Чепа о настоящем, континентальном Китае: бережливость на грани помешательства, противный запах капусты, жареной лапши, изъеденных грибком ног; дома́, где люди в подштанниках сидят на твердых стульях и чихнуть боятся.

— А Фу ушла из ресторана с вами.

— Вы сами видели, как мы ушли?

Чеп замялся; прежде чем он подобрал ответ, Хун перешел в атаку:

— Видите? Вы очень ошибаетесь.

Чеп хотел было сказать, что Мэйпин видела, как они уехали вместе на такси, но передумал. Ее лучше не вмешивать.

— Может быть, А Фу поехала погостить к родственникам в Китай.

— Она боялась туда ездить. Она хотела эмигрировать в Канаду.

— Вот и объяснение, — заявил Хун. — Она уехала в Канаду. Она молода. Молодые иногда поступают безответственно.

— Она работала на моей фабрике, — возразил Чеп. — Ни одного прогула, ни одного опоздания.

Хун не переставал улыбаться, но это была гримаса на ветру, сощуренные глаза, вглядывающиеся в грозовое небо.

– Кто о ней расспрашивает?

– Я.

– Но вы сказали "мы гадаем".

Чеп пристально уставился на него.

– Пожалуйста, сядьте, – попросил Хун.

Вместо этого Чеп подбоченился и заявил:

– Если она пропала без вести, это должна расследовать полиция.

– Плохая идея, – заявил Хун. – Полиция только создаст проблемы.

Чепу было противно слышать от Хуна ровно те же слова, которые он сам сказал Мэйпин.

– Проблемы вам?

– Проблемы нам.

– С А Фу могло что-нибудь случиться, – сказал Чеп и сделал шаг к Хуну.

Тот не шелохнулся. Спокойно сказал:

– В порядке полицейского расследования они станут проверять вашу фирму. Ваши документы и мои. Они обнаружат, что мы учредили новую компанию на Каймановых островах и что деньги противозаконным образом переводятся на другие счета. Видите?

Но Чеп, не слушая, возразил:

– Я не обязан вам ничего продавать!

Все тем же спокойным тоном Хун добавил:

– И ваша мать может счесть, что все это ужасно не ко времени.

Чеп прикусил язык. Как же его бесил этот тон, этот высокомерно-самонадеянный голос – и тем сильнее бесил, чем яснее Чеп понимал: Хун угадал верно. Мать и впрямь призывает: "Не встревай!". Такова уж ее натура – кстати, роднящая Бетти с китайцами.

Хун, раздирающий куриные ножки, выдергивающий жесткие сухожилия, гложущий желтые голени; его перекошенные губы, когда китаец, объедаясь курятиной, описывал процедуру умерщвления птицы; "Я хочу съесть вашу ножку" и скандал из-за горькой дыни; резкое движение, которым он сунул в рот А Фу дешевый нефритовый кулончик, – все это всплыло в памяти Чепа, когда он заглянул в лицо Хуну. В этой череде картинок была та же логика, что и в увертюре, предупреждающей слушателя о том, что сейчас совершится страшное преступление.

Увидев все эти картинки на китайском свитке, догадаешься, даже не видя трупа: совершено убийство.

– Ваша мать желала бы, чтобы вы не совали нос в чужие дела.

Чеп увидел все явственно: во время схватки ковры сбились, часы полетели на пол, горка опрокинулась – отсюда разбитые стекла. А Фу отбивалась как могла. Хун изо всей силы ударил ее по голове, возможно размозжив череп, и кровь девушки забрызгала белые мохнатые ковры. Вещественных доказательств в комнате нет, вещественные доказательства исчезли – и именно эта спартанская опрятность доказывает факт совершения кровавого преступления. Совсем как в Китае. Убогий вид квартиры – это убогий пейзаж Китая, страны, которую чисто вымели и упростили силы хаоса: бунты, террор, массовые казни, война. А Гонконг – наоборот, безобидный беспорядок огромного чердака, просто груда изношенных или устаревших вещей.

– Кто-нибудь спросит, – не сдавался Чеп.

– Только тот, кто любит соваться в чужие дела.

– В Гонконге таких предостаточно. Это вам не Китай, знаете ли.

— А Фу там, где она хочет быть. — Хун смерил его долгим взглядом. — Нехорошо вмешиваться в чужую частную жизнь.

— Если человек умер своей смертью, это частное дело, — сказал Чеп. — Если ее убили, это касается всех.

— Думаю, ваша мать с этим не согласится.

Вновь проявив редкую находчивость — как раньше, когда, заполняя неловкую паузу, предложил Чепу чаю, — Хун спросил:

— Помните, я вам говорил, что Венделл из "Киски" — евразиец?

— Да, — ошарашенно подтвердил Чеп, гадая, что стоит за этим якобы случайным замечанием.

— Отлично. Венделл — ваш брат. Единокровный брат, лучше сказать.

— Ложь!

Чеп попятился к двери и с порога услышал радио — гогот кантонской речи и громкую музыку. Услышал звонки телефонов, клаксоны машин, пробивающихся через уличную толчею внизу. Как смеет Хун говорить такое!

Да, Гонконг — безобидный беспорядок, но китайцы — скоты, а Китай, каким его воображал себе Чеп, выглядит голой пустошью именно потому, что столько всего переломано. Вся посуда в Китае перебита вдребезги; она не выдержала регулярных, повторяющихся из десятилетия в десятилетие потрясений, которыми знаменита эта страна. Все окровавленные ковры выброшены на свалку. Все портреты предков уничтожены. Все трупы зарыты. Страна голых комнат и пустых полок, похожая на эту квартиру.

— Кто-нибудь может обратиться в полицию.

— Этого делать не стоит.

Чеп промолчал. И с облегчением покинул квартиру.

11

Вернувшись от Хуна домой, Чеп обнаружил, что матери нигде в коттедже нет. "Умерла?" — промелькнуло в голове.

Все эти годы Чеп жил по неизменному распорядку, и потому самая пустячная перемена оборачивалась шоком. Без программы действий он чувствовал себя не в своей тарелке. Импровизировать он не умел. Все его душевное спокойствие держалось на устоявшемся графике: шесть часов — это утренний чай, вносимый на подносе Ваном, семь — собственно завтрак, восемь — отъезд из дома на "ровере" или на трамвае, девять — прибытие в Коулун Тонг, одиннадцать — кофе с печеньем, час дня — ланч, четыре пополудни — чай, полшестого — "Киска". Среда означала Крикет-клуб, желание заняться сексом — Мэйпин, а возвращение домой — мать, застывшую в вечном ожидании.

— Неужели тебе не надоедает, что каждый день похож на предыдущий? — как-то спросил его мистер Чак.

— Будь он не похож, мне бы страшно стало.

Возможно, потому-то старик и завещал свою долю "Империал стичинг" Чепу. Это мистер Чак виноват, что все стало стремительно меняться. Не вовремя он умер. Хлопоты с похоронами и ворохом бумаг для Монти; переход "Империал стичинг" в единоличную собственность Чепа; Хун.

Ван стал еще молчаливее. Его пробежки длились все дольше, словно Ван сам себя наказывал, — Чеп наблюдал, как слуга взбегает по скользкой Пик-роуд. Бег трусцой — один из тех видов активного отдыха, которые выдают человека с головой. Когда Чеп бросил курить, ему советовали заняться бегом, и он начал приглядываться к изнуренным людям, снующим по Пику вверх-вниз. Бег трусцой — безумный исповедальный танец: вылезающие из орбит глаза, впалые щеки, красные пятна на руках и бедрах, развинченные суставы. Бегуны всегда выглядели так, словно еще немного — и капитулируют. В их странном, медлительном передвижении вприпрыжку выражалось все их нездоровье и нервозность. С одного взгляда на Вана становилось ясно: ему худо.

Ели они не всегда вовремя: Чеп часто запаздывал. Сделка с мистером Хуном, судя по всему, положительно повлияла на вкусы его матери. Она взяла привычку подавать к завтраку по паре копчёных селедок, а к чаю делала себе сандвичи уже не с рыбным паштетом, а с лососиной. А теперь еще и А Фу исчезла. Хаос.

— Мама?

Чеп сам испугался своего панического вскрика. Стал обходить пустые комнаты, каждый раз включал свет, отвернувшись в сторону, — словно боясь наткнуться взглядом на тело матери, распростертое на полу. Потом, чтобы восстановить порядок и предъявить права владельца на свой дом, он заварил чай и, нервно вертя в руках ложку, сел за стол. Воспоминание о визите к Хуну не давало ему покоя. Мэйпин спросит, как прошел разговор. Позвонить ей, что ли? Нет, лучше — легче — объяснить ей все при личной встрече. Вот и еще одна перемена в его жизни — желание видеть Мэйпин стало возникать не только тогда, когда ему хочется заняться сексом. Теперь она нужна ему и для чего-то другого. Как жаль, что он не может порадовать ее хорошими новостями.

Тут Чеп спохватился, что думает о Мэйпин в момент, когда его матери, возможно, и в живых больше нет. Мучимый совестью, он пристыженно попытался свалить вину на Мэйпин — зачем она его отвлекла?

Спустя минуту он услышал, что по улице едет машина. Выглянул в окно. Такси. И тут же в дом, чуть ли не валясь с ног от хохота, ворвалась мать.

— Где ты была?

Какая, в сущности, разница, где она была, раз уж появилась, счастливая, запыхавшаяся и, кажется, слегка навеселе; однако Чеп, раздосадованный, что она нагнала на него такого страху, решил ее отчитать. Вполне сознавая, что точно копирует ее саму в незадавшийся вечер.

— Играла по маленькой, — заявила она.

— Я тут с ума схожу. Думал, стряслось что-нибудь ужасное.

— Ну ты прямо как педик. “Что-нибудь ужасное”!

— Люди пропадают, знаешь ли, — произнес он. И осекся — горло перехватило. — И во что же ты играла?

— Да во что тут играют, Чеп? Пораскинь мозгами.

— Мама, ты же сама знаешь, во всякой игре есть свои шулера и лохи.

Чепа трясло. Со стороны могло показаться, будто он негодующе спорит с матерью, обращая шаткую логику Бетти против нее самой, но истинной причиной вспышки негодования был страх за ее жизнь.

— Да уж наверное, спасибо, что напомнил, — процедила она. Но слова Чепа не испортили ей настроения. Она по-прежнему улыбалась. — Я в “Счастливой долине” была, поверишь?

В памяти Чепа хранилось столько отчетливых воспоминаний обо всех их с матерью разговорах по душам в "Счастливой долине", что при одном упоминании этого места он смягчился. Однако, насколько знал Чеп, мать никогда не играла в будни и тем более не говорила о скачках в таком тоне. Сегодня же она словно бы похвалялась.

— Ты выиграла, — заключил Чеп. И больше ничего не добавил, даже не сформулировал то, что пришло ему на ум, но его недоношенная мысль представляла собой что-то вроде "Когда только она проигрывала?".

— Разве я тебе не говорила — я же везучая?

Очередная широкая улыбка преобразила ее лицо, придавая Бетти сходство с лукаво щурящимся гномом: мешки под глазами поползли к вискам, черты исказились, точно после карикатурной хирургической подтяжки.

Дело даже не в том, что она набралась храбрости рисковать крупными суммами — а суммы, должно быть, крупные, иначе она, обычно столь опасливая в игре, не торжествовала бы теперь... — и откуда у нее вообще деньги?

Тут Чеп вспомнил. "Вашей матери я уже вручил такой же". Пятьдесят тысяч гонконгских долларов. Значит, чек, которым ее подмаслил Хун, она уже обратила в наличные и пустила на тотализатор.

— А завтра, наверное, двину в Ша Тинь, если настроение будет.

У дверей кабинета с сурово-вопрошающим видом дожидалась Мэйпин. Глаза у нее вечно менялись: бывали дни, когда их вообще не было заметно на лице, порой они были маленькими, темными, лукавыми; но сегодняшние глаза Мэйпин, пылающие нешуточной тревогой, поразили Чепа в самое сердце. Ей нужен был ответ.

Пытаясь протиснуться мимо нее, Чеп пробормотал:

— Мне нужно заняться бухгалтерией.

В этот миг он испытывал только одно чувство — страх. Ему хотелось спрятаться. Но она поверила его отговорке.

— Мисс Лю? — окликнул он и, едва успев это произнести, услышал, как стул мисс Лю с грохотом отодвигается, и увидел саму секретаршу в дверях. Охваченный обычным своим ужасом перед импровизациями, Чеп растерялся и, панически придумывая, какое бы распоряжение отдать, вспомнил разговор насчет флага и непонятного отсутствия мистера Ву; тут у Чепа перед глазами возник список пропавших без вести в полицейском участке и среди них — имя мистера Ву.

— А что, мистер Ву так и не вышел на работу?

— Не вышел.

— Как зовут мистера Ву?

— Фрэнк зовут.

— Пожалуйста, мисс Лю, скажите мне его полное имя, включая китайское.

— Сейчас, только посмотрю.

Чеп заметил, что Мэйпин не стронулась с места.

— Видите, как я занят?

Мэйпин опустила глаза, но не отступила ни на шаг. Китайцы не любят открытых конфликтов, редко находят слова для возражений — но бывают весьма упрямы.

— У меня полно забот, — заявил Чеп. — Мать опять играет на скачках.

Он попытался произнести это с такой интонацией, словно речь шла о большой беде.

— Вы видели мистера Хуна?

Чепа опечалило, что, глубоко презирая этого типа, ненавидя его за агрессивное хамство, даже подозревая в убийстве, она все же именовала его мистером. Но, возможно, это проявление одной из основных черт китайцев — их умения выхолащивать некоторые слова, лишать их истинного смысла.

— Видел вчера. Был у него на квартире, — ответил Чеп. -- Об этом-то я и хочу вам рассказать, когда у меня будет свободная минутка.

Мэйпин уставилась на него, словно пытаясь высмотреть в его глазах надежду, хоть какой-то добрый знак, хоть что-то светлое; она слегка вытягивала шею, будто заглядывая через забор, смотрела все пристальнее, все проницательнее.

— Все будет хорошо, — сказал Чеп.

Но думал он в этот момент совсем не о Хуне и не об его квартире. После той квартиры и красноречивых перемен в ее обстановке судьба А Фу представлялась ему в самых мрачных красках. Покамест этого было нельзя говорить Мэйпин, но мысленно он произнес: "Пусть А Фу уже нет, не волнуйся — у тебя есть я. И, может быть, А Фу все-таки жива".

Мисс Лю, высунувшись в дверь, сообщила:

— Фрэнсис Мао Юн Ву.

Нет, А Фу больше нет.

— Что случилось? — спросила Мэйпин, заметив, как он изменился в лице.

— Ничего, — ответил Чеп, а сам подумал: "Все". И впервые с тех пор, как услышал убийственное сообщение Хуна о Венделле, почувствовал, что в словах китайца, возможно, есть какая-то доля истины.

В этот миг Мэйпин уверилась в своих худших предчувствиях насчет судьбы А Фу. Чеп понял это по тому, как ссутулились ее хрупкие плечи, когда она побрела назад в цех.

Вместо того чтобы съесть ланч в кабинете, прямо за письменным столом, Чеп отправился в "Киску" и засел там, спасаясь от Мэйпин. Прихлебывал пиво, пытался читать "Саут Чайна морнинг пост". Практически всю первую полосу занимали новости на тему Сдачи по-китайски. Чеп выпил еще немного и, увидев фото очаровательной женщины с лисьей мордочкой, заинтересовался подписью к нему: узнать бы ее имя или национальность, разгадать, почему она его так привлекает... — и прочел: "В красоте всегда есть изъян"[1].

— Это еще что за чушь?

Его раздосадовало, что самое пустяковое желание невозможно выполнить: ведь ему просто хотелось узнать имя женщины, только и всего.

Отшвырнув газету, Чеп привалился спиной к стенке кабинки, отдавшись во власть оглушительной музыки, сосредоточившись на танцовщицах. И с новой остротой почувствовал, что его жизнь превратилась в хаос. Он и раньше иногда посещал "Киску" в середине рабочего дня, но когда это ему случалось сидеть и смотреть на обнаженных до пояса филиппинок, даже не вспоминая, который час?

Чеп вытянул шею, чтобы подглядеть в зеркало за Венделлом, который, морща лоб, смотрел по телевизору скачки.

1. Фрэнсис Бэкон "О красоте".

Из-за спины Чепа мама-сан проговорила:

— Вы очень похожи на вашего отца.

Эта фраза окончательно ввергла его в отчаяние.

Среди танцовщиц он узнал Бэби. Танцевала она плохо, улыбалась зеркалам, пошатывалась на высоких каблуках. Тело у нее было великолепное — пышная грудь, стройные ноги, нежное, какое-то щенячье лицо, придающее ей вид доверчивой простушки. Чеп вспомнил, как Бэби стояла на четвереньках на ковре в "синем отеле", улыбаясь ему через плечо, и говорила: "Давай-давай делать сенят".

Когда музыка отзвучала, Бэби подсела к Чепу. Она была уже в платье.

— Мое платье новое нравится? — спросила она. — Это мой лучший цвет.

Рассмотреть платье в темной кабинке было совершенно невозможно. Чеп прикоснулся к шелковистой материи — синтетика китайского производства — и поинтересовался:

— Что за цвет?

— Висневый.

— А, да, конечно, — пробурчал Чеп, не выпуская из пальцев мягкого рукава, размышляя о стране, где сшили это платье. — Что вы будете делать через год, когда власть перейдет к китайцам?

— Мы, пилиппинцы, может быть, просто уедем, домой назад.

Бэби решила, что под словом "вы" он подразумевает всех выходцев с Филиппин, которые проживают в Гонконге.

— Вам там нравится?

— Конечно, я там ненавижу, — улыбнулась Бэби своей восхитительной белозубой улыбкой. — Пилиппины — одно дерьмо.

— Почему вы так говорите?

Как же здорово, думал Чеп, посреди рабочего дня попивать пиво в полутемном баре и молоть чушь, зная, что собеседница не будет судить тебя строго.

— Потому что это моя родина, — пояснила Бэби. — Но другим нравится. Иностранцам нравится. Вам будет нравиться.

— Охотно бы там побывал.

Чеп предался праздным грезам: выдумал себе целую новую жизнь, вообразил план действий — от приезда на Филиппины и знакомства с какой-нибудь девушкой наподобие Бэби до обзаведения детьми и, возможно, собственным делом. На этом пункте его обуяло смутное беспокойство — то ли из-за детей, то ли из-за всего, что он наслушался про Филиппины: страна опасная, беспорядки, собак едят... Более-менее реалистично Чеп мог представить себе только одно: как сидит в каком-нибудь баре Манилы и занимается тем же, чем и сейчас, — пьет пиво и болтает чушь в обществе хорошенькой девушки.

— Поедем в Манилу, — заявила Бэби. — Я буду вашей подтиркой.

— Я полный псих, — поспешил сказать Чеп. В глубине души он отлично знал, что никакой он не псих; характер у него не самый легкий, но и только. — Я вам не подойду.

— У каждого свои недостатки, — парировала Бэби. — Я люблю, когда психи. Мои друзья — психи.

Чеп промолчал. Бэби казалась добросердечной и снисходительной к чужим недостаткам, но вела себя по-идиотски и его превращала в идиота. В баре, где он, сам не зная почему, спрятался от Мэйпин, его нервы

временно успокоились. А Бэби так доняла его своими глупостями, что Чеп поневоле мог думать лишь об одном — о достоинствах Мэйпин.

— Вы здесь останетесь в будущем году?

— Не знаю, — буркнул Чеп.

— Моя мама знает китайцев, — сообщила Бэби.

— Да и моя еще как знает!

Чеп знал, что мать у Бэби — прислуга в китайской семье, в доме на Мид-Левелс[1], а сестра — санитарка в сумасшедшем доме в Чай Ване. Сама Бэби в свободное от стриптиза время работает уборщицей в пятизвездочном отеле и может много порассказать о том, какие предложения получает от постояльцев — и мужчин, и женщин. Обе сестры и мать ютятся в каморке в Кеннеди-тауне. Когда Чеп впервые заговорил с ней в "Баре Джека", Бэби объявила себя испанкой.

— Китайцы сажают тебя в комнату, мужчины приходят, издеваются тебя, имеют с тобой секс. Если ты плакаешь, не важно, им нравится это слысать. Не смейся, а то сильнее побьют. Потом китайцы опять тебя запирают.

Чепу показалось, что ее устами говорит здравый смысл, — но в ушах у него звенело, и он понял, что пьян.

— Меня они в комнату не посадят, — заявил он. — Расскажите мне о Маниле.

— У моего папы в Маниле лавка старья, — сказала Бэби.

— Достаточно, — оборвал ее Чеп. — Не надо мне больше ничего рассказывать.

Ближе к вечеру Чеп вышел из "Киски", уже почти решив, что хочет жениться на Мэйпин. Общение с Бэби помогло ему разобраться в себе. В присутствии Мэйпин он всякий раз терял голову и не мог уже рассуждать логично; во время свиданий с Мэйпин ему часто приходила на ум Бэби, ее готовность принять любую его идею (в том числе "Давай-давай делать сенят!"); но за эту готовность приходилось расплачиваться — Чеп должен был считаться с ее собственными идеями, к тому же почти всякий раз она клянчила у Чепа то деньги, то подарки для сестры или матери: билеты на самолет, одежду, побрякушки, а один раз даже телевизор. Или взять последнее условие: "Я тебе позволю это мне делать все-все время, когда мы приедем в Англию". Сидя с Бэби в "Киске", чувствуя, как долбит по вискам оглушительная музыка, попивая бутылку за бутылкой недешевое пиво, Чеп с легкостью остановил свой выбор на Мэйпин. Посиделки с Бэби в баре за кружкой пива разбудили в нем страсть к Мэйпин. С Чепом так часто бывало: присутствие одной женщины заставляло желать общества другой. Но здесь было желание иного плана. Ибо оно подразумевало нечто помимо секса: что после соития ему захочется еще немного побыть с ней, а не потянет домой к матери.

Перспектива переезда в Англию вместе с матерью вселяла в Чепа тоску. Но общество Мэйпин сделает Англию относительно терпимым местом. Он увезет с собой кусочек Гонконга, его лучшую — и самую портативную — часть. Совсем как в сказке, которую они с Коркиллом сочиняли и отшлифовывали на школьном дворе: ненасытная в любви наложница-китаянка на фоне усадебного дома, красные ногти, облегающая ночная рубашка, красивые трусики. Ребяческая фантазия, конечно,

1. Буквально: средний уровень. Район Пика Виктории в Гонконге, место проживания англичан и состоятельных китайцев.

но она оставалась созвучна вкусам самого Чепа, а потому по-прежнему его возбуждала.

Законный брак — это, конечно, игра в карты с судьбой, но теперь, когда у него есть деньги, риска меньше. Да и Гонконг он покидает не по собственному выбору — его изгоняет Хун. К тому же между ним и матерью разверзлась пропасть — сделка с Хуном обнажила тот факт, что они совершенно разные люди. Чеп никогда бы не продал свои три четверти фабрики, если бы Бетти не жужжала над ухом, не твердила, что у Гонконга нет будущего. Родная мать заставила его послушаться Хуна. Эта чертова кукла стала пособницей китайца — и чего, скажите, ради?

Риск, связанный с женитьбой на Мэйпин, — не чета риску при игре в тотализатор в Ша Тинь, где тот, кто не выигрывает, обязательно проигрывает. Браков без хотя бы малой толики счастья не бывает. Он попросит Монти составить брачный договор, чтобы в случае развода не лишиться всего имущества. Если совместная жизнь не заладится, они разойдутся в разные стороны. Но Чеп чувствовал, что никогда не перестанет любить Мэйпин; решающим доводом стало то обстоятельство, что она была ему нужна не только для секса. Ему хотелось увезти ее с собой в Англию — пусть станет его женой, пусть будет рядом до самой его смерти.

Едва вернувшись в свой кабинет, он попросил мисс Лю найти Мэйпин.

— Что стряслось? — спросил он, когда они остались наедине. Мэйпин сидела на диване, Чеп — за столом.

— Я видела мой кошмар, — проговорила она.

Исхудавшая и прелестная, с печатью горя на лице... Чепу опять захотелось крепко обнять Мэйпин, овладеть ею и остаться с ней, лечь с ней на одну кровать — а домой не возвращаться вовсе. Раньше, когда она казалась сильной и спрашивала: "Вам меня?", Чеп требовал от нее интимных услуг, а сам рассеянно смотрел сверху, как она усердно ласкает его тело.

Теперь же, бледная, тоненькая, с огромными, словно от голода или хвори, глазами, горящими на заострившемся лице, ломая руки, слегка сутулясь, Мэйпин почти сияла: кожа больных людей часто светится подобным голубоватым светом. Рядом с такой Мэйпин Чеп чувствовал себя могучим и властным. Его подмывало приказать ей лечь на спину и раздвинуть ноги; он явственно воображал, как, прикрыв глаза, она улыбнется от наслаждения, когда он войдет в нее, растормошит, поделится с ней своей энергией.

— Пожалуйста, — взмолилась она, как только Чеп попытался взять ее за руку.

Дверь кабинета Чеп захлопнул ногой. Мисс Лю печатала. Из комнаты управляющего, мистера Чуна, доносился скрип стула — значит, и Чун на месте. Слышно было, как во дворе экспедиции швыряют коробки в кузова грузовиков. В швейном цехе стрекотали машинки, а в закройном время от времени клацала, рубя материю, гильотина.

Самому Чепу не казалось, что он пьян, хотя с Бэби в "Киске" он просидел несколько часов. Однако из того, что Мэйпин уворачивалась, Чеп вывел: она считает, что он пьян — что от него можно и нужно улизнуть, а он даже не заметит.

— Я хочу объяснить мистера Хуна, — заявил Чеп. Выбрался из-за стола, опустился рядом с ней на диван, взял ее за руку, точно заботливый

друг. Мозги у него еле ворочались. Но ведь о Хуне она вообще не спрашивала. Наступила пауза. Чеп завел разговор с самим собой, привел сам себе ряд доводов... и вспомнил. Наконец он спросил:

— Вы сказали "кошмар"?

Она попыталась оттолкнуть его потную руку; а когда Чеп воспротивился, схватила эту руку и положила ему же на колени — так кидают краба в корзинку.

— Я все время вижу кошмар, — проговорила она. — "Счастливая долина". Кого-то наказывают.

— Как наказывают?

— Наказывают по-китайски. Они вывели человека на ипподром. У него завязанные глаза. На трибунах полно людей — китайских людей, — но скачек нет. Нет лошадей, нет веселья. Одни китайские мужчины в форме на большом экране, как в телевизоре. Я вижу: этот человек встает на колени.

Чеп кивал, а его рука, окончательно уподобившись крабу, потихоньку поползла с его коленей к бедру Мэйпин.

— Сегодня ночью этот человек была А Фу.

Рука Чепа замерла, онемела. Он сказал:

— Об этом я и собирался с вами поговорить.

— Солдаты подошли к ней сзади и застрелили в затылок, и все люди в "Счастливой долине" хлопали, — договорила Мэйпин. — Это наказание по-китайски.

Чеп ужаснулся. Перед ним явственно встала вся картина: телеэкран, толпы на трибунах, флажки, красные знамена, стоящая на коленях А Фу, казнь на зеленой траве в центре скакового круга.

Мысль о том, что Мэйпин видела эту кошмарную картину поздно ночью, одна, сжавшись на своей узкой кровати в комнате в Лай Чжи Коке, вселила в него жалость, и он вновь возжелал Мэйпин. Его пальцы, вспорхнув в воздух, прикоснулись к ее руке.

Мэйпин отпрянула, сложила руки на груди, прикрыв второй рукой ту, к которой он прикоснулся. Потом пересела на другой конец дивана — вновь словно отбиваясь от него — и спросила:

— Что вам мистер Хун сказал об А Фу?

— Только то, что он ее не видел.

— Мистер Хун врет, — поникла Мэйпин. — Я думала, может быть, она в его квартире. Вы там ее не видели?

— Нет.

Чеп сам знал, что это прозвучало неубедительно — поскольку он утаил все детали, которые подметил: пропавшие ковры, дверца с выбитым стеклом, опустевшая горка, где раньше хранился фарфор, сломанные часы с голым циферблатом.

— А Фу в беде, — заключила Мэйпин. — Полиция разберется.

— Послушайте. Если совершено преступление, в полицию лучше не ходить. Просто всем сделаете еще хуже, вот и все.

— Не хуже для А Фу.

В своем простодушии Мэйпин смотрела на вещи здраво. Возразить на ее замечание было нечем. Чеп не знал, что и сказать.

— Они найдут человека, который это сделал, — сказала она.

— Возможно, они заподозрят вас. Вы — последняя, кто ее видел.

— Последний — это мистер Хун.

— Да, но он наврет с три короба. Подозрение падет на вас. Неужели не понимаете?

Хотя Чеп не заготовил этот довод заранее и не считал его убедительным, но, высказав его вслух и увидев испуг Мэйпин, сам поверил в вероятность такого оборота событий.

— Я не виновата, — возразила Мэйпин.

— Ну конечно же, — произнес Чеп, а потом набрал в грудь воздуха, собираясь произнести ту речь, которую, наоборот, отрепетировал. — Но послушайте. Возможно, ее больше нет. Возможно, что-то стряслось. Возможно, к этому причастен мистер Хун. Но у вас есть я.

Готовясь к сцене, он видел ее так: после этой реплики Мэйпин улыбается сквозь слезы и падает ему в объятия. Но ожидания не оправдались: ее лицо сморщилось, и она горько зарыдала — совсем как рыдала вчера, с ножницами в руке. Чеп смотрел на нее, обмирая от вожделения. Ему хотелось ее обнять.

Он поднял было руки, но прежде чем успел схватить ее и спасти, она быстро и не очень ловко вскочила — ей, видно, было нехорошо — и выбежала из комнаты.

Чеп понадеялся, что никто не заметил, как она покинула его кабинет в слезах; чтобы не привлекать внимания к ее уходу, он выждал несколько минут, а затем вальяжно — через силу вальяжно — прошел к лифту и спустился на ее этаж, в ее цех.

Девушки с защитными сетками на головах — чтобы волосы не попадали во вращающиеся маховики — сидели, склонившись над кусками ткани. Одна табуретка пустовала. Какая-то швея вытаращила на Чепа глаза, дивясь, что начальство пожаловало в цех второй раз на дню.

— Мэйпин?

— Нет ее.

Чеп сделал вид, что ему все равно. Улыбнулся пустой табуретке. Неспешно прошел к двери и осторожно прикрыл ее за собой. А затем, спотыкаясь, сбежал по лестнице и помчался со всех ног в полицейский участок района Коулун Тонг, где, как он живо себе вообразил, Мэйпин уже выкладывает все без утайки; дорогу Чеп нашел, ориентируясь по Юнион Джеку на крыше, который развевался на крепчающем ветру — такой внезапный бриз с моря часто предвещает дождь.

Полицейский участок пробудил в нем чувство гордости. Этот Гонконг не был безумным скоплением коммерсантов и дебилов, треплющихся по сотовым телефонам; тут правил закон, тут царили благопристойность и порядок. Солидное здание с неулыбчивыми подъездами и хмуро глядящими окнами, сплошные решетки и сетки, темные форменные мундиры, черные ботинки, чистый пол, ряд стульев, еще один флаг — уже внутри — и портрет королевы на стене над головой сидящего за столом сержанта.

— Да? — спросил сержант, подняв глаза от журнала происшествий.

— Я кое-кого ищу.

— Хотите заявить о пропавшем без вести?

— Нет, ничего подобного, просто ищу приятельницу — она упомянула, что, может быть, заглянет сюда.

Едва произнеся эти слова, Чеп понял, что зря употребил глагол "заглянуть" — кто будет заглядывать мимоходом в полицейский участок, тем более такой зловещий?

— У нее кошка пропала. Такая, тигровой расцветки.

Вообще-то Чеп предпочитал говорить правду, и потому лжец из него был никакой — с бедным воображением, неубедительный, недальновидный; и, что хуже всего, он вечно уснащал свою ложь лишними подробностями. Про тигровую расцветку он ляпнул зря.

— Мы не ищем пропавших кошек.

— Она думает, что ее, может быть, украли. Кражами вы ведь занимаетесь?

— Краденая кошка, — протянул сержант. И больше ему ничего не нужно было говорить, чтобы вогнать Чепа в краску. Сержант вернулся к своему журналу, что-то бурча по-кантонски.

Когда Чеп вышел из полицейского участка на улицу, дождь уже начался. Его мать утверждала, что любит дождь, — он якобы напоминал ей о ненастных воскресеньях в коттедже дяди Рона в Уортинге; но мать имела в виду ливни на ее маленьком участке Пика, где на обрыве прямо под домом блестела крыша пожарной части. На Пике выпадали атмосферные осадки. А в Коулун Тонге дождь обрушивался на землю как божья кара; гром протискивался между зданиями, раздирая белье на шестах, колотя по тентам, прикрывающим лотки. Дождь лил и лил, отбеливая плесень на стенах доходных домов, блокируя дорожное движение, подгоняя прохожих — заставляя их толкаться и пихаться, бурля китайской похлебкой в грязных канавах.

Пятясь, Чеп отступил в подворотню, где молодой мужчина кашлял и плевался, как казалось со стороны, в сотовый телефон. Нет, — Чеп улыбнулся, обрадовавшись собственной ошибке, — мужчина изъяснялся на своем родном языке, и Чеп вообразил, что это страстное признание: задыхаясь, с искаженным лицом, пуская слюни, мужчина грызет телефонную трубку в подворотне Коулун Тонга, под шум дождя.

Это навело Чепа на одну мысль, и хотя ему было досадно, что идею подал столь мерзкий тип, Чеп достал свой сотовый и позвонил Мэйпин домой. Где она и что делает, раз уж она не в полиции, не подает заявление об исчезновении А Фу?

Выслушав десять гудков, Чеп уже потянулся пальцем к кнопке отмены вызова, но дождь продолжался, Чеп стоял в подворотне, заняться ему было больше нечем, а регулярно повторяющиеся звонки успокоительно действовали на нервы своей монотонностью. Телефон позвонил еще раз двенадцать, а когда гудки прекратились, Чеп так изумился, что едва не отключил свою трубку. Но ему помешал робкий голосок:

— Да?

Голос звучал тихо, но был исполнен страха и тревоги, словно пронзительный крик насекомого.

— Это я, — сказал Чеп.

— Придите, пожалуйста.

— Когда?

— Сейчас, пожалуйста.

Сердце у него подпрыгнуло от радости. “Вот это правильно”, — сказал он внезапным коротким гудкам: Мэйпин положила трубку.

За все время знакомства с Мэйпин — за семь лет ее работы на “Империал стичинг” — Чеп только раз был в ее доме, причем внутрь квартиры так и не попал. Дом стоял на западной окраине Лай Чжи Кока. Дальше начинался голый пустырь, где, вздымая облака пыли, шумно работали строители. Тот единственный визит случился после рождественской ве-

черинки на фабрике. Мэйпин не стала приглашать его зайти — дескать, А Фу дома. Явиться в сопровождении своего пьяного начальника-гуэйло Мэйпин было неудобно и, более того, стыдно.

А сегодня сама пригласила. Осознав это, Чеп окончательно воодушевился. Увидев Чепа, вылезающего из такси, какой-то маленький китайчонок разревелся, напуганный жуткой плешью иноземного дьявола, и, испуганно юркнув за мать, обхватил ее за ноги. Сконфуженная женщина громко рассмеялась.

Задрав голову, Чеп заметил, что с галереи третьего этажа выглядывает Мэйпин. Он взбежал по замусоренной лестнице на площадку, где она ждала, ежась, скрестив на груди худые руки.

В этом доме она странным образом изменилась — казалась заурядной, блеклой, почти безликой; но Чеп понимал: тревога не только сделала Мэйпин слабой, бледной и светозарной, но и придала ей сходство с прочими жителями Лай Чжи Кока. Ничего не сказав Чепу, она резко повернулась и пошла прочь, подразумевая, что он поймет это как сигнал следовать за ней.

Она распахнула дверь своей квартиры. Отошла в сторону. Произнесла:

— Смотрите.

Хотя Чеп никогда не бывал в этой квартире, он сразу заметил: что-то неладно. Какое-то выборочное опустошение. Ящики комодов вынуты наружу или вставлены косо, но все как один пусты. Половина комнаты была оголена, но по наносам пыли и выгоревшим участкам обоев Чеп догадался: на этой голой половине когда-то стояла, а возможно, даже теснилась мебель. Дверца встроенного шкафа приоткрыта; сам шкаф тоже наполовину пуст.

— Что исчезло?

— Все вещи А Фу.

Все следы А Фу испарились. Все ее имущество.

— Бедненькая моя, — вырвалось у Чепа.

Он обнял Мэйпин и потратил чуть ли не всю свою волю на то, чтобы быть нежным и не задушить ее. Однако она не сопротивлялась. Смирилась с его руками. Он пробежал пальцами по ее косточкам. Ощутил жар, чудесное возбуждение, запыхтел, предвкушая блаженство, к глазам прилила кровь. Попытался ее поцеловать. Но тут она воспротивилась.

— Я должна уйти отсюда, — сказала она. — Я боюсь.

12

Чтобы успокоить ее и себя, Чеп впервые в жизни поступил безрассудно.

— А давайте поедем в Макао, — предложил он наудачу.

Точнее, проговорил заплетающимся языком, чувствуя, что совершает безумный прыжок в неведомую опасную бездну.

— Хорошо, — сказала Мэйпин, и его чуть удар не хватил. Но тут же Чеп сказал себе, что она согласна отправиться с ним и что завтра суббота, на работу не надо, — и его пульс начал входить в норму.

Своим переживаниям в эту минуту он не мог бы приискать названия... Какая-то смутная подавленность — словно после унылого дня в Коулун Тонге возвращаешься на Пик, зная, что мать уже поджидает. И утешение можно найти только на женской груди.

Мэйпин больше не казалась ему чужой женщиной с чужой бедой — китаянкой с китайской бедой. Она ему под стать, они между собой схожи, ее жажда — его жажда, и то, чем она утоляет свою жажду, годится и для него. Она — его часть. Его недостающая часть. Глядя на нее, он видел себя — не свое лицо, но одну из своих конечностей. "Может быть, это любовь?" — задумался Чеп, но этого слова, как и слов "рак" или "радость", он никогда не употреблял, а потому мог лишь строить безосновательные предположения о его значении.

Скоротечный, неверный блеск в глазах Мэйпин придавал им болезненное, тоскующее выражение. Казалось, она пристально разглядывает что-то очень заветное, очень отдаленное, совершенно недоступное глазам Чепа. Он понял: ей не по себе, для нее этот шаг — тоже большой риск, она испугана, может быть, даже в отчаянии.

— А если А Фу просто вернулась и забрала свои вещи?

— Нет, — выдохнула Мэйпин, продолжая всматриваться в пространство. И вновь повторила: — Нет.

Все прочие версии, мягко говоря, не обнадеживали: если мистер Хун способен на такие проделки, то что же дальше?

Чеп попытался взять Мэйпин за руку, но ему было очень трудно удержать эти обмякшие пальцы, ободряюще сдавить эту невероятно пассивную, податливую плоть. Ее рука была как крохотное, слепое, беспозвоночное существо, которое ему надлежало уберечь от беды.

Он сказал себе, что сейчас она в шоке и сама себя не помнит, но потом, опомнившись, поймет, что он — ее спаситель, и проникнется благодарностью. Она возбуждала его; как восхитительно было чувствовать близость ее тела в этой серой обыденности, в толпе понурых пешеходов, но одновременно Чеп сознавал: то, что ему теперь от нее требуется, не получишь, уединившись на часок в "синем отеле".

Чувство, которое он к ней испытывал, имело определенное отношение к сексу; но секс проще, у него есть цель — резкий финал, брызнувшая струя... и готово, и ты сбиваешься с ритма и остаешься ни с чем, если не считать какой-то сырой, отупляющей амнезии. Кончив, он обычно откидывался на подушки, беспомощный, как рыба на прилавке, в липком поту; от его тела тоже несло рыбой. Кроме того, секс — это такое занятие, после которого ты встаешь с постели и возвращаешься домой. Но тут все по-другому. Тут он жаждал большего. Теперь он и вообразить себе не мог, как жил раньше — без этого чувства.

— Вы когда-нибудь были влюблены? — спросил он.

— Я не знаю.

— Вы наверняка кого-нибудь любили.

— Я люблю А Фу, — произнесла она.

И заплакала со своим обычным видом мученицы, зарыдала помимо воли, с каменным лицом, силясь совладать с собой, остановить сбегающие по щекам слезы.

Чепу нечего было сказать; упиваясь любовью к Мэйпин, он почти что позабыл об А Фу.

Молча они доехали на такси до пристани, молча сели на паром, молча сошли с парома и прошли пешком до морского вокзала, молча выстояли очередь на посадку, молча поднялись на борт "ракеты", идущей в Макао.

Последний раз он ехал по этому маршруту два года назад, с Бэби, субботним вечером, всю дорогу похотливо фырча в предвкушении удоволь-

ствий. Специально для этого случая купил Бэби новое платье и красные туфли. Она сидела, сдвинув колени, разглаживая платье, — а он щипал ее, как обезьяна. Бэби подзуживала его — хихикала, притворно умоляла перестать. По пути к гостинице, которая называлась "Пагода", им попалось фотоателье, и Бэби заявила, что хочет с ним сняться. Фотографию отпечатали прямо при них, и Чеп нашел, что вместе они смотрятся крайне нелепо, — у него даже все желание отшибло.

Однако номер в "Пагоде" оказался таким бесстыдно-грязным и тускло освещенным, что Чеп вновь воспылал. Бэби это поняла. Она встала на четвереньки, заорала "Гав! Гав!" и захохотала, когда он влез на нее, держась за ее талию, ощущая под ладонями ее гладкую кожу. Но когда спустя несколько минут дело было сделано, Чепа потянуло назад, в Гонконг. Чувствуя себя измочаленным и несчастным, он валялся, как снулая рыба, соображая, как бы отделаться от девушки. Решил не оставаться в отеле до утра. Бэби, кажется, было все равно, а у него просто от сердца отлегло, когда она разрешила ему вернуться к матери. Страшно был ей благодарен, что отпустила. Когда Бэби сказала: "Мне надо деньги", он охотно расстался с купюрами. А еще была та злосчастная ночь с Розой Кролик — волосатой португалкой по фамилии Коэльо.

Тут совсем другое — опрометчивый, отчаянный прыжок в омут. Человек, сидевший на скамейке рядом с Мэйпин, уплетал размокшую лапшу из бумажного стакана. В иллюминаторы Чепу почти ничего не было видно: только корабли с ржавыми бортами, стоящие на рейде гонконгской гавани, а на заднем плане, на той стороне пролива, смутные очертания берегов — вероятно, острова Ланьтао и Чен Чау. А та отдаленная полоска-гибрид, где серое небо срастается с серым морем, — возможно, Китай. Впрочем, какая разница? Среди всего этого однообразия Чеп упивался сознанием того, что Мэйпин при нем, рядом; именно такое упоение, вероятно, чувствует игрок, который поставил все свое состояние на одну-единственную карту и выиграл.

"Вот каково выигрывать", — подумал Чеп. Судно, чего и следовало ожидать в пятницу вечером, кишмя кишело игроками. Чепу было очень приятно влиться в их ряды. Главный приз он уже взял. В Макао он едет не пытать судьбу — а просто получить выигрыш.

В сгущающейся тьме судно, ворча, сбавило обороты, осело поглубже в воду и медленно двинулось к пирсу Макао. Точечки городских огней, разбросанных по склонам холмов, отражались в воде яркими причудливыми кляксами. Все время пути Мэйпин промолчала; не заговорила она и теперь; лицо ее нервно подергивалось, движения были заторможенными, словно она думала какие-то свои тайные думы. На прикосновения Чепа она просто не реагировала, и потому он ее не тревожил, но и не отлучался от нее никуда, будто слуга или муж — или сын, поскольку со своей матерью обходился точно так же: под ногами у нее не путался, но всегда — мало ли что — был начеку. Роль надежной опоры оказалась ему по душе; пусть Мэйпин пока не понимает, что он для нее делает, — в конце концов она все-таки осознáет, как много от него пользы, поймет, что вряд ли сможет без него обойтись.

По дороге в Макао Чеп фантазировал, как приезжает с Мэйпин в Лондон: гуляет, держа ее под руку, водит по ресторанам, показывает достопримечательности. Он так увлекся, что уже не мог вообразить себя в Лондоне без нее. Любить ее, владеть ею означало, что он сможет сми-

риться с жизнью в Англии. В усадебном доме, чем-то напоминающем тот самый, из их с Коркиллом грез, Чеп стоит с Мэйпин у окна; возможно, она в прозрачном платье и туфлях на высоком каблуке, а на лужайке неподалеку пасутся коровы. "Голштинки, — услышал он свой голос. — А вон бык — смотри, что делает".

В Макао к пунктам паспортного контроля стояли длинные очереди; таблички на португальском языке заставили Чепа подумать о Европе, хотя английские надписи в Гонконге никогда не вызывали у него подобных ассоциаций. Пассажиры пробирались между барьерами и ограждениями к конторкам чиновников. Чеп и Мэйпин разлучились, повинуясь указателям "Граждане Гонконга" и "Прочие государства". Встретились они уже за барьером и, по-прежнему не обменявшись ни словом, опять сели в такси.

Чеп приник к стеклу — посмотреть на Макао. Разглядел все тот же холм, который был виден от пирса, а на нем, сплошной стеной, огни, огни и вновь огни: на утесах — казино, на бульварах — казино, вдоль всей набережной, тесно сомкнув ряды, — тоже казино. Макао — город сумерек, но ночь уже накрыла тенью дальние холмы. И ночь эта китайская.

Багажа у Чепа с Мэйпин не было. Он нахмурился: ни одежды, ни зубных щеток, ни чемоданов. И все же их внезапный побег — бросить все и полететь на подводных крыльях в Макао — был ему невероятно приятен. Чеп никогда еще так не рисковал. И никогда еще так крупно не выигрывал. Разгоняясь на хорошем, ровном шоссе, которое повторяло изгибы береговой линии, такси накренилось; стройное тело Мэйпин так плотно прижалось к боку Чепа, что через ткань платья на него повеяло жаром.

— "Бела Виста", — сказал он шоферу.

— Да, да.

Название Чеп повторил, чтобы избежать недоразумений: шофер наверняка владел только португальским, а в английском силен не был. Других приличных отелей, кроме "Бела Висты", Чеп не знал. А к "Пагоде", помнящей "Гав! Гав!", красные туфли и "Мне надо деньги", даже на пушечный выстрел приближаться не хотелось.

Ему было несложно вообразить Бэби столь же счастливой с другим мужчиной, поскольку она считала, что незаменимых мужчин не бывает. Но самого себя ни с кем, кроме Мэйпин, Чеп представить не мог; ей равных нет. И ему, когда он с ней, тоже нет равных.

— Первый раз в Макао? — спросил шофер.

— Кому это важно?! — отрезал Чеп.

Мэйпин сидела в неудобной позе, все еще привалившись к его боку.

— После "Бела Виста" хотите казино?

— Подумаем, — пробурчал Чеп. Увидел в окне сверкающую, подсвеченную прожекторами крепостную стену и несколько пустых пьедесталов.

— Они забирали статуи, посылали их в Португалию, чтобы китайцы их не поломали, — пояснил шофер. Затем обратился по-кантонски к Мэйпин, вероятно сообщив ей то же самое, но она не ответила.

Историю о том, как статуи, художественные ценности и церковные реликвии с большой помпой упаковали и вывезли из Макао, пересказывал и обсасывал весь Гонконг. Дескать, португальская колония однозначно дала понять, что кротко ляжет под Китай, позволит безнаказанно над собой глумиться. А ведь Макао ждать Передачи еще несколько лет. Гон-

конг презирал Макао — но сам сдался без боя. Теперь, накануне своего отъезда, Чеп сам подивился, почему гонконгские памятники — королева Виктория, сэр Томас Джексон, Нейпир[1] и все остальные, включая "Полуденную пушку"[2], — не отправлены на родину.

Такси поднялось на холм и, делая поворот за поворотом, понеслось по булыжной мостовой мимо садов за каменными оградами, мимо особняков с раскрашенными стенами, уставивших все окна на бухту, проехало по узкому мостику. Казалось, из китайского порта они перенеслись в предместье Лиссабона.

В "Бела Висте" — огромной белой вилле на краю обрыва — ярко горел свет; картины в золоченых рамах и паркетные полы блестели; но отель пустовал. К Чепу и Мэйпин подошла женщина в темном пиджаке:

— Хотите у нас остановиться?

— Ужин на двоих, — распорядился Чеп, украдкой приглядываясь к эмблеме на ее нагрудном кармане, надеясь, что это изделие "Империал стичинг". Но определить на глаз не сумел.

— Сюда, пожалуйста.

Мэйпин побрела вслед за Чепом на негнущихся ногах, точно пленница; на лице у нее вновь появился страх. Либо ее поразила обстановка — в Гонконге таких отелей не было, либо казались ненадежными деревянные полы.

По меню в огромной папке с аксельбантами Чеп заказал ростбиф с овощным гарниром и бутылку кларета. Мэйпин в меню даже не заглянула.

— А мадам?

— Суп, — обронила она.

Когда официант ушел, Чеп заговорил:

— Эта самая эмблема, — и постучал по своей груди, — она наша?

— Номер семь. Специальный заказ. Четыре цвета с золотым оттенком, — произнесла Мэйпин похоронным голосом, вновь припомнив фабрику и А Фу.

Кларет откупорили и разлили по рюмкам.

— За нас, — поднял Чеп тост.

Но Мэйпин не повеселела.

— Я о вас позабочусь, — сказал Чеп.

— Как он попадал в мою комнату? — спросила Мэйпин.

— Выкиньте из головы, — посоветовал Чеп.

Он выпил, и на душе у него стало светло. Он знал, что способен ее защитить. Мэйпин с нежной мордочкой печального котенка сидела, втянув голову в плечи, болтала ложкой в тарелке. Чеп понял, что для нее такой суп — не суп. Другое дело давешняя густая похлебка, которую разливал по мискам Хун в "Золотом драконе", — с клецками, размокшей зеленью и рыбными фрикадельками. Ту похлебку Мэйпин посчитала настоящим супом — за что и поплатилась. Чеп разрезал свой ростбиф, увидел, как потекла из него водянистая кровь, разжевал мясо, запил вином, которое было одного с ростбифом цвета, утер губы.

— Пожалуйста, не волнуйтесь, — сказал он Мэйпин.

1. Уильям Джон Нейпир — главный суперинтендант по делам торговли, представлявший интересы Великобритании в Китае в середине XIX века.
2. "Полуденная пушка" — старинная пушка, которая, по традиции, извещает выстрелом о наступлении полудня.

Чтобы выпить кофе, они перебрались на веранду, защищенную от ветра жалюзи. Внизу раскинулся Макао — бухта, казино и клубы; крохотные яркие огоньки, темные силуэты крыш, контуры склонов. Чудилось, будто город уже покинут португальскими колонистами — но пока еще не занят китайцами.

— Простите меня, — выговорила наконец Мэйпин.

Именно это Чеп и хотел услышать. Она признает, что создала ему проблемы, что перед ней стоит выбор. Но он взял заботы о ней на себя. Он знает, как уладить дело.

Все еще держа в руке недопитый бокал — не пропадать же вину зазря, — Чеп заявил:

— Можете на меня положиться. Я всегда буду о вас заботиться.

Своим чистосердечием он, по-видимому, завоевал ее доверие — а почему, собственно, нет? Ни одной женщине он никогда еще не говорил такого. В том-то и состоит прелесть общения с девушками из баров, что правды им не говоришь, поскольку твои слова им глубоко безразличны. Но тут Чеп сам себе удивился, обнаружив, что говорить Мэйпин правду ему приятно, в радость. Конечно, он хотел Мэйпин, но пока был способен терпеть. Спешить некуда. Самое главное — чтобы с ним она чувствовала себя в безопасности; и, кажется, сейчас она действительно несколько успокоилась.

Еще глоток вина; с этим глотком Чеп ощутил на языке вкус слова "люблю". Он проглотил это слово, запил вином — а слово вновь навернулось на язык. Чепу захотелось поделиться этой доброй вестью с Мэйпин. Момент был самый подходящий: на колоннах веранды, точно вылепленных из крема, дрожали отсветы, панорама Макао терялась вдали, а прямо под ногами шелестели трескучие кроны пальм. Ласковый воздух был пропитан ароматами невидимых Чепу цветов.

Макао — нищий, раболепный, странный, скромный город, не такой шумный, как Гонконг, исполненный печали. Сейчас эта печаль была Чепу мила. В таком отеле им с Мэйпин — самое место. Чеп всегда считал своим домом Гонконг, но нет: там он гость, такой же гость, как Мэйпин, и теперь ясно — они там чересчур загостились. А по большому счету — как понял Чеп сегодня, — если ты кого-то любишь, то можешь жить где угодно, потому что, где бы ты ни был, твоя жизнь в любимом человеке.

Чеп сказал:

— Я хочу снять здесь номер. Пожалуйста, не волнуйтесь.

В ответ Мэйпин просто уставилась на него, сложив руки на коленях. Прямые черные волосы обрамляли ее лицо. Как-то она призналась ему: "Когда мои волосы слишком короткие, я похожая на мужчину". Она ошибалась. После стрижки она начинала походить на мальчика и становилась для Чепа еще желаннее.

Мейпин — мальчишка-заморыш, примостившийся на краешке стула — не отводила пристального взгляда. Ее руки не шевелились. Чеп решил, что их положение означает "да".

Женщина-портье — та самая, с эмблемой производства "Империал стичинг" на пиджаке — подала им регистрационную книгу. Затем попыталась разобрать корявый почерк Чепа.

— Невилл Маллерд, — подсказал он.

— И вам номер на двоих, — продолжила женщина.

Интересно, давно ли они перестали употреблять слово "супруга"?

— Наши чемоданы привезут, — сообщил Чеп.

— Я скажу Олли, чтобы проследил.

Олли, несущий вахту между пальмой в кадке и висящей на стене старинной картой в раме, вытянулся по стойке "смирно" и отдал честь. На его пиджаке тоже была эмблема от "Империал стичинг".

Номер был с видом на море. Раздвинув шторы, Чеп заметил: Мэйпин села в кресло и смотрит в окно. Он выключил настольную лампу; отблески цветных огней Макао умиротворяюще озарили комнату. Чеп подошел к креслу Мэйпин сзади, положил руки ей на плечи. Он хотел ее ободрить. Спустя несколько минут он сделал ей некое предложение — без слов, лишь решительным прикосновением; помог Мэйпин встать. Подвел ее к двуспальной кровати с той стороны, куда падала тень.

Мэйпин, не раздеваясь, легла поверх покрывала, сложив свои маленькие руки на груди, глядя, как плещутся на высоком потолке полупрозрачные волны света. Чеп последовал ее примеру. Безмолвные, вытянувшиеся параллельно друг другу, они были словно мраморные изваяния рыцаря и его жены с надгробия, которое Чеп как-то видел в Англии, в церкви неподалеку от Уортинга, где жил дядя Рон. Тогда Чеп был так мал, что сумел как следует рассмотреть статуи лишь после того, как перелез через ограду и встал на цыпочки. Ему врезалось в память, что рыцарь с женой лежали одетые и в головных уборах — мужчина в шлеме, женщина в чепце. Его впечатлили их ноги с торчащими кверху пальцами. Для него это мраморное изваяние всегда означало не смерть, но супружество, дрейф рука об руку по морю житейскому; вплоть до сегодняшнего дня Чеп даже не надеялся обрести такую горизонтальную гармонию и счастье.

Сегодня тишину нарушали только корабельные сирены, да ворвавшийся на мгновение рев мотоцикла, который промчался, подскакивая на португальских булыжниках, да дыхание самого Чепа. Мэйпин не издавала ни звука. И так они лежали, и блики, мелькавшие на потолке, освещали их обоих. Тоненькое платье Мэйпин обтянуло ее тело, и стали видны хрупкие ребра. Чеп вновь почувствовал исходящий от нее жар; хотя их тела не соприкасались, жар до него добрался.

— Вы как, нормально? — спросил он.

— Да, — произнесла она. Этим было сказано все.

Впав в транс, Чеп вновь ощутил во рту вкус вина, в котором было растворено слово "люблю", словно это вино — редкостная разновидность чернил, служащая для начертания красивых слов на его плоти. Да и кровь тоже — чернила: только она для других слов. "Ага, — сказал себе Чеп, — я пьян".

— Как я счастлив.

Казалось, он вышел из потока времени и, неподвластный его ходу, наблюдает за ним со стороны, с берега, где и не слыхали о часах. Он сознавал, что изменился бесповоротно. Сама его поза — на спине, руки сложены, будто для молитвы, лицо запрокинуто, пальцы ног торчат вверх — была обетом. Таким же обетом, как поза Мэйпин. Она скорбит по подруге, но обретет счастье, когда он исполнит свою мечту, — с ее позволения, конечно. Он вновь увидел себя с ней в английском поместье: день ненастный, они смотрят из окна на мокрые деревья. Мэйпин не говорит ни слова, но она счастлива. В доме больше ни души, и в саду никого нет, и среди холмов — тоже никого. В камине пылают огромные поленья.

— Скажите что-нибудь.

— На корабле мне было грустно, потому что я увидела одну вещь, — проговорила она.

— Что вы увидели?

— Остров Ланьтао. Деревня Гоу Чжоучу, — пояснила она. — Я была там.

— Вы там жили?

— Просто была немного, — сказала она. — Моя семья — из Хуэйчжоу, это на реке, почти пятьдесят миль от Шэнчжэня. В Шэнчжэнь не пускают без пропуска. Тогда мы ехали в Наньтоу, это порт. Западней, чем Шэнчжэнь.

Для Чепа все эти названия были пустым звуком.

— Сколько вам было лет? — спросил он.

— Десять лет назад, — ответила Мэйпин.

Пятнадцать лет. Он явственно увидел ее, щуплую и маленькую, повязанную платком, в неуклюжем хлопчатобумажном балахоне и шлепанцах, с пластиковой сумкой, с какими они все ходят.

— Моя тетушка отводила меня в один дом в деревне. Нашла змееголового и дала ему денег — почти тысячу — за рыбацкий пропуск. Потом мы ждали. Днем пограничники смотрят, а ночью их нет. Мы искали лодку.

В гавани Макао взревел "туманный горн"; этот звук раздался очень явственно, словно корабль был пришвартован прямо к стене отеля.

— Мы нашли рыбака, который сказал, что меня берет. На рыбацком судне может плыть любой, у кого есть пропуск, но пропуска продают одни змееголовые. На лодке были другие женщины, много беременных. Они хотели ехать в Гонконг за счастьем.

Красиво подсвеченное, атласно-гладкое лицо Мэйпин в этот миг казалось выточенным из слоновой кости. Даже если бы она не разговаривала с ним, Чеп смотрел бы на нее неотрывно, дивясь изяществу черт.

— Я была с рыбаком. Он управлял лодкой, а погода была очень плохая. Ветер и волны. Устье реки Чжуцзян — как океан. Лодка качалась с бока на бок, и в темноте я ничего не видела. Я боялась, нас остановят. Капитан сказал: "Что с тобой?", а я сказала, что боюсь. Он сказал: "Я им скажу, ты моя дочь". Он засмеялся, подошел ко мне и стал меня трогать.

На миг она умолкла, словно набираясь духу для продолжения рассказа. И вскоре заговорила вновь:

— До него меня никто никогда так не трогал.

— Вы закричали? — спросил Чеп.

Качая головой — скорее в знак печали, чем в отрицательном смысле, — Мэйпин пояснила:

— Я спросила его: "У тебя есть дочь?" Он ничего не сказал, и я поняла, что да, есть. Я спросила его: "Ты хочешь, чтобы какой-нибудь мужчина так с ней сделал?"

Чеп был тронут этими словами, исполненными непорочной чистоты. Сцена явственно представилась ему: рубка рыболовецкого траулера, мужчина и девушка, противостояние.

— Ему было очень стыдно, — сказала Мэйпин. — Рано утром мы подошли к какой-то земле. Мы прыгнули в воду — там неглубоко. Нас встретил змееголовый. Он забирал у меня все деньги, которые остались. Мне было очень грустно, что у меня нет денег. Потом я познакомилась с А Фу. Она приплыла на той же лодке, но она была с беременными женщина-

ми. Мы помогали друг другу. Это было на острове Ланьтао, около деревни Гоу Чжоучу. Мне было очень грустно, когда я видела деревню сегодня.

Слушать дальше было бы для Чепа невыносимо. Он не желал ничего узнавать — по крайней мере сегодня. Приставания рыбака и ее исполненная достоинства отповедь... просто сердце разрывается.

Приподнявшись на локте, Чеп перевел взгляд с Мэйпин на окно. Сразу за темным обрывом, на котором стоял отель, сияли огни бесчисленных казино. В их отсветах он посмотрел на часы. Еще нет одиннадцати. На кровати они пролежали около часа или чуть больше, но этого срока хватило: теперь он знал, что любит ее.

— Давайте поиграем по маленькой, — предложил Чеп.

Она согласилась, хотя, скорее всего, не поняла, что́ он предлагает. В такси он накрыл ее руку своей. Ощутил, что ее пальцы встрепенулись в ответ, — и обрадовался.

У отеля "Лиссабон", где Чеп приказал водителю остановиться, выстроилась вереница такси. Рядом на тротуаре стояли пять или шесть высоких блондинок в черных кожаных куртках. Таксиста они заинтересовали. Он заулыбался, блеснув золотыми зубами, и воскликнул:

— Русские!

Женщины были бледные, сероглазые, с острыми лисьими подбородками. Обутые в туфли на высоком каблуке — их костлявые голени походили на сабли, — они неподвижно застыли в потоке суетливых, малорослых китайцев. А те были так поглощены своими планами — поскорей бы попасть в казино и начать игру, что, казалось, вообще не замечали женщин.

— Мне жалко их, — прошептала Мэйпин. — Они несчастные.

Почему Мэйпин так думает, Чепу выяснять не хотелось. Он повлек Мэйпин к двери "Лиссабона" и увидел, как она приуныла, когда они вошли в вестибюль казино.

Публика здесь была далеко не "чистая". Гонконгцы попадались редко, да и жители Макао, вероятно, тоже. Большинство составляли китайцы с недобрыми лицами, грязными руками и всклокоченными волосами — зарубежные гости. Жители Чжухая[1]: изъясняющиеся по-кантонски владельцы лотков и ларьков, мясники, заводские рабочие, мелкие преступники и даже крестьяне. Многие выглядели так, словно буквально секунду назад швырнули в канаву вилы или тяпку, бросили на поле тачку, заявились прямо с капустных грядок. Даже одеты они были в какое-то нестираное рванье. В зубах все время дымились сигареты.

Денег у них хватало: толстые пачки сложенных вдвое купюр, перехваченные резинками — теми же широкими резинками, какими эти люди стягивают ноги курам, когда везут птицу на рынок. Они орали, плевались, швыряли фишки на стол. Складывали фишки шаткими штабелями, чтобы крупье было сподручнее сметать их в ящики. При взгляде на них казалось, что азартные игры — лишь быстрый, не имеющий логического объяснения способ расставания с деньгами; эти люди как будто старались отделаться от грязных стодолларовых бумажек, с угрюмым бурчанием выбрасывали их на ветер.

1. Чжухай, так же как и Шэньчжэнь, — особый экономический район КНР у границ соответственно с Макао и Гонконгом.

Мэйпин смотрела на них безо всякого выражения на лице, но, перехватив взгляд Чепа, улыбнулась — ну наконец-то. Они еще никогда не проводили вдвоем столько времени кряду, но, хотя Чеп только и думал что о теле Мэйпин, за все эти часы он к ней, считай, не прикоснулся. И однако в этом вульгарном португальском притоне в Макао, в густом сигаретном дыму, среди русских проституток и бесноватых игроков, Чеп испытывал только одно чувство — нежность, нежность к Мэйпин, нежность ко всему миру. Ему открылось, что любовь по природе своей милосердна. Ему хотелось лечь с Мэйпин в постель — но и не только. Он желал ей счастья. Он полюбил ее за нервный трепет, за преданность подруге, за отрешенность, за беспомощность, за прошлое, за то, с каким лицом она принимала его знаки внимания. Эта женщина пятнадцатилетней девочкой одна-одинешенька приплыла из Китая на рыбацком суденышке и, спрыгнув с борта в воду, добралась вброд до острова Ланьтао. Она лучше него — сильнее, честнее, гораздо человечнее.

— Давайте выиграем немножко денег.

— Да.

— Потом вернемся в отель.

— Да.

"Да" — это прекраснейшее изо всех слов слово вознесло Чепа, впавшего в сладкий ступор любви, на вершину блаженства.

Ага, блэкджек — в этой игре Чеп кое-что смыслил. Он взял на пятьсот долларов фишек и стал бродить между столами, наблюдая, как идет игра — как сдают карты, как выставляют фишки, как ими обмениваются, как их сгребают совком и убирают с клацающим звуком, означающим бесповоротный конец. Чеп опустился на табурет и сделал ставку, жестом дал знать банкомету, что готов играть. Он выбрал стол, за которым, склонив головы, сидели несколько женщин в черном — прямо-таки сборище ведьм.

Мэйпин встала позади. Он почувствовал, как она прижимается телом к его спине. Лишь сегодня вечером он научился любить близость ее тела и подзаряжаться от нее силой. Чеп смотрел, как чистые игральные карты шустро вылетают из специальной шкатулки, повинуясь движениям банкомета — женщины, чьи пальцы принесли бы большую пользу на швейном производстве. Чеп умел распознавать хороших работниц по физическим признакам: нужны проворные пальцы, правильная осанка, острый глаз, способность сосредоточиться, хорошая зрительно-моторная координация. У него на фабрике любая из служащих этого казино была бы среди лучших работниц.

Трижды Чеп пасовал. На четвертый раз ему сдали шестерку и десятку — Чеп переворачивал карты медленно, вначале косясь на них одним глазом; точно так же, не поднимая головы, действовали и его соседки по столу. Опять пас? Чеп знал, что ему нужно, но риск был велик. Однако без риска нет азарта; если играть — то идти ва-банк, ради любви ничего не жалко. Рассудив так, Чеп выставил на кон все свои фишки и забарабанил по столу пальцами, что означало: "Огонь на меня". Карта рубашкой вверх вылетела из шкатулки и, скользнув по столешнице, замерла перед ним. Чеп перевернул карту: пятерка.

— Да!

Спустя миг из группы ведьм он услышал:

— Чеп?

Одной из женщин в черном была его мать; все остальные были китаянки, но Бетти ничуть среди них не выделялась. Его выигрыш означал ее проигрыш, и лопаточка крупье уже сметала в ящик пирамидку ее фишек. Чеп не заметил матери, и она его не заметила. Но она узнала его голос, его сдавленный торжествующий клич.

Забрав свой выигрыш, три штабеля красных фишек, он произнес:

— Мама, это Мэйпин.

— Ничего себе, — сказала Бетти. Закашлялась в кулак. — Чеп, с меня хватит. Давай вернемся в Гонконг ближайшим рейсом.

— Мы хотели еще чуточку побыть тут. — Он подумал о номере в "Бела Висте", о кровати, высоком потолке, панораме гавани.

— Не дури, Чеп. На, понеси мою сумочку, будь так любезен. — Бетти уже развернулась к выходу. — Хватит попусту слоняться, пошли. И вы тоже, дорогуша.

Мэйпин пристально посмотрела на Бетти, а затем пошла вслед.

13

В салоне "ракеты", которая, мелко подрагивая, неслась по воде сквозь мрак к Гонконгу, царили сырость и вонь — ароматы прокуренной одежды и морского тумана, приторная сладость машинного масла; громко вибрирующий корпус и тот остро отдавал железом, дурным запахом ржавчины, напоминающим о заплесневелых фруктовых кексах в жестяных коробках. Время от времени кто-нибудь из пассажиров шумно откашливался и сплевывал. Для китайцев весь окружающий мир — одна большая плевательница.

Чеп закрыл глаза, не желая видеть, куда упадет мерзкая слюна. В несвежем воздухе салона судно хранило еще и тяжелые переживания своих пассажиров — обиды и озноб, кислые гримасы побежденных и обманутых; кстати, чувство, что тебя надули, очень сродни тошноте. Почти каждый из здесь сидящих источал запах ожесточения и потерь. Игроки возвращаются домой: похмельные, с противным привкусом во рту, все как один в проигрыше.

Чепу, стиснутому со всех сторон этой нежитью, чудилось, что его на час — на весь срок пути — заточили в братской могиле. Его спящая мать производила впечатление покойницы, притом умершей насильственной смертью: голова у нее свесилась набок, ноги раскорячились, руки и пальцы вывернулись так, словно она только что испустила дух, до последней секунды отбиваясь от убийцы.

На душе у Чепа было скверно. Еще хуже ему становилось, когда он поднимал взгляд на Мэйпин, неотрывно смотрящую на переборку. Что это она — читает табличку на консоли? То были инструкции: как действовать в случае аварии, как пользоваться спасательными жилетами — на двух языках: "*в чрезвычайных обстоятельствах*", и ниже — что-то насчет "*мест сбора при аварии*". Что бы ни попадалось ему на глаза, самый безобидный пустяк в углу — все казалось зловещим предзнаменованием Передачи. Не только табличка с инструкциями на случай бедствия; чего стоит рекламный плакат напротив матери: "*Помощь с переездом: недорого, надежно, мгновенно*".

— В чем проблема? — уныло спросил Чеп, поскольку знал ответ заранее.

Не отводя взгляда от переборки, Мэйпин произнесла:

— Мне некуда идти.

Ее беда была страшнее, чем их неожиданный отъезд из Гонконга. Их отъезд — просто жестокая прихоть судьбы, только и всего. А ее горе — все равно что депрессия, прозванная "гонконгский пес", испепеляющая душу почти невообразимой скорбью. Навязчивое ощущение, что путь вперед теряется в тумане; причин может быть много, но главная в том, что гонконгцы — люди, лишенные прошлого. Их прошлое — закрытая для въезда зона. Жители колонии считали одной из непреложных жизненных целей обзаведение "запасным аэродромом" в виде иностранного паспорта, родственников в Канаде или фиктивного брака. Отчаяние Мэйпин коренилось не столько в неуверенности в будущем, сколько в невозможности вернуться вспять — а это еще мучительнее. В Китай же не поедешь. Она сбежала на рыбацком судне; как-то отбилась от капитана и змееголовых. Китай — как яма; туда не возвращаются из опасения быть погребенными заживо. Перед Мэйпин стояла худшая из всех гонконгских дилемм: ей не было ходу ни вперед, ни назад. И даже в собственной квартире теперь оставаться опасно.

Чеп понимал ее проблему лучше, чем кто-либо другой, потому что понимал саму Мэйпин. И мог все уладить, хотя растолковывать Мэйпин свой план еще рановато. "Удрать с концами" — вот в чем состоял этот план. Он удастся: бегство вполне соответствует характеру Мэйпин. Тут скорее сам Чеп нуждается в ее бесстрашии: пусть покажет ему, как сорваться с насиженного места и все бросить. Без нее он ни к чему не стремился; с ней чувствует себя тигром. У нее есть страстная натура и сила духа; у него — пункт назначения. Если в Англии ей не понравится, они попробуют пожить где-нибудь еще. Он сумеет доказать ей, что можно отправиться куда угодно, если вас двое: один никогда не останешься, и с матерью удастся разъехаться.

— Езжайте в Коулун Тонг, — сказал он Мэйпин шепотом, наклонившись к ее уху. — Поживите на фабрике. У меня в кабинете есть диван, в холодильнике — еда и вода. Микроволновка в комнате мисс Лю. У нее есть лапша. Вы прекрасно устроитесь.

Мэйпин по-прежнему созерцала схемы и предостережения на "аварийной" табличке, привинченной к переборке прямо перед ее носом. Она напоминала чинного подростка: узкие плечи, тонкая шея, небольшая, точно у маленького мальчика, головка. Даже встрепанные, свисающие на глаза пряди и те мальчишеские.

— Вот ключ, — сказал Чеп, снял нужный ключ с брелка и передал ей; в этот момент мать, по-прежнему похожая на жертву грабителя, завздыхала во сне.

Жест, которым Мэйпин взяла ключ, соприкосновение их пальцев и фокус с исчезновением ключа в ее ладошке — все это означало ее "да". Ему нравился ее подбородок, по-ребячески выставленный вперед, и нежелание замечать его влюбленную улыбку. Он знал: она ему доверяет.

— В понедельник мы еще что-нибудь придумаем, — сказал он.

О полиции она толковать перестала. В Гонконге — в основном в китайской среде — нередки определенные ситуации, когда полиция бессильна. Как правило, к таким делам причастны триады, банды или тайные общества. В данном случае банды ни при чем, но таинственность и самоуверенность Хуна весьма и весьма настораживают. Весь Китай — тайное общество. Для Мэйпин вопрос уже не в том, чтобы найти А Фу, а

чтобы уцелеть самой. Сейчас обсуждать все это не следовало — где обсуждать: на полуночной "ракете" линии Макао-Гонконг? Где корпус воняет заплесневелым кексом? Где все заплевано? Где мать валяется, как избитая? Кроме того, Мэйпин — гордую Мэйпин — мучит страх, а Чеп играет роль ее благодетеля. Должна же она сохранить лицо.

Судно затормозило, осело поглубже в воду, ударилось о пирс. Бетти проснулась, зачмокала губами, поправила, строя гротескные гримасы, свои вставные зубы. Потом потянулась за сумочкой и одним резким движением распрямила скрюченное тело.

В Гонконге всякое прибытие в конечный пункт — не важно, на поезде или трамвае, на автобусе, маршрутке, пароме или метро — воспринимается пассажирами как эвакуация, граничащая с паническим бегством. Так вышло и на сей раз: люди скопом ринулись к узкой двери. Мэйпин посторонилась, пропуская Бетти, удовлетворенно отметил Чеп, — Бетти, впрочем, этого не заметила, поскольку сама работала локтями, пробиваясь к сходням, бормоча: "Вот еще китайские церемонии".

— Ну, до скорого, — сказал Чеп.

Мэйпин, глядя ему в глаза, помахала на прощанье своей маленькой рукой. Другой рукой — зажимая в кулачке ключ — она якобы придерживала подол платья. Истинной подоплеки не выдавало ничто — ни ее лицо, ни ее поза. Чеп ощутил гордость за Мэйпин, способную хранить такие страшные секреты. Он ею восхищался; а восхищение Мэйпин тут же переросло в восхищение всей толпой вообще, ведь в Гонконге у каждого человека свои секреты — настоящие секреты, которые сродни сокровенным тайнам бытия, ибо в них не посвящают никого и никогда.

— Да пойдем же, Чеп, — произнесла мать.

Толпа людей, устремляющихся в сторону Сентрал, вспучилась волнами вокруг Мэйпин, поглотила ее; а Чеп все силился увидеть ее, дать понять, что он ее не оставит. Китайскому обычаю "взгляда напоследок" она придавала большое значение. Он никак не мог отыскать глазами ее лицо.

— Чеп!

При мысли, что надо искать такси, мать загодя начала ворчать. Чеп злился, что его так бесцеремонно уволокли из Макао; ему нестерпимо было думать, что сейчас придется тащиться с матерью домой. В ту самую ночь, когда он собрался признаться любимой женщине в любви, ему помешали с ней остаться.

Кто-кто, а Мэйпин поймет. Постоянная забота о матери — это очень по-китайски. Нудные обязанности, препятствующие тебе предаваться удовольствиям, — тоже очень по-китайски. Не высказывать, что у тебя на сердце, — это по-китайски; знать, но говорить "не знаю" — это по-китайски; любить безмолвно — это по-китайски; ничем не выдавать своих чувств, тем более страстных, — это по-китайски. Итак, превратив свое расставание с Мэйпин в китайский парадокс, не обмолвившись и словом о том, что у него на душе, Чеп не сомневался: в этом прощании она прочтет желание остаться с ней, любить ее, сделать ее своей женой, увезти отсюда. В миг этого китайского расставания они стали близки, как никогда раньше.

Вытянувшись во весь свой немаленький рост на кровати в Альбион-коттедже, Чеп расположил ступни под прямым углом к постели и, сложив руки на груди, уставился в потолок точно так, как в минуту блажен-

ства в "Бела Висте", подобно мраморным изваяниям на английских надгробиях.

И взмолился, чтобы Мэйпин в Коулун Тонге делала в этот миг то же самое. Страдать — это по-китайски, не жаловаться — это по-китайски, растворяться в толпе — тоже по-китайски. Его "взгляд напоследок" — не самая последняя попытка взглянуть на нее, но последняя удачная, на цыпочках, с мучительно вытянутой шеей, — пришелся на момент, когда она пробиралась, точно потерявшийся маленький мальчик, сквозь толпу (он узнал ее по затылку): "Я тебя люблю".

Утром он проснулся с намерением тут же помчаться в "Империал стичинг", чтобы увидеть Мэйпин. Войдя в "залу", он увидел, что мать уже пьет чай за столом. Она читала "Спортинг ньюс", обводя имена перспективных лошадей, — на ее языке это называлось "гандикапить лошадок".

— Наше счастье, — произнесла она, глядя в газету.

У скаковых лошадей бывали клички типа "Наше Счастье", и, возможно, она имела в виду лошадь, на которую выгодно ставить. Но мать все не умолкала: говорила и говорила с тягучей, самодовольной интонацией, словно нарочно силясь задержать Чепа. За ней такое водилось: иногда она ловила его своими придирками, как сетью, возводила перед ним стену из слов. И чем дальше, тем хуже: в последнее время она вообще впала в какую-то деспотическую словоохотливость. Сделка с мистером Хуном изменила ее мировоззрение, обнажила властные замашки, ранее бывшие просто милыми причудами забавной старушки.

— Я всегда считала, что твой отец распоряжался деньгами по-дурацки. Фабрика эта треклятая.

Улыбнувшись Чепу, она похлопала по стулу рядом с собой, у стола, где поднимался пар над ее чаем.

— Мистер Чак, — продолжала она, безостановочно подчеркивая клички лошадей, не поднимая головы. — Бедный старик Геннерс. Может, и верно говорится "Живешь — ни в грош ни ценят; помрешь — враз хватятся", но если б мистер Чак не протянул ноги, светил бы нам сейчас миллион гиней? Было бы у нас "все чудесно, чего и вам желаем"? Вряд ли.

И вновь слово "миллион" в ее устах придало ей нелепый гаерский вид; ляпсус еще почище всех ее избитых пословиц и простонародных выражений. Словом "миллион", а тем паче "миллион гиней" — те, кто его употребляет, выдают себя с головой. От банкиров его услышишь редко, зато пассажиры жестких скамеек на верхнем ярусе трамваев, зажимающие в кулак, чтобы не потерять, билеты за тридцать центов, бормочут "миллион" не переставая.

— Красота, — продолжала она. — Вот что, Чеп, выпей-ка чашечку чаю и ешь овсянку, пока не остыла. Ван!

Явился Ван, по своему обыкновению ступая боком и сутулясь. Нервно улыбаясь, спросил:

— Мисси?

— Хозяин хочет овсянки. И принеси еще горячей воды — подлить в чайник, будь уж так любезен.

Когда это Чеп сделался хозяином?

Чеп остался стоять. Сказал:

— Да я уже ухожу.

Все его мысли были заняты Мэйпин: он почти видел, как она слегка склоняет набок свою маленькую головку, чтобы лучше расслышать его стук или звонок телефона.

Мать не сдавалась — она выпятила челюсть, заиграла желваками. Лицо у нее было бледное от природы, мясистое — в минуты покоя ни дать ни взять пудинг; но неудовольствие она умела изобразить отменно, выучившись этому искусству у разных премьер-министров Великобритании двадцатого века, которых Чеп знал по фотографиям. Его мать умела смотреть ледяным взглядом Тэтчер, надувать губы на манер Гарольда Вильсона, лихо, как Джим Каллахан, вскидывать подбородок. А ее нос — крючковатый, розовый, — был точь-в-точь нос Эдварда Хита. Теперь, с выдвинутой вперед нижней губой, с вздрагивающими желваками, она была Черчиллем, и Чеп знал: это означает запрет.

— Но мне нужно заскочить на фабрику.

Мать все с той же выпяченной губой сказала:

— И думать не смей, зайчик мой.

— Мама, — просительно, почти жалостно протянул он.

— Сегодня скачки.

— На дороге — сплошная пробка, до самой Ша Тинь!

— А "Счастливая долина"? Возьмем такси. Как в старые времена.

— Первый заезд в полтретьего, — вступил Чеп в переговоры. — Сто раз успею вернуться с фабрики.

— Садись, Чеп, и ешь завтрак, — ответила она, вновь уткнувшись в программу скачек. — Через час придет Монти.

-- Он-то чего от нас хочет?!

С деланной неохотой, словно Чеп заставлял ее отвечать насильно, она подняла лицо и подарила ему исполненную презрения улыбку.

— Он-то чего от нас хочет?!- повторила она, передразнивая. (А Чеп подумал: если у нас с Мэйпин когда-нибудь будет ребенок, я никогда не буду ни насмехаться над ним, ни передразнивать его слова.) — Он хочет нам помочь. Он хочет обсудить продажу фабрики. Хочет довести до конца дело с Хуном. Неужели сам не понимаешь? Мы его клиенты, вот он нас и курирует.

"Курирует", значит. Еще одно слово, которого он в жизни не думал услышать от матери; Чеп удовлетворенно отметил про себя, что, произнеся "курирует", она расписалась в своем полном идиотизме.

— Хун — подонок, — сказал Чеп. — Хуже подонка.

— Он покупает. Мы продаем. Деньги он выкладывает на бочку. Остальное не важно. И ты еще называешь себя бизнесменом?

Какая мудрая коммерческая прагматичность для женщины, которая всю жизнь вязала свитера, платила букмекерам, да еще учила повара-китайца печь овсяные лепешки, правильно обрезать горбушки для сандвичей с селедочным маслом и выкраивать лишний бутерброд, опуская кончик батона в масленку.

— И много ли ты знаешь о Хуне?

— Ровно столько, сколько хочу знать. Хватит, завтракай давай.

Глотая овсянку, Чеп нервно репетировал грядущую поездку в Коулун Тонг. Если он поедет прямо сейчас, утром, что утешительного он скажет Мэйпин? Ничего. Там она в полной безопасности — и сама это сознает, кроме того, для швеи с ее стажем фабрика вообще второй дом. Надо действовать, надо ее увозить. Теперь Чеп почти перестал страшиться, что она пойдет в полицию и обвинит мистера Хуна в убийстве А Фу. Мэйпин

слишком уж напугана; также она понимает, что исчезновение подруги, конечно, трагедия, но взамен у нее появился он, Чеп. Мало того, появилось будущее.

В одиннадцать приехал Монти: извинился за опоздание, похвалил вид из окон, сказал то, что при виде пожарной части говорили почти все: "Если что загорится, вам бояться нечего — под самым-то носом у пожарных". Но эта картина: Монти, расстегивающий портфель не в помещении своей конторы в Хатчинсон-хаусе, а в гостиной Альбион-коттеджа, — как-то усугубляла ощущение, что продажа "Империал стичинг" Хуну — дело темное, противозаконное, левое. Если у матери Чепа прорезалась претенциозно-наивная деловая хватка и усилилась страсть к скачкам, в Монти проглянуло что-то зловещее, коварное. А всему виной — тлетворное влияние Хуна.

Чеп сидел поодаль и наблюдал, как мать берет командование на себя, суетливо напяливает маску Маргарет Тэтчер.

— Когда мы увидим наши деньги?

— "Полная луна" выступает посредником в расчетах, — сказал Монти. — По выполнении всех условий министерство возместит расходы фирмы, после чего будет произведена выплата вам. Условия вы знаете.

— Конечно, — подтвердила Бетти.

— Но у меня голова дырявая, — вмешался Чеп. — Тебя не затруднит повторить условия?

— Я уже в тот раз объяснял: ко времени перевода денег вам надлежит покинуть территорию. Когда чек будет принят к оплате, я вручу новому владельцу ключи от фабрики. "Полная луна" переведет вам все свои активы, за вычетом расходов на ликвидацию, недоимок и гербового сбора.

Ван разливал чай. Чепу казалось, что слуга нарочно канителится: долго наполняет чайник горячей водой, тщательно вытряхивает гущу из ситечка.

— Ты сказал "территория".

Монти вытаращил глаза, точно Чеп не только прикидывался простачком, но и вправду им был.

— Ты имел в виду "колония".

— А что, есть разница, сквайр?

Чеп отвернулся от Вана, который ставил на стол заново наполненный чайник, и сказал:

— Это колония, что бы там ни говорило британское правительство.

Теперь как на сумасшедшего на него смотрели оба: и мать и Монти.

— Когда я слышу слово "территория", у меня все внутри переворачивается, — сказал Чеп. — Оно означает капитуляцию. Назови это место территорией, и его не так обидно будет отдавать.

— Ой, не надо о Сдаче по-китайски, — прошипела мать.

— Я думал, ты меня поддержишь, — проговорил Чеп.

— Ему обидно, что я его утром на фабрику не пустила, — сказала она Монти тоном матери, сетующей на капризы ребенка. — Мы едем на скачки.

Возразить — значило показаться совсем уж инфантильным, и потому Чеп спросил:

— А каковы гарантии, что о работниках позаботятся?

— Полагаю, все те обычные гарантии, которые подразумеваются при переходе фирмы в собственность китайской организации, — сказал Монти.

— То есть никаких?

— Разве я сказал "никаких"?

Чеп спросил:

— Ты в курсе, когда может состояться сделка?

— Мы рассчитываем, что чек будет выписан в понедельник.

— Так скоро... — произнес Чеп, подумав о Мэйпин.

— Давно пора, — заявила мать.

— Спасибо, мисси, — сказал Ван и, пятясь, ушел на кухню.

Ван взял привычку называть мать Чепа мисси примерно с того же самого времени, когда она начала именовать Чепа хозяином.

— Лакей у вас первоклассный, — заметил Монти и, затянув ремешок, застегнул портфель.

— Просто клад, — отозвалась Бетти.

— Что ж, дело сделано. Билеты я вам возьму под гарантию банковских счетов "Полной луны", — сообщил Монти. — Вы вполне кредитоспособны, как и сами, вероятно, догадываетесь.

Чеп сказал:

— Одного в толк не возьму — как ты можешь доверять этому подонку Хуну?

— Я ему не доверяю, — возразил Монти. — Пока чек не будет принят и вы не получите деньги, сделка в силу не вступит.

— Значит, все упирается в деньги, — продолжал Чеп. — Если деньги у него есть и если он с нами расплатится, он заслуживает доверия. Ха!

Но его смеха никто не подхватил, а Монти посмотрел на Чепа точно так же, как несколько минут назад, — с жалостью.

— Конечно, — сказал поверенный. Он не улыбался. Его глаза были пусты. Он томился от скуки и порывался уйти. — Тут, сквайр, отношения чисто деловые.

— А теперь мы с Чепом поедем на скачки, — объявила Бетти. — Так, Чеп?

Чеп — маленький мальчик, забывчивый, не очень-то далекого ума. Как и все мальчики, он любит развлечения. Мама с сыном отправляются на скачки...

Совсем как в детстве, совсем как в старые времена — и однако Чеп старался не думать о всех тех тайнах, которые поверял матери в клубной ложе "Счастливой долины". Ван собрал им корзинку с едой: холодный куриный салат, сандвичи с лососиной и паштетом, нарезанный пирог, немного фруктов, три бутылки темного пива, салфетки, — настоящий пикник.

Увидев корзинку и узнав, куда их везти, таксист сказал:

— Удачный у вас день сегодня. И покушать есть что, и солнце светит. Наверно, вам в жизни везет.

В приветливости таксиста, косящегося на них через зеркало заднего вида, проглядывала голодная зависть. Из года в год, от раза к разу случайные встречные вроде этого человека, в основном таксисты, окидывали Чепа с матерью взглядом и, не сговариваясь, заключали, что этим людям в жизни везет. И всякий раз — непременно, непреложно — ошибались. Умилительная картинка, которую видели таксисты, не имела ничего общего с реальностью. Их комплименты были для Чепа хуже насмешки.

И тут, когда Чеп разозлился окончательно, такси застряло в пробке на эстакаде, ведущей в "Счастливую долину", — ничего удивительного, ведь сегодня скачки. Мать потрепала его по щеке:

— Бедный мой Чеп. Я же понимаю, тебе сюда совсем не хочется.

— Ну почему, мама, хочется, — возразил он дребезжащим, лживым голосом.

Бетти рассмеялась — но как-то ласково.

— "Заскочить на фабрику" — это так теперь у молодых называется?

Чеп поспешил отвернуться от ее проницательного взгляда. Она заставила его сконфузиться, но что же тут стыдного? Он любит Мэйпин. И не хочет, чтобы она была его китайской тайной.

— Как ее зовут? — спросила, тихо посмеиваясь, Бетти.

— Тут совсем другое, — произнес Чеп, но про себя порадовался, что мать спросила кротким тоном, сочувственно, не со злобой.

— Высадите нас здесь, — сказала Бетти таксисту, который все поглядывал на них в зеркало. — Возьми корзинку, Чеп.

Мать шла впереди, держа в вытянутой руке свой членский билет; она пробилась к турникету, проигнорировав длинную очередь китайцев. Как Чеп ни растравлял в себе обиду, на душе у него чуть полегчало: мать только что обошлась с ним по-человечески.

Клубная ложа заполнялась людьми; несколько женщин, обмахивая подбородки китайскими веерами, фамильярно приветствовали Бетти. Женщины эти были в старомодных шляпках: у одной шляпка была с цветами на полях, у другой — с ленточками и огромным зеленым бантом. Чепа приятно поразило, что с его матерью они держатся как с сестрой. Свою манеру произношения — претенциозно-мещанский выговор "аристократа в первом поколении" — он перенял от матери, а на подобных дам, в сущности, даже внимания никогда не обращал. Фабрика, мать, бары, работающие в барах девушки — вот из чего состояла его жизнь; выражение "британская община" Чепа раздражало, казалось попыткой запихнуть его в один ряд со всеми этими дебилами: солдатами и клерками, лоботрясами и шлюхами, — создать иллюзию, будто все они представляют собой тесно спаянную кучку беженцев из Англии: машут флагом, ищут приложения своим силам и во всем друг с другом соглашаются. Однако такой "британской общины" в Гонконге теперь не было — да, наверно, и никогда не бывало.

Но что тут рассуждать о подлинном лице Гонконга — его дни все равно сочтены. Королевский Гонконг, "колония короны", Юнион Джеки, реющие на ветру над полицейскими участками, портреты Ее Величества в почтовых отделениях, сами полицейские в традиционных касках английских полисменов, разъезжающие на машинах с белой полосой, прозванных пандамобилями. Красные фургоны с золотыми буквами "Королевская почта", при виде которых на душе становится спокойно. И "Счастливая долина": Королевский гонконгский жокейский клуб, многочисленное общество, собравшееся под британским флагом в клубной ложе, — всему этому скоро конец.

По-видимому, Чеп правильно сделал, что сюда приехал. Если сделка будет заключена, если чек будет принят к оплате и в понедельник они покинут Гонконг — значит, сейчас ему самое место здесь, в "Счастливой долине", среди чопорных, болезненно-бледных британцев, поскольку, в каком-то потаенном смысле, находясь здесь, он совершает ритуал прощания. Другого шанса у него не будет. И как удачно, что он приехал сю-

да с матерью; Чеп сам умилился, осознав, что посещение ипподрома — ритуал, ведь все ритуалы это символические, приблизительные подобия реальных действий, и приблизительность придает им какую-то особую, проникновенную печаль. Что же до сегодняшнего, это прежде всего ритуал подведения черты. Ритуал, который под любым флагом, кроме британского, обратился бы в фарс. Чеп обязан присутствовать здесь как очевидец — ведь это же последняя колония Великобритании...

— Что-то я проголодалась, — заметила Бетти. — Интересно, Ван сандвичи не забыл? — Она рылась в корзинке. — Скушаешь хоть один?

— Не откажусь.

— С лососиной?

— С паштетом, — сказал Чеп.

Стулья скрипели, тент трепыхался на ветру; трепыхались также поля женских шляпок и бумажные веера, рвались с флагштоков флаги, а из далеких громкоговорителей доносилось: "Прием всех ставок прекращается после..." Толпы на трибунах галдели, а на огромных, величиной с экран кинотеатра телевизионных табло тем временем показывали, как лошадей ведут через строй владельцев и официальных лиц. А ведь вскоре от всего этого не останется и следа — что бы там ни обещали китайцы. Близость конца уже чувствуется. История Великобритании доселе не знала таких событий. Только здесь, только теперь Чеп окончательно осознал, что Гонконг и его жители оказались одной из разменных монет Сдачи по-китайски. "Счастливая долина" помогла ему понять суть продажи "Империал стичинг" — какая там продажа, сообразил вдруг Чеп, это же просто передача фабрики Хуну. Сам не зная почему, Чеп почувствовал, что растроган.

И сказал, ничуть не лукавя:

— Как хорошо, что я сюда поехал.

— Что?

Когда его мать, набив рот, работала челюстями, перемалывала пищу, она глохла — от жевания, как часто жаловалась сама. На ее губах блестели крошки лососины. Щеки оттопыривались. Она ровно ничего не слышала.

Чеп подождал, пока она прожует кусок, и повторил сказанное.

— Хороший мальчик, — заметила мать. Лежащая перед ней газета была аккуратно сложена, чтобы сверху оказалась программка скачек с ее пометками. — А теперь доешь сандвич и сходи сделай ставки за свою бедную старую мамочку, ладно?

Он поел. Сходил к окошечку и сделал за мать ставки согласно инструкциям: в первом заезде "квинелла", в следующих двух — "двойная квинелла", а для страховки — "шестерка", покрывающая шесть заездов. Взяв билеты, он вновь устроился на стуле, стал смотреть на лошадей и служащих ипподрома, подмечать патологическое неистовство китайцев-готошников и натужное спокойствие англичанок — приятельниц его матери по клубной ложе.

Лошади вырвались из ворот, и их яростный бег, экраны, рев толпы — все это напомнило ему кошмарный сон Мэйпин о казни: о том, как солдаты китайской армии выводят А Фу на ипподром, чтобы убить выстрелом в затылок. Чеп нашел взглядом именно ту точку, где А Фу должна была стоять на коленях, вычислил по положению лошадей, как именно девушка должна была выглядеть на экране. Вместо несущихся

галопом лошадей Чеп видел перед собой только одно — падающую набок А Фу и бьющий из ее шеи кровавый фонтан.

— Ты что-то за скачками не следишь, — сказала мать.

— Почему? Слежу.

— Кто победил?

— Не знаю.

— Вот видишь.

Но она вовсе не стремилась его подколоть. Улыбалась по-матерински, всепрощающе, заботливо.

— Что стряслось, Чеп, мальчик мой?

Внутри у него все сжалось, какая-то судорога свела органы, поддерживающие в нем жизнь. Боль скручивала его в дугу. Он почувствовал себя бессильным, панически встревоженным. У него была тайна — и не одна, но хранить эти тайны больше не хватало сил.

— Даже не знаю, что мне делать, — выдохнул он.

И этой фразы оказалось достаточно. Остальное взяла на себя мать. Едва услышав его слова, Бетти словно бы расслабилась. Смерила его взглядом с головы до пят. Казалось, он — случайно попавшееся на ее пути странное сооружение вроде тех новых непонятных зданий на Адмиралти и Сентрал, и она ищет, как к нему подобраться: высматривает тропинку, лестницу, мост, пандус, дверь-турникет, арку — любую лазейку внутрь.

— Это все твоя кидай-катайка, верно?

Он смолчал, и его молчание означало "да".

— Из Макао?

Вновь молчание — как кивок.

— Китаянка, мама. Ее зовут Мэйпин.

— То-то я почуяла, — произнесла она и предложила ему еще один сандвич. Он отрицательно покачал головой. Отложив пакет с сандвичами, она придвинулась поближе. — По-моему, очень милая девчурка. Закройщица, наверно?

— Швея.

— Я так понимаю... — проговорила Бетти (с легкой неуверенностью в голосе, потому что одновременно жевала), — я так понимаю, она была на том ужине с Хуном.

У Чепа отнялся язык. При напоминании об ужине в "Золотом драконе" перед его мысленным взором так и замелькали куриные ножки. Внутренности. Зубы мистера Хуна. Связанная, надрывающаяся от крика женщина.

— Вот когда все заварилось.

Начался следующий заезд. На экран вылетели лошади со спутанными гривами; к их шеям приникли жокеи; от топота копыт по дорожке дрожала земля — Чеп чувствовал пятками этот мерный топот.

Откинувшись на спинку стула, Бетти докончила:

— Когда та девушка пропала.

Чеп сделал вдох через нос — еще один знак подтверждения.

— А Фу, — сказал он, чтобы не оставить ее без имени.

— А я сказала: "Меня это не затрагивает".

Он кивнул.

— Но потом ты все-таки спросил мистера Хуна насчет пропавшей девушки.

— В некотором роде, — хрипло произнес он.

— И ничего утешительного не услышал, — продолжала мать.

Чеп поджал губы, словно силясь заткнуть себе рот. Но тщетно: так еще лучше было видно, что слова сами рвутся наружу.

— А теперь твоя подруга, эта самая Мэйпин, хочет заявить в полицию, — сказала мать.

В том, что касается интуиции, она была просто гений; даже нюх у нее был совершенно сверхъестественный — будто у зверя, который вскидывает голову, почуяв принесенный ветром издалека, неизвестно как долетевший сюда запах. Чеп осознал, что скрыть от нее даже самую малость — выше его сил; в сущности, мать даже может ему помочь — с такими-то инстинктами.

— Тут еще хуже, — заговорил Чеп. — Все имущество А Фу исчезло. Мэйпин в шоке. Вот почему я повез ее в Макао. Чтобы успокоить.

Он посмотрел на мать. Да, она ему верит.

— Она боится Хуна, — продолжал он. — Хун хочет ее разыскать.

— Он же занятой человек. Зачем ему?

— Потому что она — единственная, кто видел его с А Фу. Кроме меня, я хочу сказать. На ее глазах он уходил из ресторана. Если она пойдет в полицию, то сможет описать, при каких обстоятельствах исчезла А Фу — а потом вся ее одежда исчезла, и вообще.

Бетти поднесла к глазам бинокль и направила его в сторону скакового круга, хотя лошадей на нем еще не было. И произнесла беззаботным тоном:

— Но она в полицию не пойдет.

— Может пойти, — возразил Чеп. — И я ее вполне пойму. Все указывает на Хуна.

Начался новый заезд. Бетти не сводила бинокля с дорожек.

— Жаль, что у меня не хватает духу на него заявить, — сказал Чеп.

— Тогда наша сделка сорвалась бы, — заметила Бетти, по-прежнему следя за лошадьми.

— Будут и другие сделки.

— Другого мистера Хуна не будет.

— Он — скот, — сказал Чеп.

— Ой, да ничего с твоей Мэйпин не случится, — произнесла Бетти, как бы утихомиривая его. — Сидит она теперь в своей квартирке.

— Нет, — запротестовал Чеп. — Мама, тут дело серьезное.

Его бесило, что она обсуждает важную тему, одновременно следя за ходом скачек, — не глядя на него, то и дело подкручивая колесико бинокля... Это сбивало, вынуждало повышать голос, в особенности теперь, когда заезд близился к концу.

— Она прячется на фабрике, — сказал Чеп. — Я за нее беспокоюсь. Мама, ты меня слушаешь?

Под аккомпанемент восторженного рева на экране возникла одна-единственная лошадь — победительница; Бетти опустила бинокль и улыбнулась Чепу.

— По-моему, ты влюбился, — произнесла она.

— Ты чего улыбаешься?

Бетти показала ему билетик.

— Полная Луна. Я выиграла.

Нет, до чего же странная женщина. Всего через несколько дней ей предстоит получить свою кругленькую долю от миллиона фунтов, вырученного от продажи фабрики "Империал стичинг" в Коулун Тонге, а се-

годня она выиграла двадцать шесть гонконгских долларов на скачках в "Счастливой долине" – и на радостях потеряла дар речи. Но, в конце концов, мать – суеверная язычница с китайской интуицией, а скачки – совершенный ею ритуал: ведь все дело в имени лошади. Победа Полной Луны – это знамение, предвещающее успешное завершение сделки.

Вот на что она поставила. Чеп тоже пошел ва-банк – выложил ей все, – и теперь она улыбается. Настроение у него улучшилось. Он тоже выиграл.

Они просидели в клубной ложе до вечера. Бетти приветствовала своих подруг, те увидели корзинку, и Бетти вновь начала превозносить Вана. Они съели курицу. Выпили пиво, съели пирог, опустошили корзинку. "Скачущие лошади не перестанут скакать", – пообещал китайский диктатор. Но нет – это будут уже другие лошади, Мэйпин права: "Счастливая долина" больше подходит для казней. Кончаются не только сегодняшние скачки. Кончается Гонконг.

В коттедж они вернулись уже в сумерках. Таксист сказал: "Красивый вид". Они все так говорили.

– Полцарства за чашку чая, – произнесла Бетти. И окликнула: – Ван!

Ван не отзывался. Бетти вновь окликнула его, уже сердито, с искаженным лицом, теребя языком свои вставные челюсти в ожидании ответа. Тишина. Она направилась в его комнату, словно только для того, чтобы по дороге дать выход гневу, – хлопая дверьми, топая по полу, пиная мебель, шумно сетуя. И вернулась с озадаченным видом, все еще теребя языком челюсти.

– Удрал!

14

– Гнида, – бормотала Бетти, пока Чеп ходил по дому и проверял, не украл ли Ван чего. Столовое серебро в деревянном ящике, золотые часы Джорджа, музыкальная шкатулка, драгоценности, украшенные монограммой щипчики для сахара, боевые награды Джорджа, выигрыш Бетти на предыдущих скачках, хрустальная настольная лампа, коллекция сувенирных блях для лошадиной сбруи – Ван ничего не тронул, и ценности словно бы обесценились оттого, что ими побрезговал повар-китаец. Часы, которые Бетти помнились блестящими, потускнели, бляхи тоже покрылись патиной, щипчики погнулись. – Гнида, – вновь пробормотала она.

Каморка Вана на "черной" половине дома была пуста, вся его одежда исчезла. Остались лишь вещественные свидетельства его меланхоличной бережливости: пачки рекламных купонов ("Предъявителю – скидка!!!") и автобусных билетов, россыпь скрепок, сцепленные между собой проволочные вешалки в шкафу, старая банка от варенья, заменявшая Вану чайную чашку, сломанный гребешок, растрескавшиеся пластмассовые шлепанцы, от шарканья которых по половицам у Чепа сводило челюсти. Чеп не мог простить Вану, что тот внушил ему паническую боязнь необычных рисовых зернышек: сам Ван их выплевывал и Чепа тоже заразил своим подозрением, что в действительности это не рисинки, а дохлые черви.

– Сбежал, – крикнул Чеп матери.

– Вот змей, – выдохнула она.

Было еще и такое: давным-давно, когда они еще жили на Боуден-роуд, Чеп услышал из соседней квартиры истошные басовитые крики. Ван сказал: "Он сам себе отрезал член. Потому что сильно рассердился на жену". Сосед вопил всю ночь напролет. Чепу было пятнадцать лет, как и Вану, который только начал им прислуживать. Бетти всегда считала, что, держа Вана при себе, они его просто-таки спасают — жертвуют собой ради Вана и его матери Цзя-Цзя. Этакое пожизненное благодеяние. А следовательно, исчезновение Вана — черная неблагодарность с его стороны.

Ван явственно присутствовал в пустоте, оставшейся после его ухода. В этой пустоте витали его байки, суеверия и словечки, его страхи, запах его стряпни. Застыв посреди комнаты, взбудораженный всеми этими воспоминаниями, которые нельзя было назвать дурными или хорошими, Чеп недоуменно хлопал глазами — но вдруг его осенила простая и толковая догадка. Пустая комната Вана похожа на комнату А Фу. Из той комнаты тоже изъяли все имущество ее обитательницы — и выглядело это точно так же. Точно такие же дребезжащие вешалки, точно такие же обертки от конфет и треснутое блюдечко, точно такие же просыпанные чайные листья, похожие на раздавленных насекомых, точно такие же вензеля из переплетенных букв О — отпечатков чашек с мокрыми донышками — на комоде и тумбочке, точно такой же запах мыла и волос, точно такой же пожелтевший матрас. И исчезновение в том же стиле — внезапное, как похищение. Все исчезновения, вопреки логике, ассоциировались у Чепа с Хуном. Три исчезновения, если считать дворника Фрэнка Ву. Четыре, если считать мистера Чака. Все эти люди испарились бесследно, если не считать осадка — такого вот мусора.

Подумав о Мэйпин, он болезненно скривился, но его отвлекли слова матери.

— Ван никогда не грозился уйти, даже если я его песочила, — говорила она, — так почему же теперь?

— Разве что как-то догадался о нашем отъезде.

— Быть не может.

— Подслушал что-нибудь, — рассудил Чеп.

— Гнида.

— Я хотел на прощанье сделать ему подарок, — сказал Чеп.

— Электрический фонарь под глаз, — проворчала Бетти.

Чеп рассмеялся ее болхэмскому выражению и болхэмскому выговору. Обнял мать за плечи. Уход Вана стал неожиданностью, но зато они теперь сами себе хозяева. Сбежав, Ван снял у них камень с души — теперь им не будет стыдно, что они его бросают. Ван перехватил инициативу, бросил их первый. Они с ужасом ожидали момента, когда придется объявить ему об их возвращении в Англию. Что сделает Ван — завоет? Обольется слезами? Разобидится? Бог весть. Бесстрастные китайцы порой закатывают истерики, достойные итальянцев. "А вдруг он беситься начнет?" — вопрошала Бетти. Но проблема решилась сама собой.

Маллердам повезло: теперь они могли без малейших угрызений совести презирать Вана за побег, вместо того чтобы стесняться своего собственного бегства. Больше всего Чеп страшился поддаться сентиментальности — тут ведь не только слезы, но и деньги: премиальные, выходное пособие, подъемные. Но Ван убежал по собственному почину: трусцой, выбрасывая вперед длинные ноги, уставившись прямо перед собой, с обычной своей змеиной гримасой на худом лице.

— Все они одинаковы, — сказала Бетти.

Чеп все еще созерцал пустоту — и видел в ней пустую комнату А Фу.

— Китайцев боится. Своих же боится, — продолжала Бетти. — Наводит на кое-какие мысли, да? — Она кивнула, сама себе поддакивая; ее глаза стали жесткими, как у Тэтчер. — Скатертью дорога, — добавила она. — Без него обойдемся.

Пошел дождь. Вначале, пока Бетти заваривала чай, он просто скребся по крыше, словно полчище проворных грызунов. Бетти устроилась вместе с Чепом в "зале", выпила — назло Вану — чаю, и дождь застучал чаще. Что небо, что крыша, что потолок — все едино. Бетти вспомнилось, какой был ливень в то утро, когда она узнала о смерти мистера Чака, вспомнилось, как она глянула на портрет Ее Величества и подумала: чему-то очень важному приходит конец. Тогда она и помыслить не могла, что речь идет о такой колоссальной перемене, как их отъезд из Гонконга. Ход событий ускорился. Смерть мистера Чака была только началом: она повлекла за собой много всего такого, чего Бетти никак не ожидала, такого, на что она и повлиять-то не могла. Вот как делается история: ни с того ни с сего человек чихнул и умер и потащил за собой в тартарары все, и тебя в том числе; а потом оказывается, что твое дело — смотреть на это со стороны, а потом ты возвращаешься домой.

— Вкусненький чай, — сказала Бетти. Лучше, чем у Вана. Как только она мирилась десятки лет с его бурдой? "Он просто клад", — говорила она Монти и вообще всем, кто хвалил Вана, но сама в это никогда не верила. А теперь он оказался просто лицемерным гаденышем, да и с головой у него, наверно, не все в порядке.

Чеп согревал ладони о чашку и думал, что никогда еще в жизни не был так близок с матерью. Бетти включила "Робертс": на волне "Радио вооруженных сил" звучала музыка. Это была "Витрина Вест-Энда" — любимая передача Бетти.

Услышав "Однажды я тебя найду", она сказала:

— Мне всегда нравилась эта песня. Джордж ее часто пел.

Эта фраза прозвучала как отпущение грехов мужу.

— Удачно мы съездили на скачки, — сказал Чеп.

— Я слегка озолотилась, — заметила она. — Но самое главное, что мы ездили вместе. Съешь овсятку, Чеп.

— Не откажусь, — он выбрал себе рассыпчатый квадратик, куснул.

Какой странный вкус стал у овсяных лепешек Вана после исчезновения повара. Они испечены вчера. У них чуть-чуть кисловатый привкус самого Вана. Чеп обнаружил, что у него кусок в горло не идет. Он положил лепешку на тарелку и испытал слабое отвращение при виде отпечатков своих зубов.

Мать изменилась — а что не изменилось? Это уже не ожесточенная, подозрительная женщина былых времен. Вначале, когда на нее свалились наследство мистера Чака и посулы мистера Хуна, у нее голова пошла кругом и она начала чудить. Но теперь успокоилась, оттаяла, сильно повеселела, стала его прежней заботливой матерью и даже в некотором роде светской дамой, балующей себя пикниками, поездками на скачки и в казино. Чеп был ей очень признателен — ведь она сочувственно выслушала все его страхи по поводу Мэйпин. Теперь он доверял матери и чувствовал себя с этой заурядной англичанкой на этом китайском острове очень уютно, точно на старом, привычном диване.

Он сказал:

— Пойду позвоню Мэйпин. Просто проверю, все ли в порядке.

— Звони-звони. Только прошу тебя, никуда не езди. Ночь просто ужасная.

У Бетти была одна старомодная черта — все свои действия она сообразовывала с погодой. В туман и дождь она носу на улицу не высовывала. "Я слабогрудая", — поясняла она. А Чеп погоды практически не замечал. Мать всегда дулась, когда он возвращался домой промокший.

— Что ей сказать?

— Да что хочешь.

— В смысле, насчет нашего отъезда.

— Назначено на понедельник.

— Ты не будешь против, если завтра она переночует здесь?

Бетти призадумалась, словно высчитывая что-то на своих зубах, передвигая их туда-сюда, как костяшки примитивного устройства для сложения.

— Устроим ее в комнате Вана.

В этом плане его мать также держалась старых правил. Чепу сорок три года. Мэйпин он собирается взять с собой в Британию и там на ней жениться — это единственный выход. А теперь ему, значит, надо прикинуться, будто между ними ничего нет? Но это мелочи. Сейчас главное — безопасность Мэйпин. Когда они приедут в Лондон, все те проблемы, которые в Гонконге казались такими серьезными, будут забыты. Поинтересоваться, не родня ли ему Венделл, могут, лишь пока Чеп в Гонконге. Из-за семи морей об этом уже не спросят. Что до наследства мистера Чака — фабрики, А Фу, пропавшего без вести Фрэнка Ву, мистера Хуна и так далее и тому подобное, — все проблемы китайцев станут проблемами Китая.

Тщательно подбирая слова — поскольку эта мечта выросла из его давних школьных грез и в ней фигурировала Мэйпин, — Чеп рассказал матери, что воображает себя и ее живущими в поместье среди зеленых лугов южной Англии.

— В Суррее об эту пору очень красиво, — и Бетти пояснила, что туда они ездили поездом из Болхэма. — Пересадка в Ист-Кройдоне. Мы всегда сходили на станции Вестхамбл и взбирались на Бокс-хилл. Меловые обрывы. Ежевичные заросли. Столько зелени. Видно на много миль окрест. Но лучше всего была могильная плита.

Когда она произнесла "могильная плита" и рассмеялась, Чеп придвинулся к ней вплотную и переспросил:

— Мама?

— Она была на вершине холма, в лесу. Могила одного местного. Наверно, он был тронутый. Перед смертью велел похоронить себя наперекосяк, головой к Китаю. Меня пусть похоронят наоборот!

— Мама! — воскликнул Чеп, и оба захохотали.

За Передачей Гонконга они будут наблюдать по телевизору, сидя в своем доме в Лезерхеде или Доркинге. "Туда ему и дорога, — скажет она. — Сдача по-китайски".

Чеп набрал свой рабочий телефон. Мэйпин не брала трубку. Включился автоответчик. Чеп с отвращением услышал свой голос, произносящий парадоксальное: "Вы позвонили в дирекцию фабрики "Империал стичинг". В данный момент здесь никого нет, но ваш звонок для нас очень важен..."

После сигнала он сказал:

— Это я... это я... возьмите трубку, Мэй. Надеюсь, вы меня слышите. Пожалуйста, возьмите...

— Да, — тихо отозвалась Мэйпин.

— У вас все в порядке?

— Я боюсь. Мистер Хун хочет найти меня.

— Ему вас не найти.

— Может быть, кто-то ему скажет.

— Кроме меня, никто не знает, — возразил Чеп. — Послушайте, Мэй, я не смог сегодня сюда выбраться. Нужно было остаться с матерью. Завтра я приеду.

— Да, — сказала Мэйпин.

— В понедельник мы уезжаем в Лондон. Пожалуйста, не волнуйтесь.

Воцарилась пауза, встревожившая Чепа.

— Вы у телефона?

— Да.

— Мэй, я все рассказал матери. Она знает насчет нас. Она прямо тут, рядом.

Звонок другой женщине, любимой женщине, в присутствии матери наполнял его дотоле неведомым чувством уверенности в себе. Наконец-то он стал мужчиной.

— Она ужасно рада, — сказал он и глянул в другой угол комнаты, на мать. В тусклом свете лампы он не мог различить ее лица, но знал: она улыбается. — Она на седьмом небе. И вот еще что, Мэй.

— Да?

— Теперь нет смысла звонить в полицию.

Опять воцарилась пауза, еще более нервирующая, чем первая. Чеп вновь произнес ее имя.

— Я здесь, — сказала она. — Я жду вас.

Это было самое пламенное признание, какое он когда-либо слышал; он подумал: “Моя жизнь только начинается”. Ему захотелось сказать в ответ: “Я вас люблю”, но что-то заставило его замешкаться. Тут мать громогласно, энергично закашлялась — слабая грудь, сырая погода, — и волшебство рассеялось.

На следующее утро, в воскресенье, Бетти стояла у окна и говорила:

— Дождик все собирается — никак не может решить, капать или нет, — и улыбалась капризным тучкам-глупышкам, зависшим над Китаем. А Чепу было все равно: погода больше не играла никакой роли, они оставляли ее — еще одно проявление ненадежного характера Гонконга — здесь, вместе с Ваном, который даже накануне своего побега казался образцом преданности.

— К обеду я привезу Мэйпин сюда, — сообщил Чеп.

Он поставил на Гонконге крест, бросил фабрику, настроился на Англию. Монти дал ему гарантии — те еще гарантии, конечно. О работниках Чепу теперь даже думать не хотелось.

— Программа меняется, — сказала Бетти, повернувшись спиной к окну. Она смотрела на Чепа точно так же, как на тучки, с той же улыбкой на лице, прищелкивая вставными челюстями.

— Это как? — спросил он. Если бы мать перестала улыбаться, он вообще впал бы в панику. Впрочем, вставные зубы придавали ее улыбке оттенок неискренности, более того, фальши.

— Хун угощает нас ланчем, — объявила Бетти. Наклонившись к столу, она начала хлопотливо раскладывать воскресный выпуск "Саут Чайна морнинг пост" на разные тетрадки. — Он звонил спозаранку, пока ты еще баиньки.

Чеп попытался что-то сказать заплетающимся языком.

— Я знала — тебя лучше не тревожить, — продолжала мать.

Внезапная перемена планов взбудоражила Чепа. Он не просто растерялся, а почувствовал физическую боль. Сам не зная почему, ощутил себя голым, застигнутым врасплох. Так на него всегда действовали неожиданности. Если клиент аннулировал заказ, у Чепа начинались приступы забывчивости и нервозности, слабело зрение; дурные новости отражались на вестибулярном аппарате — он начинал спотыкаться. Стоило мисс Лю на фабрике воскликнуть: "Ой, извините, это не здесь, а там" — и Чеп ошалело оборачивался, часто ушибая голову. Ему ко всему требовалось готовиться задолго, он любил порядок, обожал предвкушать удовольствия, наслаждаясь ими заранее, в мечтах. Неожиданный обед, пусть даже самый изысканный, никогда не оказывался так вкусен, как тот, который Чеп просмаковал заранее. Он считал, что в этом они с матерью похожи, — и в прежние времена действительно так и было. В изменениях планов есть что-то неуклюжее. Нерешительно мнешься, выглядишь форменным дебилом.

— Скажи ей, что потом за ней заскочишь, — сказала Бетти. Говорила она ровно, и это его немного успокоило.

И вновь ему пришлось представиться автоответчику прежде, чем Мэйпин взяла трубку.

— Голос у вас усталый, — сказал Чеп.

— Я не спала. Я боялась.

Поскольку мать слушала разговор — по крайней мере, находилась с ним в одной комнате, — Чеп не мог высказать того, что было у него на сердце: что он любит ее, хочет прижать ее к себе, что жизнь для них только начинается.

— Сегодня вечером я за вами приеду. Все будет хорошо.

— Я жду.

15

Опять "Золотой дракон", бурчание Бетти: "Разве мы ему не говорили, что эту еду не переносим?"; а вокруг большие китайские семьи болбочут чего-то между собой за большими круглыми столами. Еще одна картинка из жизни Китая. Интересно, что за свойство такое у Гонконга — что делает его теплицей анахронизмов, где буйным цветом цветут всяческие старинные обычаи? Здешние китайцы верны своим древним обрядам: поклоняются духам предков, тащат с собой на пиршества детей, внуков и крикливых младенцев, обмениваются дрянными подарками и конвертами с деньгами в нелепых ресторанах наподобие этого, где перемешались современность и ветхая старина.

Дружба во все горло, большие семьи, обжорство на пирушках — все это продолжало существовать в Гонконге, а в Китае уже много лет находилось под запретом как подрывающее устои общества. В дни "культурной революции" коммунисты вспарывали животы за улыбку, за красивое платье, за приемник, настроенный не на ту радиостанцию. Об этом Чеп

знал от мистера Чака. Беженцы, нелегальные иммигранты, "неим" – все они единодушно твердили, что Китай – это кошмар; и вот Китай готовится их всех пожрать. Может быть, так гонконгским китайцам и надо – нечего было презрительно коситься на англичан, не желавших им ровно ничего дурного. "Это не они на меня работают, – любил повторять Джордж Маллерд. – Это я на них работаю".

В Китае теперь нет больших семей. Дети вне закона: за лишнего спиногрыза расстреливают или штрафуют. Но у здешних китайцев семьи многочисленные и шумные – Британский Гонконг ничего против них не имеет. И для каждого из их отпрысков в гудящем улье колонии находится дело; однако энергичнее всего эти люди ведут себя именно среди блюд с блестящей, вязкой едой, сражаясь на палочках за лучшие кусочки.

Проходя мимо шумных столов, где китайцы подносили к губам синие узорчатые чашки, Чеп увидел за их спинами, в подсвеченной рождественскими электрогирляндами кумирне, богиню-демоницу с малиновым лицом, а перед ней на тарелке – обычное подношение, апельсин. Язычество чистой воды. Подмечая такие вещи, сознавая, как они его коробят, Чеп лишний раз убеждался: пора уезжать.

Перед ним, за угловым столиком, словно в далеком закоулке Китая, сидел Хун в обществе Монти Бриттейна. Монти поманил их с Бетти. Монти и Хун словно поделили роли: поверенный вел себя активно, а Хун, наоборот, сидел истуканом. Как только Бетти с Чепом уселись, официант привез на тележке какие-то кушанья.

– Не обессудьте, – сказала Бетти, – но китайской еды мы в рот не берем. В жизни не пробовали. Сплошной жир да клей. И такая она всегда мокрая. Прямо плеваться хочется.

– Видите ли, она не для наших желудков, – подтвердил Чеп.

К тому же, если не тратить времени на еду, со всем этим мутным делом скорее будет покончено.

Монти сказал:

– Мистер Хун хочет вам кое-что сообщить.

С каких это пор Монти тут главный? В его манере говорить все еще сквозил Лондон, хотя теперь у этого типа австрийский паспорт и, вероятно, рыльце в пушку. Чеп никак не мог забыть, как этот наглец Монти уговаривал его сменить британское гражданство на негритянский документ.

Теперь, когда до заключения сделки оставалось всего ничего, Хун задрал нос. Он восседал за столом важный и неподвижный, как жаба.

– Прошу вас, съешьте что-нибудь, – сказал он, точно и не слышал, как Бетти признавалась в ненависти к блюдам китайской кухни.

– Это не в их вкусе, – пояснил Монти.

Бок о бок с Хуном Монти казался скорее поверенным Хуна, чем их собственным. Чепу вспомнилось, как Монти познакомил его с Хуном в Крикет-клубе, а впоследствии признался: "Я дал ему рекомендацию. Надо идти в ногу со временем"; именно Монти предостерег Чепа насчет связей Хуна с гангстерами, поведал о бандитах из китайской армии, рассказал ужасную историю расчлененного адвоката. Монти много знает – он из тех, кто отсюда не стронется, из тех, кто скрывает за шуточками-прибауточками полное отсутствие патриотизма, – а если кому он и верен, то уж точно не Британии.

– Я рад этой сделке, – произнес Хун.

Бетти и Чеп сидели за столом, ни к чему не притрагиваясь. "У них даже чай — не чай", — когда-то говаривала Бетти.

— Но если рад только я — это не хорошая сделка. Вы тоже должны радоваться.

— Мы рады, — сказала Бетти, щелкнув вставными зубами; при этом, впервые за все время обсуждения сделки, лицо у нее было совсем не радостное.

Вероятно почуяв нетерпение Бетти, Хун скривился, а затем вперил в нее свои непроницаемые глаза-камушки. Осклабившись, сказал:

— Я был добр и щедр.

— Минуточку, — возразил Чеп. — Вам помогло стечение обстоятельств. Не умри мистер Чак, до такого никогда бы не дошло.

Реплика Чепа понравилась Хуну. Он захохотал — точнее, из его волосатых ноздрей раздался гнусавый скрежет. — Пожалуйста, выпейте чего-нибудь, — сказал он.

— Оранжад, — заказала Бетти. — Безо льда.

Хун выждал, пока Бетти подали оранжад в бокале на белом блюдечке. Бетти покосилась на него, но пить не стала.

— Мистер Чак покушал здесь последний раз в жизни, — произнес Хун с нарочитой четкостью, словно в этой фразе было значимо каждое слово.

Чеп поглядел на Монти, для которого, по-видимому, эта информация не была новостью. Во всяком случае, от еды Монти не оторвался.

— Он сидел там, где сейчас сидите вы, — продолжал Хун, указав подбородком на Бетти. — Судя по всему, еда ему показалась вкусной.

— Ерунда, — заявила Бетти. — Он сюда и на милю не приближался. Он умер в своей квартире на Мэгэзин-Гэп-роуд.

— Его нашли мертвым у него на квартире, — сообщил Хун.

— Верно, — подтвердил Монти, жуя не поднимая глаз.

Чепа разозлило, что Монти не оспаривает слов Хуна. Обернувшись к Хуну, Чеп резко спросил:

— Это как же понимать: вы что-то сделали с мистером Чаком?

— Я просто говорю, что мы подали ему его последний ужин, — ответил Хун.

— "Мы"? Вы что, имеете отношение к этому ресторану?

Хун ответил не сразу. Вначале он принялся снимать пробу с кушаний, подхватывая палочками один кусочек за другим.

— Этот ресторан принадлежит китайской армии. Армии вообще принадлежит много предприятий. Мы владеем почти всем районом Шэнчжэнь. Скоро территория вашей фабрики будет в наших руках.

При упоминании о китайской армии Бетти словно бы проснулась.

— Так что же тут произошло? — спросила она.

— Вы имеете дело с весьма влиятельным лицом, — произнес Монти. — Именно поэтому я без малейших колебаний дал ему рекомендацию в Крикет-клуб.

— Я о мистере Чаке говорю, — возразила Бетти. — Много лет он был компаньоном моего покойного мужа. Очень толковый был человек и порядочный.

— Он был близорук, — сказал Хун и поднял кверху палочки, давая Бетти понять, что еще не все сказал. — Ваш мистер Чак никогда бы не продал свой пай в "Империал стичинг" китайской фирме.

Чеп слушал, сцепив руки на коленях, подавшись вперед, недоумевая, почему они никак не перестанут толковать о мистере Чаке. Сам Чеп мог думать только о Мэйпин.

— Я же говорю, — произнес Чеп. — На редкость удачное стечение обстоятельств.

— Но, конечно, вы были упомянуты в его завещании, — сказал Хун.

— Как выяснилось, да, — заметил Чеп и уставился на мистера Хуна, дожидаясь его реакции. Видя, что тот никак не реагирует, он продолжил: — А вы знали, что мы упомянуты в завещании мистера Чака? Поскольку, если вы знали...

— Мы только время зря тратим, — прервал его Монти. Поверенный жевал очень быстро -- как голодный зверь, знающий, что неподалеку бродят другие, еще более голодные.

Бетти заявила:

— Что-то я совсем запуталась, Чеп. Ты это о чем?

— Может быть, смерть мистера Чака не была случайной. — Чеп так обозлился на мистера Хуна, что к глазам у него прилила кровь. Но Хуна это, казалось, лишь забавляло.

— Дело давнее, — сказал мистер Хун.

— Прошу вас, — вмешался Монти, подняв палочки, точно жезл регулировщика. — Мистер Хун должен вам кое-что сказать.

— То есть он хотел сказать не это, а кое-что другое? — вопросил Чеп.

Повернувшись к Монти, Хун сказал:

— Возможно, они поймут лучше, если объясните вы.

— Вы уезжаете сегодня, — сказал Монти Чепу. — Деньги уже высланы по телеграфу.

"Программа меняется", — сказала мать сегодня утром, и это сбило его, ошарашило. У него тогда даже дыхание перехватило. А ведь она имела в виду всего лишь посещение ресторана, обед, перенесенный на время ланча. Тут совсем другое — отъезд из Гонконга, — но выражено в тех же самых словах. Программа, дескать, меняется. У Чепа заныло в груди и закружилась голова. На миг он заподозрил, что умирает, — в таком случае его, наверное, отравили?

— Нет, нет, — выдохнул он.

— Но сегодня воскресенье, — возразила практичная Бетти.

— На Большом Каймане суббота, — пояснил Монти. — Это ведь там зарегистрирована "Полная луна". Они еще производят операции. Нас уже известили о трансферте.

— Рис сварился, — подтвердил мистер Хун.

Бетти вскинула голову, выставила подбородок в сторону мистера Хуна. Вставные челюсти прибавляли драматизма ее лицу: когда они слегка съезжали набок, Бетти начинала походить на неумолимую волчицу.

— Кто ж так делает? — заявила она. — Ничего не собрано. Билеты и то не заказаны.

— Вы вылетаете в Лондон в час двадцать. Авиакомпания "Катэй-пасифик". Бронь подтверждена. Я устроил вас в первом классе.

— У нас нет билетов, — возразил Чеп.

— Держите, — Монти залез в портфель и выудил из него пухлый пластиковый бумажник: билеты, буклеты с расписанием пересадок... Вручил его Чепу и сказал: — Следующий вопрос.

Раздраженным тоном человека, которого приперли к стенке, тяжело пыхтя, Чеп объявил:

— Мы никуда не летим. Сделка отменяется. Мама?

Она пристально посмотрела на Хуна. И произнесла:

— Похоже, вы нам не даете особого выбора.

— Выбор есть, — ответил Хун. Он агрессивно набычился, его английский огрубел, утратил изящество и даже беглость — у Хуна явно испортилось настроение. — Вы можете улететь сейчас — или подождать и уйти вслед за мистером Чаком. Что до вашей фабрики — теперь она наша. В некотором роде она всегда была наша.

— Мы бы хотели получить гарантии, что о работниках должным образом позаботятся, — не сдавался Чеп.

Сердясь, Хун был загадочно-непроницаем, но от его улыбки вообще мороз подирал по коже. Этой-то улыбкой он и ослепил Чепа, а затем спокойно выбрал зубочистку и, не меняя выражения лица, начал ковырять ею в зубах.

— Мама, — вновь взмолился Чеп. Вид у него был жалостный. Он потянулся за своим сотовым телефоном. — Нам нельзя этого делать. — И вновь повторил: — Мама!

Взгляд, которого Бетти не сводила с Хуна, выражал страх и смирение с судьбой, но одновременно казалось, будто она ведет с Хуном безмолвный диалог.

— Мне нужно позвонить, — заявил Чеп.

Еле переставляя ноги, он выбрался из-за стола. В гомоне переполненного ресторана, чуть ли не утонув в штормовых волнах болтовни — и это заведение принадлежит китайской армии? — он набрал номер своего кабинета на "Империал стичинг".

Звонок, еще звонок, конца, кажется, не будет... затем включился автоответчик. "Вы позвонили в дирекцию "Империал стичинг"..."

— Это я, — воззвал Чеп. — Пожалуйста, возьми трубку... Мэй, возьми, пожалуйста, трубку... Ответь... ответь... Мэй, ты здесь?

Все еще заклиная телефон, он обернулся и увидел, что к нему идет мать.

— Пойдем, Чеп.

Она остановилась рядом. А по обе стороны от нее стояло по китайцу. Они были такие же высокие и плотные, как Хун, с худощавыми лицами и остриженными по-солдатски волосами.

— Она не берет трубку, — выдохнул Чеп.

— Да? — переспросила мать. Казалось, это известие ее ничуть не взволновало. Затем она добавила: — Я бы на твоем месте не беспокоилась.

— Если ее там нет, куда еще она могла подеваться?

— А я-то почем знаю? — капризно протянула мать.

— Мама, нам нельзя ее бросать, — взмолился Чеп.

Но мать схватила его за руку и потащила к двери.

— Почему она не отвечает?

Теперь двое китайцев, следуя за ними по пятам, подталкивали их к выходу из ресторана — к раскрашенной золотой краской арке.

— Я ей сказал, что за ней заеду, — произнес Чеп. — Она сказала, что будет ждать. — Один из китайцев пихнул его пониже спины. — Извините!

На "Империал стичинг" неоднократно случалось, что Чун рекомендовал уволить кого-то из работников, и Чеп всякий раз санкционировал эти увольнения. Иногда уволенный — такое чаще бывало с мужчинами,

чем с женщинами — возвращался поскандалить: стоя на улице под окнами, выкрикивал нецензурные ругательства или пробирался в здание и набрасывался с кулаками на мистера Ву. Но главной целью уволенных было увидеть Чепа и его оскорбить. Кое-кому удавалось добраться до восьмого этажа, и каждый раз это было ужасно: негодующий, озверевший от ярости человек поднимал крик на все здание.

— Выпроводите его, — говорил в таких случаях Чеп, и скандалиста, точно тюк, спихивали со ступеньки на ступеньку и выталкивали вон. И вот сейчас Чеп почувствовал себя таким же уволенным работником. Не сделав ни шага самостоятельно, он обнаружил себя на улице. Почему, интересно, мать даже не пикнула?

— Вот ваша машина, — произнес Монти. Как поверенный материализовался на тротуаре у ресторана, Чеп не заметил.

Чеп сказал:

— Вы должны кое-что узнать. Погодите!

Он много раз видел, как униженных работников вталкивают в такси и отсылают восвояси. Теперь ровно то же самое происходило с ним самим. Только что он стоял с матерью у машины — и вот уже чья-то ладонь давит ему на темя, и в мгновение ока они оказываются внутри. На тротуаре перед рестораном Чеп увидел Хуна — тот шуровал у себя во рту зубочисткой, из деликатности сложив руку лодочкой. Даже когда шофер завел мотор, китаец продолжал чистить зубы. Еще несколько секунд, не больше, Хун смотрел вслед отъезжающей машине, а затем отвернулся и заговорил с человеком, стоящим рядом. Чеп осознал, что для Хуна он больше не существует.

Монти сидел бочком на переднем сиденье, упершись локтем в подголовник.

— У нас ничего нет, — произнес Чеп. — Никакого багажа... ровно ничего.

— Ну, несколько шиллингов-то у вас наберется, — сказал Монти с нескрываемым презрением.

Он имел в виду пресловутый миллион фунтов, но Чеп мог думать только о Мэйпин. Почему она не подошла к телефону?

— Мама, я волнуюсь, — сказал Чеп.

Бетти стиснула его горячую руку и сказала:

— Да ладно, она объявится. — В ее голосе звучала уверенность. Она посильнее сдавила его руку. — Если сейчас мы не уедем, сделка сорвется. Никаких денег не получим. Но тут не только в деньгах дело. Ты же слышал, что он сказал.

— Поверните налево! — завопил Чеп.

Команда прозвучала так убедительно, что шофер немедленно повиновался, и машина с бешеной скоростью понеслась по Ватерлоо-роуд.

Монти, тронув шофера за плечо, сказал:

— Кай Так в другой стороне, Алекс.

— Босс? — переспросил шофер.

— Алекс не туда поехал, — пояснил Монти Чепу.

— Мне надо кое-что взять на фабрике. Это не займет и минуты.

Подавшись вперед, Чеп говорил столь настойчиво, что шофер выслушал его просьбу и исполнил. До "Империал стичинг" было недалеко — из-за домов уже выглядывала вывеска на крыше фабрики. Чеп указал шоферу дорогу. Улицы в этот воскресный день были почти пусты, и пока Монти протестовал, машина уже подкатила к главной проходной.

Выскочив из автомобиля на ходу, Чеп начал возиться с замком на двери фабрики. По тому, как выглядело здание, по бесстрастной пустоте окон, отражающих небо, Чеп догадался: внутри ни души. Протиснувшись в дверь, он не стал тратить время на ожидание лифта, а побежал вверх по лестнице, грохоча ботинками, беспрестанно крича: "Мэйпин! Мэйпин!" Подтягиваясь на перилах, он поднимался с этажа на этаж, с одной лестничной плодадки на другую. Экспедиция, галунный цех, склад, упаковочный, швейный, закройный, бывший отделочный и бельевой — давно закрытый — и, наконец, помещения дирекции. Он все время кричал: "Мэйпин, Мэйпин!"

Никаких примет присутствия Мэйпин, никаких примет, что она вообще тут была, только пустота, неподвижность и застывшая в воздухе пыль, утихшие швейные машинки, умолкшая музыка труда — от всего этого чудилось, будто фабрика населена душами ушедших работников, будто здесь покоятся мертвые кости. Кости — и прах. Легкая вибрация все еще висела в воздухе, похожая на эхо после оглушительного звука, финального звука соло — Чеп почти что расслышал последний доступный уху печальный отголосок громового удара в гонг.

Чувствуя, как этот тихий звук ускользает, Чеп выкрикнул имя Мэйпин и ужаснулся, когда оно тоже съежилось до слабого эха среди всех этих равнодушных машин. А затем медленно спустился по ступенькам.

— Мама, — выдохнул Чеп в машине. Ему хотелось плакать.

— Возьми себя в руки, Невилл, — произнес Монти.

Они въезжали в аэропорт Кай Так. Машина плавно поднималась по пандусу. Монти тоном знатока рассуждал о будущем, о новом аэропорте в западной части Коулуна, о новом шоссе и эстакаде, об осваиваемых землях и активных инвестициях. "На будущий год, на будущий год", — повторял он. *"На будущий год"*.

— Я за всем прослежу, — заявил он.

Чеп совсем расклеился. У регистрационной стойки он раскрыл телефон и начал нашептывать в него мольбы и просьбы, звонил то к ней домой, то на фабрику; без конца набирал номер, и во время досмотра багажа, и шагая по кишке, соединяющей здание аэропорта с самолетом; даже на борту лайнера, опустившись в свое кресло, Чеп не переставал твердить: "Возьми трубку, Мэй!"

— Наверно, ей подвернулся какой-то другой вариант, — сказала Бетти. Держа в левой руке бокал джина с тоником, она рылась пальцами правой в тарелочке с подогретыми орехами-ассорти. — Вот черт, у меня миндаля больше нет.

Они поднялись в воздух. Сидя бок о бок в резко набирающем скорость самолете, они почувствовали, что мотаются туда-сюда над городом; вскоре самолет начал раздвигать крыльями тучи.

— Может, она передумала, — сказала Бетти.

Почему она так уверена? Почему не проявляет никаких эмоций, никаких сомнений? Почему, ничего не спросив, выслушала зловещие подробности кончины мистера Чака? Казалось, ничто из случившегося не было для нее сюрпризом.

Чеп весь одеревенел. Его подташнивало, под ложечкой сосало от страха, от холодного ужаса. Ни дать ни взять дизентерия.

Он что-то лепетал, но почти невнятно. Не выпуская из рук сотового телефона, пытался выговорить: "Мэйпин".

В прорехах между плотными облаками он увидел город в пыльной сумеречной дымке: Коулун Тонг со всеми его сияющими вывесками, частую решетку красных улиц. Тут самолет, совершив вираж, взмыл над белоснежным облачным ландшафтом, настоящим морем пены, бескрайней Арктикой.

— Мама, — вновь произнес Чеп, чувствуя себя маленьким мальчиком. — Ты что-нибудь сказала мистеру Хуну?

Когда мать лукавила, ее вставные челюсти словно бы съезжали набок; сейчас, еще не начав говорить, она принялась теребить их языком, будто поправляя.

— Мы легко отделались, — произнесла она наконец. И улыбнулась. Почему? — Найдешь себе другую. Точно-точно. Они все на одно лицо, — тут она понизила голос, увидев, что к ним по проходу идет китаянка в форме стюардессы. — Кидай-катайки эти.

Слегка качаясь из стороны в сторону вместе с самолетом, стюардесса сказала Чепу:

— Выключите-ка это, пожалуйста.

Нащупав пальцем кнопку "Вкл/Выкл", Чеп нажал на нее, увидел, как погасли, моргнув, огоньки, как потускнело окошечко табло; и крохотный телефон умер у него на ладони, испустив последнее "пи-ип", похожее на тихий протестующий вскрик.

16

Весь Коулун Тонг вздрогнул, когда чугунная баба, прикрепленная к стреле крана, ударила по вывеске "Империал стичинг" и сшибла ее с крыши здания. Падая, вывеска разлетелась вдребезги. Следующий взмах снес угол верхнего этажа — и он отлетел, как срезанный лопаточкой кусок торта. Еще в воздухе он рассыпался на отдельные кирпичики. Мощное попадание по руинам этого же этажа обнажило комнату мисс Лю, закуток Лили, кабинет мистера Чуна, туалет, интерьер двухкомнатного кабинета Чепа. Вскоре от этого этажа остались только раскиданные по земле обломки. А чугунная баба неумолимо раскачивалась, сокрушая податливый кирпич. Постепенно закройный и бывший отделочный цехи, швейный и упаковочный, склад и галунный, экспедиция — все это осыпалось на землю, превратилось в град из кирпичной крошки и пыли. Здание было старое. Рухнуло оно быстро; многие из бывших работников пришли посмотреть на его гибель, некоторые плакали — плакали еще горше, чем всего неделю назад, при увольнении, горше, чем на похоронах мистера Чака.

Имени мистера Хуна не упоминал никто — остерегались. Да и сам он при сносе здания не присутствовал.

Произошло это в конце мая. День стоял знойный, воздух, успевший осушить лужи, что остались от утреннего ливня, был влажен; в нос шибала мерзостная вонь пыли — еще одно проклятие мест с сырым климатом.

Дело шло своим чередом, чугунная баба раскачивалась взад-вперед; эта тупая, рябая от вмятин штуковина была прикреплена к лоснящемуся от смазки тросу, которым управлял малорослый китаец из помятой кабины изготовленного в Китае крана. Чугунная баба разрушила старое здание со всей его арматурой и украшениями, с кирпичами и балками,

красными дверями, зеркалами и швейными машинками — со всеми компонентами "Империал стичинг", которые символизировали собой Пять Стихий и обеспечивали равновесие всего предприятия, равновесие Земли и Дерева, Огня, Воды и Металла.

Вскоре все, что стояло на этом участке, оказалось погребено под землей; ощутив, как завихряется и улетучивается невесомым газом энергия ци, почувствовав себя голыми и беззащитными после исчезновения здания, гонконгцы втянули головы в плечи и поспешили прочь. На территории бывшей фабрики не осталось ни единой живой души — лишь разбитые камни, больше похожие на булыжники с забытого людьми, замусоренного пустыря; а на камнях — длинношеий кран, вылитый зеленый дракон с шариком-игрушкой в зубах.

От переводчика

Я позволю себе начать свое послесловие с финала послесловия чужого — написанного Полом Теру ко второму изданию "Коулун Тонга" в апреле 1998 года:

"Альбион-коттедж (правда, в реальности он носит иное название) пока еще стоит на Пике — в нем обитает моя приятельница. Закончив работу над романом, я вновь приехал в Гонконг и сообщил ей: "Между прочим, я описал твой дом в книге". В ответ она с невеселым смешком сказала, что ее на днях попросили освободить помещение. У коттеджа очень выгодное местоположение; скоро его снесут. И там, где Бетти и Чеп, повернувшись спиной к Китаю, сиживали за чаем, вознесется многоэтажный жилой дом".

То есть жизнь повторила искусство. Не зря Теру (в том же послесловии) заметил: "Говорящий правду часто оказывается ясновидцем. Особенно это верно для писателей: художественная правда может обернуться пророчеством".

А у пророчества много общего с притчей. Мне представляется, что именно как притчу, при всем обилии реалистических подробностей, и следует воспринимать этот роман. Конечно, это легче сделать читателю, не понаслышке знающему социально-политический контекст. Так, один мой Интернет-корреспондент — англичанин, живший когда-то в Гонконге, большой поклонник творчества Теру, — высказал мнение, что в этой книге писатель чересчур вольно обходится с фактами (и Чепов среди гонконгских англичан не столь уж много, и могущество китайской армии преувеличено), но зато в других персонажах книги без труда угадываются реальные политики и стоящие за ними силы. Скажем, мещанка Бетти — это, безусловно, Маргарет Тэтчер, за бесценок уступившая Гонконг китайцам; ее противники любят злословить о том, как она в юности стояла за прилавком в родительском магазине и якобы обвешивала покупателей. Монти Бриттейн — коварный Генри Киссинджер. А судьба Альбион-коттеджа — это судьба всей Англии, экс-империи, которая уже не первое десятилетие смотрит в будущее с глубоким пессимизмом.

Большинству из нас этот аспект книги Теру не вполне понятен. Но общее настроение повествования о гибели эпохи в отдельно взятом регионе должно быть близко тем, кто провел 80—90-е годы в России. "'Коулун Тонг', — признается Теру, — просчитанный роман, продиктованный сознательным желанием запечатлеть Гонконг накануне Передачи". Написан он на основе личных впечатлений: писатель работал в Гонконге над киносценарием, а параллельно "слушал, что говорят в городе", ведь "перед бурей у всех развязываются языки — люди горячо обсуждают то, что знают, — а знают они обычно очень мало; ощущение неосведомленности и уязвимости создает у них иллюзию братства". Теру заводил разговоры со случайными встречными — "продавцами, таксистами, школьниками, су-

тенерами из караоке-баров...", которые даже не подозревали, что он — писатель. Сюжет романа возник перед его мысленным взором целиком, в один миг. "Я занес его в блокнот, точно художник, торопливо зарисовывающий натуру, а дома сел писать с уверенностью, что преследую не только художественные, но и политические цели. Правда, мне как-то неловко применять по отношению к себе слово "художественный". Скажу лучше, что я руководствуюсь своим воображением и делаю свое дело".

Насчет политических целей Теру как в воду глядел: отрывок из романа, уже подготовленный для публикации в "Плейбое", в последний момент выкинули из номера. Владельцам журнала показалось, что "Коулун Тонг" оскорбит их коммерческих партнеров в Китае. По тем же причинам Руперт Мэрдок изъял из плана одного из своих издательств мемуары Кристофера Пэттена, последнего губернатора Гонконга.

Казалось бы, "Коулун Тонг" легко мог стать скоропортящейся агиткой либо, в лучшем случае, добротным журналистским репортажем на злободневную тему. Но Пол Теру работает в иной плоскости. Поэтому, изображая переломный момент в истории Гонконга, он создал нечто парадоксальное: начисто лишенный сантиментов реквием по былому величию Британии, историю о необыкновенной (охватившей так и не созревшего для любви человека) любви и ужасающем (будничном-бесчеловечном) предательстве.

Федерико Гарсиа Лорка

Ода Сальвадору Дали

Перевод с испанского А. Гелескула

Та наскальная роза, которой ты бредишь.
Колесо с его синтаксисом каленым.
Расставание гор с живописным туманом.
Расставанье тумана с последним балконом.

Современные метры надеются в кельях
на стерильные свойства квадратного корня.
В воды Сены вторгается мраморный айсберг,
леденя и балконы и плющ на балконе.

Осыпается с окон листва отражений.
Парфюмерные лавки властями закрыты.
Топчут сытые люди мощеную землю.
Утверждает машина двухтактные ритмы.

Дряхлый призрак гераней, гардин и унынья
по старинным домам еще бродит незримо.
Но шлифует зенит свою линзу над морем
и встает горизонт акведуками Рима.

Моряки, незнакомые с ромом и штормом,
истребляют сирен по свинцовым лиманам.
Ночь, чугунная статуя здравого смысла,
полнолуние зеркальцем держит карманным.

© А. Гелескул. Перевод, 2002

Все желаннее форма, граница и мера.
Мерят мир костюмеры складным своим метром.
Натюрмортом становится даже Венера,
а ценителей бабочек сдуло как ветром.

* * *

Кадакес, балансир лукоморья и взгорья.
Гребни раковин в пене и лесенок ленты.
Древним богом садовым обласканы дети
и баюкают бриз деревянные флейты.

Спят его рыбаки на песчаной постели.
Служит компасом роза на палубе шхуны.
Плещет бухта платками прощальными, склеив
два стеклянных осколка, акулий и лунный.

Горький лик синевы и песчаные пряди
полукруг парусов замыкает подковой.
И сирены зовут, но не манят в пучину,
а плывут за стаканом воды родниковой.

* * *

О Дали, да звучит твой оливковый голос!
Назову ли искусство твое безупречным?
Но сквозь пальцы смотрю на его недочеты,
потому что тоскуешь о точном и вечном.

Ты не жалуешь темные дебри фантазий,
веришь в то, до чего дотянулся рукою.
И стерильное сердце слагая на мрамор,
наизусть повторяешь сонеты прибоя.

На поверхности мира потемки и вихри
нам глаза застилают, а сущности скрыты.
На далекой планете не видно пейзажей,
но зато безупречен рисунок орбиты.

Усмиренное время разбито на числа,
век за веком смыкает надежные звенья.
Побежденная Смерть, отступая, трепещет
и хоронится в узкой лазейке мгновенья.

И палитре, крылу, просверленному пулей,
нужен свет, только свет. Не для снов, а для бдений.
Свет Минервы, строительницы с нивелиром,
отряхнувшей с развалин вьюнки сновидений.

Древний свет, он ложится на лоб человечий,
не тревожа ни сердце, ни рот говорливый.
Свет, который страшит дионисовы лозы,
водяные извивы, речные разливы.

Ты художник, и прав, отмечая флажками
очертанья границы, размытые ночью.
Да, ты прав и не хочешь, чтоб форма размякла,
как нежданного облака ватные клочья.

Нет, ты смотришь в упор, ты вперяешься взглядом
и копируешь честно, без фантасмагорий.
Эту рыбу в садке, эту птицу в вольере,
ты не станешь выдумывать в небе и в море.

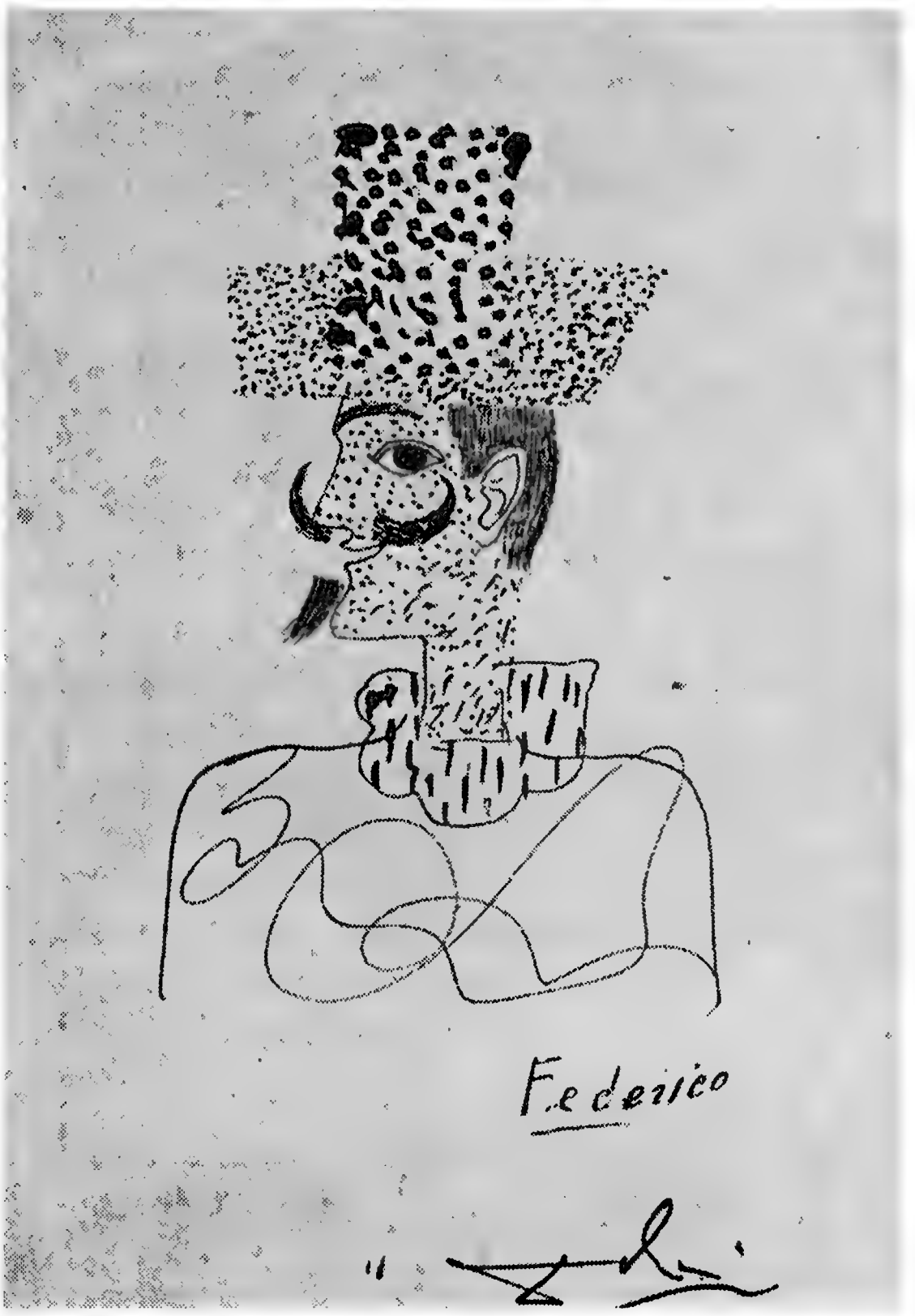
Осязаемость, точность, задача и мера.
Это взгляд архитектора на обветшалость.
Ты не любишь земли, где растут мухоморы,
и на знамя глядишь, как на детскую шалость.

Гнутся рельсы, чеканя стальные двустишья.
Неоткрытых земель на планете не стало.
Торжествует прямая, чертя вертикали,
и вовсю прославляют Евклида кристаллы.

* * *

Да, но есть еще роза. В саду твоем тоже.
Путеводная наша звезда неизменно.
Словно эллинский мрамор, слепой, отрешенный
и живой своей мощи не знающий цену.

Федерико Гарсиа Лорка. Портрет Дали. 1926 г.



Сальвадор Дали. Портрет Ф. Г. Лорки. 1928 г.

Раскрывает нам хрупкие крылья улыбок,
заставляет забыть о работе и поте
роза радости без облюбованных терний.
Пригвожденная бабочка, весть о полете.
Есть она, эта роза.

* * *

О Дали, да звучит твой оливковый голос!
Молода твоя кисть, и работы незрелы,
но сквозь пальцы смотрю на твои недочеты,
восхищаясь, как точно нацелены стрелы.

Мне завидны и твой каталонский рассудок,
объясненье всему находящий упрямо,
и в груди астронома червонное сердце
из французской колоды. Без единого шрама.

Мне понятны усилия мраморной позы.
вызов улице, страсти, волненьям и бедам.
Хорошо, когда в бухте морская сирена
шелестит перламутровым велосипедом.

Но важнее другое. Не судьбы искусства
и не судьбы эпохи с ее канителью,
породнили нас общие поиски смысла.
Как назвать это — дружбою или дуэлью?

Остальное не в счет. И рисуешь ли букли
своенравной Матильды, Тересу с иглою
или женскую грудь, ты рисуешь загадку
нашей близости, схожей с азартной игрою.

Каталония, дактилография крови
на отлитом из золота сердце старинном.
Словно руки сокольничьих, замерли звезды,
стиснув пальцы вдогонку крылам соколиным.

Не вперяйся в костлявый скелет аллегорий,
над песочными не сокрушайся часами.
Твоя смуглая кисть да купается в море,
населенном матросами и парусами.

1926

Сальвадор Дали

Стихи

Перевод с испанского и вступление Н. Малиновской

Всю жизнь Дали неустанно извещал человечество о своей гениальности, и это яростное самоутверждение изобличало уязвимость, не столь уж тщательно и скрываемую, если приглядеться. Не забудем: Дали собственноручно и вполне всерьез выставил себе по части гениальности балл ниже, чем Пикассо, не говоря уж о тех, рядом с кем и к концу жизни ощущал себя подмастерьем, — Веласкесе, Вермере. Так что цену себе Дали знал — истинную, не рыночную. А что при этом виртуозно управлял собственными котировками на мировой бирже искусств, неизменно блистательно играя на повышение, сути не меняет, — значит, был у него еще один, побочный, далеко не самый значимый талантец (вовсе не редкостный по нынешним временам).

Себя, художника, Дали оценивал без надрывного самоуничижения — а как прекрасно вписалось бы оно в роль, исполняемую на публике, рифмуясь с декларациями гениальности! Но когда (изредка) речь заходила о *святом ремесле* всерьез, его голос становился на удивление трезв и спокоен. Вслушаемся: "Настоящие художники, такие, как Веласкес, всё, что хотят и должны сказать, говорят кистью. Мы же то, чего не умеем сказать живописью, договариваем прозой и стихами". Безжалостно и точно. Не нам, доморощенным имиджмейкерам, советовать дону Сальвадору, чем следовало бы приправить к вящей славе своей литературные опыты, но как не помянуть хотя бы о самом сладком соусе — возрожденческом: дар, которому тесно в рамках живописи, жаждет воплотиться в скульптуре, архитектуре, науке, поэзии — да где угодно! — тому, кстати говоря, были славные примеры.

Однако даже лестный перечень имен собственных Ренессанса не вводит художника в соблазн. А ведь "возрожденческий соус" — не балагурство: Дали и правда был родом из той великой созидательной эпохи, и в XX веке, веке краха

© Н. Малиновская. Перевод, вступление, 2002
Иллюстрации – работы С. Дали

надежд и иллюзий, пронизанном пафосом разгрома, ему, пасынку нового времени, по трагической иронии ставшему ее знаменем, было бесприютно. Но, ощущая кровное родство с Ренессансом, он и судил себя по кодексу титанов, судил строго и формулировал без эвфемизмов: "Не справился с кистью — договаривай прозой и стихами".

Стихов в наследии Дали мало, прозы — много: три крупногабаритных памятника себе ("Тайная жизнь", "Дневник гения", "Неисповедимые исповеди"), а кроме того, роман "Скрытые лица" (роман в обычном жанровом смысле слова), а еще множество трактатов, эссе, статей и манифестов. Впрочем, три помянутые автобиографии, пожалуй, неправомерно числить по литературному ведомству. Это мифология, зафиксированная на бумаге и требующая sine qua non параллельных воплощений — перманентных сценических действ с автором в главной роли, перфомансов, шоу, шествий, лекций, трапез, танцев (в том числе с саблями). Что же до манифестов, эссе и прочего, то без этих естественных жанров "договаривания" в XX веке, кажется, не обошелся никто.

Иное дело — стихи. "Договаривать" живопись стихами — дело странное, необязательное и непривычное (в отличие от книжной иллюстрации, надобность каковой, честно говоря, для чувствующих слово столь же сомнительна). Стихи (как и живопись) ни в каких поводах к бытию не нуждаются: они или существуют — и ни в зуб ногой! — или их нет и в помине. Растут они, как известно, из сора, каковым на общих основаниях со всем на свете бывает и живопись. Но и стихи

Автопортрет. 1923 г.

в свою очередь, случается, становятся животворящим "сором" для иных искусств: эту перекличку, обмен репликами, вошедший в особую моду в конце века (из третьего тысячелетия приходится уточнять — девятнадцатого), с тех пор называют *вторичным отражением*. Но отклик и "договаривание" — разные вещи. Так что, если Дали не лукавит, уверяя, что стихами он *договаривает*, значит, это не совсем стихи (или совсем не стихи, то есть не поэзия).

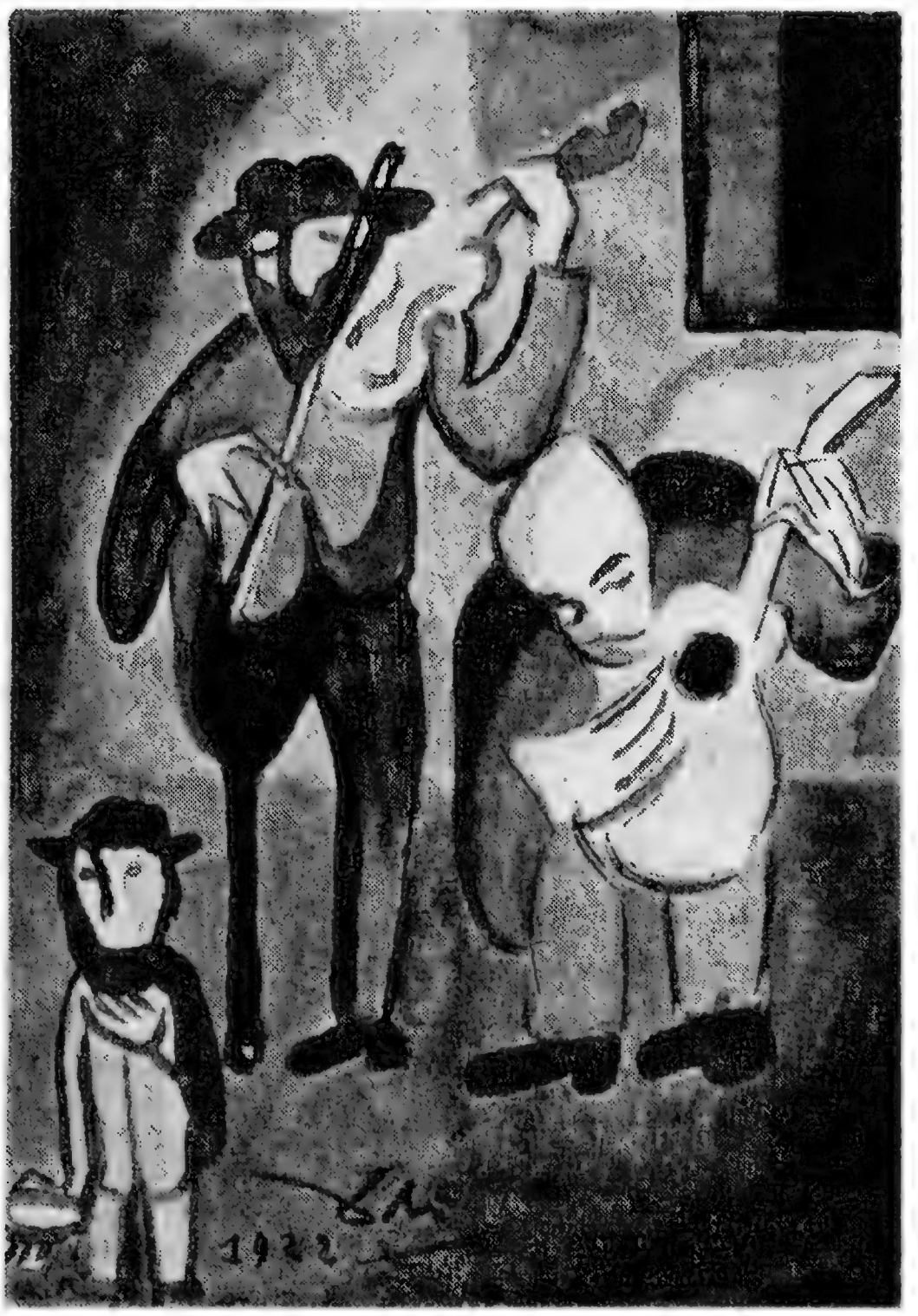
Не озаботившись расстановкой педантичных точек над i, удовольствуемся тем, что дону Сальвадору было угодно именовать написанное стихами, и ограничимся необходимыми пояснениями.

Если прозу Дали писал всю жизнь, то стихи — недолго, всего несколько лет, но это, может быть, самые важные для Дали годы. Стихи понадобились ему на пороге и в самом начале сюрреализма, на главном жизненном переломе, после которого он бесповоротно стал тем, кем стал, — и осознал, что жизнь разыграна, тема ее уже прозвучала, и дальше будут лишь вариации — виртуозные, искусные, разительно не похожие друг на друга и все же таящие в глубине преображенное эхо темы. Но мы привычно невнимательны к кануну, зная итог: Дали и сюрреализм — близнецы-братья. Для нас (осведомленных, и не очень, и даже знающих всего ничего) это очевидная истина из разряда аксиом, не только не требующая доказательств, но и способная отмести даже серьезную аргументацию против.

Это Дали мы всем миром обязаны тем, что сюрреализм к концу XX века из термина с четким содержанием превратился в обыденном употреблении в обозначение всякого искусства с эдакой тревожной изюминкой нереальности, обязательным флером фрейдизма, эманацией бездны с парафразом memento mori, но при этом без привкуса мистики, замещенной иронией в самых разных дозах. Исследователи могли бы напомнить об истории вопроса, генезисе направления (или, если угодно, течения, метода, школы) и принципиальном различии "измов", но их не услышат за пределами аудиторий и более того — недрогнувшей рукой поставят на место (в комментарии, набранные петитом). И пусть просвещенная публика отдаст Бретону должное — приоритет вкупе с манифестом, — это дела не переменит. Мы говорим "Дали", подразумеваем "сюрреализм" (вместе с футуризмом, экспрессионизмом, дадаизмом, авангардизмом и далее по списку вплоть чуть ли не до концептуализма). Одно это имя освящает все плоды раскидистого древа, вчера еще увешанного за-

Мадридские зарисовки, пьяница. 1922 г.

претительными табличками (что по сию пору лишь добавляет сладости означенным фруктам). Примем же это как медицинский факт, не выясняя, кто из близнецов-братьев "более материи истории ценен". Сейчас нас занимает другое: *как становятся Дали*, тем, чьим именем зовется доминанта искусства XX века.



Нищие музыканты. 1922 г.

Заглянем в начало. Двадцатые годы. Дали — вчера еще очевидный вундеркинд, отмеченный призванием в степени фанатизма. Мир для него — предлог для живописи, цель бытия — живопись, а жизнь — время для живописи и более ни для чего. Поражает его преданность делу, упорство и раннее мастерство: в Студенческую Резиденцию приезжает не абитуриент, а сложившийся художник-импрессионист, к тому же успевший великолепно освоить академическую школу. По сути дела, ему нечему учиться у профессоров Сан-Фернандо, и школой для Дали — пожизненного ученика Веласкеса — отныне и навсегда становится музей Прадо, а поиски пойдут параллельно, своим чередом. Скрупулезно исчерпав все возможности импрессионизма и покончив с коллекционированием впечатлений, Дали становится кубистом. Теперь его занимают не эфемерные ощущения, не световые эффекты, не череда остановленных мгновений, но суть — "не кожура, а скелет яблока", который, по его разумению, просто *обязан вычисляться* — дело за формулой.

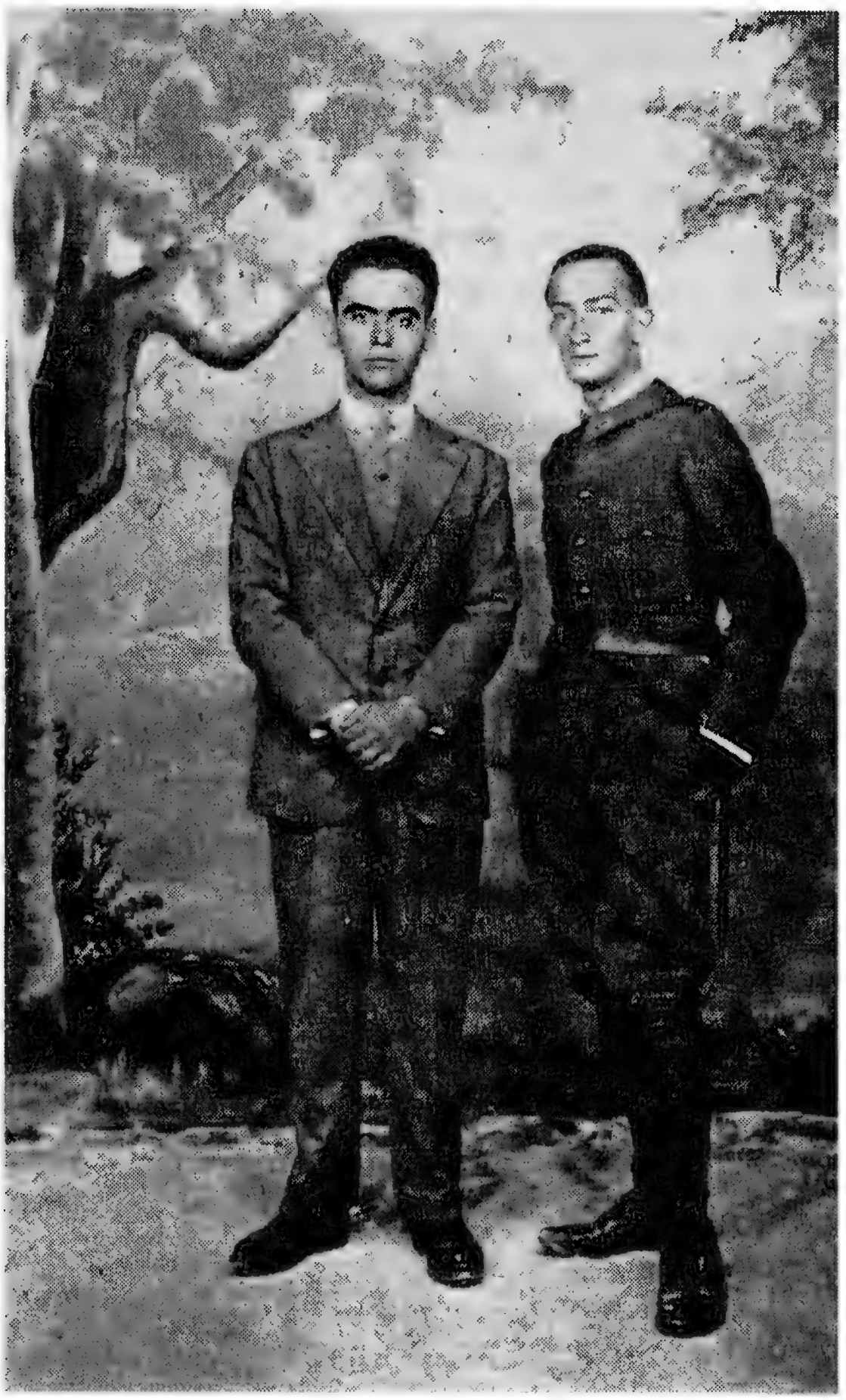
Это упорное стремление дойти до сердцевины, уповая на рентгеновскую оптику кубизма, запечатлено в "Оде Сальвадору Дали" Федерико Гарсиа Лорки. В ней, как в манифесте, сформулированы все кубистические постулаты, но — с дистанции, отстраненно. Лорка не зачарован кубизмом, хотя "каталонский рассудок", свято верующий в свое могущество, завораживает поэта, изумляя отвагой. Но от кубистической высшей математики Лорка не ждет конечных истин; у него другая родина — "тайна, которая заставляет жить". Ее знаком в "Оде" становится роза из высокого сада на кадакесской скале, не выводимая из формулы и не сводимая к ней. "Ода" Лорки — гимн не кубизму и не живописцу (которого, может, и задели упомянутые в стихах *недочеты*). Это гимн искусству и дружбе — мостам, перекинутым от человека к человеку.

Лет десять назад в Испании были опубликованы[1] все сохранившиеся письма Дали Лорке — по меньшей мере двадцать длинных, сбивчивых, пылких монологов об искусстве, к сожалению, безответных, ибо писем Лорки у адресата не со-

1. См.: "Диапазон", 1991, № 3. Письма также включены в готовящийся к печати сборник статей, эссе и манифестов С. Дали (изд-во "Летний сад").

хранилось. "Ода", сочиненная в разгар переписки, в соседстве с ними кажется ответным письмом. Это свидетельство понимания, не раз помянутого в письмах, — того самого, с полуслова, обоюдного душевного притяжения и противостояния, заданного разноприродностью натур и дарований.

Часто, точнее — почти всегда, противостояние (все равно эстетическое или идеологическое) рождает вражду. Исключения редки, но тем необходимее понять, как становится возможно понимание поверх антагонизма. И здесь вновь (не потому ли, что масштаб личностей — и Дали, и Лорки — отчетливо ренессансный?) вспоминается одна из излюбленных интеллектуальных игр Возрождения — *диалог*. ("Азартная игра", — уточняет Федерико Гарсиа Лорка в "Оде".)



Лорка и Дали. 1927 г.

И правда, долгий, длиною в три года, разговор Лорки и Дали об искусстве сродни возрожденческим диалогам, где, согласно законам жанра, участники меняются тезисами, принимаясь с тем же пылом доказывать прямо обратное тому, что утверждали прежде. Однако неправомерно думать, что они отрекаются от своих убеждений или, вняв аргументам, меняют их. Возрожденческий диалог — не эквивалентный обмен проповедническими тезисами, призванный пополнить те и другие ряды. Суть его в самом диалоге, в возможности и более того — в насущной необходимости диалога на равных. Слово в таком диалоге — не пустой звук, а рука, протянутая другому (в точном смысле слова *другому* — не такому, как ты). "Ода" — об этом:

Не судьбы искусства
и не судьбы эпохи с ее канителью,
породнили нас общие поиски смысла.
Как назвать это — дружбою или дуэлью?

И еще один отзвук тех лет. В январе 1928 года в письме каталонскому искусствоведу Себастьяну Гашу, тонкому критику, блестящему литератору и общему другу, Лорка пишет: "Дали ошибается? Пускай. Он — *живой*. Я знаю, он не согласен на волю волн, ему надобны руль, ветрила и вера в геометрию светил. И это

приводит меня в умиление — Дали пробуждает во мне то же чистое чувство (да простит мне Господь!), что и младенец Иисус, покинутый в яслях вифлеемских, где соломенная подстилка уже таила зернышко крестной муки".

И все-таки, ведя диалог, Дали, приверженец точности, свято верящий в могущество математики — инструмента, нужного художнику не меньше, чем холст и краски, всеми силами души противится влиянию Лорки, этого воплощения животворящей беззаконной стихии, первозданного творческого хаоса. И чем сильнее завораживала его эта "поэтическая вселенная", тем яростнее он искал противовес стихии, ту самую ФОРМУЛУ, которая восторжествовала бы над ТАЙНОЙ. Искал — и не находил. Натура фанатичная и рациональная, Дали вновь и вновь пытался свести Тайну к загадке и разгадать ее. Но море ускользало, хотя волны на холсте "можно было сосчитать". Стихия оставалась вольной, неподвластной ни формулам, ни отмычкам, и открывалась не ему, другому — тому, кто написал на подаренном рисунке: "Только тайной мы живы. Только тайной..."

Три высоты, взятые на пути к сюрреализму, — академизм, импрессионизм и кубизм — были для Дали органичны. Его талант, рациональный по природе, всякий раз, усвоив систему, приступал к решению предложенных задач и, отщелкав их, как орехи, и не удовлетворившись не столько решением, сколько системой, вновь замирал перед непостижимой загадкой Веласкеса, который, словно не замечая противоборства, знал ФОРМУЛУ — и ведал ТАЙНУ. Нищета и тщета *рацио* при всей его силе, могуществе и блеске с каждым новым разочарованием, с каждой переменой курса тревожили художника все сильнее, требуя крутого поворота.

И Дали в третий раз обращается в новую веру — сюрреализм. Поначалу кажется, что поворот действительно крут, что новая вера неслыханно нова, но вспомним проницательнейшего доктора Фрейда (в изложении дона Сальвадора): "У сюрреалистов я ищу — и нахожу! — все пласты сознания, у классиков — все бездны бессознательного".

Эту конечную истину сюрреализма Дали осознал не сразу (а сформулировал много позже), но почувствовал еще на пороге, с первой минуты ощутив: "Это — мое". И поначалу перепробовал все обязательные сюрреалистические упражнения: преодолевая врожденное отвращение к коллективизму и хуже того — к коллективному творчеству, даже поиграл в сюрреалистическую игру "изысканный труп", призванную запечатлеть всплески подсознания и проблески высшего — сюрреального — мира.

Эта игра, по сути дела, аналог нашей "чепухи" (для поколения next поясняю: первый участник пишет подлежащее и заворачивает край листка, второй — сказуемое и тоже укрывает написанное, третий указывает обстоятельства места или способа действия и т. д.). Итоговый текст считается "выплеском коллективного бессознательного". Игра получила название по фразе, сложившейся на первом сеансе коллективного транса: "Изысканный труп хлебнет молодого вина" (первый блин, против правил, оказался шедевром).

В живописном эквиваленте игры участники совместными (надо полагать, бессознательными) усилиями рисуют человеческую фигуру. Авторы всех шести "изысканных трупов" — Валентина Гюго, Андре Бретон, Гала Элюар, Сальвадор Дали.

Разрыв с Бретоном был неизбежен хотя бы потому, что Дали вопреки постулату не намеревался отключать разум. О чем и сообщил соратникам самым недвусмысленным образом: "Преполезнейшая, доложу я вам, штука — разум. В особенности на своем месте". И действительно, когда пришло время разложить бессознательное по косточкам, это орудие оказалось как нельзя более кстати.

Человек-циферблат. 1931 г.

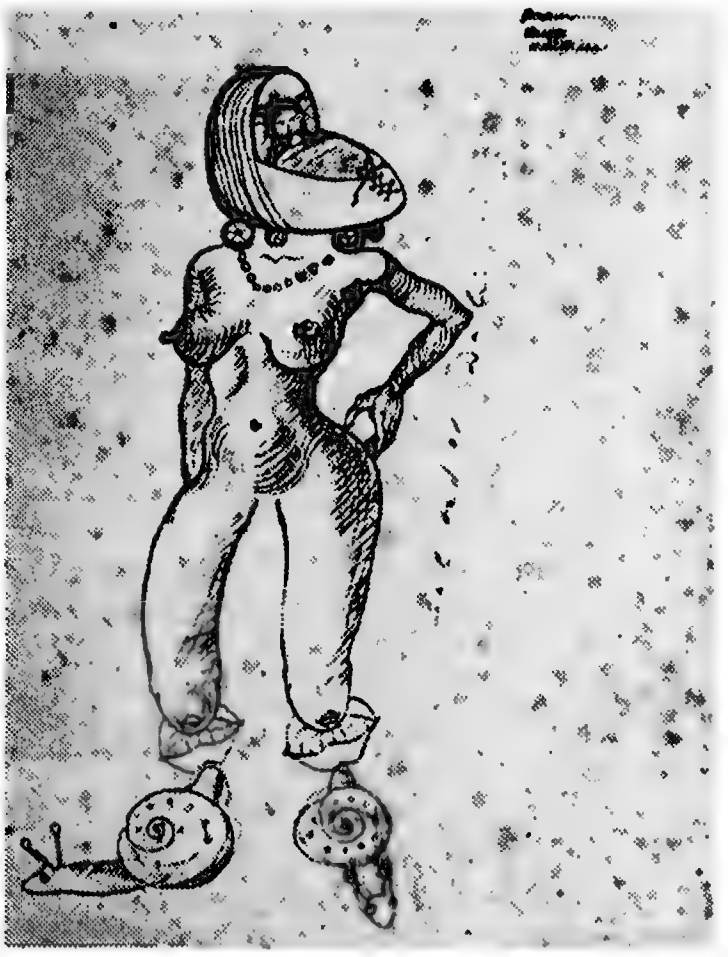
Отринув автоматическое письмо (любимую забаву обитателей Шарантона, рекомендованную Бретоном ко всеобщему употреблению взамен такого ненадежного средства, как вдохновение), Дали оставил от сюрреализма самую суть — образ, рожденный, по определению Реверди, *наинесуразнейшим столкновением наиболее чуждых друг другу реальностей*. (Впрочем, с самого начала XX века это определение носилось в воздухе даже там, где слово "сюрреализм" было не на слуху. Одна из великолепных вариаций на эту тему прозвучала почти одновременно с "Одой" в лекции Федерико Гарсиа Лорки о гении барокко Луисе де Гонгоре — отметим эту многозначительную преемственность: "Метафора — результат перетасовки форм, смыслов и ролей, закрепленных за предметами или идеями в реальности. Одним скачком воображения метафора связует противолежащие миры".)

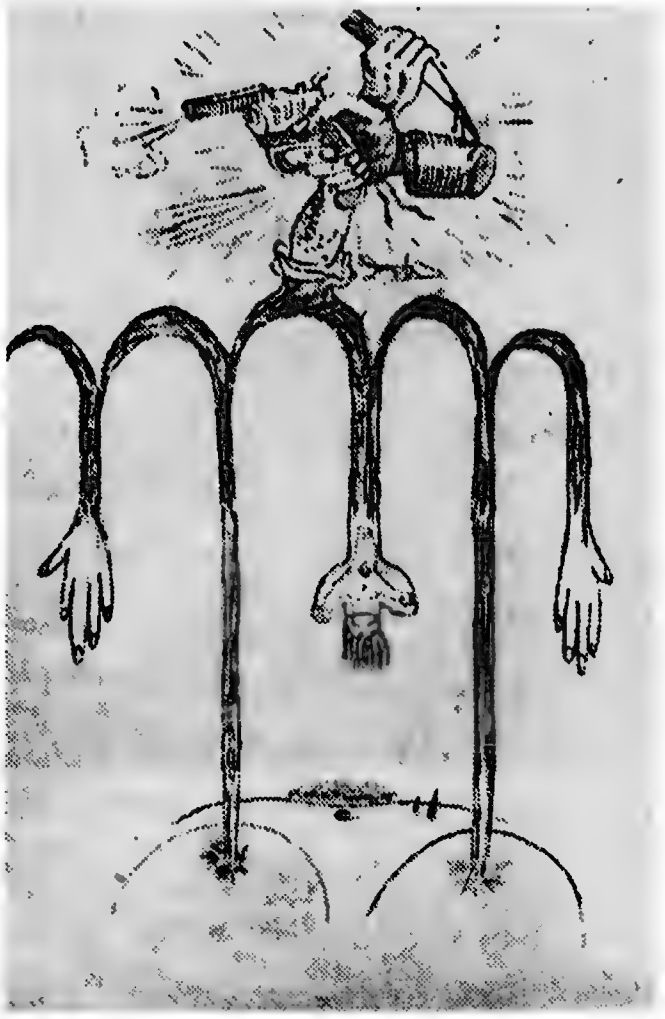
Отныне — со времен своей сюрреалистической революции — именно так и только так строит свои образы Дали. Упомянем хотя бы лишь известнейший — растекающийся циферблат, знак времени, перетекающего в пространство (или наоборот). Образ Дали не призрачен, зримый и четкий до рези в глазах, он не застывает, как видения де Кирико и метаморфозы Дельво, а живет своей подспудной, тревожащей жизнью, двоясь, троясь, забрезжив на какую-то долю секунды и рассыпаясь.

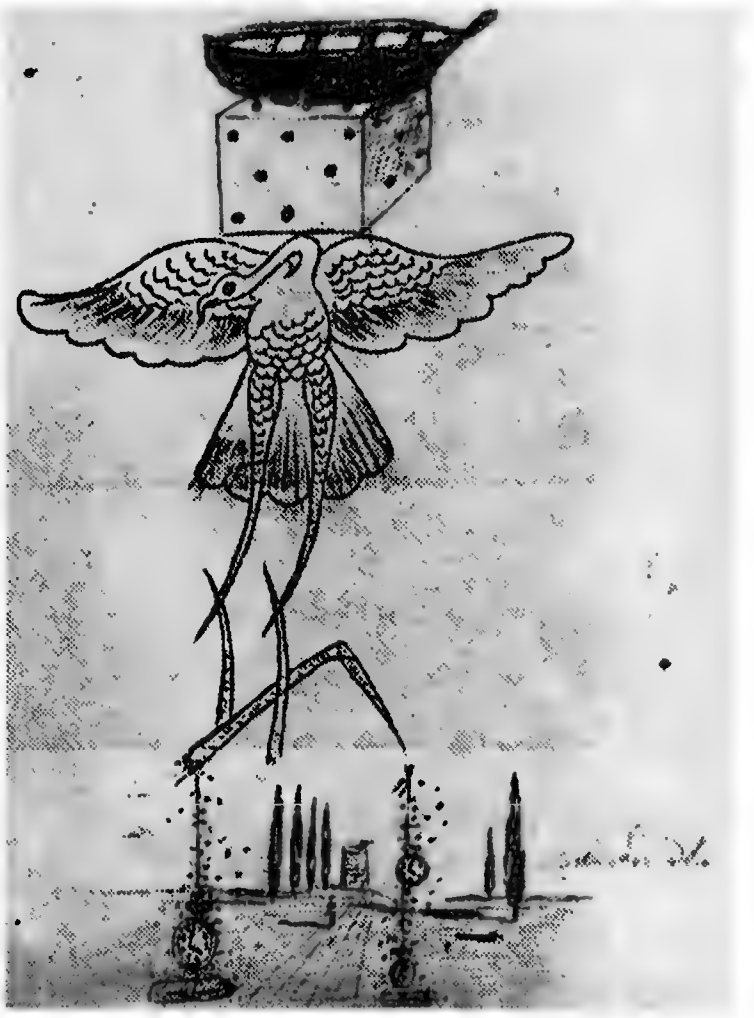
Но это в итоге, а начинает Дали, как всегда, со штудий, прилежно осваивая игру с обманом зрения, памятную, пожалуй, всем нам по тренирующим наблюдательность картинкам "Найди пионера Петю в пейзаже". (И действительно, стоило чуть скосить глаз и что-то такое переключить в нем, как белка на ветке, уронив хвост, становилась ухом пионера Пети или его панамкой, зацепившейся за сучок.) Согласно той же старинной механике, череп у Дали оборачивается плясуньей, слоны — лебедями, рыжая гончая — фруктовым натюрмортом, а заодно лицом Федерико Гарсиа Лорки, три фигуры в полный рост — бюстом Вольтера, а вариация на тему "Письма" Вермера — профилем художника.

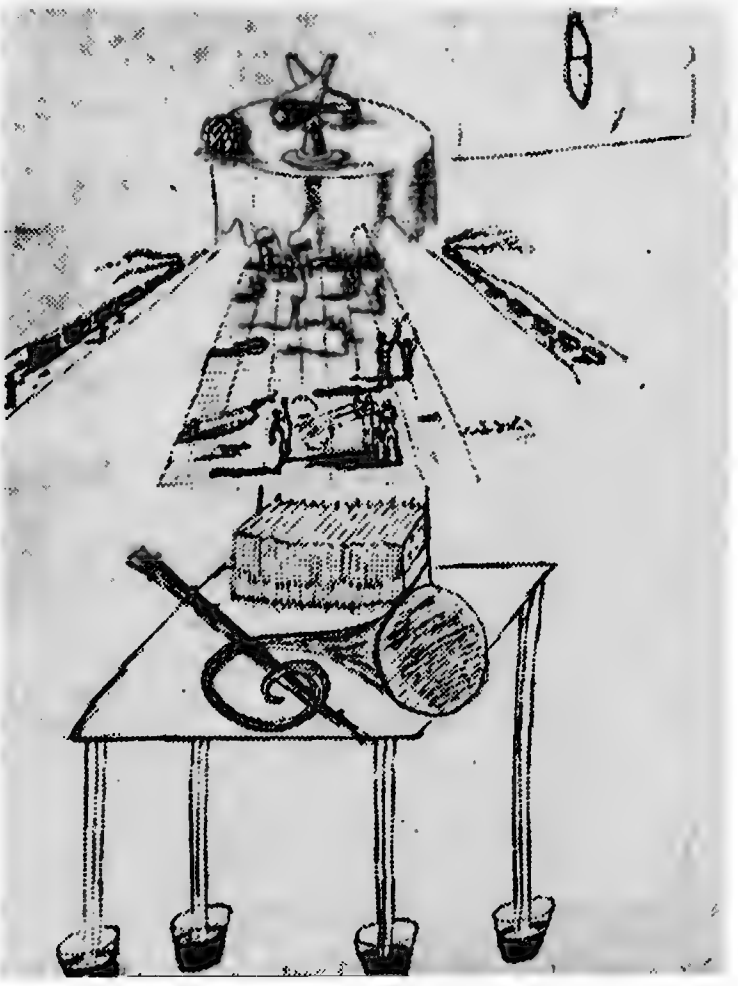
В конце концов Дали откажется от использования техники множественного образа впрямую, но если бы до него ее не существовало, Дали пришлось бы ее выдумать — хотя бы ради затягивающего омута оптических иллюзий "Метаморфоз Нарцисса".

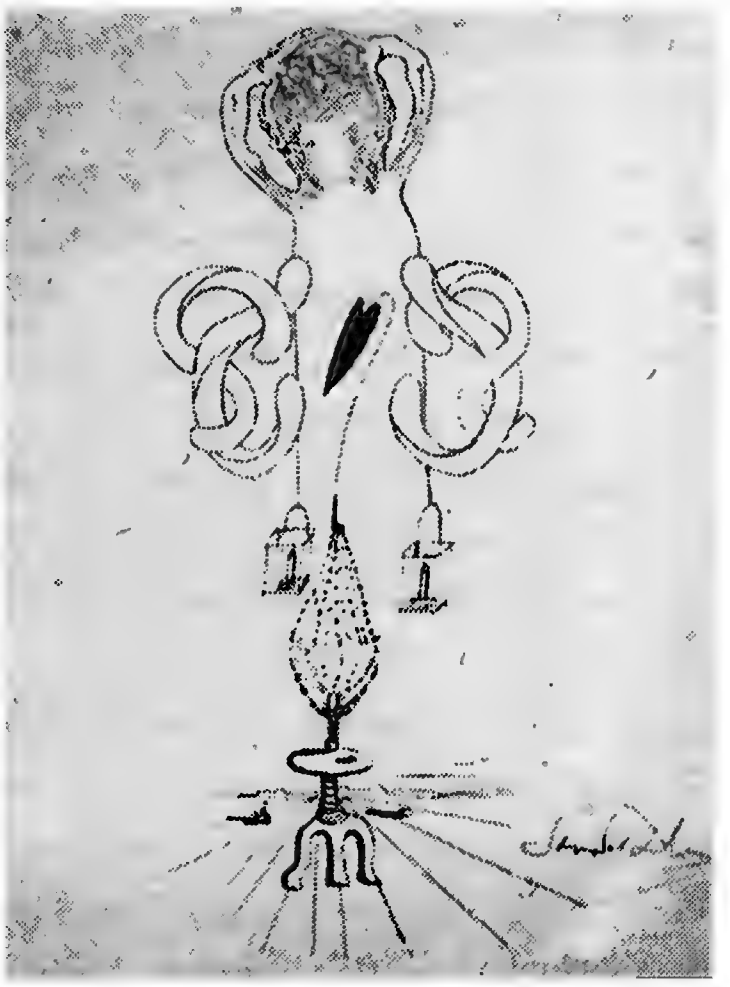
В раскладе основных далинианских мифологем — кузнечик, костыль, Вильгельм Телль, мальчик в матроске — Нарцисс, может быть, самая сокровенная. И если Вильгельм Телль и персонажи "Вечернего звона" Милле остаются для художника все же лишь темами вариаций, Нарцисс во всех своих ипостасях становится стержнем главной мелодии. Не потому ли для Нарцисса Дали понадобился не только холст, но и еще одно зеркало — слово, параллельно развернутая поэма?











Изысканный труп. 1934 г.
Плод совместных усилий Валентины Гюго, Андре Бретона, Галы Элюар, Сальвадора Дали

Перышко

каковое оказалось не перышком,
а травинкой, что прикинулась
морским коньком, розовой мякотью
десен на зеленом пригорке, и в то же самое
время — прелестным весенним пейзажем.

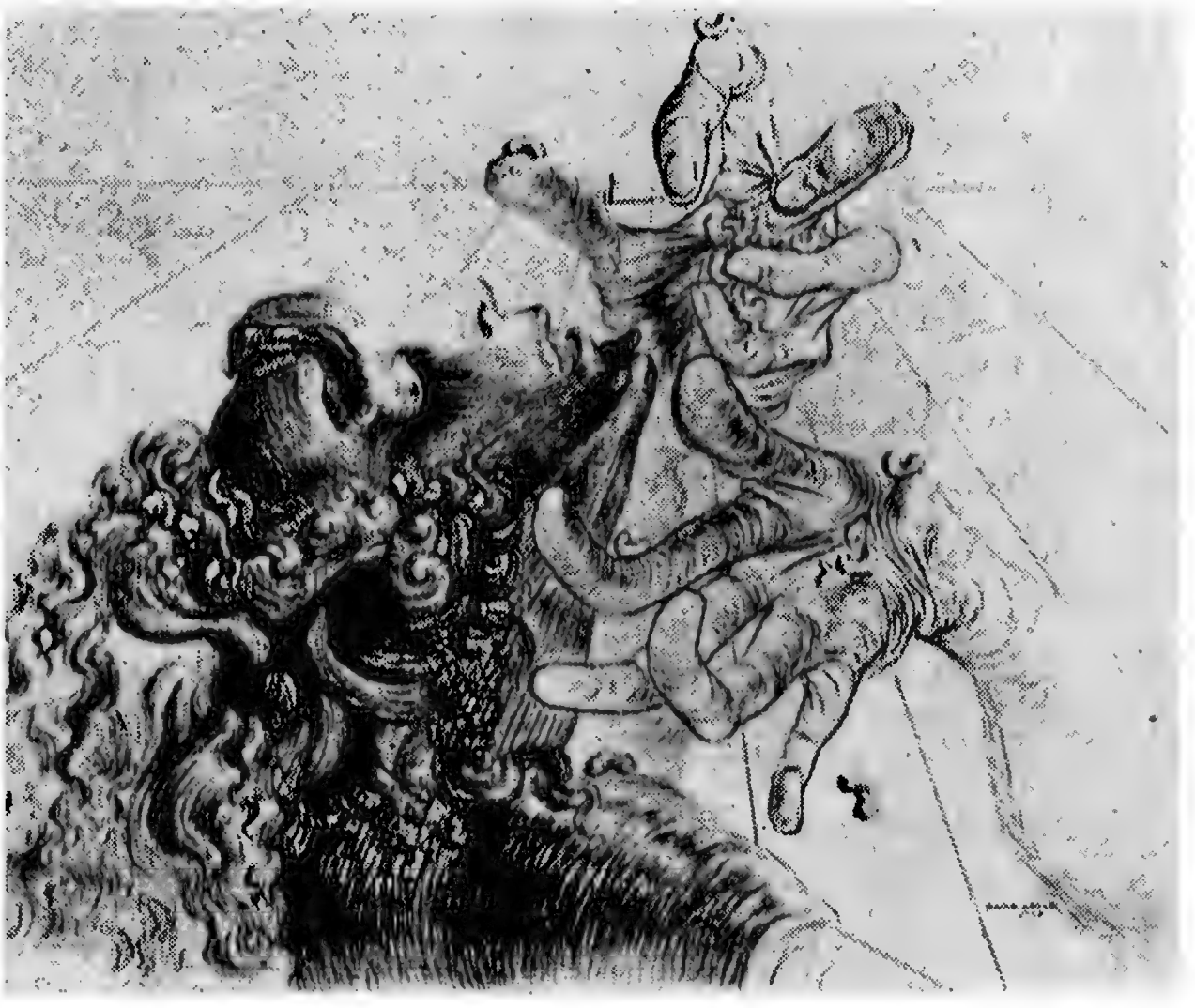
Мед слаще крови. Фрагмент. 1927 г.

Усохшая голова оленья на зелени мха,
из которой — гляди! — вот-вот вылетит поросенок,
а за ним еще один поросенок,
а за ним еще один поросенок,
а за ним олененок — куда зеленей лягушонка,
а за ним еще поросенок,
а за ним опять олененок — куда зеленей петрушки,
а за ним целых три поросенка,
а за ними еще олененок —
бедняга! — рожки запутались в ветках,
а он все бредет себе, в ус не дуя,
раскатывая соломенную дорожку —
тот соломенный мостик, под которым струится речка,
неся этот самый мостик
к водопаду, откуда он рухнет
на те самые ветки, сметая утро
и свивая гнездо для россыпи фотоснимков,
на которых запечатлелась цветная шляпка,
разрисованная озерным пейзажем.

Речка — там, внизу, как плевочек на крыше.
Ей не надо ни бантов, ни рюшей,
а всего лишь тот фотоснимок,
на котором один бельчонок
и ни рукомойника нет, ни стула.
Только бельчонок, и еще — миндалинка,
подвешенная к потолку на нитке.

Этот век — время дивных пейзажей. Глядите —
они множатся в сотнях хрустальных кувшинов,
пускающих пенные корни.
Тех пейзажей прелестных,
на которых летучие мыши стынут
в глубинах туманных льдышек.
Тех пейзажей прелестных,
на которых тройка коней безумных
замирает внутри стеклянной бутылки.
Тех пейзажей прелестных,
на которых далекие горы
обернутся улитками выше башни,
что выстроил Эйфель, —
а хотелось ведь схорониться под листик латука!

Отчего же улитки такие большие?
Отчего дремлют руки, что падают с неба?
Отчего мои ногти растут?
Или это великая тайна?
И если волосы отрастают,
стоит ли горевать
или лучше их вырвать с корнем?
А может, станцуем с тобою танец,
только медленный, чтоб не устать.



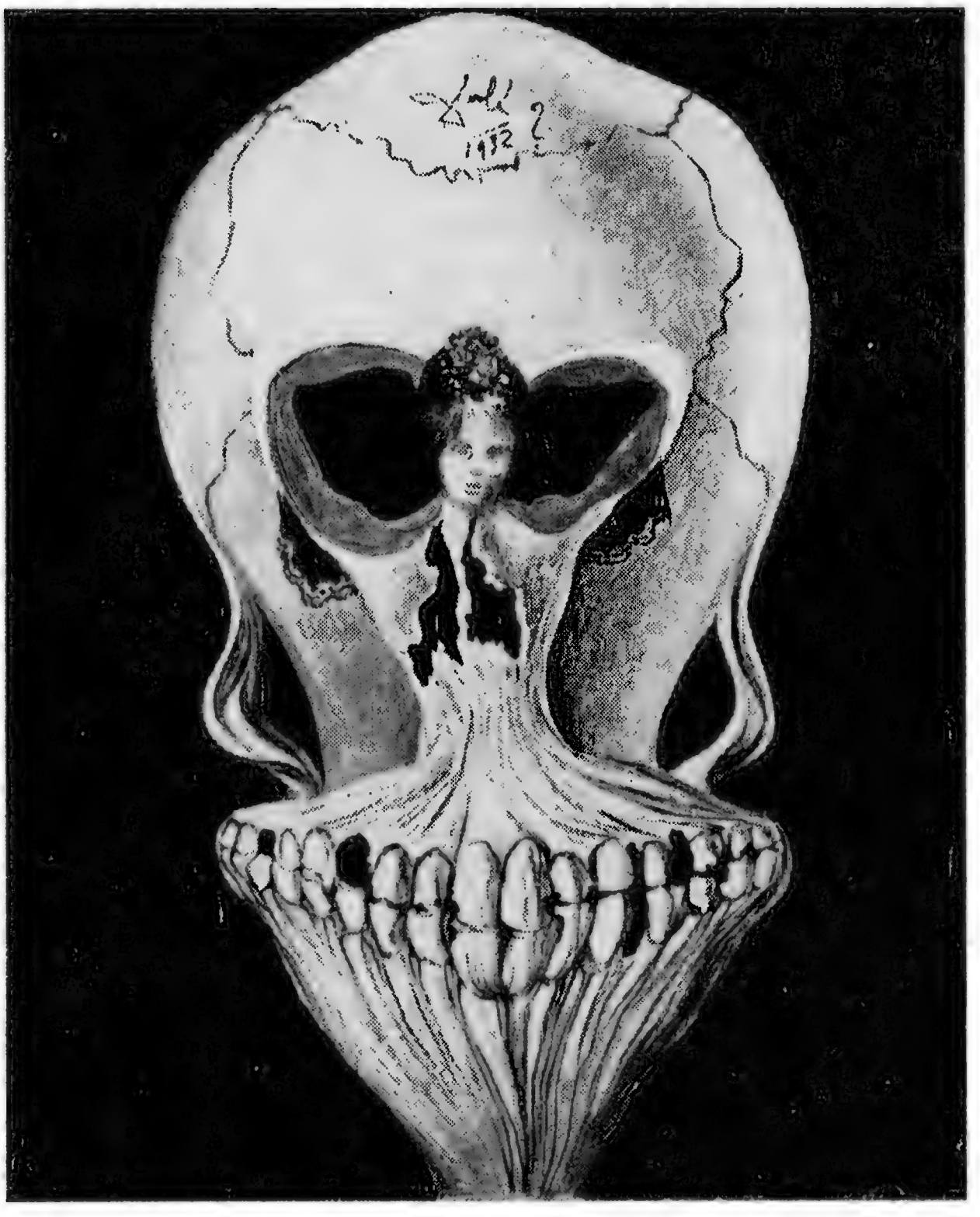
Истерика. 1937 г.

Но не ждите, что пена повиснет на скользких скалах,
раз облака живые
в перышке, заключенном в скале, трепещут.

Облако, пена и скалы —
вот он, пейзаж тот старинный,
вот он, детский, щемящий пейзаж,
закусивший губу, разметавший пряди по скалам.
Никогда он меня не отпустит,
глаз моих не отпустит, затерянных в гальке
и следящих за той оливкой — бесшабашной, бессонной,
веселой,
ну в точности как пинок
прямо в зад костлявой коленкой.

В*станет солнце*

Когда встанет солнце, из россыпи фотоснимков
с дохлым осленком
родится крохотная свирелька.



Череп-плясунья

Череп и сцена в кафе

Встанет солнце — и там, где пусто и сыро,
семеро слюнок запоют слаженным хором
и хрипло подтянет сардинка.

Встанет солнце — и на заду улитки
выступит капелька молока, а может быть, сливок.
Встанет солнце — и у меня под мышкой
народятся два акуленка, еще беззубых.
Встанет солнце — и махонькая соплюшка
встанет на цыпочки на краю тротуара,
а другая соплюшка на кончике пальца
тоже встанет на цыпочки — ей охота летать!
И еще одна — эдакая тихоня —
прикинется песней,
а другая соплюшка — спиралькой,
а соплюшка-летунья — манекеном в витрине,
а соплюшка с поднятой лапой (наподобие льва на гербе)
станет жизнеописаньем
орешка,
а соплюшка-пьянчужка —
эхом воинской канонады.

Встанет солнце, но когда оно встанет
и встанет ли,
встанет ли,
встанет ли
солнце когда-нибудь —
только бы встало!

Встанет солнце — и я выстрою замок
из крашеной красной пробки,
с цветным плюмажем на башне,
слюнкой-плевочком
и моим волосочком фамильным,
выдранным самолично из правого уха,
и гадежом домашней зверюшки,
и дермецом певичек, овечек и балеринок —
ценительниц хризантем и фанаток
мумий.

Это не просто замок, а замок для новобрачных,
здесь они проведут свой медовый месяц —
старикашка кузнечик и юная пепелинка,
наследная дочь сигары с острова Куба.
Кузнечика
я вылеплю своими руками — мне понадобится мильон
мальков океанской меч-рыбы
(если дунуть, они разлетятся по ветру
и останется только скелетик пера
на льдистом листе бумаги).
Что же до пепелинки,
надо ли объяснять, что это
все та же
соплюшка?

Книжечка без переплета

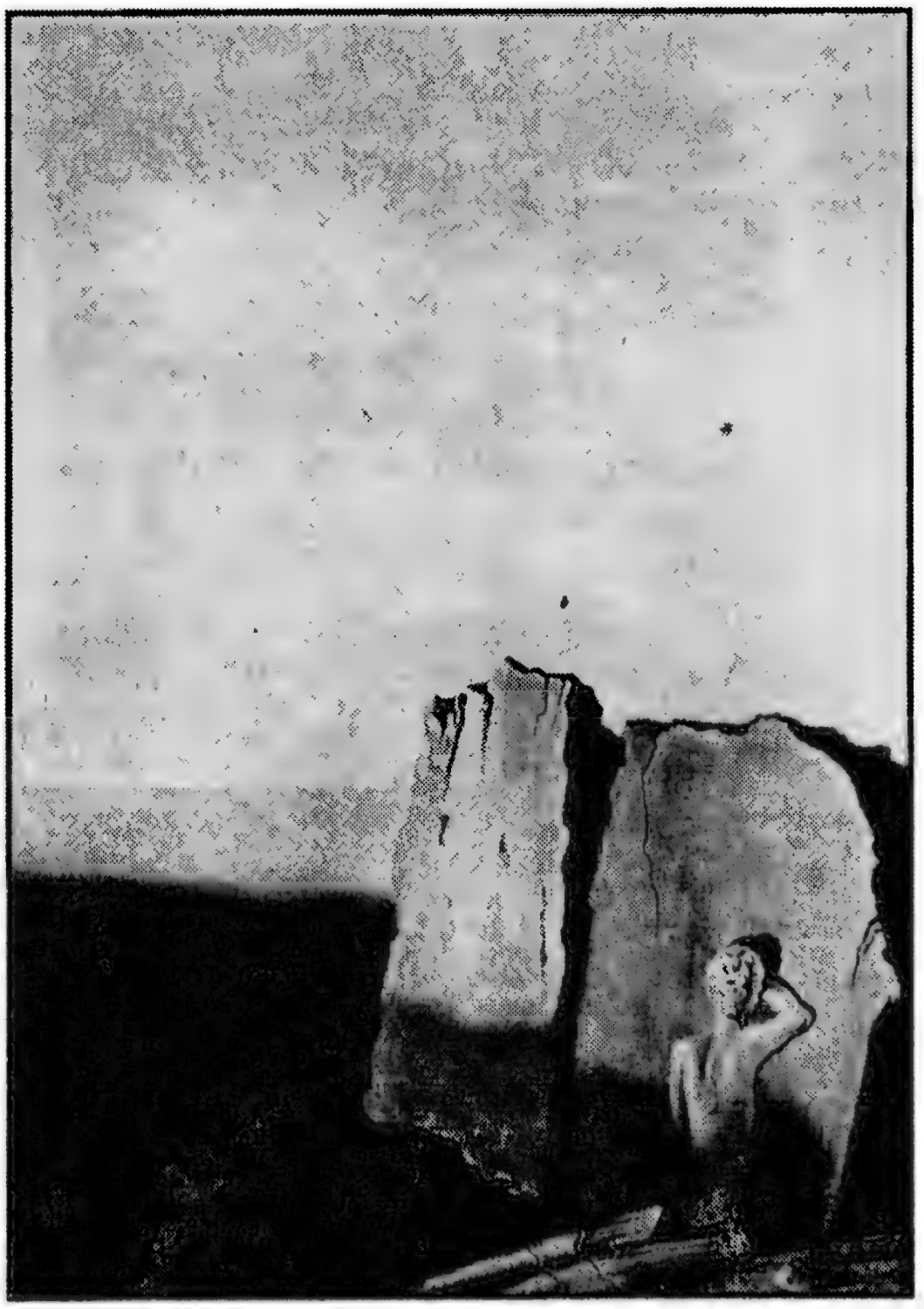
Книжечка,
если к ней приглядеться,
обернется самой обыкновенной
чашкой
родом из Португалии,
где имеется плохонький посудный заводик.
Ибо помянутая чашка —
такой уж ее слепили! —
если на что и похожа, так только
на переплетенья арабской вязи,
что радуют взор в южном пригороде столицы
(так радуют сердце
глаза той Прекрасной Дамы,
самой прекрасной дамы,
что я называю Гала).
Да, это он, запах шершавой ткани —
так пахнут руки,
руки моей любимой,
и фонари, и сальные шутки.
Да, это именно так — я могу
присягнуть, если будет угодно.

Угрюмые игры. Фрагмент. 1929 г.

Книжечка,
если к ней приглядеться,
обернется самой обыкновенной
чашкой
родом из Португалии,
где имеется плохонький посудный заводик.
Ибо помянутая чашка —
такой уж ее слепили! —
если на что и похожа, так только
на переплетенья арабской вязи,
что радуют взор в южном пригороде столицы
(так радуют сердце
глаза той Прекрасной Дамы,
самой прекрасной дамы,
что я называю Гала).
Да, это он, запах шершавой ткани —
так пахнут руки,
руки моей любимой,
и фонари, и сальные шутки.
Да, это именно так — я могу
присягнуть, если будет угодно.

Метаморфозы Нарцисса

Паранойяльная поэма
(и в то же время инструкция по восприятию метаморфоз Нарцисса, запечатленных на моем полотне)



Одиночество. 1931 г.

Если, отойдя чуть подальше,
какое-то время *глядеть пристально – рассеянным взглядом,*
гипнотически недвижная фигура Нарцисса
потихоньку начнет исчезать —
и в итоге исчезнет.

Настанет
момент истины мифа,
когда фигура Нарцисса
примет очертанья руки,
выплывшей из собственной призрачной тени,
сжимая в пальцах яйцо, клубенечек, семя,
из которого новый Нарцисс — на сей раз цветок —
родится.

Рядом — та же рука,
каменеющая известняковой глыбой,
ископаемая окаменелость, в которой —
тоже цветок.

Это первая в мире картина (и первая в мире поэма),
созданные в полном соответствии
с параноидально-критическим методом, разработанным мною!

Запомните:
поэтический образ обретает лирическую силу, только если он *математически точен.*

Именно поэзия в ряду прочих искусств призвана явить *зримый* образ того, о чем повествует.

А теперь прислушаемся к беседе кадакесских рыбаков:
— Что с ним? Целый день пялится в зеркало как баран.
— Не знаешь? (*Переходя на шепот.*) У него *луковица в башке* проросла.

"Луковица в башке" — каталонский синоним того феномена, который в психоанализе называется *комплекс.*

Так вот, если в башке *завелась луковица*, она и корни пустит, и лист развернет, и — будьте уверены! — всенепременно даст цветочную стрелку, и безотлагательно расцветет. Одним словом, Нарцисс нам гарантирован!

Женщина-лошадь. 1933 г.

В ослепительном небе апреля
рваный полог тучи-беглянки,
а под ним — достоянье весны:
две легкие чаши — весы —
незримо трепещут.

Разметав искроносные пряди по горным кручам,
продираясь сквозь отблески, отзвуки, тени,
где ум, кружа головенку, заходит за разум,
бог снегов
выплавляет свою вековечную сущность
из мутной льдинки, что топит стоны
ископаемых руд
и тает,
дробясь на дождинки.

Или, может быть, в мареве мха,
где плутают в безмолвии зимние ветры,
он все ловит
блеснувшую в тучах
свою потаенную суть.

Но вы скажете, что всенепременно
опустеет равнина, свой ореол утратив,
и одиноко канет,
давясь немотою
ржавого лома, застывшего мертвым —
и оттого невесомым — грузом.

Пусть. Но призрак равнины
тянет к небу листами травы свои горькие руки
с плоской чаши свинцовых весов.

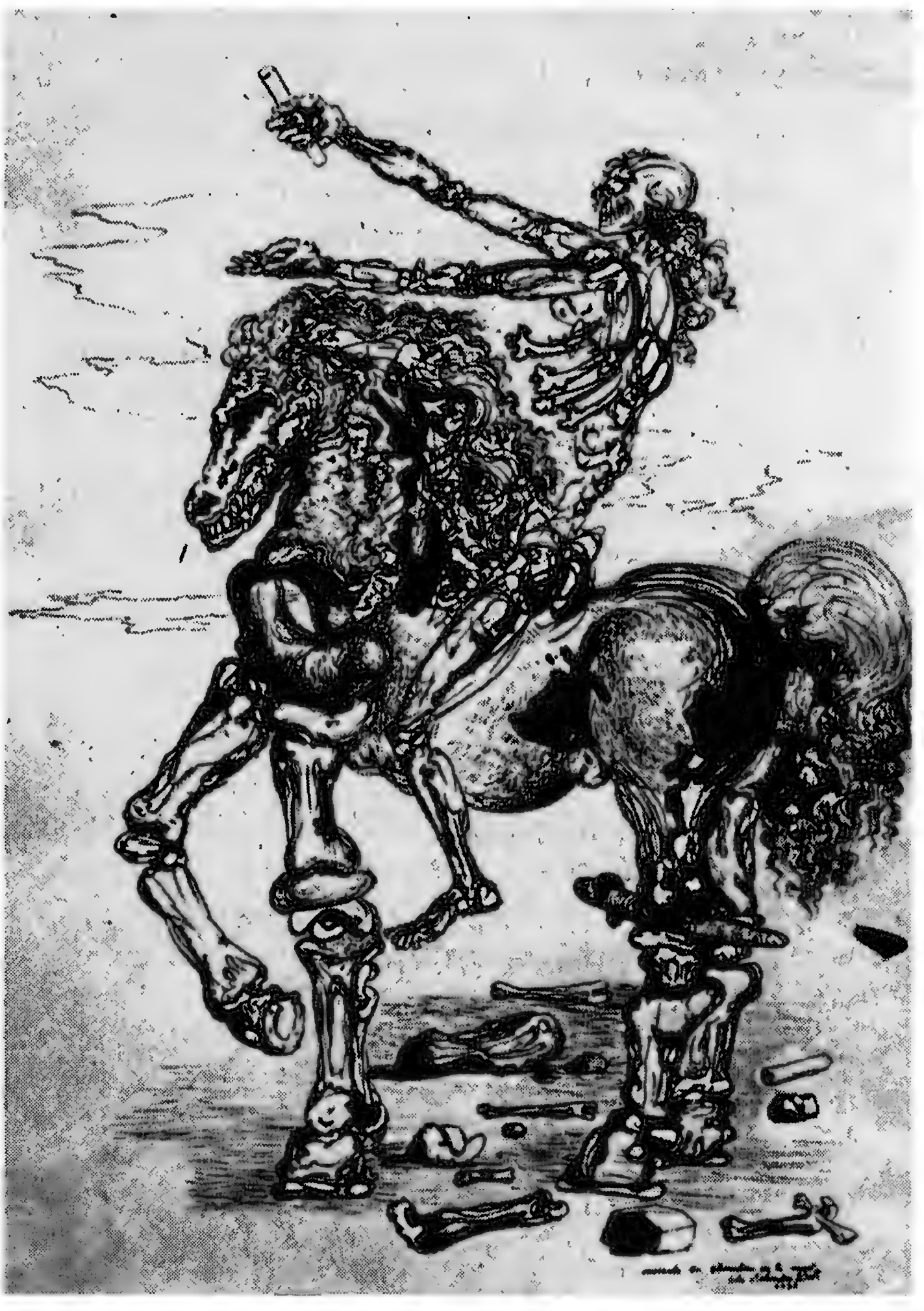
Мягче шерсти и тверже копья
эти стрелы,
таящие гроздья соцветий, —
это тайное войско нарциссов.

Истомясь, они ждут свидания,
встречи,
слиянья,
взрыва плоти, припомнившей вдруг
весь набор атавизмов,
впечатанных в матрицу тела.

Они ждут терпеливо и тихо,
долго ждут —
целый год.

Вот они — поглядите.
Индус — оливковый глянец,
смуглее, чем жженый сахар

или финик к исходу лета.
Каталонец — ширококостный и крепкий,
словно вросший в родные скалы
и при этом свободно парящий
в бредовых высотах.
Белокурая бестия, немец, —
мясистые щеки
и клочья тумана в мозгах
(сведенные к формулам точным).
Русская,
англичанка,
американка,
и шведка,
и сумрачная андалуска —
крепко сбитая смуглота
с желтизною печалей.



Всадник. 1933 г.

Тристан и Изольда. 1944 г.

Вдалеке же от сонма влюбленных,
навевая прохладу, ложатся вечерние тени,
и юное тело
стынет у самой воды.

Когда ясное, дивное тело Нарцисса
к темному зеркалу,
заворожив озерную гладь,
склонится;
когда белое тело
в гипнотическом сне неутоленной жажды,
наклонясь к своему отраженью,
оттиском серебристым застынет;
когда
в циферблате песчаных соцветий безмолвной плоти
время утонет,
растворяя Нарцисса в космической круговерти, —
в глубях сердца
тогда запоет сиреной
тот же самый
манящий и недоступный облик.

Тело Нарцисса — отныне пустая шкурка —
сгинет
в омуте отраженья,
и сгинет навечно:
так ссыпает песчинки клепсидра —
и нет им назад дороги.

О Нарцисс!
Исчезая
в зыбком омуте отраженья,
ты тело теряешь,
а призрак
все манит и манит,
нанося смертельные раны,
уводя к сталактитам топазов,
желтым башенкам горькой любви.

Твое белое тело тонет,
растворяясь в потоке кристаллов, —
едким маревом черный камень
разъедает живую плоть
и уносит твои останки
к устью ночи,
к порогу рассвета,
что зажег рубины в короне,
взрезав вены *на дальнем,*
кровавом причале.

Ты все понял, Нарцисс?

Геометрия духа — симметрия,
заворожившая душу снами,
что рождены корнями
и оттого всесильны.

Это они, оплетая сердце,
сушат мозг,
свивая пергамент извилин.
Это они готовят — и скоро! —
Великое Таинство Метаморфозы.

Ждать недолго — твоя голова
канет в омут,
и по воле богов,
воле сна и страсти
ты — человек! —
станешь стеблем,
цветком,
Нарциссом.

Ты недвижен, Нарцисс,
но это не сон, я знаю.
Если недвижен Геракл, нет сомнений,
он спит —
как бревно,
как древесный остов.
Спит — и только.
С тобою иначе,
Нарцисс.

Убаюканный пологом юности —
призрачным, робким, прозрачным, —
как кувшинка на водной глади,
ты дремлешь.

Вот
Великое Таинство Преображенья,
Вот он,
Праздник Метаморфозы.

О недвижный Нарцисс!
Как неспешно и как плотоядно
поглощает тебя отраженье —
так травы сгрызают тело.
И тебя уже нет.
Ты незрим.

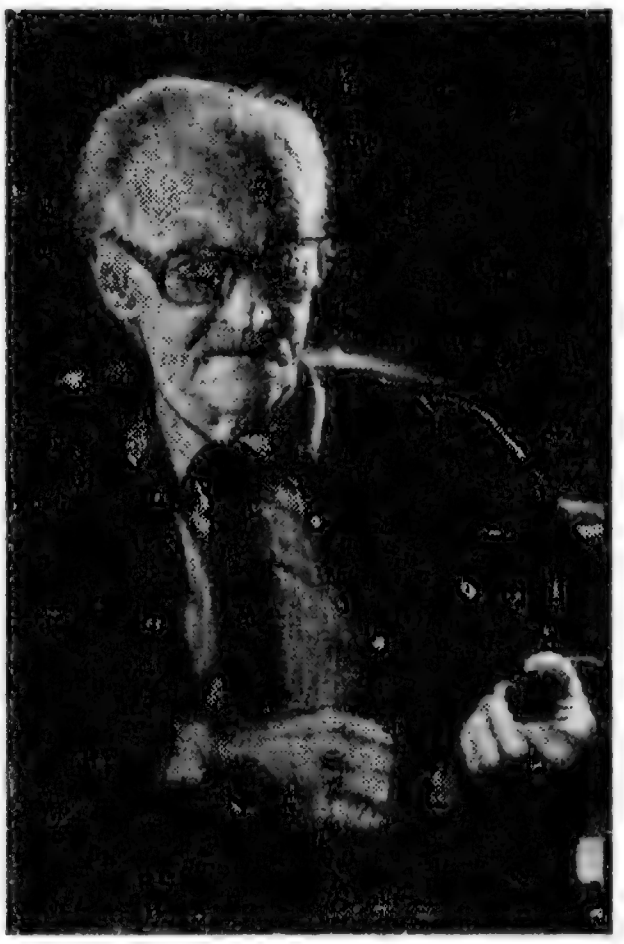
Ничего не останется. Только белый эллипс —
тень твоей головы кудрявой.
Лишь еще нежнее,
еще бережней ее стиснут пальцы —
легкие водные струйки,
пальцы той неощутимой руки,
что к тебе простирает омут,
жадной, призрачной, грозной,
смертельно опасной руки —
отраженья *твоей*.

И когда голова твоя
рухнет,
канет,
взорвется,
расколется
и разлетится,
снова, снова и снова
родится цветок —
Нарцисс.

Знаешь, Гала
(а впрочем, конечно знаешь)
это — я.

Да, Нарцисс —
это я.

Корнель Филипович



Рассказы

Переводы с польского

От редакции

В современной польской литературе, которая, однако, уже принадлежит прошлому тысячелетию, есть немалая группа писателей — так называемых "ровесников века", — составляющих гордость польской словесности. Один из них, бесспорно, — Корнель Филипович. Его имя никогда не гремело, его проза по сути своей негромкая, сдержанная — и необыкновенно глубокая. Но ведь тихие слова чаще западают в душу и прочнее застревают в памяти, чем иные трубные звуки, а малое отражает большое.

Филиповича лично коснулись едва ли не все потрясения, уготованные XX веком своим детям. Он родился в канун Первой мировой войны в Тернополе, откуда ушел на войну его отец, а семье пришлось уехать, когда в последний военный год дом был разграблен казаками. Вторую мировую войну он встретил в мундире унтер-офицера, участвовал в сентябрьской кампании 39-го года, попал в плен — сначала советский, потом немецкий, бежал, в годы оккупации работал в каменоломнях под Кельце, потом перебрался в Краков; был связан с движением сопротивления, в 44-м арестован гестапо, из краковской тюрьмы отправлен в Германию, в концлагерь; после освобождения вернулся в Польшу. До войны Филипович учился на биологическом факультете, однако уже тогда публиковал стихи и рассказы. После войны написал четыре романа, но с конца 50-х годов его жанром стала "малая проза": рассказы и — параллельно — "микророманы", а затем уже только рассказы, большей частью короткие; в конце жизни он опять начал писать стихи.

В прозе Филиповича явственна автобиографическая линия; собственная судьба предоставила ему обильный материал для размышлений и богатейший выбор сюжетов. Независимо от фабулы каждый его рассказ — тонкий психологиче-

© Copyright by Aleksander i Martin Filipowicz

ский этюд, и главное в нем далеко не всегда происшествие. Корнель Филипович — внимательный и неспешный наблюдатель, от острого взгляда которого не укрывается ни красота пейзажа, ни едва заметное движение человеческой души; он умел находить простые и на редкость точные слова для передачи своих впечатлений и мыслей. В его прозе читатель обнаруживает яркую образность при, казалось бы, серой гамме красок, безупречную стилистику, выразительную недосказанность, и очень часто — неожиданный либо даже парадоксальный поворот сюжета или умозаключения. Хочется повторить вслед за известным польским критиком: "...это один из самых чистых, самых выдающихся наших прозаиков, который полное отсутствие претенциозности довел до виртуозности".

Предлагаемые читателю рассказы написаны в разные годы и подобраны по хроникальному принципу, позволяющему, как нам кажется, получить представление не только о мастерстве писателя, но и о его личности. Над подборкой работали участники семинара по переводу польской художественной литературы, действующего при Польском культурном центре в Москве.

Редакция приносит сердечную благодарность сыновьям писателя — Александру и Мартину Филиповичам, безвозмездно предоставившим нам право на публикацию.

День накануне

В тот день я проснулся поздно. Вставать не хотелось. Все дела, которые я мог придумать себе на сегодня, казались неинтересными и даже бессмысленными. Кроме того, в комнате было довольно холодно, и, чтобы встать, умыться и одеться, мне пришлось бы совершить массу неприятных действий, требующих передвижения в стылом воздухе и столкновения с ледяными предметами. Итак, я лежал и смотрел на белые стены, на диван Иоанны, накрытый серым ковриком, на черную железную печку, голубую кастрюлю, ведро с углем. Все было мерзлым, застывшим. Спать, однако, мне уже не хотелось, и немного погодя я все-таки встал. Был уже десятый час. Я выпил чаю, потом долго смотрел в окно на сад. Центр сада с голыми, поблескивающими от влаги ветвями просматривался отчетливо, до мельчайших подробностей, но дальше, в направлении лесов и лугов, все было затянуто туманом, который по мере отдаления густел. Горизонт вообще не был виден, небо там сливалось с землей. Реальными представлялись только комната, из окна которой я смотрел на сад, дом, в котором я жил, и окружающие его деревья — существование всего остального казалось сомнительным, может, ничего больше и не было? Потом я кружил по комнате, брал в руки и разглядывал различные предметы, словно бы примеривался, не окажется ли какой-нибудь из них ключом, открывающим сегодняшний день. Я держал в руке свою старую записную книжку и листал ее страницы; подолгу внимательно всматривался в дурацкие, абсолютно ненужные вещицы, стоящие на полке и подоконнике. В конце концов я, похоже, нашел нужную вещь — секатор для подрезания веток. Однако уверенности у меня не было; стоило попробовать. Я взглянул на термометр за окном — два градуса тепла: значит, надо надеть куртку, шарф, шапку — и спустился вниз. Мой малыш спал

© Е. Шаркова. Перевод, 2002

в кроватке: спокойное личико, закрытые глазки, розовые щечки. Теща сказала, что Иоанна ушла, когда я еще спал, и спросила, не иду ли я в сад. Я ответил, что иду. А раз так, то, может, я загляну в погреб, посмотрю, не завалялось ли в засохшей картофельной ботве немного фасоли? Я заметил, что еще осенью мы с Иоанной подобрали все до последней фасолины, но теща полагала, что всегда что-нибудь да пропустишь, а на суп хватит и горстки. Мы обменялись на тему фасоли всего несколькими фразами и говорили тихо, чтобы не разбудить ребенка, но я чувствовал, что продолжение беседы приведет к нарастанию напряженности между нами. Неизвестно, с чего она взялась, но так было всегда. Это происходило как бы само собой, при одном только взгляде друг на друга в каждом из нас вспыхивало смутное раздражение.

Я вышел в сад. Воздух был холодный и сырой, но уже повеяло весной, земля дышала теплом. Я отворил калитку и выглянул наружу, так как услышал чьи-то голоса, которые, однако, сразу же стихли: прохожих поглотил туман. Только часть дороги была видна отчетливо — десятью метрами дальше, что в сторону города, что вверх, к деревне, она таяла, растворялась, исчезала в тумане. Я вернулся в сад и минуту-другую слонялся без цели, останавливаясь рядом с молодыми деревцами, посаженными осенью два года назад. Их стволы, кроны вплоть до самой маленькой веточки очень хорошо были видны с близкого расстояния, возможно, даже лучше, чем при солнечном свете. Я смотрел на них, но не касался секатором. Я совершенно не чувствовал необходимости вмешиваться в их жизнь. Казалось, эти деревца не принадлежали ни мне, ни кому-либо еще, их судьба была мне безразлична. От одного движения секатора зависело будущее дерева, его форма, сила, плодоносность — но сейчас меня эти проблемы не занимали. Дальше, в глубине сада, воздух был подернут туманом, деревья едва обозначены, но, когда я туда направился, мгла расступилась передо мной, и я мог снова различить вблизи даже самую тонкую веточку или самую крохотную почку. Не знаю, как получилось, что в какой-то момент я пустил в ход орудие, которое взял в сад. Наверное, просто по рассеянности. Вооруженная секатором рука сама собой протянулась вперед, ножницы клацнули, отрезанная часть ветки упала на землю. Однако это спонтанное действие не было бездумным — я удалил побег, который, оставшись и окрепнув, заглушил бы все соседние. Ветку я обрезал сантиметром выше почки, расположенной немного сбоку, с внешней стороны, — весной она прорастет и даст начало новой веточке, которая будет расти так, как надо, и когда-нибудь станет большой и крепкой. Я срезал следующую ветку, потом еще одну — и таким образом начал работать в тот день, постепенно обнаруживая в том, что я делаю, определенный смысл. Как-никак, я не только придавал форму настоящему, но и создавал будущее. Но я не думал об этом, просто работа увлекла меня. Шло время, туман понемногу рассеивался, кое-где даже слабо проглядывало солнце. Я посмотрел на часы, было полдвенадцатого. Вспомнил о фасоли и, перестав обрезать ветки, направился к погребу. С минуту, прежде чем глаза приспособились к темноте, я мог полагаться только на осязание. Опустившись на колени, я пошарил руками в шуршащем ворохе листьев и длинных, спутанных, толстых, как веревки, стеблей. Неожиданно в сухих листьях мои пальцы наткнулись на твердый, словно из жести, стручок, треснувший с одно-

го бока. Сунув палец в эту щель, я почувствовал, что внутри, словно патроны в магазине, лежат скользкие, крепкие фасолинки. Я выгреб их и спрятал в карман. Потом нашел еще и еще, и волей-неволей вынужден был признать, что осенью прошлого года мы с Иоанной прозевали много стручков. Однако, подумал я, может быть, с фасолью всегда так — никогда не возьмешь все до последнего стручка, обязательно что-нибудь да останется. И чуть не поддался искушению спрятать от тещи эту фасоль, сказать, что ничего не нашел. К этому меня подталкивала ее враждебность. Но я так не поступил. Я собирал, складывал фасоль в карман, после чего принес ее наверх и высыпал в кухне на тарелку.

Вот так, благодаря секатору и фасоли, день начал постепенно обретать смысл. У вещей, на которые я теперь смотрел, было свое назначение и собственная жизнь, между ними завязывались какие-то отношения, предметы объединялись друг с другом в не замеченные мною прежде союзы. Например, при одном взгляде на книжные полки я понял, что несколько книг уже давно ждут того, чтобы их отнесли к букинисту и продали. Эти книги, казалось, говорили мне сейчас: мы не приносим тебе радости, так позволь нам поменять владельца, ты купишь себе другие, которые будут тебе нравиться! Мой интерес к этим книгам (которые я действительно не любил) был окрашен неприязнью — но и очень силен. Ведь стремление от чего-то избавиться может быть столь же сильным, как и жажда обладания. Намерение сбыть с рук эти книги, таким образом, сочеталось с желанием обзавестись другими и с давно планируемым расширением библиотеки. Так что я приступил к поискам рулетки и попутно наткнулся на несколько мелочей, о существовании которых, правда, знал, но еще час назад мне до них не было никакого дела. Сейчас внезапно эти предметы обрели смысл и ценность, начали как-то связываться с другими вещами — и даже с людьми. Так, во время поисков рулетки я нашел старый перочинный нож с одним сломанным лезвием и щербатой рукояткой. И от этого перочинного ножа немедленно протянулась нить к челноку для ткацкого станка, а станок напомнил о некоей старушке, живущей на другом конце города, которую я собирался навестить полгода назад. Резиновые подметки, папиросная бумага, гвозди, письма трехлетней давности, кольца от занавесок — что-то роднило эти так мало связанные между собой и с множеством иных предметов и людей вещи. Мой мир — еще час назад такой маленький и простой — становился все больше и сложнее, его фрагменты множились, выпускали побеги, отпочковывались, делились. Возникали новые вещи и новые союзы.

Немалого труда мне стоило выпутаться из этой сети, вернуться к рулетке и воспользоваться ею. Я записал размеры полки, которую хотел заказать у столяра, и вышел из дома. На дворе уже ярко светило солнце, туман рассеялся, были видны окрестные поля, холмы, леса и дорога в город, исчезающая далеко за деревьями.

Я пошел пешком, то и дело оглядываясь, не едет ли какая-нибудь подвода, но, как назло, дорога была пуста. Во мне нарастало нетерпение. Сегодня утром, когда я проснулся, мне казалось, что время стоит на месте, что во мне и вокруг меня все застыло, — теперь же я чувствовал, что где-то там большое маховое колесо времени катится, набирая обороты, ощущал его пульсирующий ритм вокруг себя и в себе самом. Я шел все быстрее, постоянно ускоряя шаг. Как всегда сбежал с деревянного мос-

тика над дорогой, но и потом продолжал бежать до самого трамвая, благодаря чему не пришлось полчаса дожидаться следующего. В букинистическом я продал книги, которые мне не нравились, и на вырученные деньги купил три другие. Листая книги, я беседовал с владельцем магазина о поэзии, разведении кроликов и археологии, потом подошел один знакомый и рассказал, что вчера передавало Би-би-си. Союзники высадились в Италии под Анцио, а русские заняли Кривой Рог. Мы рассматривали карту Европы и гадали, когда же следует ожидать появления союзников у нас. Букинист считал, что нескоро. Когда я выходил из книжного, пробило час. У столяра я тоже пробыл дольше, чем рассчитывал, так как развернулась дискуссия, из какого дерева делать полку. Пообедал в случайном ресторанчике, где вынужден был отдать официанту целых две продуктовые карточки. Вышел на улицу, и тут какая-то женщина сказала мне, чтобы я не шел на Гродскую, потому что там облава. К старушке, живущей на другом берегу Вислы, пришлось идти кружным путем, по третьему мосту. Старушка, которая продавала бельгийские кружева, не захотела даже на один день доверить их мне, чтобы я их кому-нибудь показал. Сказала, что время сейчас смутное, случись что, не дай бог, — кто ответит? Честно говоря, шансы продать эти кружева были минимальные, но я отправился посоветоваться с одним своим знакомым, торговавшим антиквариатом. Он пригласил меня выпить рюмочку и посмотреть картины, которые купил за смешные деньги у одного помещика, убегавшего из Подолья от русских. Этот антиквар был сильно взволнован, так как на одной картине с изображением Богоматери в правом нижнем углу виднелась подпись, очень напоминающая автограф Ван Дейка. Антиквар заплатил за картину две тысячи злотых, но, если бы это оказался Ван Дейк, она стоила бы все двести. Так что его волнение было совершенно понятно. Мы рассматривали старые аукционные каталоги, сравнивали тему и манеру письма, разглядывали картину через увеличительное стекло, но так ничего и не выяснили. Картина могла принадлежать кисти Ван Дейка — или нет. Такими вот странными, непонятными для тех, кто читает этот рассказ, делами я занимался всю вторую половину того дня, потому что мне это казалось безумно интересным. Я принимал все близко к сердцу; мысли мои только этим и были заняты. Мне очень хотелось найти покупателя на бельгийские кружева, хотя я и не рассчитывал много на них заработать. Интерес же к картине был чисто платоническим, это было приключение, в котором мне хотелось принять участие просто потому, что любопытно было, чем все закончится. Покидая дом антиквара, я обещал ему, что осторожно привлеку к делу одного университетского профессора, историка искусств, который слыл выдающимся знатоком голландской и фламандской живописи. В тот же день я поехал на другой конец города к этому профессору, но попал не ко времени: он сидел на кухне, в пальто, простуженный и злой. В его комнате в клубах дыма, среди закрытых листами упаковочной бумаги шкафов и картин со вчерашнего дня работали два пьяных печника. Жена профессора угостила меня чаем с сахарином, мы поговорили о картофеле и капусте, я пообещал уступить им меру картошки, когда мне привезут ее от знакомых из деревни. Возвращаясь от профессора, я на минуту заглянул к одной молодой женщине, больной туберкулезом. Она была на редкость красива и умна. У нее были огненно-рыжие волосы, а на бледном как мел лице горел лихорадочный румянец. Она сидела в кресле, ее ноги были прикрыты пледом. В этот день

она была очень оживлена, все время болтала и смеялась. Ее жених, черный, загорелый с коротко остриженными волосами, сидел на низком стульчике у ее ног. Наверняка прибыл в увольнительную из леса: от него пахло мхом и дымом костра. Мы немного поговорили о поэзии. Я сказал, что до наступления комендантского часа должен еще много чего сделать, попрощался и вышел. Ее брат проводил меня до двери и в коридоре сказал, что дела плохи, дыхательная и сердечная недостаточность, доктор дает ей не больше месяца. Мы постояли с минуту, молча глядя друг на друга, потом я пожал ему руку и сбежал вниз по лестнице. После этого я побывал еще в скобяной лавке, где мне удалось купить проволоку и шурупы, которые я давно искал. Пил у них не было, но мне посоветовали зайти на следующей неделе, так как ожидается поступление товара. Где я еще был? Ах да! Я заглянул в химчистку и в мастерскую по пошиву одеял, мне хотелось узнать, сколько будет стоить почистить плащ и починить ватное одеяло и долго ли выполняют заказ. По дороге к дому я заходил еще в несколько магазинчиков. Входил, спрашивал, есть ли в продаже семена моркови, петрушки и шпината, не найдется ли фарфоровая кружка, мне отвечали, что нет, и я покидал магазин. В тот день я еще планировал навестить одного приятеля — взять у него нелегальные газеты, но решил отложить визит на завтра. Я не чувствовал, что надо обязательно сделать это сегодня, можно было подождать до следующего дня. К тому же близился комендантский час. Я сел на трамвай, но, так как у меня оставалось еще немного времени, дальше пошел кружным путем по пригородной улочке, дома вдоль которой становились все ниже и все дальше отстояли друг от друга.

Близился вечер, было тепло, слышалось пение дроздов. В садах работали раздетые до рубах мужчины, они вскапывали лопатами черную землю, а женщины граблями делали грядки и засеивали их семенами. Дети жгли костры, дым стелился низко над землей, перетекал из садов на улицу, принося с собой запах горящей картофельной ботвы. Домов было все меньше, начинались поля и луга, на землю опускался мрак.

Дома я застал только Иоанну, тещи не было, она пошла к соседям. Иоанна на электроплитке варила для малыша овсянку. Она рассказала, что он сильно плакал, наверняка у него что-то болело, но кто знает, что именно? Ведь такой маленький не скажет, что с ним. Сейчас успокоился и спит. Она спросила, буду ли я фасолевый суп. Я ответил, что пообедал и только выпью чаю. Иоанна заслонила лампу газетой, чтоб свет не падал на малыша. В комнате было тепло. У печки на подлокотнике кресла сидела кошка. Перед тем как пойти наверх, я взглянул на ребенка. Он спал, сжав кулачки и вытянув ручки над головой. Личико у него было заплаканное, время от времени он глубоко вздыхал. Я сказал Иоанне:

— Вздыхает, бедный.

— Ему снится что-то плохое. Например, будто кошка съела его любимого зайца с оторванным ухом.

Я поднялся наверх, лег и полистал книги, которые принес из города. Начал читать одну из них, "Жизнь термитов" Метерлинка. Я слышал, как вернулась теща и заперла за собой дверь на ключ. Потом заплакал малыш — его, наверное, разбудили, чтобы накормить, — но вскоре успокоился. Я погасил верхний свет и продолжал читать при ночнике. Потом потушил и его и лежал в темноте. Вошла Иоанна и спросила:

— Спишь?

— Нет, думаю.

— Для этого занятия свет не нужен, но прости, мне надо постирать чулки, — сказала Иоанна и включила большую лампу.

— Размышления вообще не требуют комфорта. Им можно предаваться везде, даже в самых скверных условиях. Это чертовски удобно.

В свете висячей лампы я увидел мебель, книги, разные мелкие вещицы и Иоанну, которая ходила по комнате. Я видел все это необыкновенно отчетливо, так, будто вернулся после долгого отсутствия.

— Ты не пришел к обеду. Чем занимался весь день? — спросила Иоанна.

— Гулял, — ответил я не вполне уверенно, потому что внезапно понял: в том, чем я занимался весь день, особенного смысла не было.

— Целый день?

— С утра был в саду, подрезал деревья и искал в погребе фасоль, потом съездил в город, заходил в книжный магазин, пообедал в "Солнечном", навестил одну старушку, которая продает бельгийские кружева, был у Левандовского — он утверждает, что купил Ван Дейка, и у профессора Хуберта — у него печь развалилась, и он злой как черт. По дороге от Хуберта зашел на минутку к Роканам.

— Как Дануся?

— Паршиво.

— А еще где? — помолчав, спросила Иоанна.

— У столяра, в скобяной лавке, химчистке, швейной мастерской, в магазинчике с семенами, в фарфоровой лавке и еще в дюжине магазинов.

Иоанна рассмеялась и сказала:

— Мужчины могут весь день, высунув язык, носиться без цели.

— Без цели?

— Шучу. Так говорится. Без цели ведь ничего не делается.

— Вот именно.

Иоанна повесила чулки и белье на веревку у печки, потом погасила свет. Неприязнь между мной и тещей иногда передавалась и нам с Иоанной. Иоанна ведь была ее дочерью. Между нами порой пробегала кошка, что-то отталкивало нас друг от друга и побуждало говорить гадости. Но это проходило, наступал вечер, мы ложились рядом, и вновь между нами царили мир и согласие. Какое-то время мы разговаривали в темноте. Тишина со всех сторон подступала к дому и заполняла его. Там, снаружи, умолкли все звуки, даже рокота пролетающих самолетов не было слышно. Иногда, только издалека, доносился лай собак, но то были голоса из мира, который не мог причинить зла ни мне, ни Иоанне — никому в нашем доме.

Проснулся я внезапно от грохота, сотрясшего наш дом, — казалось, в него ударила молния. Среди этого грохота, которому не было конца, и негаснущего света, заливавшего всю комнату, я увидел очень близко от себя чью-то руку с пистолетом. Я понял, что минувший день был днем накануне.

Перевод Е. Шарковой

Начало

БЫЛО раннее утро, погожее и свежее. Мы вышли из вагонов и зашагали по дороге через деревню. После мрака и тревожной неопределенности ночи, проведенной взаперти, эта полная красок и света деревня выглядела фантастической, как картина Брейгеля, но вместе с тем — удивительно реальной: дом был домом, трактир — трактиром, мостик через речку — мостиком. Дорога петляла, перебиралась с одного берега на другой. Пейзаж дополняли холмы, долины, деревья и тропинки. Сновали взад-вперед люди. С дерева на дерево перелетали птицы. В просвете листвы поблескивала вода, белели стены домов. В воздухе стоял запах дыма и скотного двора. Пели птицы. Лаяли собаки. Женщина развешивала во дворе белье. Старик поил коня в неглубокой заводи. Люди были заняты своими делами. Они жили собственной жизнью, сами для себя. Всё происходившее, как на картине, имело отношение только к ним, к этим людям, животным и предметам. На нас, глядящих на эту картину, никто не обращал внимания. Изредка лишь какое-нибудь наивное дитя поднимало на нас глаза, и в них отражались испуг и изумление, словно ребенок неожиданно увидел нечто такое, чего не могли видеть взрослые. Домов становилось все меньше. Мы по-прежнему шли по дороге, которая переплеталась с речкой. Возле одного из многочисленных мостиков нас остановили, чтобы пропустить доверху нагруженную сеном телегу. Я засмотрелся на воду в реке и заметил, как из мелководья устремились в глубину две рыбины. Плыли они быстро, несмотря на очень сильное течение. Телега миновала нас, и мы двинулись дальше. Деревня кончилась, вокруг были только пустые холмы, поля, луга, среди которых кое-где попадались одинокие деревья, либо торчали серые, бесформенные скалы. Потом мы вышли на шоссе, прямое и широкое, по которому в обе стороны катили грузовики. Шоссе постепенно поднималось вверх, и мы долго шли, не видя, что находится по другую сторону холмов, — как вдруг наконец увидели. Справа от шоссе, словно бы на уступе, возникшем в результате сдвига горных пород, на ровной, как стол, плоскости мы увидели лагерь. Воздух был прозрачен, видимость — превосходная. Бараки, аккуратно покрашенные светло-зеленой краской, стояли идеально ровными рядами, образуя главную и боковые улицы и большую квадратную площадь. Лагерь был окружен высоким забором, дорога упиралась в широкие ворота. Мы свернули с шоссе на дорогу, ведущую в лагерь, и подошли к воротам. В лагере царила тишина, как будто в нем не было людей. Я обернулся: шоссе, которое мы оставили за собой, спускалось вниз, в сторону лугов и лесов, гудело, удалялось, уплывало.

Все, происходившее до сих пор, до момента, когда мы вошли в ворота, казалось, существовало в ином измерении, принадлежало иному миру. Это было тем более поразительно, что колючая проволока ничего не заслоняла, через нее было видно все: деревья, луга, далекие холмы, а также то, что располагалось еще дальше, относилось к прошлому времени и сохранилось в нашей памяти почти в ненарушенном виде. Но в тот момент, когда мы входили в ворота, случилось нечто странное и непостижимое: словно в результате переключения передач ход событий раз в десять ускорился. Многое у меня уже было за спиной: война, тюрьма, допросы — но ничего подобного переживать не доводилось. Не было

© О. Катречко. Перевод, 2002

никакой причины, чтобы так резко изменился ритм жизни. Это чья-то глупая и нелепая затея, которая должна плохо кончиться. Какой-то безмозглый и злой человек (а может, непослушный ребенок?) повернул красный рычаг, который дозволено приводить в движение только в момент величайшей, смертельной опасности, — и вот я ни с того ни с сего, в лихорадочной спешке начинаю раздеваться, быстро сбрасываю ботинки, стягиваю носки, снимаю брюки, пиджак, белье. Когда я был уже раздет, мне приказали бежать. И я бежал. Передо мной и позади бежали другие, такие же голые, как я. Те, что были впереди, направлялись к широко распахнутой двери бани. Во главе, как тренер, пружинистым шагом бежал заключенный в полосатой арестантской одежде, в темно-синем берете, с белым крестом на спине. Он был виден издалека. Хорошо сложенный, двигался красиво, с каким-то женским изяществом. Он первым вбежал в баню, а за ним гуськом — обнаженные люди. Я смотрел в спину бегущего передо мной человека. Свернул туда, куда свернул он, и очутился в духоте, среди лоснящихся тел, под струями обжигающей кожу воды. Заметил обнаженного ксендза, увидел, как с шеи у него срывали серебряный крестик, увидел текущую по шее кровь, которая смешивалась с водой, мыльной пеной и грязью. Я видел все больше крови, видел людей, падающих и ударяющихся головами о скользкий бетон, видел, как кого-то сбивали с ног и топтали. Увидел маленького горбуна с длинными худыми руками и уродливым лицом: маленькие глаза, ноздри, похожие на отверстия двустволки; он лежал и плакал. Из носа у него текла кровь — по губам и по подбородку. Потом, чтобы обсохнуть, мы два раза обежали площадь. Первым бежал все тот же заключенный в полосатой одежде и темно-синем берете. Я видел, как он обернулся, потом свернул в сторону другой, тоже широко распахнутой двери и исчез в глубине барака. Мы бежали по длинному коридору, как вдруг, где-то далеко впереди я услышал сиплый окрик:

— Ты польский бандит?

— Нет! — ответил какой-то голый человек.

— Врешь, скотина!

От удара в лицо голый отлетел к стене и упал.

— Польский бандит?

— Нет!

— Польский бандит?

— Нет!

— Врешь, свинья!

— Польский бандит?

— Да! — произнес четко, но не слишком громко тот, что бежал передо мной. Я увидел, что ответивший "да" пробежал беспрепятственно, а на его месте возник заключенный в полосатой одежде и синем берете: он стоял на широко расставленных, согнутых ногах, уперев в бок левую руку, указательным пальцем правой нацелившись на меня. Его узко прорезанные глаза смотрели в одну точку, на мои губы, он ждал ответа:

— Und du, bist du auch polnischer Bandit?![1]

— Ja![2] — крикнул я.

— Na, endlich![3]

1. Ты тоже польский бандит? (*нем.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Да! (*нем.*)
3. Наконец-то! (*нем.*)

Полосатый пропустил меня, я миновал медленно поднимавшегося голого, горбатого карлика, все еще лежащего на земле, и побежал дальше. Когда я оглянулся, тот, в полосатой робе и синем берете, стоял, прислонившись к стене, и курил. За мной, мимо него, бежали другие — он уже не обращал на них внимания. Горбун, кое-как поднявшись на четвереньки, пытался встать. Я побежал дальше и попал в большой длинный барак, разделенный, как хлев, на закуты. В каждой закуте лежало что-то свое: штаны, куртки, шапки, исподнее — в последней были свалены деревянные башмаки. Я бежал вдоль этих клетей, делая то же, что и другие, бежавшие впереди меня: наклонялся и хватал поочередно штаны, куртку, рубаху. Коридор, тянувшийся через весь барак, был узкий, а нам, голым и босым, очень хотелось снова одеться и обуться. Все мы были разного роста, с разным размером ноги — поэтому приходилось иногда на секунду-другую останавливаться, чтобы найти хоть что-нибудь более или менее подходящее, ведь мы были в чем мать родила и начинали жизнь сначала. Так вот, мы останавливались на секунду, лихорадочно рылись, искали, вырывали друг у друга из рук то, что, казалось, больше соответствовало нашим размерам — а может, и вкусам? Но сзади напирали те, что были еще нагишом. Возникали заторы; те, кто был повыше и посильнее, отпихивали, отталкивали, возможно даже неумышленно, тех, что пониже и послабее, сбивали с ног, наступали на них. И все это — в тишине, иногда только слышался стон или вздох. Пахло мокрыми телами и по́том. Возле перегородок стояли заключенные в полосатых куртках, бдительные и спокойные. Заложив руки за спину, они смотрели на нас и наверняка думали, что мы похожи на скот, — да мы и были скотом. Время от времени кто-нибудь из них поднимал руку, в которой была палка, ударял быстро раз-другой, прятал палку за спину и снова смотрел на нас равнодушным взглядом. Возле последнего отсека, с деревянными башмаками, образовалось большое скопище тел — понятное дело: обувь есть обувь. У нас под ногами копошились низкорослые и слабые, мы топтали их. Я снова увидел горбуна, его лицо было искажено гримасой и измазано кровью. Поскольку у меня уже было все необходимое, мне, видимо, захотелось почувствовать себя человеком, и я крикнул:

— Эй, люди, расступитесь, калеку топчете!

Мне удалось, изогнувшись, создать немного пустого пространства над лежавшим на земле маленьким, хилым и горбатым человечком — не знаю, воспользовался ли он этим. Полосатый обернулся и посмотрел на меня холодным, тусклым взглядом. Кто-то меня толкнул, я едва не упал под напором человеческой массы, страшной и безликой. Я был слишком слаб, чтобы противостоять ей, меня вытолкнули наружу, на большую квадратную площадь, на ослепляющий свет. Те, что очутились там раньше, торопливо одевались, некоторые обменивались штанами и деревянными башмаками и вставали в строй. Когда последний присоединился к шеренге, заключенный в полосатой робе и синем берете приказал нам построиться по росту, и мы зашагали походной колонной по пять человек. Мы уже не бежали, мы маршировали. Мы шли по главной улице среди одинаковых бараков, потом свернули вправо, в боковую улицу. Заключенный в синем берете остановил нас на небольшой, посыпанной песком и гравием площадке, расположенной между двумя бараками и откосом, на котором рядками росли кустики помидоров. Сверху, над откосом, над грядками, вилась тропинка, а еще дальше возвышалась

ограда из двойной колючей проволоки, натянутой на бетонные столбы. За проволокой виднелось клеверное поле, чуть выше — белые потрескавшиеся скалы. Над ними простиралось небо. Пели жаворонки. Сладко пахло клевером.

Мне так и не довелось узнать, случайно ли там оказался старый тощий заключенный, передвигавшийся со скоростью улитки и сгребавший в совок мусор, или притащился специально, чтобы мы смогли кое-что разузнать о нашем старосте. Когда заключенный в синем берете отошел, приказав нам подождать, и исчез между бараками, кто-то спросил старика:

— Что с нами теперь будет?

— Пойдете, наверное, в семнадцатый барак, к Большому Ивану.

Старик сказал это, не глядя на нас.

— А какой он, Большой Иван?

— Большой Иван он и есть Большой Иван.

— Русский?

— Кто ж его знает. В сорок первом пригнали их сюда двадцать пять тысяч. Живой остался один Иван.

Старик передвинул на полшага вперед левую ногу, затем подтянул к ней правую. Его руки, в которых он держал метлу и совок, едва заметно шевельнулись, и в совок угодила какая-то лежавшая на земле мелочь — соломинка или бумажка. Было тихо, спокойно, ничего не происходило. Пахло клевером. Но внутри этой тишины и этого спокойствия на очень высоких оборотах работала приведенная еще раньше в движение машина и бесшумно пульсировал счетчик, который регистрировал, записывал, измерял и оценивал каждое мгновение. И хотя мы стояли неподвижно — машина работала непрерывно. Ничто не происходило задаром и зазря. Ни малейшая доля секунды не оставалась пустой.

Из-за угла барака танцующей походкой вышел заключенный, который нас сюда привел, в трех шагах за ним шел другой, очень высокий и здоровенный, настоящая гора мышц, в чистых, только что отутюженных полосатых штанах, темно-синей куртке и синем берете. На ногах черные, начищенные до блеска полуботинки, вокруг шеи повязан шелковый голубой шарф. На куртке, слева, был пришит различимый издалека номер 22 тысячи с чем-то. Его лицо ничего не выражало: ни плохого, ни хорошего. Оно было никаким. Бледно-голубые глаза казались сделанными из стекла. Он остановился напротив нас, с минуту молча присматривался, затем, хотя никто не проронил ни слова, сказал:

— Молчать! Слушать меня! Я староста барака номер семнадцать. Будете у меня. В моем бараке полный порядок и чистота. В моем бараке — все слышат? — жить можно спокойно, только чтоб безо всяких, завсегда в оба смотреть!

Староста поднял большую жилистую руку и указал на глаза. Потом о чем-то переговорил с тем полосатым, который нас привел. Тот ненадолго исчез, затем появился в сопровождении двух новых заключенных. Они принесли стол и стул и поставили их у стены барака. Староста уселся на стул и что-то сказал, но мы не расслышали. Заключенный в синем берете побежал к голове колонны и скомандовал: “Марш!” Когда мы дошли до грядок с помидорами, передняя часть колонны повернула влево, потом свернула еще и еще раз, и мы снова оказались напротив стула, на котором сидел староста. Когда мы проходили мимо, он не смотрел на нас. Мы продолжали маршировать, потому что никто не отдавал прика-

за остановиться. После третьего или четвертого круга староста скомандовал: "Стой!" – встал со стула и сказал:

– Молчать! Слушать меня! Так не маршируют. Сейчас будет то, что называется – все слышат? – равнение парада направо. Эй ты, поди сюда! Да, да, ты! Давай сюда!

С самого конца нашей колонны, из последней пятерки, вышел маленький горбун, сделал три шага и встал.

– Ну, ты, ты! Давай сюда, ближе!

Горбун приблизился и замер перед Большим Иваном. Все, во что он был одет, было ему велико. Шапка сползла на глаза и на уши, штаны собрались гармошкой, деревянными башмаками, чтобы не потерять, он шаркал по земле. Вытянувшись перед старостой по стойке смирно, он глядел ему в глаза. Вид у него был настолько жалкий и комичный, что хоть со смеху помирай, но нам было не до смеху. А вот почему не смеялся староста Иван? Казалось, еще чуть-чуть, и он затрясется от безудержного смеха, просто покатится со смеху, отвернется, чтобы не смотреть на этого бедолагу, а взглянув на него еще раз, опять разразится хохотом, и нам от этого выйдет какая-нибудь польза. Но староста Иван не засмеялся. Ни одна мышца не дрогнула на его лице. Горбун, видимо, ему смешным не казался. Он протянул руки, взял маленького, горбатого человечка за плечи, поднял его и поставил на стол лицом к нам. И сказал, обращаясь к нему, но довольно громко, чтобы всем было слышно:

– Ты теперь – генерал, нет – маршал, усек? Они пройдут перед тобой парадом, а ты говори, кто тебе не нравится, кто что не так делает: плохо руками шевелит, с шага сбивается! Понял?

– Так точно!

– Шагом марш!

Мы зашагали, обошли площадь и приблизились к командующему парадом. Горбун крикнул: "Направо! Смирно, равнение направо!" – и приложил руку к шапке.

– Я – твой подчиненный, адъютант, усек? А теперь говори, кто тебе не нравится! – сказал Иван. Он снова сел на стул. На нас не смотрел. Мы шли строем, чеканя шаг. Те, что служили в армии, делали это лучше других, но достаточно ли хорошо? У кого-то с ноги свалился деревянный башмак, что на минуту внесло сумятицу в ряды.

– А ну, марш в конец, будешь прыгать за колонной на четырех, как жаба! – крикнул Большой Иван.

Мы снова маршировали по краю площади, уже без команды отбивали ногами такт, проходя мимо горбатого человечка, смотрели ему в лицо. К подбородку его присох сгусток крови. Глаза – маленькие, узкие щелочки – буравили каждого из нас. Мне показалось, что на долю секунды его взгляд задержался на мне. Мы заканчивали уже третий круг, а за нами прыгал только один заключенный – тот, который потерял башмак. Когда мы приблизились к столу в четвертый раз, я увидел, как Иван поднялся со стула, сказал что-то горбуну на ухо и снова сел. Я услышал, как горбун закричал:

– Эй ты, из третьей пятерки, второй слева – в конец! Из восьмой пятерки, первый справа – в конец!

– Был приказ: в конец – так или нет? – спокойно произнес Иван.

Мы маршировали, сворачивали, огибали площадь строевым шагом в пятый, десятый и не знаю, в какой уже раз. Мы маршировали, потому что таков был приказ, и никто его не отменял, не велел нам остановиться

или делать что-либо другое. Староста Иван уходил, потом возвращался и опять садился на стул. В какой-то момент он вдруг вскочил, сорвал шапку с головы и встал навытяжку, заметив эсэсовца, проходившего поодаль, между бараками. Когда эсэсовец скрылся из виду, Иван не спеша снова уселся, развалился на стуле и занялся выравниванием стрелок на штанах. Я видел часового за проволокой: он остановился, смотрел на нас и смеялся. На следующем кругу я увидел его опять: он глядел, но уже не смеялся. Поправил винтовку на спине и ушел. Старик, который собирал мусор, продвинулся на несколько метров вперед. На нас он не обращал внимания, был занят своим делом. Мы маршировали, а за нами, в конце колонны, прыгали, как лягушки, те, кто не умел ходить строевым шагом. Их становилось все больше. Но и маленький горбатый человек, командующий парадом, тоже устал. Он пошатывался, иногда прислонялся к стене барака, чтобы передохнуть, и снова выпрямлялся. Солнце взошло высоко на чистом небе, воздух был неподвижен. Мы маршировали и маршировали. На каждом повороте мы видели тех, кто прыгал на четвереньках. Многие уже сильно отстали. Староста Иван передвинулся вместе со стулом на пару метров влево и сидел теперь в тени. Мы маршировали, сворачивали, держали шаг. Никто из нас понятия не имел, когда же это кончится. Не мог этого знать и горбатый человечек, который по-прежнему командовал парадом. Он так же, как и мы, не знал, что его ждет, что ему прикажут делать потом. Пока он был в лучшем, чем мы, положении. Но действительно ли в лучшем? На одном из очередных кругов, взглянув на лицо горбуна, я заметил в нем перемену, которую тот не мог скрыть: на лице застыла гримаса отчаянной и бессильной ярости. Его бегающий в поисках жертвы взгляд встретился с моим и застыл, словно только теперь этот человек меня увидел. Я ощутил страх, поняв, что настал мой черед, сейчас он вышвырнет из колонны меня. Не потому, что я плохо марширую и недостаточно твердо чеканю шаг, за другое: за его горькую судьбу, за все плохое, с чем он в жизни столкнулся и еще может столкнуться. За честь, которой его удостоили лишь потому, что он был калекой, а у меня не было горба, я был высокий и пока сильный. Если же он узнал меня — возможно, еще и за то, что я был тем, кто сжалился над ним и попытался защитить от других. Значит, и я буду прыгать лягушкой, потом буду ползать на четвереньках, а еще позже, когда силы покинут меня, и животом по земле. А когда мы уже все будем ползать, он, карлик-горбун, не нужен будет Большому Ивану. И что тогда станется с ним? Меня это уже не интересовало. Может, поползет вместе с нами по песку и по гравию?

Перевод О. Катречко

Белая рука

КАЖДЫЙ день в пять утра мы маршировали по улицам этого немецкого города. Сначала шли по дороге между домами с остроконечными красными крышами и стенами, покрытыми серой штукатуркой. В это время окна были закрыты ставнями с вырезанными в

© С. Раввa. Перевод, 2002

них сердечками. Дома были отгорожены один от другого садиками и разделены заборами. В садиках, на чисто прополотых грядках, посаженные ровными рядочками, росли морковь, горох и шпинат. Земля под ними была голой и серой. Люди, работающие на этой земле, следили, чтобы ни одно бесполезное растение не пустило там корни. Они пололи, окапывали, рыхлили землю, как только выдавалась свободная минута. В садиках росли и фруктовые деревья. Яблони уже отцвели, и бледно-розовые лепестки устилали землю вокруг. Иногда из домов выходили мужчины, ведя за руль велосипеды, прислоняли их к ограде, закуривали трубки или наклонялись, чтобы заколоть прищепками брюки. Потом садились на велосипеды и, не глядя на нас, уезжали — равнодушные, прямые, медленно крутя педали.

Было тихо и пусто. Мы шли, стуча деревянными подошвами по влажной мостовой. В воздухе стоял запах немецкого города — смесь аромата карамели и вони синтетического бензина. Мы маршировали, стуча и шаркая своими деревяшками. Те, что шли с краю колонны, иногда нагибались, чтобы поднять крохотный окурок — остаток экономно выкуренной сигареты. Лоснящиеся трамвайные пути раздваивались, кончалось предместье, мы вступали в центр города, проходили мимо большого каменного дома на углу. Весь первый этаж его занимал магазин игрушек. Жалюзи на двери были еще опущены, но витрины открыты. За стеклами лежали цветные обручи, маски ангелов, чертей, евреев и Санта-Клауса из папье-маше, винтовки и сабли, розовые голые и лысые куклы, куклы с золотыми косами, одетые в народные костюмы: шнурованные корсеты и цветастые юбки. Все магазины были еще закрыты, но вывески и стены пестрели рекламой товаров: фотопленка Agfa, очки, супы Maggi, разрыхлители для теста доктора Oetcker, разрезанная пополам ветчина с прослойками жира, свиная голова, красные франкфуртские колбаски, гробы и венки, садовый инструмент. У некоторых магазинов, хотя до открытия было еще далеко, уже выстроились очереди. В основном пожилые люди, иногда дети. Многие сидели на складных стульях, читали газеты или книги, женщины вязали носки и свитера. Среди высоких домов стук наших башмаков был хорошо слышен, но люди, ждущие открытия магазинов, не смотрели на нас. Были слепы и глухи.

Мы маршировали дальше, проходили мимо спящей гостиницы с тяжелыми портьерами на окнах, автозаправочной станции, мимо безлюдного автовокзала, церкви из серого кирпича с черной дубовой дверью. Потом миновали парк, где росли старые деревья. Видели издалека удобные, глубокие, в этот час пустые скамьи, на которых можно было бы посидеть. В низкой зеленой траве росли островками какие-то цветы, но не видно какие — слишком далеко. Мы маршировали, маршировали. Окна домов были занавешены, те, кто там жил, еще спали. Центр оставался позади, дома становились все ниже, здесь не было магазинов и выстроившихся в очередь людей. Дальше тянулись склады старого железа. За оклеенным афишами забором громоздились горы ржавых консервных банок, проволоки, жести. Я опускал глаза и смотрел на свои ноги, обутые в башмаки на деревянной подошве. Правый башмак развалился и был подвязан красным проводом, найденным вчера в развалинах. Пятки я стер в кровь, раны не хотели заживать. Ночью они покрывались коркой, но, как только я надевал башмаки, открывались опять и болели; казалось, я не смогу идти, но, конечно, так только казалось — ведь я же маршировал, корка содралась, раны кровоточили, но не болели, кровь

впитывалась в тряпки, которыми были обмотаны ноги. Я был очень болен, но чувствовал себя здоровым и достаточно сильным, чтобы идти вперед. Я шел и ни о чем не думал. В голове царила черная пустая ночь. Лишь иногда эту темноту неожиданно прорезала вспышка, будто осветительная ракета, — и тогда я мгновение видел очень далекие, но сейчас близкие и пронзительно отчетливые образы чего-то, давно утраченного. Это воспоминание сопровождалось болезненным чувством, как от удара ножом, но боль длилась недолго, будто нож входил в умирающее тело. Свет в голове гас, и мой взгляд снова нетерпеливо искал окурки — влажные, почерневшие, лежащие в конском навозе и мусоре. Иногда глаза натыкались на какую-то пуговицу, жестянку или проволоку — все это я тоже страстно желал.

Город кончался. На глухой стене последнего семиэтажного дома виднелась уже чуть размытая дождями гигантская реклама: шоколадный негр с черными курчавыми волосами, ощерившись в улыбке и вытаращив глаза, сжимал в руке чашку дымящегося кофе Майнля. Рисунок достигал крыши, чашка была величиной с лохань. У подножия этого здания, прилепившись к нему боком, стоял двухэтажный, несколько старомодный дом. Он не очень отличался от других, похожих на него домиков пригорода, разве что был недавно покрашен. Стены у него были розовые, ставни, ящики для цветов и водосточные трубы — зеленые, входная дверь — коричневая. Проходя каждый день мимо этого тихого и опрятного домика, я поднимал глаза и смотрел на окна второго этажа. В это время зеленые ставни были уже открыты или как раз растворялись, распахивалось окно, и из-за занавески высовывалась белая женская рука. Рука держала леечку и поливала цветы в зеленом ящике. Мы маршировали по улице, ряд за рядом, разделенные на сотни, сотня за сотней, пятерка за пятеркой, стуча деревянными подошвами по влажной гранитной мостовой. Я никогда не видел женщины, чья рука высовывалась из-за занавески, но это наверняка была молодая женщина, еще сонная, согревшаяся в теплой постели. Женщина, как и все жители этого немецкого города, не смотрела на нас. Она слышала стук наших башмаков, который будил ее всегда в одно и то же время. Было, наверное, четверть шестого. Да и кто мог усомниться, что уже больше чем четверть шестого.

Так каждый день мы маршировали через город, а за городом сворачивали на прямую, обсаженную с обеих сторон высокими ясенями дорогу, ведущую к товарной станции. Станцию месяц назад разбомбили английские летчики, и работы нам хватило бы на год. На много километров вокруг простиралась пустыня, изрытая воронками со стоящей на дне водой. В разных местах торчали обгоревшие остовы вагонов, земля была усеяна листами дырявого железа, стеклом, обугливши мися тряпками. Нам выдавали инструменты, и мы принимались за работу. Я зачерпывал лопатой песок и ссыпал его в воронку, нагибался, выпрямлялся, двигался, шел, останавливался, возвращался. Вокруг было тихо, проходил час за часом. Я был спокоен и очень хотел спать; иногда на секунду-другую засыпал. Мне снилось: я беру в рот что-то сладкое или собираюсь есть картофельный суп, укладываюсь в теплую постель, дотрагиваюсь до какого-то приятного пушистого зверька, — и тут же просыпался, не успев ничего почувствовать. Ни сытости, ни тепла, ни блаженства. И снова набирал на лопату песок или поднимал вместе с другими тяжелый рельс. Иногда под обломками, среди стекла, тряпок и бумаги попадались части

тел — руки, ноги, а то и голова. Они уже воняли, по ним ползали черви. Мы откладывали человеческие останки в сторону, на откос, и прикрывали их старыми газетами или мешками из-под цемента.

В четыре мы сдавали инструменты, строились в колонну, нас пересчитывали, и мы возвращались в лагерь. Опять маршировали через весь город. В воротах лагеря нас уже ждали, торопили. Мы стаскивали шапки с голов и пятерка за пятеркой, колонна за колонной входили в широко распахнутые железные ворота. На нас смотрели с двух сторон, считали, за нами наблюдали со сторожевой вышки, застекленной, как веранда. Мы расходились по своим баракам и садились за столы в ожидании еды. Старший по столу делил хлеб, а мы смотрели на его руки и страдали оттого, что нож, который режет хлеб, недостаточно острый, рука неточна, а злая судьба одних оделяет, а других обижает. Мы съедали свой хлеб, а потом глазами пожирали хлеб соседей и даже крошки, которые дежурный смахивал на бумагу. Потом смотрели, как нам наливают суп в миски, и опять страдали, наш голодный желудок шептал нам: видишь, как обманывает? Гляди, тому, молодому, целый половник налил, а тебе плеснул меньше половины! Мы ели суп, мыли миски, потом сидели за столом и курили самокрутки из подобранных на улице окурков. Некоторые долго и очень внимательно осматривали свои ложки или вынимали из карманов какой-то найденный предмет, вертели его в руках, разглядывали и думали, что он такой или сякой и что он принадлежит им, что это их собственность. Те, у которых ничего не было, сосредоточенно изучали свои руки, разглядывали нагноившиеся ногти, изрезанные пальцы, мозоли, шрамы и фиолетовые жилы под тонкой кожей.

Вечер наступал очень быстро. Мы забирались на свои нары, скрючивались под одеялами, засыпали — и тут же просыпались: было уже утро следующего дня, половина четвертого. В пять мы снова маршировали по улицам города. Раз в неделю, в воскресенье, у нас было немного свободного времени, которое тянулось и никак не кончалось. Я стирал рубашку, брился, потом шел на другой конец лагеря навестить знакомых — в хороший барак, где жили те, кому повезло: они получали посылки, которыми делились с заключенными из шрайбштубы и эфектенкамеры[1]. Они лучше питались и были лучше одеты, у них было больше времени и личной свободы. В воскресенье в их бараке можно было посидеть и поболтать. Порой один приносил губную гармошку и играл. Играя, он закрывал глаза. Гармошку прятал в ладонях и выпускал между пальцев тихие, дрожащие звуки — только иногда, когда набирал воздух в легкие, вздыхал или сопел, звуки становились громче. Мы пели:

...жду тебя, ночью, днем, той минуты жду...
...j'attendrai la nuit et le jour, j'attendrai toujour...
...komm zu mir, ich warte auf dich, denn du bist für mich...

Мы пели эту песню по-польски, по-французски, по-немецки, были у нее и русские слова, и слова на других языках. Мы сидели согнувшись в темном углу, загороженные высокими трехэтажными нарами, пели и плакали. Мы сами не знали, почему плачем. Из песни совершенно нельзя было понять, кто кого ждет, — мы ждем или нас ждут, но никто над этим не задумывался. Горячие слезы сами текли по лицу, а потом, уже уходя, мы чувствовали себя какими-то счастливыми и окрепшими, легче становилось на душе, и — может, я сейчас скажу глупость — у нас было та-

1. Канцелярия и вещевой склад (от нем. Schreibstube и Efektenkammer).

кое ощущение, словно мы возвращались с любовного свидания. Наверное, недолго уже оставалось до конца войны — те, кто держал нас в неволе в этой чужой стране, перестали издеваться над нами на каждом шагу, бить и убивать, как делали это совсем недавно. Мы по-прежнему работали с утра до вечера, были голодны, слабы и все время хотели спать. Но теперь мы умирали сами, нас уже не добивали. Мы умирали ночью на нарах и присев на минуту на лавку перед бараком, умирали в столовой, уронив голову на край стола, в нужнике, на марше и на работе. Смерть приходила к нам, тихая и кроткая, в конце наших мучений, когда мы были уже совершенно истощены и обессилены. Задолго до этого она сопровождала нас везде, шла рядом с нами, садилась рядом и спала с нами на нарах. Прикрывала нам ладонью глаза, чтобы мы не видели всего, — и сердце, чтоб не чувствовали слишком много.

***

Шли дни, каждое утро в одно и то же время мы маршировали по городу, пахнущему карамелью и бензином. Жители города не обращали на нас внимания, не поворачивали головы, не глядели на нас, хотя стук деревянных подошв в утреннем спокойном воздухе разносился далеко. Были слепы и глухи. Ночью над Германией кружили английские самолеты и бросали бомбы, в том числе и на этот немецкий город.

Однажды на том месте, где у подножия высокого каменного дома с гигантской рекламой кофе Майнля стоял двухэтажный домик с розовыми стенами и зелеными ставнями, водосточными трубами и ящиками для цветов, я увидел развалины. Не было домика, не было женщины, которая открывала окно и высовывала из-за занавески белую теплую руку, не было леечки, поливающей цветы в ящиках. На высокой глухой стене, под рекламой с негром, виднелись очертания дома, который еще вчера существовал: контур остроконечной крыши, следы комнат, границы потолка и пола. Теперь дом стал кучей мусора. Все, что внутри было хрупкого, — стерто в порошок, все мягкое — смято и раздавлено. Из мусора торчали погнутые прутья и искореженное железо, между ними болтались клочья обоев и обрывки занавесок. А я шел и был еще жив! Смотрел и чувствовал, как злая безграничная радость наполняет меня всего, от пяток до макушки, возвращая мне зрение, разум и чувства, возбуждая кровь, придавая силы — возвращая меня к жизни.

— Чего пялишься? Иди своей дорогой! — крикнул эсэсовец.

Я отвернулся и пошел дальше, глядя перед собой.

Перевод С. Раввы

Я тебя не люблю

КОНЕЦ июня. Через несколько дней нам должны выдать школьные табели. Все в классе уже прекрасно знают, у кого какие оценки, кто закончит с отличием, а кто останется на второй год. Учебы никакой нет. Со свернутой тетрадкой в кармане мы тащимся в школу

© М. Курганская. Перевод, 2002

только затем, чтобы узнать, к которому часу явиться завтра. После второго урока выходим и шатаемся по городу. Ужасно жарко, сухо и душно. Мы едим мороженое и пьем лимонад в киосках. После обеда тоже нечего делать. Вообще, время дурацкое: и не учишься, и каникулы не начались. Еще не получив полной свободы, мы уже начинали скучать, как в конце каникул.

В последнее время я снова подружился с Владиславом. Мы ходили в один класс, хотя Владек был на полгода младше. У него была сестра Аня, старше меня на год. Они жили неподалеку, в двухэтажном домике. Парадная дверь там всегда была закрыта, и идти приходилось через мастерскую их отца. Помню две длинные вывески по обеим сторонам двери в мастерскую: на одной нарисован молодой человек с пробором в волосах, бачками и черными усиками, одетый в светлый летний костюм, на другой — пожилой господин в клетчатом пальто реглан, зеленой шляпе и с бамбуковой тростью в руке. Владек был евангелистом; его отец — член приходского совета — пел в хоре и играл на фисгармонии. Владек и Аня тоже играли на фисгармонии. Не знаю, почему я дружил с Владеком. Это был очень спокойный мальчик, говорил он тихо и медленно, по поведению всегда имел пятерки, круглый год страдал от насморка и страшно боялся отца. У него, и у его сестры тоже, был большой нос — не столько большой, сколько длинный — и бледные узкие губы, нижняя спрятана под верхней. В общем, они были очень похожи и отличались только цветом волос и глаз: Аня — блондинка с голубыми глазами, а Владек — брюнет с карими. Мы с Владеком собирали марки и книжки и выменивали их на разные штуки. Я всегда верховодил: был сильнее и лучше учился. Рассказывал ему всякую всячину, а он слушал и молчал, только смотрел на меня. Его сестра была некрасивая и вечно на всех дулась. Она слегка сутулилась, у нее были толстые косы и длинные руки. В прошлом году, когда она вернулась с каникул, я заметил, что у нее выросли маленькие круглые груди. Один раз, когда мы играли в саду в жмурки, я случайно их коснулся. Глаза у меня были завязаны; в обступившей меня тишине я различал только какие-то шорохи и хихиканье. Медленно, с растопыренными руками, часто останавливаясь и прислушиваясь, я направился в угол сада, куда всегда удавалось кого-нибудь загнать, как рыбу в сак. Услышал чье-то частое дыхание, какую-то возню, потом сдавленный смешок. Я чувствовал, что кто-то попался — из закоулка между оградой и беседкой не уйти. Вытянув руки, я раздвинул высокие стебли флоксов и коснулся ладонями двух округлых твердых выпуклостей, обтянутых шелком. Получил по рукам, кто-то заржал, а я крикнул: "Аня!" — и сорвал с глаз повязку. Аня сидела на корточках в траве, заслонив глаза руками, и смеялась. Лицо у нее было красное, как бурак.

Повернув ручку двери, ведущей в мастерскую, я услышал три нисходящих по тону звука колокольчика, а когда закрывал дверь, раздался тот же перезвон в терцию, только в обратном порядке. В мастерской, как всегда, было холодно и пусто. Я остановился около прилавка, произнес: "Здравствуйте!" — и услышал, как отец Владислава отозвался дважды: "Здравствуйте! Здравствуйте!" Потом портьера раздвинулась, он вошел и поклонился. Очень маленького роста, он, кланяясь, делался еще ниже. Мой отец заметил как-то, что чем человек меньше, тем ниже ему приходится кланяться. Мать тогда сказала, чтобы отец не сбивал ребенка с толку своими социалистическими глупостями. А все же отец Владека был так мал и, вместе с тем, так вежлив, что, если бы я хотел с ним срав-

няться, мне понадобилось бы, наверное, ходить на четвереньках. Я уж пробовал по-всякому, ноги сгибал в коленях, но тогда болели икры, втягивал живот, но так тоже было очень неудобно, тем более, что один раз отец Владека поинтересовался, не заболел ли я. Теперь он стоял за прилавком и улыбался. Я спросил:

— Владек дома?

— Пошел катать белье, сейчас вернется. Иди наверх, подожди, — ответил он, улыбаясь и кивая головой. Отодвинув портьеру на латунных кольцах, он открыл мне дверь. Я вошел боком, зачем-то поклонившись, потом быстро взбежал по лестнице наверх. Ступени были покрашены в желтый цвет, посередине лежал красный половик. На окне цвели белым какие-то растения с темно-зелеными, твердыми, как из жести, листьями. Слышались дребезжащие звуки фисгармонии. Я постучался и вошел в комнату. Аня сидела за инструментом. Вытерла платком руку и поздоровалась со мной.

— Что делаешь? — спросил я.

— Играю, — отозвалась она и снова стала раскачиваться, нажимая на мехи. Руки она держала на клавишах почти неподвижно и лениво перебирала пальцами. Звуки медленно текли, фисгармония ворчала и бренькала. Аня была в лиловой блузке, на ее сутулой спине лежали две толстые лоснящиеся косы.

— Что играешь?

— Баха, — ответила она, не прерывая игры, и подняла на меня влажные покрасневшие глаза.

— Скукотища, — сказал я. Я немного учился играть на фортепиано, но никто не принуждал меня к регулярным занятиям. Игру по нотам я считал ерундой. Пока Аня все тянула свой аккорд, я, улучив момент, одной рукой негромко и очень быстро сыграл "Бублики". Это было довольно забавно, не так, как на рояле, где нужно ударять по клавишам: здесь достаточно слегка их коснуться, и воздух уже выходит, как из большого надутого шара, выдувая звук. Аня ничего не сказала, лишь посмотрела на меня. Я оставил в покое фисгармонию и принялся ходить взад-вперед по узкой комнатке, где было очень чисто, ни пылинки, ни пятнышка. На стене, над фисгармонией, висели фотографии родителей на конфирмации. Над Аниной кроватью — Христос в Саду, над кроватью Владека — распятье, над столом — длинная белая салфетка с красиво вышитой надписью: "Смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда наступит час..." На подоконнике стояли горшочки с розовыми пеларгониями; все их бледные листья были обращены к свету. Я выглянул из окна: мать Ани, высокая, худая, собирала в корзинку смородину. Я терпеть не мог смородины; она кислая и от нее у меня оскомина. Сейчас Анина мать вернется, угостит меня смородиной, и я не смогу отказаться.

— Владек когда придет?

— Скоро придет, — ответила Аня, перевернула страницу и играла дальше.

Было ужасно скучно. В комнате мало места, стулья твердые, неудобные. Анина постель высоко взбита и накрыта кружевным покрывалом. Однажды, когда родителей не было дома, мы с Владеком стали бороться, и я повалил его на кровать сестры. Получилась большая яма, все перемешалось и помялось. Владек прервал возню и сказал, что нужно немедленно поправить постель. Сделать, как было, потому что Аня очень рассердится и еще маме скажет.

— Вы что будете на каникулах делать?
— Опять поедем к тетке.
— На все каникулы?
— Да.
— Там небось еще скучнее, чем здесь.
— Почему? Там гуси, коровы, лошади.
— Когда едете?
— Послезавтра, как только выдадут табели.

Мне стало немного жаль, что они уезжают. Подойдя поближе, я взглянул на Аню. На лбу у нее выступили капельки пота, хотя в комнате было прохладно.

— Помнишь, когда мы были маленькие, мне хотелось поиграть с тобой в лошадки и я дергал тебя за косы?

Я взял в руки ее толстые косы и слегка потянул за левую, а потом за правую:

— Тпру! Н-но!

— Перестань! — шикнула Аня, но без злости, и тряхнула головой. Я был уже не маленький и, вовсе не желая сделать ей больно, дергал тихонько. Осторожно положил ей косы на спину и отошел. Я совсем не хотел ее обидеть, но и любезничать с ней мне тоже было неохота. Она была некрасивая и несимпатичная. Остановившись возле полки с книгами, я вытащил Владькин альбом с марками. Стал листать его, новых марок не было, все я уже видел — так себе были марочки, большинство я сам ему дал. Только одну не стоило бы отдавать; я потом пожалел, но не отбирать же. Аня играла, раскачиваясь, будто ехала в гору на велосипеде. Я пошел к окну посмотреть, не идет ли Владек. Его не было. На лавочке в саду уже стояло блюдо с большой горкой розоватых ягод. Анина мать продолжала собирать смородину в корзинку. Я нарочно представил себе: вот я беру и кладу в рот целую горсть, и сразу почувствовал, как кривится мое лицо. Вдруг я услышал, что Аня громко и очень отчетливо произнесла:

— Ты вообще зачем сюда приходишь?

Я повернулся и посмотрел на нее. Она сидела теперь выпрямившись, глядя не в ноты, а вверх, в потолок, и продолжала играть, только как будто тише, чем раньше.

— Как это зачем? — рассмеялся я.

Аня перестала играть. Вид у нее был какой-то странный, не такой, как обычно. Наморщенный лоб, побелевший кончик носа, верхняя губа приподнялась, открывая зубы. Мне стало не по себе. Я отвернулся к окну. Услышал, как она сказала:

— Я тебя не люблю, понимаешь? Ни капельки тебя не люблю!

Я не знал, что отвечать и как себя вести. Оставалось только обидеться. Сунув руки в карманы, я не спеша вышел из комнаты, потом сбежал по ступенькам и пулей пролетел через мастерскую, не попрощавшись. Зазвонили колокольчики над дверью, я выскочил на улицу. Кругом стоял гомон, ослепительно светило солнце, в воздухе носилась пыль. Я промчался по улице, пересек площадь перед костелом и свернул к парку.

Только очутившись среди деревьев, около мельничного ручья, прячущегося в тени кустов, я замедлил шаг. Ручей бесшумно струился в глубоких берегах между корней и обросших мхом свай. Опершись о перила, я смотрел на быстро бегущую, пронизанную светом воду. Я был подавлен, пристыжен; меня словно побили: не физически — я будто проиграл какую-то игру, в шахматы или в карты, только более серьезную.

Пройдя чуть дальше, я остановился и подумал: “Черт, ведь это я не люблю ее. А вот она скорее должна бы меня любить”. А потом снова: “До чего же нужно меня не любить, чтобы сказать мне об этом. Ведь я, хоть и не люблю ее, — никогда бы ей этого не сказал!”

Перевод М. Курганской

Физиология

1

СТОЛИК, за которым мы сидим друг против друга — я и Мария. Две чашки и две рюмки на мраморной столешнице, свернутые трубочкой бумажные салфетки в стакане, продолговатая замшевая сумочка, лежащая на краешке стола около левой руки Марии. Лицо Марии, ее глаза, глядящие на меня, движения ее губ, слова Марии, которые я слышу, и мысли, которые я пытаюсь угадать. Окно занавешено, но солнечный свет просачивается между занавеской и оконной рамой, рассекает воздух и, касаясь угла мраморного столика, раскаляет его добела. Кажется, что мрамор сейчас вспыхнет ярким пламенем. Затем солнечный луч спускается на пол, ложится там плоским пятном, освещая узкую полоску паркета, будто кто-то именно в этом месте прошелся рубанком по его темной поверхности, обнажая слой светлой древесины. Уличный гомон за окном, разговоры и смех за соседними столиками. Наше существование здесь и сейчас, наше присутствие — мое и Марии, слова, которые мы произносим, и мысли, которые скрываем, намерения, которые мы друг от друга утаиваем. Любовь, которая влечет нас друг к другу, и неуверенность, которая нас сдерживает. Неуверенность перерождается иногда в неприязнь, отталкивающую нас друг от друга, но чувство вновь нас притягивает, ведь только поэтому мы здесь.

2

Мгновение, когда это было, и то, чем оно было наполнено: предметы, свет и тень, силуэты, звуки. Движения: вот слегка шевельнулась рука, склонилась вбок голова, дрогнули ресницы, пробежала улыбка. Эти, казалось бы, незначительные детали, несмотря на их разнородность и мимолетность, тем не менее тесно связаны, они создают ту действительность, которая сосредоточена в этом одном, единственном месте на свете, полностью отгороженном от остального мира, и все мои мысли и чувства устремлены только к ней. Ах да! Еще воздух, который окружает это место. Он дрожит, искрится, у него есть запах. Неужели это всего лишь то, что мы называем воспоминанием? Нет, то мгновение и то место, те предметы, движения, звуки, слова, мысли — никуда не девались. Они все еще есть, живут самостоятельно, независимо от того, думаю я о них или нет, помню или забыл. Они не исчезли, хотя мраморная столешница уже давно потрескалась и раскрошилась. И столик теперь покрыт

© О. Катречко. Перевод, 2002

пластиком, и чашки за это время сменялись раз двадцать — да что там: раз пятьдесят, — и солнечный свет совсем не так падает на пол. Даже если бы у меня появились какие-то сомнения и я бы захотел убедиться, существует ли место, где все это происходило, я всегда могу туда пойти: повернуть дверную ручку, распахнуть дверь и войти в то же помещение. Но все уже будет другим: и заведение иного разряда, и, что самое главное, иным стал порядок вещей. Проще говоря, место, где это происходило, как будто то же самое, но, по правде сказать, давно уже перестало им быть. Поэтому давайте поскорее вернемся к тому, что было почти пятьдесят лет назад, в то место и к тому событию, что были в самом начале. К той самой первой минуте, к той единственно подлинной картине, потому что возникла она почти из ничего: из разбросанных прежде штрихов и неведомых ранее чувств, из частиц, никогда никому не принадлежавших (повторяю — никому, ибо мысль, что они принадлежали раньше кому-то другому, была бы невыносима), итак, из частиц, которые внезапно соединились и стали этим событием, и возникла картина и любовь, а то и другое не зависят от времени и пространства и будут жить, по крайней мере, столько, сколько буду жив я, а может быть, и дольше. Да что за вздор я несу! Как могут они жить дольше? Ведь после моей смерти все это со временем померкнет, поблекнут краски, чувства развеются, картина рассыплется — сумеет ли кто-нибудь отыскать и сложить утерянные части, собрать воедино все штрихи, линии, цвета, светотени и воссоздать ту картину?

Порой между мной и Марией словно повисает пелена ненастья. Видимость тогда ухудшается. Столик, чашки и рюмки заволакивает легкая дымка, а лицо Марии я вижу будто из-под полуопущенных век. Иногда мы даже отдаляемся друг от друга, словно стоим на противоположных берегах реки и паводок вынуждает нас отступать назад. Но там, где бурная река, расширяясь, мешает нам видеть отчетливо и изображение на время тускнеет, — высокая вода ничего в этой картине не разрушает. Не сбрасывает со стола рюмки, не изменяет лица Марии, не способна исказить чувства. Но даже если бы речные воды разлились еще шире и превратились бы в половодье и даже на какое-то время разлучили меня с Марией, я знаю, что это ненадолго. Река вернется в свои берега, картина выплывет из тумана и станет видна еще лучше. Рюмки засверкают, как хрустальные, солнце засветит ярче, Мария улыбнется, слегка кивнет мне, словно предлагая продолжить прерванный разговор. И пусть где-то там, над ее головой, за занавеской, по главной улице Саарбрюккена, в тысяче километрах отсюда, грохочут по мостовой кованые сапоги немецких пехотинцев и колеса орудий, пусть летят самолеты над песками Эфиопии, сбрасывая бомбы и строча из пулеметов, пусть абиссинские воины, прикрывшись кожаными щитами, мечут в неприятеля копья, пусть немецкие бомбардировщики из дивизии "Кондор" летают над Мадридом, Валенсией, Бильбао, оставляя за собой дома, вспоротые от крыши до подвала, и траурные клубы дыма, тщетно пробивающиеся к небесам! (В душе я немного встревожен тем, что происходит вдали, в воздухе, над головой Марии и вокруг нее, но ведь это так далеко, за тридевять земель. Какое мне до всего этого дело, если Мария сидит напротив и спокойно протягивает руку к чашке с кофе.) То, что течет, проходит, минует, не имеет значения. Важно лишь то, что существует, что остается и не меняется. Я что-то говорю Марии, однако не слышу собственных слов, как будто уши заткнуты ватой, но Мария слышит меня, не-

даром ведь она улыбается и отрицательно покачивает головой. Неуверенность смешивается с надеждой, с верой и даже уверенностью, что Мария не будет долго противиться, что мы все-таки заживем вместе в каком-нибудь небольшом домике, не важно каком, лишь бы стоял на самой окраине города, обязательно на окраине, чтобы можно было посадить в саду фруктовые деревья, цветы, фасоль и помидоры. Фасоль, конечно же, вьющуюся, которая взбирается высоко и цветет белыми или красными цветами. Помидоры мы будем подвязывать, окучивать, обрывать с них пасынки, чтобы не тянули понапрасну сок. Наши пальцы станут липкими и пропитаются терпким, свежим запахом давленой зелени, но это не беда, руки мы вымоем в бочке с дождевой водой, которая будет стоять под водосточной трубой. Осенью мы будем собирать в корзину сначала раннюю оберландскую малиновку, потом золотой и серый ранет. И все лето в саду будут цвести цветы, чтобы Мария могла составлять букеты и рисовать их. Да, сад будет полон деревьев и буйной, высокой зелени, которая отделит нас от дороги, соседей, от всего мира, заслонит наши тела, когда мы будем лежать на солнце, только с листочками на глазах. Кажется, так говорю или думаю один я. Мария молчит, но я вижу ее лицо. Она перестала улыбаться, лицо у нее серьезное, и неспроста: ведь то, что я ей предлагаю, как и все, чего пока еще нет, что еще только мечта, подернуто грустью, сомнением, неуверенностью. А может быть, за ее печалью кроется равнодушие ко мне и зарождающееся чувство к кому-то другому? Нет, пожалуй, это не так. Лицо Марии неподвижно, словно застыло, глаза смотрят на меня вопросительно, и хотя она вдруг повела головой, будто желая сказать, что согласна, глаза ее, кажется, говорят о другом: это только слова, слова, слова, как знать, что будет именно так? Каждое уходящее мгновение все меняет. Из будущего, которое нам неведомо, приходят новые события, и может измениться не только то, что зависит от нас, но прежде всего то, на что мы повлиять не в силах — так как же можно быть уверенным, что ты будешь любить меня, а я — тебя, что деревья примутся и будут расти, цвести, плодоносить, что фасоль будет тянуться вверх и уродятся помидоры? — кажется, об этом говорят глаза Марии.

3

Столик с чашками и рюмками и сидящую напротив меня Марию заслоняют тучи пыли и клубы дыма, из-за чего Мария становится почти неразличима, во всяком случае я не вижу ее уже так отчетливо, как прежде, но это вовсе не значит, что ее там нет. Она — там, я знаю это наверняка, и ждет меня. А в туманно-дымовом, в пыльном облаке мчатся люди на лошадях, всадники, приподнявшие, точно крылья, кверху локти, чтобы ускорить бег коней. Описывают круги, соскакивают на землю, снимают орудия с передков, и все это в страшной спешке, и вот уже пушки стреляют, полыхают огнем из стволов, откатываются назад, замолкают, замирают, потом вновь извергают огонь. Где-то далеко, среди туч поднимаются столбы черного дыма, горят леса, дома, храмы, а я одновременно и смотрю со стороны, и там нахожусь. Я чувствую отдачу приклада в правое плечо, мое тело сотрясается от каждого выстрела, но пули, выпущенные из ствола моей винтовки, бьют мимо цели, не останавливают врага, застревают в траве, лесах, облаках. Сражение проиграно, в утренней мгле в лугах, где стелется низом дым, стоят, понурив головы, кони. Замолкли ору-

дия, застыли солдаты. Мы не будем сажать фруктовые деревья, фасоль, цветы, помидоры. Тот клочок земли, что виден из нашего окна, зарос желтой травой и серыми кустиками чертополоха, весной надо будет его вскопать и засадить картофелем, а еще посеять между рядками немного фасоли, но только кустовой. Это все, что мы можем сделать, не более того, потому что еда всего важнее. Цветы, чтобы их рисовать, можно собрать и на лугу. Что же случилось? Нечто страшное: мы потеряли независимость. Но до конца этого еще не осознали, ибо не знаем, что такое неволя. Знаем только, что не сможем жить, как бы нам хотелось. Я не смогу писать о том, о чем бы хотел писать. Мария не сможет рисовать так, как бы ей хотелось. Мы с Марией смотрим в окно. Поднимается ветер, срывает с ольхи и тополей последние листья. Мир на наших глазах в ожидании снега стал пустым, серым, коричневым, потом черным. С темного неба начинает идти снег, в снежной вьюге, подгоняемая порывами ветра, летит стая ворон и галок. В стакане на подоконнике замерзло молоко. У Марии холодные руки, холодные щеки.

4

Слабый отблеск солнца освещает угол столика, покрытого коричневым пластиком. Край стола обит деревянной планкой. Солнечный свет бессильно падает на паркет и гаснет. Окно занавешено портьерой, рисунок на ней немного напоминал бы картины Мондриана, если бы... что "если бы"? Не знаю. Стены покрашены белой эмалью, такой, какой красят стены в больницах и санаториях. Светло, все отчетливо видно. Итак, стены — белые, голые, только в одном месте, в правом углу зала, под потолком, виднеется большое темное пятно, что-то вроде лишая, который медленно разъедает стену, в результате чего отслаивается краска, осыпается штукатурка и крошится кирпич. Обычное дело: видимо, на втором этаже лопнула водопроводная или канализационная труба. Пятно растет, растекается, занимает все больший участок стены. Я не хочу на это смотреть, опускаю глаза и вижу рюмку, до половины наполненную водкой, тарелку с недоеденной селедкой в сметанном соусе, алюминиевую вилку, голубой искусственный цветок, косо торчащий из красной вазочки. Его стебелек украшен зеленым листочком. На соседних столиках стоят такие же цветы в вазочках, издалека похожие на настоящие, но я вижу цветок вблизи, в полуметре от себя, и знаю, что он искусственный. Я вижу его совершенство и вместе с тем жалкую неестественность, оттштампованную автоматом в сотнях экземплярах. Этот цветок не живет, не растет и не пахнет, ибо он — только мертвая копия, зато долговечен и неувядаем. С него можно стирать пыль и даже мыть в теплой воде. Вот какие блага несет нам индустрия взамен... взамен — чего? Взамен недолговечного чуда, взамен исключительности, неповторимости, несравнимости ни с чем другим. Теперь, когда я смотрю на голубой искусственный цветок, я точно знаю: истинно не то, что кажется прочным и нерушимым, а то, что растет, цветет, увядает, погибает, что появляется ненадолго и исчезает. Напротив меня нет Марии, и это меня нисколько не удивляет. Она не любила искусственных цветов, рисовала только живые или придуманные. Впрочем, Марии здесь быть не может, потому что она не может существовать одновременно в двух разных действительностях. Сидеть за столиком с мраморной столешницей, на которой стоят белые чашки и сверкающие рюмки из тонкого стекла, — и в то же

время сидеть за столиком, покрытым коричневым пластиком и обитым с боков деревянной потемневшей планкой. Я допиваю оставшуюся водку, встаю из-за стола и выхожу на улицу.

5

В последнее время у меня сильно ухудшилось зрение. Когда я долго читаю, пишу, смотрю телевизор, то чувствую себя потом так, будто стою на обочине пыльной дороги, проходящей в глубоком овраге с отвесными склонами, а по дороге в клубах пыли тянется бесконечно длинная колонна грузовиков. Думаю, мне бы помог компресс из ромашки или крепкого чая, но когда я попытался представить себе, какого это будет стоить труда: как мне придется плестись из комнаты в ванную, потом в кухню и обратно, искать чистую тряпочку, заваривать ромашку, студить настой и еще много раз курсировать туда и обратно, — у меня пропало всякое желание этим заниматься, и я ограничился несколькими шагами в сторону тахты. Лег и закрыл глаза. Я лежал с закрытыми глазами и старался ни о чем не думать. Чувствовал, как лениво пульсирует в моем теле кровь, но кроме жжения в глазах меня ничто не беспокоило, ничего не болело. Я знал, что я у себя дома, что сейчас вечер, минут пятнадцать-двадцать одиннадцатого, что сегодня среда 14 января 1981 года. Счета за квартиру, электричество, газ и телефон оплачены. У меня ни к кому нет никаких претензий, и сам я никому ничего не должен. В доме стоит тишина, слышен только доносящийся из прихожей шорох диска электросчетчика и тиканье будильника на письменном столе, но оба эти звука постоянно присутствуют в моем доме, и поэтому я их почти не слышу. Я стараюсь, как уже говорил, ни о чем не думать. Но это также требует усилий воображения, поскольку воображение, прежде чем заставишь его замолчать, сопротивляется, мечется, манит, зовет. Оно предлагает короткие экскурсы в яркое прошлое и завораживает перспективой далеких успешных путешествий, сулящих радости победителя и на редкость удачливого любовника. И обещает приключения, овеянные свежим утренним запахом или упоительным благоуханием вечеров. Когда же я отказываюсь от этих предложений, воображение, словно в отместку, навязывает мне короткие вылазки в ближайшие окрестности, о которых я предпочел бы забыть: это те минуты, когда я ужасно опозорился, когда обидел кого-то, когда измывался над более слабым мужчиной или беззащитной женщиной. Не верите? Пожалуйста, вот вам еще, пострашнее: тюремная камера, следственный кабинет, больничная палата, морг. Черная ночь, пустынный рассвет в незнакомом месте, одинокий путь в никуда. Но я не хочу сидеть на скамейке в ботаническом саду рядом с женщиной, которая плачет, не хочу менять в банке золотые монеты на кучу банкнот и бумажные деньги на золото, не хочу сидеть в мягком кожаном кресле и даже на стуле в стиле Луи Филиппа; я не хочу ни жениться, ни разводиться, не хочу быть жертвой или победителем, покинутым или тем, кто уходит сам, не хочу быть оплакиваемым или горюющим, освистанным или же торжествующим. Я отгоняю, отбрасываю все, что предлагают мне воображение, память, фантазия, мечты и сны, убегаю подальше от тюремных ворот, спускаюсь сломя голову по мраморной лестнице с бронзовыми перилами, отменяю, уезжаю, отказываюсь, возвращаюсь, не возвращаюсь, я не желаю попадать туда уже никогда, отдаю долги, меняю золото на бумажные купюры — мне абсолютно ничего не нужно. Я бы хотел только еще раз увидеть маленький квад-

ратный столик и сидящую напротив меня Марию. Не знаю, почему это мое единственное, такое простое желание неисполнимо? Ведь я оттолкнул, отбросил все, разогнал другие воспоминания, освобождая место для одной этой картины, — и всё. У меня под веками песок, мои глаза наполовину слепы, я вижу все, как сквозь матовое стекло, как при катаракте. Я решительно слишком много курю, никотин плохо действует на глаза. Но ведь этот столик так близко от меня, буквально руку протянуть, почему же я его не вижу? Может быть, не только из-за того, что ухудшается зрение? Может, я сам виновен в том, что его не стало? Ушел, отдалился, забыл, позволил, чтобы что-то встало между мной и Марией, чтобы пространство между нами заполнилось чем-то чужим, не принадлежащим ни мне, ни ей. А может быть, я поступил еще хуже: сам разбил вдребезги и отнес на свалку мраморную столешницу, а круглую железную ногу, на которой она так уверенно и прочно держалась, сдал в металлолом? Но если уже нет столика, то где же Марии присесть и куда ей положить руки? Что бы там ни было, виновен я или нет, я знаю точно: это все где-то должно быть — ибо оно было. А если было — оно есть и будет! Я делаю еще одну попытку, напрягаю зрение, пристально всматриваюсь в пустоту, стараясь вернуть к жизни то место и то мгновение, — но ничего не вижу. В лучшем случае, когда мне удается вдруг разглядеть расплывчатые контуры каких-то предметов, появляется странное ощущение, что эти предметы словно отвернулись от меня, являя себя с совершенно незнакомой мне стороны, точно я смотрю на изнанку ткани, на нестроганые доски задней стенки шкафа, на обратную сторону театральных декораций. Вздор! Это не так. Не знаю, с чем бы это сравнить. Может быть, случилось то, что и должно было случиться после моей смерти и чего я так боялся: картина распалась на фрагменты и раздробилась на мелкие частицы, которые теперь складываются в совсем другой, не имеющий ничего общего ни со мной, ни с Марией рисунок?

Я приоткрыл глаза, смотрю из-под приспущенных век. Вижу свою комнату, заполненную предметами, которые мне знакомы во всех подробностях. То, что передо мной, видно лучше всего, по краям поля зрения картина менее четкая и чем дальше, тем более расплывчатая, и, наконец, начинается область, где я уже ничего не вижу, но знаю, что́ там. Достаточно повернуть голову немного влево или вправо или скосить глаза, и я увижу все очень отчетливо. Но мне не хочется делать никаких движений, я устал, словно вернулся из дальнего путешествия. Я понимаю, что окружающие меня предметы тоже утомлены долгой дорогой, которую, не покидая своих мест в комнате, вынуждены были пройти вместе со мной. Они запылились, выцвели, обтрепались. В голову мне пришла глупая мысль: любой, кто бы лег на мою тахту так же, как сейчас лежу я, видел бы все то же самое. Может, не совсем так бы видел, но несомненно то же самое. Итак, я вижу все, что находится в моей комнате, но не могу увидеть мраморный столик, чашки, рюмки, лицо Марии, и мне очень, очень грустно. Я снова чувствую жжение под веками, закрываю глаза, не хочу ничего видеть, не желаю ни о чем думать. И в этой печали, усталости, унынии на помощь приходит мое собственное живое тело: из моих слезных желез начинает медленно сочиться что-то жидкое, увлажняющее мои глаза, — я чувствую сначала обжигающее, а потом очищающее и успокаивающее воздействие этой жидкости. Не открывая глаз, вижу, как приоткрываются шторы, раздвигается пыльный занавес, оседает дым, воздух становится прозрачным, как после дождя. Рассы-

панные и затерявшиеся в пространстве частицы собираются вместе и скапливаются вокруг того места, которое я так долго и тщетно высматривал. А казалось, я уже навсегда потерял его из виду! Разрозненные частицы материи устремляются в это место, как солдаты на сборный пункт. Собираются, соединяются, складываются в твердо стоящий на тяжелой железной ноге столик с мраморной столешницей. Я очень отчетливо вижу структуру мрамора: розовые, черные, желтые, серые и коричневые прожилки, сплетающиеся в единое целое. Я вижу стоящие на отполированной поверхности мрамора две рюмки из стекла, тонкого и прозрачного, как мыльный пузырь. У Марии в рюмке на дне осталось немного водки, моя рюмка пуста. Я вижу две белые фарфоровые чашки с недопитым кофе. Господи, но почему на краю стола нет сумочки Марии, что с ней случилось? Эта сумочка вызывает у меня особые чувства, меня интересует и волнует ее содержимое, ведь я знаю только, что там лежат ключи, пудреница, губная помада, календарик, немного денег в небольшом черном кошельке — ну а что еще? Нет ли в ней какого-нибудь письма, которое Мария от меня прячет? Адреса какого-нибудь мужчины? Записи в блокноте, которая имеет ко мне отношение, или даже какого-то неосторожного моего замечания, которое может быть использовано против меня? Что за дурацкие подозрения! Сумочка лежала у Марии на коленях, а теперь она положила ее на угол стола, слева от себя. Правый угол столика раскалился от солнца добела. Не хватает еще салфеток, свернутых трубочкой и вставленных в стакан, — но вот они уже здесь! Чья-то невидимая рука поспешила восполнить этот недостаток. И все вернулось на свои места, опять все так, как было. За столиком сидит Мария и смотрит на меня. Ее лицо кажется неподвижным, но это лишь видимость, потому что малейшая смена выражения, легкий наклон или едва заметный поворот головы, чуть приоткрывающиеся губы и подрагивающие ресницы — все это подтверждает, что Мария, оставаясь собой, постоянно меняется, она все время немного другая. То хорошеет, а потом вдруг дурнеет, молодеет и стареет, становится сама собой настолько, что в это трудно поверить, а то вдруг напоминает кого-то совсем незнакомого, какую-то женщину, которую я никогда не видел. Эта переменчивость и одновременно верность себе и составляют, собственно, жизнь. Дают ощущение нашего существования и нетленности наших чувств. Но и вызывают у меня тревогу, ибо каждое, даже мельчайшее изменение может привести к чему-то, что повлечет за собой крохотное, вначале почти незаметное искажение, потом извращение и, наконец, может все сломать, разрушить, уничтожить. Картина пока не исчезла, я вижу все очень ясно: формы имеют четкие контуры, цвета чистые. Картина не плоская, а объемная, предметы на ней угловатые или округлые, их поверхность мягкая, гладкая или шероховатая, холодная или же теплая, Мария существует, она облечена плотью. А я не только все это вижу, я и сам здесь присутствую и счастлив так, насколько можно быть счастливым. Ничего больше я сказать не могу, мое волнение непередаваемо, ибо выходит за пределы представлений, понятий и слов, которыми я располагаю. Но я уже не ребенок. Капля жидкости, которую мы называем обычно слезой, которая очищала и исцеляла мои глаза, не скатывается с ресниц, не бежит по щеке. Никто ее не видит, поскольку течет она внутрь моего тела. Я чувствую ее во рту и в горле.

Перевод О. Катречко

Как одуванчик

ЭТОТ город лежит на вершине холма, возвышающегося над всей округой. К нему ведет длинная, плавно поднимающаяся и вьющаяся среди полей дорога. В ее начале по обеим сторонам растут деревья, потом она бежит среди пустых лугов. Но там, в городе, куда я иду, много разных деревьев, они растут островками, издалека похожими на искусно составленные букеты.

Попасть в этот раскинувшийся среди деревьев и окруженный стенами город можно через высокие сводчатые ворота. Я вхожу в них и оказываюсь в городе мертвых. Те, кто сто лет назад планировал его, были мудры и предусмотрительны. Им достало смелости понять самим и не скрывать от других, что человек — существо смертное и что город, в котором ему предстоит жить после смерти, будет расти и развиваться, ибо из города живых все обитатели со временем, рано или поздно, переберутся сюда. Вот почему кладбище широкое, просторное, разделено на кварталы, там есть свои районы и улицы. Главные аллеи пронумерованы, как авеню в Нью-Йорке: XI, XII, XIII — и так далее. Наверное, и это сделано с мыслью о будущем, для порядка и чтобы легче было ориентироваться. Я расстегиваю пиджак и снимаю кепку, потому что мне стало жарко, а дорога в этот город оказалась утомительной. Кругом царит тишина, только откуда-то издалека, из купы высоких деревьев доносится крик одинокой птицы. Я иду по центральной аллее между массивными строениями из черного мрамора. Их фасады украшены коваными бронзовыми или железными решетками и фонарями, выточенными из камня кашпо, жестяными венками. Окаменевшие ангелы, расправив крылья, обнимают колонны, склоняются над умершими, в отчаянье заламывают руки, плачут. Но их горе не раздирает душу, это скорее тихая печаль и упрек, обращенный к нам, еще живым. Я прохожу мимо просторных, комфортабельных резиденций, заселенных целыми поколениями, мимо укрепленных, как бункер, обителей одиноких людей и бездетных супругов.

Я сворачиваю на боковую улицу, где тридцать лет назад навечно поселился мой отец, в семистах километрах к западу от города, в котором родился. Хотел ли он остаться здесь навсегда? Не знаю. Он никогда об этом не говорил. Я знаю о нем очень мало. Нас словно разделяет завеса из густого тумана, который только временами, все реже и реже, рассеивает на мгновение ветер. И в эту секунду я вижу отца очень отчетливо: высокий, немного сутулый, он идет, несмотря на возраст, легкой походкой, время от времени делает движение рукой, как будто отодвигает в сторону какую-то не видимую мне преграду на своем пути. У меня не получается завязать с ним разговор. Он не отвечает на мой вопрос, только изредка раздается его покашливание, которое обычно предшествовало ответу, но ничего, кроме этого покашливания, я не слышу. Иногда отец является мне неожиданно, и я вижу его так отчетливо, будто на него направили луч прожектора. Тогда я стою как вкопанный, напрягаю зрение и слух, жду, что он сделает, что скажет? А он, как во времена моего детства, словно сам ребенок, устраивает какое-нибудь дурацкое представление, например, нагибается, осторожно срывает белый одуванчик, медленно подносит его ко рту, вытягивает губы, дует — и одуванчик

© О. Чехова. Перевод, 2002

рассыпается в воздухе и исчезает. Потом отец оборачивается ко мне и улыбается, как будто хочет сказать: "Было — и нету! Правда, смешно?" Иногда он еще раз повторяет фокус, который, когда я был маленьким, так меня поражал.

Я наклоняюсь над могилой отца, очищаю землю от листьев и пожухлой травы, потом расставляю лампады. Я думаю: вот на глубине полутора метров под землей, среди истлевших досок, лежат кости человека, который был моим отцом. Я приехал сюда только для того, чтобы зажечь свечи на его могиле. Уж не самолюбие ли мною движет — как если бы я приехал на свою могилу, как если бы воздавал почести самому себе? Я поправляю лампады, меняю их местами. То мне кажется, что они должны составлять какую-нибудь геометрическую фигуру, то я снова расставляю их в беспорядке по всей поверхности, или наоборот — собираю вместе. Мысли и чувства, сопутствующие моим действиям, очень сложны. Тут есть что-то общее с эстетикой или даже с магией. Мне вспоминается шутливая присказка отца, которая так сердила мою маму: "Чем глупее, тем смешнее..."

У меня еще много времени, лампады я хочу зажечь, когда стемнеет. Я возвращаюсь на центральную аллею и иду в ту сторону, где возвышается величественное здание, этакая провинциальная миниатюра греческого Пантеона. Здесь, в окружении особ, почитаемых в этих краях, покоится человек, который сыграл немаловажную роль в моей жизни. Это был старый социалист, родом из девятнадцатого века, уже тогда, в пору моей молодости, выглядевший несколько старомодно и комично в своем сером, развевавшемся на ветру просторном плаще, в широкополой шляпе и с серебряным пенсне на носу. Я зажигаю на мраморном краю плиты три лампады. Читаю фамилию, некоторое время стою, всматриваясь в медные буквы, не думаю ни о чем, как будто отвечаю на чей-то призыв к минуте молчания. Потом иду дальше. Прохожу мимо могил все более скромных, более запущенных. Иду среди старых деревьев дорожкой, устланной ровным слоем почерневших листьев. Вот хозяйственные постройки, сарай, гранитная мастерская под навесом, вот тачка, лопаты, доски, груда мусора, венков, букетов, цветочных горшков, а дальше — могилы солдат, погибших во время Первой мировой войны, которая произвела меня на свет. Могилы забытых солдат. Их заслуги нам уже безразличны, их геройство кажется совершенно бессмысленным, их жизнь и смерть никому не нужны. Кресты проваливаются, их втягивает в себя земля, которая давно уже пожрала тела, мундиры солдат и поглотила память о них. У этих солдат уже нет ни фамилий, ни национальности. Я помню, что когда-то здесь лежали поляки, сербы, немцы, русские, но время всех сравняло и перемешало. Я зажигаю свечу на первой с краю могиле — маленьком, еле видном, густо заросшем травой холмике. И отхожу с неясным чувством, словно сделал что-то неуместное. Будто кто-то сказал мне: с таким же успехом ты мог бы зажечь лампаду на пригородной свалке, куда уборочные машины вывозят безобразные вонючие отходы, хлам, который прежде кому-то был нужен.

Чтобы добраться туда, куда я хочу еще сегодня попасть, надо пройти через сырой, болотистый уголок, низину кладбища, место, которое не годилось даже для того, чтобы хоронить самых бедных. Здесь росла высокая, острая, ярко-зеленая трава, лопухи, мать-и-мачеха и хвощ. Но с тех пор как я приходил сюда в последний раз, произошли огромные перемены: забор, сломанный, лежит на земле, большой неподвижный

бульдозер, облепленный глиной, стоит накренившись там, где прервал свое занятие — нивелировку территории. Он уже много сделал — почти вся ложбина, прежде болотистая и заросшая сорняками, теперь засыпана землей, привезенной с ближайшего холма. Ясно видна дорога, по которой доставлялась земля, — полоса перерытого луга, вырванные с корнем и разбросанные кусты, камни, штакетины. Я подумал: когда не останется свободных участков, этот закуток приведут в порядок и отдадут в пользование тем, кто там, в городе живых, ждет своей очереди.

Неподалеку начинается самая старая часть кладбища. Приближаясь к ней, я узнаю железные, поржавевшие кресты на серых известковых постаментах с жестяными табличками в форме овальных щитов или полуразвернутых свитков, на которых указаны фамилии и дата смерти. Некоторые надписи уже невозможно прочитать. Это могилы одиноких людей или тех, на ком оборвался род и у кого связь с живыми утрачена навсегда. Среди таких скромных памятников есть несколько побогаче. Когда-то, до войны, надписи на них были высечены на иностранном языке, но это никого не удивляло: все знали, что люди, которые здесь покоятся, не были поляками. Я останавливаюсь перед одним из памятников — обелиском из черного мрамора, украшенным маленьким бронзовым барельефом с изображением Христа в терновом венце. На обелиске когда-то была надпись: “Hier ruht Familie Orfini”. Слова “Hier ruht Familie” уничтожены: над ними поработали долотом, сохранилась только фамилия: “Orfini”. Бедный Ян, точнее, Иоганн, ты был маленького роста, с румяными щеками, от тебя сильно пахло немецким одеколоном, всегда одним и тем же. Ты был красив почти как Роман Наварро — ах, все мужчины тогда походили на Романа Наварро. Но твоя жена, выше тебя на голову, а то и больше, с премилым, улыбающимся личиком и всегда как будто сонными глазами, — твоя жена придерживалась, кажется, иного мнения о твоей красоте. Впрочем, не знаю, я не интересовался тогда такими вещами. По профессии ты был торговцем, возглавлял представительство какой-то швейцарской фирмы электроприборов, но предоставлял жене заниматься всеми этими глупостями. Тебя поглощали более важные дела. Ты умер в 1941 году, как мне сказали, в марте. Да, март — это месяц, в котором мы, рыбаки, умираем. Ты был немцем, это правда, но, по рассказам, часто повторял, что вся Германия — это один большой сумасшедший дом. А они, наверное, тебя считали сумасшедшим, если не кем-нибудь похуже. Теперь твое имя уничтожено, тебя лишили национальности. Почему так случилось? Почему мы поступили так именно с тобой? Какое преступление ты совершил, что плохого сделал тем, в чьей стране жил? Ты ни в чем не виноват. Тебя наказали за то, что сделали другие. Их было столько, что всех не знали и не запоминали фамилий. Узнавали только по одному общему признаку — они говорили на том же языке, что и ты. Люди, пользующиеся твоим языком, били, пинали ногами, убивали людей, говорящих на других языках. Они делали это в Польше, во Франции, в Норвегии, в Белоруссии и на Украине, в России и Югославии, в Чехословакии и Дании. Некоторые немцы научились говорить и на других языках и говорили во время допросов неуклюже, смешно, по-детски. Но человеку не до смеха, когда его подвешивают на дыбе, душат, прижигают раскаленным железом, вырывают ногти, расплющивают пальцы, волокут, привязав к машине, надевают петлю на шею, ставят к стенке. Это они, говорящие на немецком языке,

построили огромные бойни для людей, говорящих на других языках. Они поставили умерщвление на промышленную основу, придумали печи для сжигания трупов, мельницы для перемалывания костей. Добывали таким способом сырье, которым снабжали немецкую химическую промышленность, мыловаренные фабрики, изготовителей искусственных удобрений, производителей матрацев и шляп.

Я ставлю на каменную оградку свечу и зажигаю ее. Вокруг тишина, иногда с жестяным потрескиванием падает сухой лист. Сквозь застилающий глаза туман я пытаюсь увидеть Орфини. Сначала я не могу пронзить мглу взглядом, он — как луч прожектора, теряющего в тумане свою силу. Я напрягаю зрение, пробую прибавить яркость, и наконец в тот момент, когда я уже готов прекратить бесполезные усилия, молодой Орфини является мне неожиданно, как будто вырастает из-под земли. Секунду я вижу близко его маленькие, тонкие, слегка дрожащие руки, чем-то занятые — он привязывает крючок или насаживает наживку, — и слышу несколько слов, произнесенных по-польски, очень тихо и неразборчиво, что-то вроде: "Пойдем туда, под старую иву, там хорошо..." Но когда я хочу получше разглядеть, что делает Орфини, он отпрыгивает куда-то в сторону, прячется, исчезает. И не возвращается. Вот как немного осталось от человека, которого я так любил, — только с трудом вызванное из небытия воспоминание. Я подумал, что человек умирает дважды: один раз физически, второй — в памяти людей. И только эта вторая смерть и есть смерть окончательная.

Стемнело неожиданно, будто кто-то погасил фонари, освещающие землю. Я покидаю могилу Орфини и опять иду по направлению к новой части кладбища навестить одного почтового служащего. Его звали Владислав Коруто, он жил этажом ниже и ничем особенным среди того маленького сообщества, каким был наш дом, не выделялся. Возвращался домой поздно, потому что после работы имел обыкновение заходить в один довольно уютный ресторанчик, где ел гуляш по-венгерски, играл в бильярд и рассуждал о политике и войне в Абиссинии. Около двенадцати, подгоняемый тряпкой жены хозяина, он выходил вместе с последними посетителями через кухню и двор. Потом медленно брел домой, старательно и упорно преодолевая все преграды, подъемы, неровности мостовой и сопротивление воздуха, который, казалось, отталкивал его, усложнял путь к месту назначения. Дома его, похоже, считали человеком очень скверным, плохим мужем и отцом. Он, вероятно, был груб, резок, давал слишком мало денег на жизнь. Меня это не интересовало, не интересовала его некрасивая, как будто вечно заплаканная жена, развешивавшая во дворе залатанное белье, не интересовали его дети, крикливые и плаксивые, надоедливые и злые. Его квартира, пустая, точно все, что в ней было, распродали, оставив лишь обшарпанную детскую коляску в прихожей, воняла пеленками, капустой и луком. Из-за ободранной двери слышались стук, крики, плач. "Не знаю, что ты в нем нашел, как ты можешь ходить с ним на рыбалку, это ужасный человек!" — кричала моя мама, предварительно закрыв окно. А иногда она говорила: "Ты ходишь с ним на рыбалку, вы гуляете, разговариваете, ты мог бы при случае пристыдить его..." Но меня не интересовало, кем Коруто считали другие, — для меня имело значение только, кем Коруто был для меня.

Над водой, над извилистой, заболоченной, заваленной стволами и ветками рекой, под величественными кронами дубов, лип и тополей он,

Коруто, выступает в своей истинной роли, становится самим собой. Его походка, тяжелая на городских улицах, здесь почти воздушна. Вот он легким, танцующим шагом приближается к воде, держа в правой, вытянутой вперед руке удилище... нет, это не удилище, это дирижерская палочка или шпага. Он наклоняется, уже не идет, а крадется. Останавливается, делает движение, словно сейчас закружится в вальсе. Но лишь взмахивает удилищем, которое сверкает в воздухе, как луч солнца. Забрасывает. Минуту стоит неподвижно, но это только так кажется, потому что его тело изготавливается, группируется. Шаг за шагом, не останавливаясь ни на секунду, Коруто идет вдоль реки. Идет? Нет! Он, как при замедленной съемке, плывет, летит, не касаясь ступнями земли. Двигается, как великий танцор и великий актер: ни один его жест не повторяет предыдущего, а если он остановился, это вовсе не значит, что застыл в неподвижности. Он, Коруто, кажется частицей какого-то великого произведения, которое создает здесь, над водой, среди зелени и цветов, на фоне деревьев и облаков. Я иду следом, но куда мне до него! Я ступаю тяжело, как медведь, у меня под ногами трещат сухие ветки и хлюпает грязь, удилище я забрасываю так же неуклюже, как девчонки бросают камни. Мой крючок с наживкой вместо того, чтобы попасть в воду, без конца цепляется за ветки дерева. Я останавливаюсь, дергаю удилище, рву леску, время от времени взбираюсь на дерево либо пытаюсь сбить крючок камнем или палкой. Коруто уже далеко, мне надо его догонять. Вдруг я вижу: он встал как вкопанный, попятился, а перед ним, в десяти или пятнадцати шагах, бьется в воде и рвется с крючка огромная рыба. Как же он сейчас красив, кажется, он растет вверх и вширь! Его живот, выпирающий из расстегнутого пиджака, — это совсем не пузо любителя пива, а красивое, правильной формы вместилище силы. Развевающиеся полы его черного поношенного и засаленного пиджака — крылья, при помощи которых он, как хищная птица, оказывает рыбе сопротивление, борется с ней, чтобы через минуту вытащить ее на берег. Его вторая рука в это время проделывает в воздухе движения, напоминающие движения свободной руки фехтовальщика: уменьшает нагрузку, удерживает равновесие, украшает работу и борьбу правой руки. Наконец левая рука извещает о победе!

Потом мы сидим под деревом, он говорит: “Мир прекрасен. Хочешь пить? Пей, сынок, пей, мне оставь глоточек. Я вижу, тебе нечего курить? Бери, братец, кури...” Мы ложимся в тени. Жаркий полдень, стрекочут кузнечики и квакают лягушки. Он подпирает щеку рукой, закрывает глаза. Я смотрю на него, на его большую, лысую голову; добрая, наивная улыбка озаряет его лицо.

Смеркается, я уже не вижу фамилии, но зажигаю лампаду, и ее свет выхватывает из темноты буквы, высеченные на сером камне: “Владислав Коруто, Марцианна Коруто (Косченская)”. Они лежат рядом в согласии и тишине, прикрытые одной землей, заросшей травой и сорняками, забытые живыми людьми, собственными детьми и соседями.

Уже ночью я возвращаюсь на могилу отца. Тьма опустилась на землю и соединила ее с черным, пустым, беззвездным небом. Я зажигаю лампады и сажусь на холодную каменную плиту. Я думаю: ты был моим отцом, это ты расшевелил и заставил делиться клетки, из которых построено мое тело. Я такой, какой есть, благодаря тебе. Мои глаза и руки, кожа и сердце, мои волосы и ногти сформировались по твоему образу и подобию. Наверное, у тебя было еще много других возможностей, других ва-

риантов, еще много чего имелось в запасе, но ты этим не воспользовался. Во мне, несомненно, много твоих черт: ум, темперамент, характер, — черт, которые бросались в глаза, или тех, которые ты скрывал. Разве моя судьба и то, что я делаю в жизни, не должны иметь много общего с тобой, с тем, что ты сделал, что хотел совершить или что осуществить тебе не довелось? Я мало о тебе знаю и ничего больше узнать не могу. Ты никогда не рассказываешь мне о себе и не отвечаешь на мои вопросы. Я часто задаю тебе, например, такой вопрос: как жить? Минуту, отец, не маши рукой, как будто отгоняешь муху! Мне пятьдесят с лишним лет, из них двадцать с чем-то я прожил более или менее сознательно, то есть отдавая себе отчет в том, что делаю. Я старался иметь какие-то убеждения и принципы и по мере возможности поступать согласно с ними. Несмотря на это, я не доволен своей жизнью. Но ничего из того, что уже совершено, изменить не удастся. Однако впереди у меня есть еще несколько лет. (Может, есть, а может, и нет — будем считать, что есть.) Так как же я, по-твоему, должен распорядиться тем, что мне осталось? Должен ли я жить своей жизнью или же участвовать в жизни других? Ограничивать себя или ни в чем себе не отказывать? Транжирить или экономить? Брать на себя обязательства или страдать? Понимаешь, о чем речь? Просто о том, как использовать те годы, которые мне еще остались. Наполнять их до краев день за днем, час за часом, работая, суетясь, падая от усталости и поднимаясь, — или пройти эти годы легко, словно прогуливаясь, без цели, не заботясь о том, в какую сторону идти, потому что дорога и так выведет меня туда, куда нужно? На глупые вопросы не отвечают... Нет, это не слова моего отца, это я сам себе ответил. Отец не отзывается. Где-то, как будто за темной вуалью, очень нечетко, я увидел его на мгновение: он наклонился, сорвал одуванчик и дунул на него, потом улыбнулся. Но это была не настоящая отцовская улыбка, а какая-то вымученная, неестественная, как будто отец был раздражен и очень спешил.

Тихо; только иногда с дуновением ветра из темноты долетает стук колес паровоза или шум машин. Огоньки расплавили и выпили стеарин, две лампады погасли. Становится холодно, уже поздно, через час уходит мой поезд. Я покидаю могилу отца и иду к воротам. В их своде видны огни лежащего внизу города. Огни похожи на звезды, их становится все больше. Они немного рассеивают темноту и указывают мне дорогу.

Перевод О. Чеховой

Вольфганг Хильдесхаймер

Рассказы

Перевод с немецкого Е. Колесова

1956: *год памяти* Г. Т. Пильца

ПОДХОДИТ к концу 1956 год — год воспоминаний о великих людях, чьи юбилеи рождения и смерти принято отмечать фестивалями и торжественными мероприятиями: о Моцарте, Гейне, Рембрандте, Цезаре и Фрейде. Ораторам, поклонникам, государственным деятелям и дипломатам отдыхать в этом году было просто некогда. И все же одного великого человека забыли: это Готлиб Теодор Пильц, умерший 12 сентября 1856 года.

Его труд и по сей день практически никем не оценен. Что, впрочем, не удивительно, ибо он был не создателем, а предотвратителем создания очередных великих творений. Его вклад в историю культуры — это огромное количество произведений самых разных авторов, никогда не увидевших свет благодаря его неутомимой, самоотверженной критике. Стоит ли удивляться, что его не помнят потомки, привыкшие оценивать великих людей по произведениям, ими опубликованным, а не за их мужество отказаться от публикации?

Готлиб Теодор Пильц родился в 1789 году в зажиточной протестантской семье. Местом его рождения считают Динкельсбюль или Нёрдлинген: споры о том, где именно он родился, не утихают до сих пор, и в обоих городах имеется "дом Пильца" с мемориальной доской. (См. статью Г. С. Грюцбахера "Пильц — уроженец Динкельсбюля? Новые данные к

© Е. Колесов. Перевод, 2002

спорному вопросу". – Журнал "Проблемы прикладной культуры", 1881, том XXII.) Впечатления ранней юности много способствовали формированию мировоззрения позднего Готлиба Теодора[1]. Еще над колыбелью мать пела ему хоралы Букстехуде, а отец читал вслух Тацита и Мильтона в собственном переводе.

В 1798 году семья переехала в Гамбург, где девятилетний мальчик соприкоснулся наконец с современной немецкой культурой. Одним из ближайших друзей дома был Клопшток, визиты которого всегда сопровождались чтением очередных глав из "Мессиады" или свежеиспеченных од, которые он, несмотря на почтенный возраст, продолжал писать по нескольку сотен штук в месяц. В своем письме к Мейерберу (1836) Пильц, описывая эти визиты, рассказывает, как он мальчишкой подкрадывался к тогда уже сильно близорукому поэту и выдергивал из приготовленной к чтению пачки целые десятки листов с очередными одами, чего тот никогда не замечал. (См. "Семь писем Готлиба Теодора Пильца". Изд. К. Ф. Гуцков, Книжный дом Котта, 1864.)

Бывали в доме Пильцев и поэты "Бури и натиска", внося с собой свежий ветер протеста против всего и вся и понятие свободы личности. Это происходило на фоне подъема национального духа, наступившего после позорного военного разгрома. Увлеченный всеобщим порывом юный Готлиб Теодор взялся за перо и за одну вдохновенную ночь сочинил свою первую и единственную драму: "Герцог Теодор Готландский". Это было в 1804 году, Пильцу было 15 лет.

Окончив гимназию, он отправился в Италию, где прожил до 1809 года. Уже тогда в его личности начали проступать черты, за которые мы и чтим его сегодня: в течение двух лет пребывания на юге он не только не вел дневник, но и не делал никаких записей или эскизов, чтобы выразить свое отношение к итальянской культуре. О том времени он не оставил нам никаких свидетельств. Даже при виде знаменитого Неаполького залива на его лице не дрогнул ни один мускул. Сохранилось лишь письмо от 1808 года[2]. В нем проявляется редкая для людей его возраста трезвость взгляда, поэтому мы цитируем это письмо полностью:

Палермо, Каса Годзоли, седьмого октября 1808 года

Дражайшая матушка,
пребываю я здесь весьма благоприятно, а потому думаю остаться еще на некоторое время. У меня к Вам нижайшая просьба: не сочтите за труд отыскать мою замшевую накидку и переслать ее мне, потому что вечера здесь довольно прохладны.

Уважающий и любящий Вас сын
Готлиб Теодор.

О жизни Пильца в Италии в эти годы существует много свидетельств, в том числе записки Августа Вильгельма фон Шлегеля, кото-

1. Как справедливо указывает Густав Просник в своей книге "Юность великих людей" (прочесть которую рекомендуется всем любителям познавательной литературы), это обстоятельство является единственным, объединяющим Пильца с другими великими людьми. (*Здесь и далее – прим. автора.*)
2. Оригиналы семи писем, к сожалению, погибли во время большого пожара в Гамбурге. К их издателю, Карлу Фердинанду Гуцкову, в последнее время принято относиться скорее настороженно из-за его чересчур вольной обработки текстов Бюхнера. Однако это еще не дает оснований предполагать, что он позволил себе что-то изменить в письмах Пильца.

рый вместе с мадам де Сталь встретил его там в 1808 году. "Мы шли по Аппиевой дороге, – пишет Шлегель, – и увидели человека, сидевшего на солнце" (Пильца с полным правом можно назвать "пионером сидения-на-солнце"). Далее Шлегель сообщает, что спросил у этого человека, как пройти к термам Каракаллы, которые были целью их прогулки. Пильц же ответил, что он и сам не местный житель. Убедившись, что они находятся в сходной ситуации, Шлегель и Сталь попытались вступить с ним в разговор. Однако Пильц, по словам Шлегеля, оказался "в высшей степени невежлив": даже не взглянув на них, он продолжал, прищурясь, смотреть на солнце. На самом же деле, как рассказывал потом сам Пильц, он был "удручен назойливостью мадам де Сталь", отчего стал нервен и неразговорчив, когда же она, без всякого поощрения с его стороны, сообщила, что собирается писать книгу о Германии, он напрямик спросил ее: "А зачем?" Но мадам де Сталь, как выяснилось, над этим вовсе не думала и оставила вопрос без ответа.

Потом они еще несколько раз встречались в римском кафе "Греко". Отхлебывая свой "двойной меланж", Пильц пытался отговорить мадам де Сталь от ее намерения, но так ничего и не добился: она не пожелала отказаться от своей мечты описать столь любимую ею Германию. И ее "De l'Allemagne"[1] действительно скоро вышла (в 1813 году).

В 1810 году Пильц был в Берлине, где совершенно случайно встретился с пожилым Фридрихом Людвигом Яном. Знаменитому немецкому патриоту понравился симпатичный юноша двадцати одного года от роду – почему именно, историкам остается только догадываться, – и Ян признался ему, что хочет описать освободительную борьбу древних германцев против римских завоевателей в целой серии крупномасштабных театральных драм, что уже написано несколько сцен, в том числе знаменитая "Германова битва", которую он готов ему прочесть. Пильц не только отказался слушать, но и воспользовался случаем внушить старику, что тот вступил на неверный путь. Про Германову битву и так писали уже все кому не лень и еще будут писать, сказал он (и это были пророческие слова!). Нет, сказал Пильц, в ваших способностях сомневаться не приходится, и я ни в коей мере не хочу умалять их, однако ваше истинное призвание не в этом. Вы же сами рассказывали, что любите спортивные упражнения. Может быть, убеждал его Пильц, вам стоит сделать эту свою любовь к спорту целью и задачей жизни, прививая немецкой молодежи вкус к самовоспитанию, которого ей так не хватает, став для нее примером? Вас стали бы называть "Яном – отцом спорта", что уже означало бы славу. Яну идея понравилась, потому что для тех времен она была по меньшей мере нетривиальна. Он порвал рукопись своей "Германовой битвы" и, насколько известно, никогда больше не возвращался к драматургии. В 1811 году он открыл первый в Германии спортивный зал.

О том, где жил Пильц в последующие три года, точных данных не имеется. В 1814 году мы встречаем его в Вене, там он слушает новую постановку "Фиделио". Какое впечатление произвела эта постановка на двадцатипятилетнего Пильца, историкам также ничего не известно. Скорее всего, он по своему обыкновению просто не высказывался об этом ни устно, ни письменно. Известно, однако, что во время своего пребывания в Вене он общался с Бетховеном, так что перерыв в творчестве последнего, приходящийся как раз на 1814–1818 годы, скорее все-

1. "О Германии" (*франц.*).

го, следует объяснять именно влиянием Пильца. Однако эта гипотеза еще требует подтверждения со стороны независимых исследователей.

В 1815 году Пильц пишет второе из вошедших в сборник писем. Оно адресовано отцу. В письме он сообщает, что ему удалось отвлечь Мюльвезеля[1] от идеи сочинения оперной трилогии о династии Габсбургов, преподав тому несколько уроков игры в тарок. "Сначала М. возражал, утверждая, что он не игрок, а музыкант, и то, что сумел сделать Бетховен, под силу и ему. Может быть, и так, отвечал я, однако это еще не повод воплощать в жизнь первую пришедшую в голову идею. Стоит ли браться за дело лишь ради того, чтобы сделать что-то, что уже было кем-то сделано? В конце концов я его убедил. Сам же я намереваюсь провести несколько недель в Швейцарии, чтобы отдохнуть от треволнений последнего времени".

Эти несколько недель растянулись на годы. В 1819 году мадам де Сталь встретила Пильца на берегу Женевского озера, где тот загорал неподалеку от ее поместья. Она обратилась к нему, но он не ответил. Вполне вероятно, что он просто прикинулся спящим, потому что не ожидал от ее общества ничего интересного для себя. Вот еще одна черта, разительно отличающая Пильца от большинства его современников.

В 1821 году Пильц возвращается в Берлин, где знакомится, в частности, с Э. Т. А. Гофманом. В один прекрасный день он, по настоянию последнего, соглашается пойти вместе с ним и Людвигом Девриентом в кабачок "Лютер и Вегенер". Выпить с друзьями Пильц никогда не отказывался, и в этот вечер он почти было решил признаться знаменитому театралу Девриенту, что в юности сочинил драму. Но не успел: за соседним столиком сидел молодой человек, "отвратительно много выпивший и не старавшийся скрыть этого". Вскоре Пильц услышал, что фамилия молодого человека Граббе, а зовут его Кристиан Дитрих, и что он поэт, и что своим долгом считает вытеснение Шекспира со сцены немецких театров.

Готлиба Теодора это заинтересовало. Он пересел к молодому человеку, обратившемуся к нему с радостным, но невнятным бормотанием, из которого Пильц тем не менее уяснил основную идею: Шекспир — жалкий компилятор, умевший писать лишь дешевые либретто. Поняв, что сей предмет не стоит серьезной дискуссии, Пильц попытался отвлечь молодого человека от его излюбленной темы, поднимая за него все новые тосты. Однако Граббе не желал отходить от нее и под конец, когда язык ему уже не повиновался, в доказательство своей правоты извлек из кармана рукопись и бросил через стол Пильцу. Это было его переложение "Виндзорских проказниц". Пильц взял рукопись, а когда Граббе вдруг потребовал ее обратно, отдал ему текст своего "Герцога Теодора Готландского", которую Граббе и уложил к себе в карман.

Граббе потом так никогда и не вспомнил об этом недоразумении. Эта драма и поныне считается одним из лучших произведений Граббе. В действительности же она принадлежит Пильцу.

В период с 1823 по 1840 год Пильц живет в Париже. В 1824 году он знакомится там с баронессой Авророй Дюпен-Дюдеван. Она сразу же ощутила самую нежную склонность к тридцатипятилетнему немцу. Однако Пильц, не желая затевать роман с этой, впрочем, весьма неглупой дамой, посоветовал ей научиться носить мужское платье, назваться Жорж Санд и начать писать, как она потом и поступила. Тут можно за-

1. Франц Ксавер Мюльвезель (1778–1859) — мастер игры на цитре, сделавший состояние на игре в карты.

метить, что сей поступок не очень согласуется со всей деятельностью Пильца, и некоторые критики сочли его необдуманным и даже безответственным. На самом же деле Пильц стремился лишь отвлечь внимание баронессы от своей собственной персоны и дал этот совет, будучи абсолютно уверенным, что та никогда ему не последует. Когда же он, убедившись в своей ошибке, познакомил Аврору с Шопеном, было уже поздно; от Шопена она не отказалась, но и от литературы тоже.

Именно Пильц, между прочим, хотя об этом мало кто знает, в 1835 году отсоветовал Шопену ходить в женском платье и называть себя Авророй Дюпен. Этот его поступок потом тоже критиковали, и достаточно резко, хотя сторонников у него нашлось гораздо больше — среди тех, кому не хотелось бы лишиться знаменитых мазурок, этюдов и вальсов.

В 1828 году Жорж Санд вместе с Пильцем были в опере, где последний познакомился с Мейербером, и вскоре между ними завязалась настоящая дружба. С самой первой встречи Пильц стал убеждать Мейербера, что тот заблуждается, считая своим истинным призванием музыку. Однако Мейербер был непоколебим. Он уверял, что никакое иное поприще не принесло бы ему столько успеха и что он счастлив дать публике то, что ей хочется слышать и видеть. Убедившись в бесполезности своих попыток, Пильц передал ему "Виндзорских проказниц" Граббе в качестве либретто для новой оперы. Внимательно изучив рукопись, Мейербер отказался, так как, по его словам, "тут ему не на чем развернуться".

Тогда Пильц решает отослать ее Бетховену и пишет свое третье письмо (датированное 22 ноября 1828 года). "Замечу кстати, — сообщает он в этом письме, — что недавно мне довелось слушать Вашу Пятую симфонию. Недурно, весьма недурно! И все же, дорогой маэстро, мне кажется, что Вам надобно сделать передышку в Ваших титанических трудах, обратившись к чему-нибудь более легкому. Забудьте о трагизме существования, ведь нести эту ношу так утомительно! Возьмите хоть "Виндзорских проказниц" да и сочините по ним оперу. Тем более что сценарий уже есть". Письмо вернулось нераспечатанным, так как Бетховен умер в 1827 году.

Берлиоза рукопись Граббе тоже не заинтересовала, и Пильц, взяв несколько уроков композиции, в 1837 году сам сочинил к "Виндзорским проказницам" музыку, подписавшись Отто Николаи.

Вершиной творчества Готлиба Теодора Пильца можно считать 1836 год. В этом году ему не только удается отговорить Делакруа от его замысла создать серию монументальных полотен, изображающих жизнь в джунглях, но он еще сочиняет целых два письма. Оба адресованы Мейерберу, жившему тогда в Берлине. Первое письмо носит скорее характер размышления. Оно свидетельствует о глубокой самокритичности автора: Пильц рассказывает о становлении собственного эстетического чувства художественного восприятия, называя его причиной и основным движущим мотивом своей "предотвратительной" деятельности. Между строк вновь ненавязчиво проскальзывает намерение автора отговорить адресата от сочинения дальнейших опер. (Следует признать, что Мейербер, первейшим свойством души которого было подлинное великодушие, на Пильца за это никогда не обижался.)

Во втором письме деятельность Готлиба Теодора на ниве торможения всеобщего творчества раскрывается перед нами очень ярко. Процитируем один отрывок: "Вечером были у Россини. Угощение, как всегда, было великолепным. Среди прочего, хозяин угостил нас таким турне-

до[1], что его одного хватило бы, как выразился Альфред (имеется в виду де Мюссе), чтобы обессмертить имя Россини. Подхватив эту мысль, блестящую и саму по себе, я постарался всерьез убедить Россини целиком посвятить себя гастрономии. Он обещал подумать".

Старания Пильца в конце концов увенчались успехом. Знаменитое блюдо "Tournedo a la Rossini" (1836) прославило его создателя не меньше, чем созданная шесть лет спустя "Stabat Mater", ставшая фактически последним его музыкальным произведением. С того времени и вплоть до самой своей кончины в 1868 году Россини не написал больше ни одной ноты и не прикоснулся ни к одному музыкальному инструменту, посвятив себя исключительно кулинарному искусству, в котором добился выдающихся успехов.

Следующее письмо Пильца, датированное 1841 годом, адресовано прачке и, соответственно, далеко не столь ярко. Он сообщает ей о пропаже после стирки нескольких своих галстуков. В издание Котта это письмо включено, по-видимому, только полноты ради.

В эти годы Пильц состоит членом жюри Академии изящных искусств, где предлагает отбирать картины по жребию, ибо, по его словам, все подаваемые работы настолько равноценны, что уже не имеет значения, какую из них выставить, а какую отвергнуть. Однако его предложение не было принято и даже вызвало ненависть со стороны нескольких художников, в те времена довольно влиятельных, а ныне совершенно забытых, что, пусть и много десятилетий спустя, блестяще подтвердило правоту Готлиба Теодора.

Об остальной деятельности Пильца в этот период известно мало. Однако можно с уверенностью предположить, что он по мере сил продолжал тормозить излишнее художественное рвение своих современников, о чем свидетельствует сравнительно небольшое количество созданных в эти годы произведений. Тем не менее считать его деятельность одной из причин ранней смерти некоторых мастеров эпохи романтизма, как ничтоже сумняшеся заключали позднее многие критики, по меньшей мере несправедливо. Стоило бы сказать им: искусству вашей эпохи существование тормоза такого масштаба, как Пильц, пошло бы только на пользу!

В 1842–1850 годах Пильц путешествует по Италии, Швейцарии и Германии, где знакомится с Шуманом и Мендельсоном и с успехом излагает им свою теорию, согласно которой ни один композитор не должен сочинять больше четырех симфоний. Письменного изложения этой теории Пильц не оставил, поэтому суть ее остается нам большею частью неизвестной; кроме того, есть опасения, что это вообще была только шутка. Тем не менее оба композитора-романтика последовали его совету. Каждый ограничил число своих симфоний именно четырьмя, а Шуман позже сумел склонить к этому и Брамса.

В 1849 году Пильц пишет последнее из своих писем. Оно адресовано в Мюнхен Жорж Санд. Это письмо как бы подводит итог всей его деятельности и, пожалуй, сильнее всех других писем трогает читателя — не только благодаря сформулированному в нем лозунгу: "Больше слов, меньше дел!" (действительно, кому из мыслящих людей не хотелось бы, чтобы этот лозунг был повсеместно претворен в жизнь?), но прежде всего благодаря той скромной, вдумчивой манере, в которой Пильц анализирует собственные успехи и неудачи, приходя к выводу, что в своей

1. Филе из вырезки (*франц.*).

жизни успел сделать слишком мало, чтобы сократить тот безудержный поток творчества, который грозил затопить современную ему эпоху. Между строк звучит разочарование, что он не оставил учеников, которые продолжили бы его дело. Даже в наши дни эти строки вызывают живейшее участие и сочувствие.

В 1852 году Пильц возвращается в Париж, где проводит последние свои годы в общении с многими выдающимися людьми, уговаривая их бросить занятия творчеством. Его собственные журфиксы[1] обрастают слухами.

12 сентября 1856 года, во время одного из таких званых вечеров, его постигает трагическая кончина. Свои последние дни он посвятил сокращению трагедий Расина до одноактных пьес в надежде, что это продлит им жизнь хотя бы на несколько десятилетий. Он начинает читать гостям сокращенный им монолог Федры — и внезапно падает на пол. Гости дружно аплодируют, думая, что это завершающая сцена монолога. Лишь некоторое время спустя они с ужасом убеждаются, что их шестидесятисемилетний хозяин скончался. Вызванный немецкий врач с запозданием констатирует мозговой удар в результате запущенной лихоманки.

Готлиб Теодор Пильц оставил после себя много критиков, не устающих твердить, что его тормозящая деятельность нанесла ощутимый вред органичному развитию романтизма. С ними можно согласиться лишь в том, что те или иные из предотвращенных им публикаций — хотя ясно, что объективно судить о вещах, так и не появившихся на свет, невозможно, — могли бы сохранить свое значение и до наших дней. Однако бесспорен сегодня лишь тот благотворный, если не сказать спасительный для нас результат, которого Пильц достиг благодаря своему активному вмешательству во все сферы художественного творчества. В том-то и состоят величие и неповторимость Пильца, что он избавил нас от очень и очень многого. Нам остается лишь сожалеть о его безвременной кончине, ибо нельзя не признать, что существование хотя бы одного такого человека, как Пильц, нашей сегодняшней культуре тоже бы далеко не помешало.

Незадолго до смерти Готлиб Теодор Пильц выразил твердое желание, чтобы ему не ставили памятников, а передали все его наследие деятельным, но малоодаренным молодым людям в обмен на обещание, что они никогда не будут заниматься никаким творчеством. К сожалению, оставленных им средств хватило ненадолго, и дух Готлиба Теодора оказался предан забвению.

Поэтому к его могиле в годовщину смерти пришли лишь немногие — те, кто знали правду, чтобы просто почтить память великого человека.

Как я возил сову в Афины[2]

СЕГОДНЯ исполняется ровно год с того дня, как я вступил на Акропольский холм и, преисполненный чувства глубокого удовлетворения, выпустил из клетки сову, специально для этого привезенную мною в Афины.

1. От франц. "jour fixe" — званый вечер.
2. Парафраз старинной поговорки "везти сову в Афины" значит то же, что "ехать в Тулу со своим самоваром", так как сова считалась символом богини Афины, покровительницы города. (*Прим. перев.*)

Совершить этот поступок я решил однажды ночью, когда мне в очередной раз не спалось. В такие мрачные часы я часто принимаю решения, которые потом неукоснительно претворяю в жизнь — если, конечно, обстоятельства это позволяют. Я понимал, что осуществить этот новый и, пожалуй, слишком дерзкий замысел будет достаточно трудно, но я знал также, что главное в любом замысле — подготовка. Я встал с постели, оделся и отправился к знакомому продавцу птиц. Его магазин, конечно, в ночное время закрыт, однако постоянные клиенты знают, где находится потайной звонок. Я позвонил и вскоре очутился среди накрытых платками клеток в по-ночному печальном магазине. Продавец спросил, что меня интересует.

— Сова, если можно, — признался я.

— О-о, — отозвался он, подмигнув мне, как знаток знатоку. — Вы действительно разбираетесь в птицах. Большинство клиентов приходят выбирать сов днем, а это ошибка. Вы хотите сделать кому-то подарок?

— Нет, я для себя. Хочу отвезти ее в Афины.

— В Афины! Что вы говорите! — Продавец медленно провел рукой по подбородку, так что на нем заскрипела щетина, и сказал:

— Тогда я бы посоветовал вам взять сыча. Боюсь, что лесные или луговые совы не выдержат длительного путешествия. А сыч, он выносливи, кроме того, меньше по габаритам.

— Везти в Афины сыча? — медленно проговорил я, испытывая некое сомнение. Эти три слова плохо согласовались даже ритмически.

— Семейство-то одно и то же, — попытался успокоить меня продавец. Я молчал. — Хищные ночные птицы, — добавил он, задетый моим молчанием. Он явно не понимал, чем вызваны мои сомнения.

Возможно, кое-кому из читателей уже приходилось сталкиваться с подобной дилеммой, так что они меня поймут. Признаюсь, что у меня в данном случае практический расчет возобладал над филологическими тонкостями: я купил сыча. Мне показалось излишним соблюдать все эти (тысячи лет как утратившие смысл) условности только ради того, чтобы моя сова сдохла на полдороге в Афины. Тем более что мне не хотелось доставлять неприятностей самой сове, принеся ее в жертву сомнительной древней легенде. Человек, к своему несчастью, знает, что Бог создал его по своему образу и подобию, и безотказно несет на своих плечах это бремя. Животные же этого не знают, они не умеют сравнивать, и мне кажется, что своим чувством собственного достоинства они обязаны исключительно незнанию сочиняемых о них сказок. Вот в таком направлении и текли мои мысли, пока я по тихим улицам нес домой своего сыча в латунной клетке, держа в другой руке пакет с фирменным кормом для сов, полевых и луговых. Тем более что умные мысли — о сущности и бытии, о человеке и животных — ко мне и так приходят (если вообще приходят) лишь в эту темную, мечтательную пору между тьмой и рассветом, когда даже сычи начинают вдруг ощущать свое подлинное предназначение на этой земле.

Впрочем, мое чувство филологической ответственности тоже отказалось умолкнуть окончательно, преобразовавшись в ощущение некоей неловкости, от которой я тщетно пытался освободиться. Существо, которое я нес в клетке, было сычом и никем больше, вызывая совсем иные ассоциации, нежели благородная сова. Пусть даже никто из не-зоологов не сумеет отличить его от совы, я-то до гробовой доски буду помнить, что отвез в Афины не сову, а сыча. Светало. Я взглянул на эту добрую и безо-

бидную птицу, не подозревающую ни о моих сомнениях, ни о своем легендарном прошлом — как, впрочем, и о том, что она сыч, а не сова. Вид спящего сыча почему-то вдруг необычайно тронул меня — возможно, в эти утренние часы я просто сильнее ощущаю свою близость с природой, — и я наконец решился. Будь что будет, но я решил отвезти сыча в Афины.

Моя решимость была вознаграждена. Заглянув утром в "Жизнь животных" Брема, я убедился, что мой выбор, несмотря на все сомнения, был правилен. Потому что обычная лесная сова на зоологическом языке называется Strix flammea, ее луговая товарка — Otis vulgaris (хотя последнего прилагательного она, на мой взгляд, совершенно не заслуживает), а сыч — Athene noctua (!). И взглянув на картинку, я сразу понял, что именно он и был героем древнегреческих легенд. Теперь у меня было доказательство, сформулированное что ни на есть черным по белому, и я смело повез прототип этой картинки в Афины.

Я купил билет и через несколько дней сел в знаменитый Восточный экспресс. Моим соседом по купе оказался пожилой господин, по виду — ученый. Он наверняка тоже ехал в Афины, хотя, скорее всего, не за тем, за чем я. Пока я прилаживал клетку с птицей, мирно дремавшей на своем шестке, в сетку на верхней полке и доставал из сумки томик Павсания, он следил за мной со все возрастающим интересом.

— Это сова, — удовлетворил я его молчаливое любопытство, не поднимая глаз от книги и ощущая полную свободу от каких бы то ни было сомнений.

— Это сыч, — возразил он.

— Ну сыч, — ответил я, наконец поднимая на него взгляд. — Так или иначе, это именно та птица, которая нужна мне для осуществления моего замысла.

— Не хотите же вы сказать, — осторожно спросил мой сосед, — что везете эту птицу в Афины?

— Это как раз мой замысел и есть.

Он рассмеялся. Вложив закладку в свою книгу, он закрыл ее и отложил, устраиваясь в своем углу поудобнее, как будто готовясь к очередному интересному диспуту.

— Мой юный друг! — начал он. — Вы невнимательно читали Аристофана или просто неверно его поняли!

Тут он сделал паузу, видимо, желая предоставить мне возможность выбора между этими двумя ошибками. Но я не стал выбирать, ибо ошибки тут не было никакой, и быстро ответил, предвосхищая поток его дальнейшего красноречия:

— Знаю, знаю. Поговорка "везти сову в Афины" служит символом бессмысленного поступка. С этим я согласен. Но тем не менее, как вы видите, я все же решил отвезти свою сову в Афины.

— Сыча, дорогой мой, сыча! — тут же отозвался ученый, причем, как мне показалось, злорадно, как если бы мое скромное желание нарушить древнюю поговорку — привезти в Афины сову или хотя бы сыча — было в его глазах тяжким преступлением.

Слегка взмахнув левой рукой, я небрежно выложил своего козырного туза:

— Символом богини Афины, как известно, был именно сыч. Если греческое слово glaukoopis оказалось позже переведено как "совоокий", то это всего лишь филологический нонсенс, над окончательным разъяснением которого я как раз сейчас работаю.

Возразить на это моему соседу было нечего.

Он и не возражал больше. Видимо, он действительно был филологом, и сознание собственной ошибки заставило его умолкнуть. Он снова взялся за свою книгу и с этого момента — мы как раз проезжали станцию Гросгесселоэ — делал вид, что сыча вообще не существует. Он не удостоил его больше ни единым словом, ни взглядом, за что, впрочем, я в свою очередь был ему благодарен, потому что птица делала кое-что, о чем сейчас, возможно, уже нет нужды вспоминать, однако, окажись на месте моего соседа иные пассажиры, это могло бы показаться им невежливым, если не сказать неприличным.

Теперь несколько полезных советов тем, кто, увлекшись моим примером, решится ему последовать: совы таможенной пошлиной не облагаются, поэтому любые попытки чиновников получить с вас деньги следует решительно пресекать. Облагаются клетки, но только если они новые, а клетка, в которой некоторое время успел пожить сыч, таковой уже считаться не может. Чаевые проводникам давать желательно. Поскольку команды проводников то и дело меняются, рассчитывать на понимание с их стороны не приходится: без знания языка и соответствующих жестов тех стран, через которые вы будете проезжать, объяснить им ситуацию вам вряд ли удастся. Вообще провоз сыча в Афины — дело, честно говоря, хлопотное; однако я был бы необъективен, если бы не сказал, что этих хлопот оно стоит. Тот, кто рассчитывает получить такое же удовольствие от аналогичных акций, попытавшись, к примеру, возить дрова в лес или воду в реку, будет, скорее всего, разочарован. Хлопот тут, конечно, меньше как в материальном смысле, так и в моральном, поэтому неудивительно, если две вышепоименованные акции покажутся кому-то привлекательными; однако это преимущество теряет свою ценность в сравнении с тем чувством глубокого удовлетворения, которое я ощутил, доведя свою акцию до конца.

Когда я вечером своего первого дня в Афинах с клеткой в руке поднялся на Акрополь, меня охватило ни с чем не сравнимое ощущение счастья. Это было деяние, не только не опровергавшее постулаты великих мыслителей и преобразователей прошлого, на что обычно бывают нацелены подобные эксперименты, но, напротив, их подтверждавшее. Я сам убедился, что возить сов в Афины — занятие действительно бессмысленное, но не потому, что их там и так хватает, ибо ни я, ни кто-либо из моих знакомых афинян никогда не видели ни одной. Нет: это бессмысленно, потому что совы там никому не нужны, как, впрочем, и у нас. Мое ощущение счастья легко сможет понять тот, кого, как и меня, привлекают занятия, о которых заранее известно, что они ни к чему не приведут, а потому остаются чистой, ничем не омрачаемой самоцелью.

Купив входной билет, я прошел через Пропилеи и остановился перед Парфеноном. Отпер дрожащими пальцами клетку. Великий миг настал. Сова поднялась в воздух и, хлопая крыльями, взлетела к карнизу храма, где покамест и уселась.

Классическое зрелище! На фоне синего аттического неба, великолепно подчеркивавшего белизну мрамора, так что тот казался не камнем, а кружевом из тончайшего шелка, красовался мой сыч, живое существо и символ одновременно. И привез его в Афины я, и только я!

— Видишь, Сельма, — услышал я рядом с собой мужской голос, — как подтверждаются слова классиков? Зачем возить сов в Афины, если они сидят даже на Парфеноне.

— Это не сова, а сыч, — поправила его жена. Мужчина умолк, вероятно, этим уязвленный. Видимо, он тоже был гуманитарием, а успехи в гуманитарных науках, как это часто бывает, достигаются за счет пренебрежения зоологией. Впрочем, ему легко можно было помочь. Обернувшись и увидев перед собой несомненных молодоженов, совершающих свадебное путешествие, я произнес:

— Это действительно сыч. Именно он был священной птицей богини Афины Паллады. Из современных людей об этом уже мало кто знает. Но они узнают!

Вселив в их сердца эту надежду, я ушел, зная, что мои слова не пропадут даром. Я помог молодоженам получить полную картину античной реальности — или, по крайней мере, внести в эту картину поправку.

Продав клетку старьевщику, я уже на следующий день уехал к себе на родину. Я человек занятой и вынужден тщательно планировать свое время. Чувство самодисциплины не позволяет мне слишком затягивать подобные эскапады.

Через пару недель я вновь встретился с моим сычом у продавца птиц. Ручные ночные птицы бывают очень сильно привязаны к хозяину; таково странное свойство этих хищников, которое можно смело отнести к зоологическим парадоксам. Природа полна чудесных тайн, и иногда лишь счастливый случай позволяет раскрыть хотя бы одну из них.

Солидная покупка

КАК-ТО раз вечером, когда я сидел в своем любимом кабачке за (а точнее говоря, в компании с) кружкой пива, ко мне подсел человек самого обыкновенного вида и, доверительно понизив голос, спросил, не хочу ли я купить паровоз. Положим, мне действительно часто приходится покупать разные вещи просто потому, что я не умею говорить "нет", однако такая солидная покупка требовала известной осторожности. Поэтому я, ничего не понимая в паровозах, все же осведомился о его типе, годе выпуска и размере цилиндров, чтобы произвести на продавца впечатление знатока, который не станет покупать кота в мешке. Удалось мне это или нет, я не знаю; тем не менее он охотно ответил на все мои вопросы и предъявил фотографии, изображавшие товар спереди, сзади и сбоку. Смотрелся паровоз неплохо, и я, немного поторговавшись, дал согласие. Все-таки он был уже подержанный, и, хотя изнашиваются паровозы довольно медленно, я не собирался платить за него, как за новый.

Паровоз доставили ко мне в ту же ночь. Стремительная доставка должна была натолкнуть меня на мысль, что сделка как минимум была не вполне законной, однако мне это по простоте душевной тогда не пришло в голову. В дом я его завести не мог, потому что он не проходил в двери и к тому же наверняка был так тяжел, что проломил бы пол. Поэтому его пришлось отправить в гараж, тем более что он по самой своей сути предназначен для хранения транспортных средств. Конечно, по длине он поместился там примерно наполовину, зато по высоте — в самый раз: в свое время я держал там свой аэростат, который потом лопнул.

Вскоре после этой покупки ко мне заехал племянник. Человек трезвого ума, не допускающий никаких умозрений или излишних эмоций,

он доверяет только фактам. Ничему на свете не удивляясь, он знает все наперед, еще не дослушав до конца, и находит всему самое простое и рациональное объяснение. Личность, короче, совершенно невыносимая. После первых приветствий мы оба умолкли и, чтобы сгладить неловкость, я начал:

— Как прекрасны эти осенние ароматы...

— Воняет прелой картофельной ботвой, — заявил он и по сути был прав.

На первый раз я решил проглотить это его заявление и разлил по рюмкам привезенный им коньяк. Коньяк отдавал мылом, и я не преминул сообщить ему об этом. В ответ он посоветовал мне взглянуть на этикетку, где изображены награды, присужденные этому коньяку на выставках в Льеже и Барселоне, а в Сент-Луисе он получил даже золотую медаль, так что плохим такой коньяк быть не может. Мы молча выпили несколько рюмок, и наконец он сказал, что будет ночевать у меня и пойдет загонять машину в гараж. Через несколько минут он вернулся и сообщил тихим, дрожащим голосом, что в гараже у меня стоит паровоз, точнее, электровоз.

— Знаю, — отозвался я, спокойно смакуя коньяк, — я купил его недавно.

На его робкий вопрос, часто ли я на нем езжу, я ответил, что не так уж часто, обычно по ночам, вот как раз недавно надо было срочно отвезти соседку в роддом, в город, ну я и помог. В ту же ночь она разродилась близнецами, хотя я не думаю, что это было как-то связано с поездкой на паровозе. Конечно, все это была чистой воды выдумка, но я иногда позволяю себе немного приукрасить действительность. Поверил он или нет, я не знаю, во всяком случае он принял мои слова к сведению в полном молчании, хотя было заметно, что в моем доме он уже чувствовал себя не в своей тарелке. Так и не сказав больше почти ничего, он выпил последнюю рюмку коньяку и распрощался. С тех пор я его не видел.

Прошло еще несколько дней, и я прочел в газетах, что Французские железные дороги обнаружили недостачу одного паровоза (который в одну прекрасную ночь исчез с лица земли, а точнее, с какой-то станции "Сортировочная"). Тут-то мне и стал ясен незаконный характер сделки, жертвой которой я пал. Поэтому в следующий раз, когда мы встретились с тем человеком в моем любимом кабачке, я ответил на его "здравствуйте" довольно холодно. Тем не менее он не преминул воспользоваться этой встречей, чтобы предложить мне купить у него подъемный кран. Я, естественно, отказался иметь дело с таким подозрительным типом. Да и зачем мне подъемный кран?

Светло-серый летний плащ

ДВА месяца назад, когда мы как раз сели завтракать, пришло письмо от моего племянника Эдуарда. Однажды весной, это было двенадцать лет назад, мой племянник Эдуард вышел из дома, чтобы бросить письмо в почтовый ящик, и больше не вернулся. С той поры никто о нем ничего не слышал. Письмо пришло из Сиднея, Австралия. Я распечатал его и прочел:

Дорогой Пауль!

Пришли мне, пожалуйста, мой светло-серый летний плащ. Мне он нужен, потому что тут бывает прохладно, особенно по ночам. В левом кармане лежит "Справочник грибника". Можешь вынуть его и взять себе. У нас тут съедобных грибов все равно нет. Заранее благодарю.

Сердечно твой
Эдуард.

Я сообщил жене:

— Пришло письмо от моего племянника Эдуарда.

Жена в это время погружала кипятильник в вазу для цветов, чтобы сварить в ней яйца.

— Да? И что же он пишет?

— Что ему нужен его светло-серый летний плащ и что у них в Австралии нет съедобных грибов.

— Ну, он может есть что-нибудь другое, — заметила жена.

— Это точно, — согласился я.

Потом пришел настройщик. Стеснительный, рассеянный человек, немного не от мира сего, но очень милый и музыкально одаренный. Он не только настраивает рояли, но еще умеет чинить струнные инструменты и дает уроки игры на флейте. Его фамилия Кольхаас. Когда я встал из-за стола, из соседней комнаты уже доносились его аккорды.

На вешалке я увидел светло-серый летний плащ. Значит, жена достала его из кладовки. Это меня удивило, потому что она обычно делала что-то только тогда, когда было уже все равно, сделает она это или нет. Тщательно упаковав плащ, я пошел на почту и отправил его в Австралию. Лишь потом мне пришло в голову, что я забыл вынуть "Справочник грибника". Впрочем, мне он был тоже не нужен.

Я еще немного прогулялся и, придя домой, застал настройщика и жену в поисках чего-то по всем шкафам и углам.

— Может, я помогу? — предложил я.

— Господин Кольхаас плащ потерял, — сообщила жена.

— А-а! — воскликнул я, осознав свою ошибку. — Я только что отправил его в Австралию.

— Почему в Австралию? — удивилась жена.

— По ошибке, — объяснил я.

— Что ж, тогда извините, — пробормотал господин Кольхаас, собираясь уходить. Кажется, он даже не слишком удивился. И тут я сказал:

— Подождите. Я отдам вам плащ моего племянника.

Я пошел в кладовку и нашел в одном из старых чемоданов светло-серый летний плащ. Он был, конечно, сильно помят, — все-таки двенадцать лет пролежал в чемодане, — однако все еще в хорошем состоянии.

Пока моя жена проглаживала плащ, мы с господином Кольхаасом выпили по рюмочке хереса, и он рассказал мне, какие удивительные инструменты ему иногда приходилось настраивать. Потом он надел плащ, распрощался и ушел.

Несколько дней спустя мы получили посылку. В ней было около килограмма белых грибов. И два письма. В первом письме говорилось:

Дорогой г-н Холле (это моя фамилия),

хочу сердечно поблагодарить Вас за "Справочник грибника", столь любезно положенный Вами в карман плаща, и в знак благодарности посылаю резуль-

таты своего первого похода за грибами. Надеюсь, они Вам понравятся. В другом кармане я нашел письмо, которое, скорее всего, предназначалось не мне, поэтому посылаю его Вам обратно.

С уважением
Ваш А. М. Кольхаас.

Второе письмо оказалось тем самым, которое мой племянник собирался тогда бросить в почтовый ящик. Видимо, он забыл его дома вместе с плащом. Письмо было адресовано некоему Бернарду Хаазе, с которым, как я помню, племянник тогда дружил. Я открыл конверт. В нем лежали театральный билет и записка:

Дорогой Бернард!
Посылаю тебе билет на "Тангейзера" на понедельник. Сам я не могу пойти, потому что мне нужно уехать, чтобы хоть немного развеяться от всей этой дряни. Если сможешь, сходи послушай. Елизавету будет петь знаменитая Шмидт-Гольвег. Я помню, как ты восхищался ее верхним соль-диез.

Большой привет,
Эдуард.

На обед у нас был грибной суп.

— Я пришла, а на столе грибы. Откуда? — удивилась жена.

— Их прислал господин Кольхаас.

— Как мило с его стороны! Но ведь он нам ничем не обязан?

— Не обязан, это точно, — согласился я. — Но все равно мило.

— Надеюсь, они не ядовитые? Кстати, тут я нашла еще билет в театр. Это на какой спектакль?

— Билет, который ты нашла, — объяснил я, — на "Тангейзера", однако спектакль был двенадцать лет назад!

— Ну тогда ладно, — отозвалась она. — "Тангейзера" я все равно не люблю.

А сегодня утром снова пришло письмо от Эдуарда — с просьбой прислать ему теноровую блок-флейту. Потому что в кармане плаща ("который почему-то стал мне длинен — или, может быть, это я уменьшился в росте") он нашел учебник игры на флейте и решил попробовать. Но у них в Австралии таких флейт нет.

— Еще одно письмо от Эдуарда, — сообщил я жене, которая в это время развинчивала кофемолку.

— И что же он пишет?

— Что в Австралии нет теноровых блок-флейт.

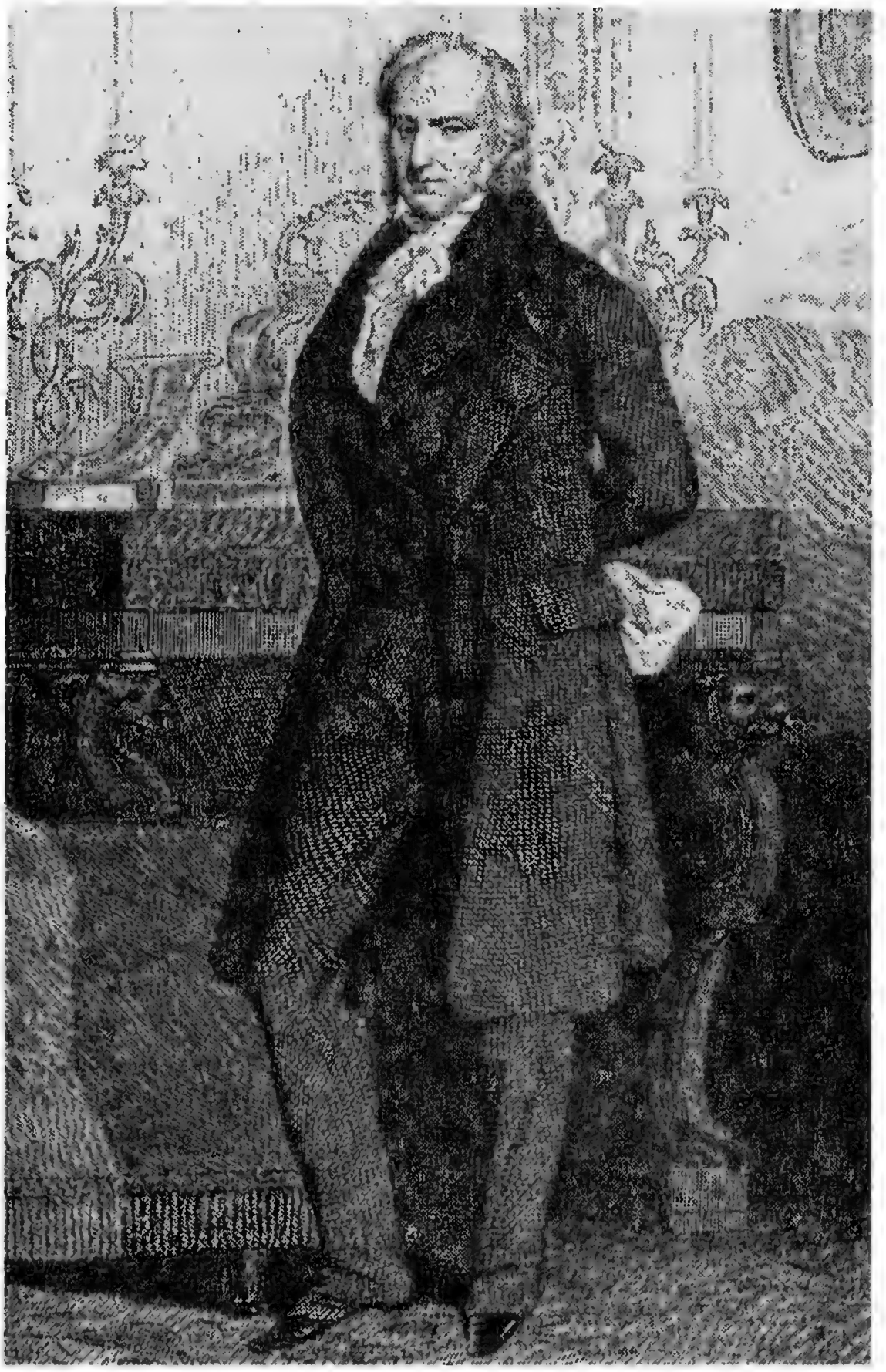
— Ну, он может выучиться играть на чем-нибудь другом.

— Это точно, — согласился я.

Моя жена — человек трезвомыслящий и, я бы даже сказал, прагматичный. Ее замечания иногда бывают резкими, но нельзя не признать, что они всегда попадают в самую точку.

Бенжамен Констан
Амелия и Жермена

Перевод с французского, вступление и примечания Веры Мильчиной



Обе женщины, чьи имена стоят в названии публикуемого текста, — лица не вымышленные, а вполне реальные. Однако роль, которую они сыграли в жизни автора, французского писателя, мыслителя и политического деятеля Бенжамена Констана де Ребека (1767—1830), оказалась очень разной. Если безвестная дочь пьемонтского капитана Амелия Фабри (1771—1809) занимала мысли Констана не слишком долго, то роман со знаменитой писательницей Жерменой де Сталь, с ко-

© В. Мильчина. Перевод, вступление, примечания, 2002

торой он познакомился в 1794 году и которая стала его любовницей двумя годами позже, длился до 1811 года, несмотря на все мучительные сцены и объяснения и даже несмотря на женитьбу Констана в 1808 году на Шарлотте фон Гарденберг. Впрочем, жизнь с Шарлоттой Констану также скоро надоела, и в 1815 году он страстно влюбился в Жюльетту Рекамье — многолетнюю приятельницу и одновременно соперницу Жермены де Сталь.

Вообще Констан был человек весьма страстный и влюбчивый. Его биограф называет тот период его жизни, на который пришелся эпизод с Амелией, "эпохой, полной самых разнообразных женщин, начиная с неизменной Жермены де Сталь и внезапно возникшей вновь Шарлотты фон Гарденберг и кончая гетерами самой низкой пробы, не говоря уже о бесчисленных потенциальных невестах"[1]. Констан и сам отдавал себе отчет в этой своей черте и довольно трезво писал о себе в дневнике: "Что я за глупая тварь! Влюбляю в себя женщин, которых сам не люблю. Затем вдруг любовь налетает на меня как вихрь, и связь, которую я завел лишь скуки ради, переворачивает всю мою жизнь. Пристало ли это человеку умному?" Сознавал он и другое обстоятельство, а именно то, что со времени знакомства с Жерменой де Сталь всякую другую женщину он был обречен воспринимать на фоне Жермены и по контрасту с ней. Так, Шарлотта фон Гарденберг, с которой Констан после недолгого платонического романа в 1793 году вновь повстречался лишь одиннадцать лет спустя, очаровывает его прежде всего тем, что она непохожа на г-жу де Сталь. "Жермена порывиста, эгоистична, поглощена своими собственными делами, — пишет он в дневнике, — Шарлотта нежна, кротка, скромна и покойна и по причине этого несходства становится мне в тысячу раз дороже. С меня довольно женщины-мужчины, которая безраздельно повелевает мною вот уже десять лет; меня пьянит и чарует привязанность женщины, которая стремится быть только женщиной". Особенно важно здесь слово "кротость"; оно не раз повторяется и в тексте "Амелии и Жермены": именно это качество, которого была лишена г-жа де Сталь, Констан надеялся найти в потенциальной невесте. Констан долго и безуспешно стремился "освободиться" от тирании Жермены; подобно герою своей повести "Адольф", он пытался признаться ей "не в любви, а в ненависти"[2]. Однако связь с Жерменой Констан явно воспринимал как "вечную", поэтому, когда в 1814 году, через три года после их последнего свидания, он вновь увиделся с прежней любовницей в Париже и убедился, что она наконец охладела к нему, он с некоторым изумлением занес в дневник: "Теперь у меня не осталось никакой неопределенности относительно будущего, ибо в ней [Жермене] не осталось и следа чувства" (по-видимому, ему казалось, что "неопределенность" в их отношениях будет длиться бесконечно и у них всегда останется возможность начать все сначала).

Бенжамен Констан вошел в историю литературы (и тем более в сознание русских читателей) как автор одного произведения — повести "Адольф" (1806—1810, изд. 1816). Сам Констан, по всей вероятности, надеялся прославиться совсем другими свершениями: при Наполеоне он был членом Трибуната, в эпоху Реставрации публиковал многочисленные публицистические статьи, проникнутые либеральным духом, и принадлежал к либеральной оппозиции в палате депутатов; в течение многих лет он работал над фундаментальным трудом по "сравнительному религиоведению" — книгой "Об источниках, форме и развитии религии", первый том которой вышел в 1824 году, а последние, пятый и шестой, — посмертно, в 1831-м. Однако если в 1820-е годы у Констана-публициста были в России горячие поклонники (к их числу принадлежал, например, П. А. Вя-

1. P. Bastid. Benjamin Constant et sa doctrine. Paris, 1966. T. 1. P. 171.
2. Stendhal. Paris-Londres. Chroniques. Paris, 1997. P. 231.

земский, назвавший его "непреклонным приверженцем всего, что развивает до законных пределов независимость человека"), то современному русскому читателю все эти стороны деятельности Констана известны гораздо меньше. Неизвестна в России и художественная проза Констана (за исключением "Адольфа"). Впрочем, и французы открыли для себя автобиографические произведения Констана довольно поздно: "Моя жизнь", иначе называемая, по цвету переплета рукописи, "Красной тетрадью", впервые опубликована в 1907 году; "Сесиль" — в 1951 году; "Амелия и Жермена" — в 1952 году. Между тем все эти сочинения не только почти ни в чем не уступают "Адольфу", но позволяют лучше понять некоторые психологические механизмы, управляющие констановской прозой.

Констан принадлежит к тому же типу писателей, что и его не менее (если не более) прославленный современник Шатобриан: это авторы, не любящие и не умеющие "выдумывать" сюжеты и персонажей. Как Шатобриан вложил в своего самого прославленного героя, Рене, очень много черт собственного характера, так и Констан, сочиняя "Адольфа", черпал психологический материал преимущественно из своей души и из своих взаимоотношений с женщинами ("Моим пером водило не воображение", — признавался он в дневнике). Сходным образом именно о себе он писал в "Красной тетради" и в "Сесили". С этим обостренным автобиографизмом связано, очевидно, и то обстоятельство, что ни одно из этих произведений (за исключением "Адольфа", да и его Констан отдал в печать после долгих колебаний) не было опубликовано при жизни автора. Дело, по-видимому, не только в том, что себя как политического мыслителя Констан ценил куда выше, но и в чрезмерной откровенности его "художественной" прозы.

Пушкин, процитировав в статье 1830 года "О переводе романа Б. Констана 'Адольф'" свои собственные строки из седьмой главы "Евгения Онегина", назвал "Адольфа" одним из "двух или трех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом", —

и добавил: "Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона". Пушкин, однако, вряд ли знал, что к Констану вполне применима и та характеристика, которую он сам в другой заметке ("О драмах Байрона") дал английскому писателю: "В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой)". Это сходство Адольфа и "я" автобиографической прозы Констана, общность психологических механизмов, в этой прозе раскрываемых, стали понятны лишь много лет спустя, когда увидели свет "Красная тетрадь", "Сесиль", "Амелия и Жермена". Конечно, реального Констана — мыслителя, политика, публициста — отличала от его героев возможность действовать, применять свой незаурядный талант в реальной политической и литературной жизни, а не только в анализе собственных отношений с одной или несколькими женщинами. Однако характер Констана давал себя знать и в его общественной деятельности, что не укрылось от внимания проницательных современников.

Историк и дипломат Проспер де Барант писал о Констане: "Политика одушевляла его жизнь, заставляла биться пресыщенное сердце, действовала на него, как

азартные игры, которые он по-прежнему любил и в которых по-прежнему нуждался. Он затевал в палате и газетах процессы, дуэли, споры. Благодаря всему этому он не ведал ни пустоты, ни скуки, но вел существование лихорадочное. Впрочем, несмотря на беспокойную жизнь, ум его оставался свободен, независим и погружен в созерцание самого себя. Более скептический, чем когда-либо, — что его не столько успокаивало, сколько мучило, — он по доброй воле ввязывался в самые страстные споры. "Я в ярости! а впрочем, мне это безразлично" — вот фраза, рисующая его сполна". В этих строках, написанных Барантом через много лет после смерти Констана, можно заподозрить след знакомства с "Адольфом", однако точно так же Барант характеризовал Констана и в письме к жене от 15 мая 1815 года (то есть за год до публикации романа). Констан, говорит Барант, "сле-

дуя своей обычной методе, кажется, насмехается над тем делом, которое отстаивает. Он пересказывает статьи из "Монитёра" и сам же первый над ними хохочет"[1]. Это — та самая раздвоенность, безжалостное изображение которой позднейшие исследователи назвали главным достижением "Адольфа" ("Б. Констан первый показал в "Адольфе" раздвоенность человеческой психики, соотношение сознательного и подсознательного, роль подавляемых чувств и разоблачил истинные побуждения человеческих действий"[2]). Констану не было необходимо-

1. P. de Barante. Souvenirs. Paris, 1892. T. 2. P. 312–313, 146.
2. А. А. Ахматова. О Пушкине. М., 1989. С. 63.

сти изучать эту раздвоенность на примере других людей, реальных либо вымышленных; он сам был, по выражению своего биографа, "виртуозом раздвоения. Он постоянно превращал собственную жизнь в зрелище и в предмет анализа для себя самого; постоянно обнажал — при этом не приводя в негодность — пружины своих поступков"[1].

В автобиографической прозе Констана интересовало, по-видимому, вовсе не решение собственно литературных задач (их он решал во второй половине 1800–х годов, когда вместе с г-жой де Сталь пытался привить французской литературе некоторые черты литературы немецкой, работал над вольным переводом трагедии Шиллера "Валленштейн" и сочинял статью "Некоторые размышления о немецком театре"). Во всяком случае, если в "Сесили" есть хотя бы некоторое подобие "литературности" (история откровенно автобиографична, но герои носят вымышленные имена — которые, впрочем, очень легко поддаются расшифровке), то относительно "Амелии и Жермены" современный комментатор П. Дельбуй утверждает определенно и весьма обоснованно: это не художественная проза, написанная постфактум по мотивам собственных переживаний в расчете на публикацию, — это настоящий дневник, где пишущий день за днем анализирует свои реальные сомнения и терзания; сам Констан замечает в тексте "Амелии и Жермены": "Буду откровенен; ведь я пишу не для публики, а для себя самого", и это, судя по всему, отнюдь не литературный прием. Констану — человеку страстному, но одновременно и весьма рассудочному, — было легче справляться со своими переживаниями, фиксируя их на бумаге (биограф Констана Поль Бастид замечает по поводу склонности своего героя к самоанализу: "Возникает ощущение, что он мог испытывать какие-либо чувства исключительно с пером в руках"[2]). Но получилось так, что, решая свои сугубо личные и "прикладные" задачи (на ком жениться и как мирно расстаться с прежней любовницей), Констан одновременно разрабатывал новое направление психологической прозы, всю оригинальность которого французы оценили лишь через много лет после смерти писателя, уже в XX веке.

§ 1. – 6 января 1803 года

СЕРДЦЕ мое и воображение теперь на распутье; такое случалось со мной уже не раз: я рвал все прежние связи, переносился в совсем новый мир, где от мира покинутого оставались мне лишь кое-какие воспоминания, смутные и скорее печальные, враги, понуждавшие к утомительным объяснениям, но в первую голову – чувство облегчения и твердая уверенность в том, что, переменив жизнь, поступил я совершенно верно. Однако опрометчивость в моем положении неуместна. Мне тридцать пять лет. Большая часть жизни прожита. Я не могу уже извинять легкомыслие молодостью лет, а главное, не имею более той способности обороняться и той любви к самому себе, которые помогали мне прежде оправдывать себя и жить в свете. Кровь моя еще довольно скоро бежит по венам: однако известная беспечность относительно собственной моей участи и великое недоверие к людям, меня окружающим, сделали привычным состоянием моей души уныние не столько болезненное, сколько бездеятельное. Первая моя забота – сторониться людей докучных; при переме-

1. P. Bastid. Benjamin Constant et sa doctrine. Paris, 1966. T. 1. P. 105.
2. Ibid. P. 178.

не участи ничего я так не опасаюсь, как скуки. Нынешнее мое положение есть, бесспорно, положение ложное[1]. Однако в нем нахожу я и нечто блестящее. Хотя связь, обрекающая меня на великие бури и отводящая мне роль подчиненную, доставляет мне множество неудобств, явная эта связь для меня выгоднее любых других. Бурное течение несет меня, не требуя никаких действий. Я могу податься назад, но при этом не перестану двигаться вперед; как бы там ни было, грести самому мне не приходится. Порви я эту связь, и все изменится. Мне не придется более сопротивляться вихрю, меня увлекающему, не придется пребывать в тени чужой славы, отвечать за множество осторожных поступков, не мною совершенных, и сносить то недоброжелательство, жертвами которого делаются неизменно не только прославленные женщины, но и их любовники; однако у меня останется гораздо менее связей во Франции, где я хотел бы жить[2], и я распрощаюсь с тем живым и обширным умом, тем превосходным сердцем, той беспримерной преданностью, какими наслаждаюсь ныне. Взглянем, однако же, в будущее. Я уже давно не люблю Жермену. Живость характера помогает мне, не кривя душой, находить любви замену. Нас связывают узы умственные[3]. Но долго ли это продлится? Сердце мое, воображение, а главное, чувственность нуждаются в любви. Мне необходимо иметь подле себя существо, о котором я мог бы заботиться, которое следовало бы за мной, которое я мог бы сжимать в объятиях и сделать счастливым; существо безобидное, которое без труда сумело бы переплести свою судьбу с моей, — одним словом, мне необходима женщина, почти незаметная в свете, но достойная моей домашней привязанности и способная доставить мне счастье кроткое, сокровенное и необременительное. Где же сыскать такую? Посредственность сама по себе ничего подобного не сулит. Ум, напротив, грозит следствиями решительно противоположными. Впрочем, продолжим размышления. Жермене потребны слова любви, -- слова, которые мне с каждым днем даются все труднее. Мы неизбежно поссоримся и расстанемся. Чем дольше протянется наша связь, тем более старыми, одинокими, недовольными друг другом и беспомощными по отношению к прочим людям ока-

1. "Ложным" Констан называет свое положение при Жермене де Сталь, которая, несмотря на все их ссоры и несмотря на свои увлечения другими мужчинами, нуждалась в обществе Бенжамена и требовала, чтобы он повсюду следовал за ней.
2. Констан, родившийся в Лозанне, с 1798 года был, благодаря присоединению Швейцарии к Франции, французским гражданином. В 1799 году он вошел в состав Трибуната (собрания из ста человек, которые назначались Сенатом и в обязанности которых входило предварительное рассмотрение законов, представляемых Законодательному собранию), однако 17 января 1802 года его вместе с несколькими другими оппозиционерами из состава Трибуната исключили. И собственная оппозиционность, и связь с попавшей в немилость Жерменой де Сталь делали невозможным нормальное существование Констана в Париже, и в апреле 1802 года он, хотя и не получал формального приказания покинуть Францию, уехал в Женеву.
3. Как бы ни осложнялись отношения Констана и г-жи де Сталь во время их бурного романа, ни тот ни другая никогда не подвергали сомнению прочность их "умственного" союза; Сталь перед смертью говорила о Констане, что "она и сначала влюблена в него не была, но полагала, что по уму они друг для друга исключительно сотворены были, но что она, несмотря на все усилия, никогда души в него вложить не могла; что никакой искры душевной в нем зажечь не могла и что это было для нее непрерывным страданием — что в нем много ума, — и только..." (А. И. Тургенев. Письма к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 231; Тургенев пересказывает слова, слышанные от самой де Сталь ее приятельницей г-жой Дюрас.) Сам Констан писал в повести "Сесиль": "Согласие умов наших было столь совершенно, что, оказавшись рядом, мы были обречены либо во всем опровергать друг друга, либо полностью сходиться во мнениях, когда же спор истощал физические наши силы, ужасные грозы вдруг сменялись близостью".

жемся мы под конец. Будущность эта, которая омрачила бы любую связь, вдвойне тягостна в нашем случае. Мы исповедуем одинаковые убеждения. Однако, поскольку характеры наши разнствуют, мы вредим друг другу вместо того, чтобы помогать. Я могу молча сносить деспотизм, но не могу с ним примириться. Она хотела бы примириться, но не может молчать[1]. Вдобавок, повторяю, мне потребна женщина, которую я мог бы сжимать в объятиях, которая ночью доставляла бы мне наслаждение, а днем радовала меня кротостью. Если при этом я не хочу рвать с Жерменой, мне придется взять в любовницы женщину безвестную и стоящую ниже меня: униженность озлобит ее, а необразованность не позволит скрыть досаду; если об этой любовнице узнают, я стану ее стыдиться; если мне удастся спрятать ее от посторонних глаз, она станет меня тяготить; с годами все эти неудобства будут лишь возрастать, и через десять лет я либо распрощаюсь с этой женщиной и останусь в одиночестве, либо сохраню ее и сам сделаюсь униженным, обманутым, несчастным. Я хочу жениться, только это может доставить мне все выгоды, о которых я мечтаю, причинив как можно меньше неудобств. Женившись вдруг, я смогу возвратить себе дружеское расположение Жермены, о любви же меж нами не будет более речи[2]. Женившись в Женеве, я обеспечу себе там естественное пристанище. Женитьба моя изгладит из памяти тех, кто меня знает, воспоминание о разводе, которым мог бы я гордиться, ибо действовал в этом случае предупредительно, мягко, великодушно, но который нетрудно изобразить в черном свете[3]. Быть может, я в этом еще раскаюсь. Но счастлив ли я теперь? Вечно под градом упреков, вечно на виду, ибо вечно подле Жермены, я, однако же, ни единого дня не могу распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению! В двадцать один год я не умел подчинить женщину своей воле. Но это потому, что я плохо начал. Теперь я сумею это сделать. Пускай я обманусь в своих надеждах, однако же существование мое сделается упорядоченным, мирным, покойным. Я узнаю наконец, избавившись от влияния, которому безраздельно подчиняют меня долгие

1. За этой лаконичной формулой скрывается вся гамма чувств, которую г-жа де Сталь испытывала к Наполеону: от безоговорочного восхищения конца 1790-х годов до разочарования и даже ненависти после 1802 года, причем не последнюю роль в столь резкой перемене сыграло то обстоятельство, что первый консул отверг заигрывания знаменитой писательницы и отнесся к ней пренебрежительно.
2. Не один Констан видел в женитьбе способ освободиться от любовного ига г-жи де Сталь; точно так же смотрел на вещи будущий историк и дипломат Проспер де Барант, которым г-жа де Сталь увлеклась в середине 1800-х годов и которого хотела сохранить в числе своих воздыхателей "на всякий случай". В 1811 году, решив жениться, Барант назвал главной причиной, побудившей его к этому, потребность в "покое".
3. Обстоятельства этого развода Констан подробно описывает в повести "Сесиль". Констан женился в 1789 году, в возрасте 22 лет, на Вильгельмине фон Грамм, которая очень скоро вступила в связь с неким русским аристократом. Связь эта, пишет Констан, "не слишком больно ранила мое сердце, однако оскорбила меня своим неприличием". Впрочем, вскоре светские знакомые указали Констану на то, что "супруг чересчур терпимый теряет уважение общества, а супруг обманутый вызывает всеобщий смех". Констан объяснился с женой, не зная толком, чего от нее требовать: "По-видимому, мне следовало запретить жене какие бы то ни было сношения с человеком, к которому, как явствовало из моих речей, я ее ревную, однако я не решался произнести этот приговор, ибо он казался мне несправедливым". В результате поначалу супруги договорились жить фактически раздельно, но не добиваться официального развода, однако, случайно узнав, что жена его ждет от любовника ребенка, Констан приказал ей просить развода, изъявив при этом готовность взять всю вину на себя. "Я был согласен на все, я оставил ей часть своего состояния. Прошение о разводе было подано по обоюдному согласию. На меня обрушилось множество обвинений. Жена услышала множество сочувственных речей. Обо мне много злословили. Я снес все это молча и скоро утешился". Супруги развелись в ноябре 1795 года.

воспоминания, чего я стою, на что я способен и, главное, есть ли у меня воля[1]. Тогда я пойму, что́ обязан предпринять и во имя свободы, и во имя собственной славы: Жермена не будет более мешать мне опрометчивостью своих политических убеждений, не будет терзать меня требованиями, которые смущают мой ум и нарушают мои планы. Ей самой это пойдет только на пользу. Она не будет отвечать за убеждения не столь явно выражаемые, но куда более непреклонные, чем ее собственные. Мне нужно жениться. Но на ком?

§ 2. — 8 января

Здесь мне сватают Амелию. Больших наслаждений ее любовь, пожалуй, не сулит. Не думаю, чтобы она была умна. У нее нет ни образования, ни привычки к серьезным занятиям; она выросла в женевском свете, где вечера пошлы и заполнены одним лишь хихиканьем. Она чуть забавнее остальных, ибо говорит все, что ей взбредет в голову. Женевские женщины из страха показаться смешными так охотно держатся в тени, так стремятся не выделяться ни в хорошем, ни в плохом, что живость, пусть даже без тонкости, составляет известное преимущество. Но принесет ли живость жены счастье мужу? Одно я знаю наверняка: стоит мне вступить с кем-нибудь в связь, как я начинаю чувствовать себя ответственным за все неприличное, легкомысленное или смешное, что может совершить эта особа, и это причиняет мне ужасные мучения. Какие же мучения сулит мне брак с женщиной, которая воспитана в Женеве, страдает отсутствием вкуса, отличающим всех женевцев, и только и знает, что хохотать в ответ на шутки без соли и смысла? Впрочем, у Амелии красивые глаза и, кажется, довольно здравого смысла; несмотря на ее живой вид и бойкие речи, она, сколько могу судить, наскучила жизнью, которую ведет. Возможно, иные ее фразы и поступки, задевающие меня своим неприличием, объясняются тем, что нынешнее положение для нее тягостно и она ищет развлечений. Как бы там ни было, те, кто полагают, будто я решил на ней жениться, заблуждаются.

§ 3. — 9 января

Вчера на балу я вдоволь наговорился с Амелией. Я не обнаружил ничего, ровным счетом ничего ни в ее голове, ни в ее сердце. Она болтает без умолку, почти все время хихикает или бросает бессвязные фразы, в которые наверняка не вкладывает никакого смысла. Полагаю, она охотно приняла бы объяснение в любви от меня — или от любого другого: однако я убежден, что она не видит решительно никаких различий между

1. Проблему собственного безволия Констан через несколько лет разрешил весьма своеобразным образом, о чем рассказал в повести "Сесиль": он сблизился с лозаннской сектой под названием "Внутренние души", руководитель которой, его кузен Шарль де Лангаллери, дал ему, человеку нерелигиозному, совет молить Бога, чтобы тот даровал ему возможность "желать того, что уже существует. Перемена произойдет не с внешним миром, но с расположением вашей души. Произойдет ли то, чего вы хотите, или же вы захотите того, что происходит, — не все ли вам равно? Главное, чтобы воля ваша и события не вступали в противоречие". Эта религиозная теория, в которую Констан довольно быстро уверовал, позволила ему полностью отречься в личных делах от собственной воли и во всем положиться на волю Божию (которая, впрочем, нередко совпадала с волей г-жи де Сталь).

мною и всеми теми, с кем имеет дело каждый день. Никогда никто не оценит мой ум так, как Жермена: никто никогда не будет так резко отличать меня от остальных. Но Жермена поглощена делами! Она погружена в них с головой! Она выказывает мужской ум, желая притом, чтобы ее любили как женщину! Может показаться, что, если любовники смотрят одинаково даже на вещи самые незначительные, это укрепляет узы, их связующие. Это неверно. Общность убеждений мешает любви вспыхнуть между ними и утешить их в горестях. Разность же убеждений была бы еще более несносной, из чего следует, что женщине вообще не пристало иметь убеждения.

§ 4. — 15 января

Здесь есть четыре девицы на выданье, все весьма богатые. Три из них очень хорошенькие. Эти последние — родные сестры, они привыкли к жизни в свете, к развлечениям, и я сомневаюсь, что они легко смирились бы с существованием более уединенным, сулящим меньше светской болтовни и больше серьезных и глубоких привязанностей. Они охотно вышли бы замуж, чтобы иметь свой дом и мужа, чтобы царить среди красавиц Парижа или Женевы. Жить в Париже мне не позволяют ни состояние, ни политические убеждения. Жить в Женеве я решительно не способен. Если я женюсь, то лишь ради того, чтобы найти любовь; мне гораздо важнее быть любимым женою, нежели любить ее самому. Сердце мое, характер и чувственность открыты привычке. Итак, мне нужна женщина чувственная, испытывающая влечение ко мне и наделенная характером мягким, кротким. Ума у меня и у самого довольно. Поэтому жене моей необязательно быть умной. Главное, чтобы она не была смешной. Боюсь, что с Амелией это случается, и нередко. В остальном она мне подходит. Состояние ее всего на треть меньше моего, так что, женившись, я не стану беднее. Она совершенно независима. Она уже не так молода и должна понимать, что ей грозит участь старой девы[1]. Она будет счастлива, если кто-то ее полюбит. Она последует за мной в Париж или в имение близ Парижа. Но что, в сущности, она собою представляет? Сегодня она давала бал. Ей нездоровилось; выглядела она очень мило. Однако я убежден, что в ней много легкомыслия. Она с таким восторгом толковала о своем прошлогоднем бале на 150 персон! Поначалу брак будет ей приятен, ибо в новинку, да вдобавок избавит ее от положения едва ли не смешного, в котором пребывает она ныне, но не пожалеет ли она вскорости о жизни, состоящей из ужинов и вечеров, болтовни и вздора? Она, без сомнения, слегка увлечена мною, но кто я для нее: источник нежданной надежды? предмет нежной привязанности? Пожалуй, она и сама этого не знает. Вдобавок она то и дело произносит неприличные фразы и отпускает несмешные шутки, она ни в чем не знает меры, она привыкла высказываться по каждому поводу наугад и наобум! А какой глумливый тон невольно усваивают мужчины, говоря с ней! Разумеется, отчасти виной тому ее провинциальное воспитание, ее двусмысленное положение, ее одиночество. Речи ее вызывают смех, ибо смешно слышать, как языком десятилетнего ребенка изъясняется особа более чем взрос-

1. В 1803 году Амелии было 32 года.

лая, ей, однако, этот смех приятен. Кто же поручится мне, что в этих речах — не вся Амелия, что в ее душе есть место для страсти, место для любви или потребность в ней, кто поручится, что в браке она не станет вести жизнь, во всем подобную нынешней? В этом случае, женившись на ней, я совершу большую глупость, ибо, принудив ее к замужеству и связав свою жизнь с существом ветреным, скучающим, непостоянным, болтливым, я стану еще более несчастлив, еще более одинок, чем ныне.

§ 5. — 19 января

В обществе по-прежнему идут толки о моей скорой свадьбе с Амелией. Она сама начинает этому верить. Нынче вечером она говорила со мной не без нежности. В речах ее сквозили те намеки, какие внушает женщинам любовь. Когда дело доходит до любви, почти все они умны на свой лад[1]. До любви! — но есть ли в Амелии хоть капля любви? Не движет ли ею простое удовольствие от того, что на нее обратили внимание, — удовольствие, мало ей знакомое? Не воодушевляет ли ее исключительно надежда отыскать мужа? Если бы кто-то другой стал искать ее привязанности, не принялась бы она делить между ним и мною и свое кокетство, и свои симпатии? Она была одета весьма мило: розовый цвет ей к лицу. Вне всякого сомнения, я не влюблен в нее: однако чувства мои такого рода, что все хорошее в ней меня радует, а все дурное печалит. Найди я в ней хоть немного здравого смысла, я бы привязался к ней; найди я в ней хоть немного неподдельной любви ко мне, я бы более не мучился сомнениями. Я с тревогой навожу посторонних на разговор о ней; до сего дня я еще не услышал ничего дурного, но, правду сказать, ни разу не услышал и ни одной похвалы.

§ 6. — 20 января

Вечером я был на большом балу и, как ни странно, более всего опасался, как бы меня не заподозрили в привязанности к Амелии. Между тем я отвоевал право заниматься ею. Жермена, по-прежнему поглощенная своим ирландцем[2], дает мне нынче полную свободу. Мне нечего было сказать Амелии. Она говорила мне ровно те же самые глупости, что и другим. Один-единственный раз она повела себя более или менее естественно, когда попыталась устроить так, что мы остались с нею наедине. Однако попытка не удалась, и она как ни в чем не бывало завела разговор с другим. Тем не менее я продолжал думать о ней, хотя не был доволен ни ею, ни самим собой.

1. 2 марта. Впрочем, об Амелии нельзя сказать и этого. Ей ума не прибавили даже разговор о любви и возможность намекнуть на проснувшуюся склонность ко мне. Сильнее всего ей недостает понятливости. Чтобы она вникла в суть того, что ей говорят, следует изъясняться от первого лица и без обиняков; она до такой степени лишена чуткости, что стоит произнести хоть одну фразу, не относящуюся ни к кому конкретно, как она немедля теряет нить разговора. (*Прим. автора.*)
2. О'Брайен — ирландец, живший в это время в Женеве; у г-жи де Сталь в 1803 году был с ним бурный роман.

§ 7. – 22 января

Нынче вечером я видел Амелию лишь мельком. Я пришел к ней поздно. Она встретила меня с большим оживлением – впрочем, это ее вечное пошлое оживление, которое выражается в голосе и манерах, но не имеет ни малейшего отношения к образу мыслей. Я не в силах понять, такая ли она на самом деле и отдает ли она мне предпочтение перед остальными. Возможно, что, не найдя никого другого, я, если пожелаю, женюсь на ней, но жениться, не зная наверняка, любит ли она меня по-настоящему, даст ли мне эта любовь власть над нею, сумею ли я совладать с ее болтливостью, увидит ли она во мне своего наставника, свою опору, существо, во всем ее превосходящее, – нет, это не для меня.

§ 8. – 23 января

Нынче я играл с Амелией в карты. Она была вне себя от радости и очень рассеянна во время игры. Однако нет сомнения, что надежда выйти замуж за любого, кто посватается, привела бы ее в точно такое же радостное возбуждение. Эта шумная радость во многих отношениях неудобна: Амелия произносит сотню слов в минуту, не думая о том, что говорит, и не зная меры, причем из всех, кто ее слушает, я, хотя и не подаю виду, слушаю ее с самым большим неудовольствием. Впрочем, мне пришли в голову два соображения. Во-первых, ею будет нетрудно управлять. У нее душа нараспашку. Она сирота, уже давно живет одна, воспитанием ее заниматься было некому. Она сама себя воспитала в духе того общества, в каком вращается, но у нее меньше осмотрительности, чем у других, потому что других воспитывали родители. По некоторым ее фразам я понял, что она ищет наставника, но никому нет до нее дела; хуже того, ее нарочно заставляют говорить вздор: чем больше глупостей слетает с ее уст, тем она забавнее. Во-вторых, жена невоздержанная и опрометчивая подходит мне гораздо больше, чем такая чопорная, как Виктория[1]. Чопорная стала бы упрямиться, настаивать на своем, искать помощи у посторонних. Амелия же поневоле покорится человеку более сдержанному, чем она сама, который, видя в ней существо низшее, будет обращаться с нею нежно, но при этом смотреть сверху вниз, не вызывая ни у кого нареканий.

§ 9. – 24 января

Случай или инстинкт привели меня сегодня в дом, где находилась Амелия. Она была дурно одета и выглядела почти уродливой. Я не учитывал прежде этого обстоятельства, а ведь оно принадлежит к числу постоянных неудобств семейной жизни. Впрочем, говорила она сегодня лучше, чем обычно. Речь шла об английских нравах и английской семейной жизни, о порабощении женщин и пр. В разговоре этом выказала она кротость, рассудительность и покорство. Быть может, она притворялась? В таком случае, она проницательна. А если дело не в проницательности? В таком случае она прямодушна.

1. Виктория Селлон, одна из тех трех хорошеньких сестер – барышень на выданье, – которых Констан упоминает в § 4.

§ 10. – 25 января

Сегодня Амелия мне совсем не понравилась. Она явственно желала меня пленить. Не знаю, в чем тут дело: в том ли, что это желание увеличило ее ветреность, или в том, что шумный бал вывел ее из равновесия, но никогда еще она не вела себя так неприлично; никогда еще наши юные фаты не разговаривали с нею более насмешливо, никогда еще она не отвечала им более непристойно. Что же касается сущности ее характера – если у нее вообще есть характер, – то на этот счет мне ничего не известно. Я не знаю способа увидеть ее наедине. Я не могу заниматься ею одной – это значило бы выставить себя напоказ и дать повод для сцен Жермене, которая и без того уже начинает тревожиться; во время же наших коротких разговоров в свете Амелия еще ни разу не сказала мне ничего, что имело бы какой-либо смысл, преследовало какую-либо цель, возымело какое-либо действие. Впрочем, многим ли лучше другие женщины? Быть может, их речи не так неприличны, но уж, конечно, не более умны. Амелия чтит приличия меньше, чем другие женщины, но ведет себя ничуть не более ветрено – а возможно, и менее, – чем они. Однако я чувствую, что возненавижу женщину, за которую буду нести ответственность, если она не заставит себя уважать – пускай не за достоинства, но хотя бы за недостатки.

§ 11. – 26 января

Я видел ее лишь мельком. В карты мы не играли. Она уехала внезапно.Что ею двигало – досада и дурное настроение или просто усталость и желание спать? Я всегда вспоминаю в таких случаях историю про пирог. Один мужчина выказывал предпочтение некоей женщине, но не думал, что она принимает это всерьез. Затем он заметил, что ошибается, и прекратил ухаживание. Несколько дней спустя он встретил ее в свете; она была печальна, бледна и выглядела больной. Он осведомился о ее здоровье; она отвечала кротко и томно. Он предложил ей руку и сердце и женился на ней. На следующий день после свадьбы, уверенный в нежных чувствах молодой жены, он усадил ее к себе на колени и захотел услышать рассказ о давешних ее страданиях. "В тот день вы были так печальны. Нынче вы выглядите куда лучше, куда веселее". – "Да, – отвечала она, – я тогда съела за обедом пирог, от которого у меня началась ужасная резь в животе". А мужчина был уже женат. Тем не менее я не могу не признаться самому себе, что постоянно думаю об Амелии: на расстоянии я люблю ее куда сильнее, чем вблизи. В ее отсутствие воображение мое исключает из ее облика то, что ее портит, прибавляет то, чего ей недостает, угадывает то, что ей бы подошло. Я часто думал об этом: любовное чувство не имеет ничего общего с тем существом, на кого оно направлено. Любовь – потребность сердца, которая посещает его реже, чем потребность в чувственных наслаждениях, но тем же манером: и точно так же, как чувственность заставляет мужчину искать женщину – не важно какую, – с которой он мог бы утолить свою страсть, так и сердце мужчины ищет особу, к которой мог бы он привязаться, а уж затем воображение преувеличивает ее кротость, красоту или какое-либо иное достоинство. Во мне эту сердечную потребность подкреп-

ляет потребность еще более настоятельная: я нуждаюсь в покое. Восемь лет жизни с Жерменой были непрекращающейся грозой — или, вернее, целым нагромождением гроз. Жермена — это и политика, и требование такой любви, какая бывает только в восемнадцать лет, и стремление к светской жизни, и стремление к славе, и тоска, как в пустыне, и нужда в уважении, и желание блистать, — чувства, входящие друг с другом в противоречие и страшно осложняющие жизнь. Из Жермены вышел бы десяток, а то и дюжина выдающихся мужчин[1]. Ум ее и сердце исполнены величайших достоинств, однако она изводит даже друзей; какая же участь ждет человека, с которым она свяжет свою жизнь? Ведь она не желает жить одна, но при этом желает жить так, как ей заблагорассудится. Все, кто с ней знакомы, все, кто имеют с нею дело, испытывают в большей или меньшей степени те же ощущения, что и я. Ее отец, ее подруги, ее супруг — все постоянно стремились провести черту между ее жизнью и своей: я же, с тех пор как она покорила меня, не смел расстаться с ней из страха перед бурными проявлениями ее горя, но не проходило и дня, чтобы я не проклинал и ее, и самого себя. Амелия — едва ли не полная противоположность Жермене. Я стою настолько выше ее, что не могу смотреть на нее иначе как на забаву. Жизнь с нею будет для меня легка как перышко. Если только я обнаружу в ее душе какое-либо чувство, помимо внимания девушки на выданье к возможному жениху, я, пожалуй, дам волю своему воображению, которое охотно ее приукрасит. Впрочем, не стоит терять осторожности. Что, если за этой бездумной веселостью скрывается упрямая и несговорчивая посредственность, если сердце ее сухо, а привычка к провинциальной жизни неодолима, если ее кротость, а подчас и нежность проистекают из одного лишь желания подольститься к будущему мужу, — одним словом, нужно непременно увидеть ее наедине, и не единожды, нужно поговорить с ней и узнать наконец, есть ли в этом существе что-либо настоящее и серьезное?

§ 12. — 27 января

Нынче вечером я ужинал с Амелией; я сидел с нею рядом, и мне удалось ее разговорить. Должен решительно заявить, что за целый час я не обнаружил в ее речах ни единого проблеска мыслей или чувств. Быть может, отчасти в этом виноват я сам. Боясь, как бы склонность моя к Амелии не сделалась предметом всеобщего внимания, я почти всегда говорю с нею полушутя, так что связные впечатления не успевают зародиться в ее уме. Сделаться всеобщим посмешищем было бы для меня несносно. Однако, будь у нее хоть капля ума и здравого смысла, это бы хоть в чем-нибудь да проявилось. Впрочем, скажу опять: жизнь в Женеве испортила ее; она так и осталась десятилетней девочкой, которую взрослые мужчины ради собственной забавы заставляют говорить все, что ей

1. Ср. в "Сесили" рассказ о первой встрече с г-жой де Сталь: "Я никогда не видел ничего подобного. <...> Ум ее, равным которому не может похвастать ни одна женщина, а возможно, и ни один мужчина, был, когда дело шло о предметах серьезных, исполнен не столько изящества, сколько силы, а когда речь заходила о предметах, связанных с чувствами, обнаруживал величавость и трогательность. <...> Ум ее меня ослепил, веселость очаровала, похвалы вскружили голову. За один-единственный час она забрала себе надо мной власть столь безраздельную, какой, быть может, не имела никогда никакая женщина".

взбредет в голову. Человек, к которому она ощутила бы сердечную склонность, сумел бы, пожалуй, исправить все это, дав ей подобающее воспитание. Но питает ли она ко мне эту склонность? Я вижу, что она охотно вышла бы за меня замуж, что она выйдет за меня, что ей хочется за меня выйти — но, вполне вероятно, только потому, что ей надоело девичество.

§ 13. — 29 января

Нынче вечером я говорил с Амелией около получаса и остался доволен ею больше, чем обычно; отчего? — оттого что она не сказала ничего неприличного, а когда она не приводит меня в замешательство своими речами и произносит только самые обычные фразы, я испытываю чувство благодарности. Странно, что при этом я ощущаю потребность видеть ее.

§ 14. — 30 января

Увиделся с Амелией очень поздно: я играл, проигрался и был склонен к нежностям. Она явно обрадовалась мне; должно быть, она рассказала одной из своих подруг о том, что увлеклась мною, или о своих надеждах на то, что я увлекусь ею. Мы сели за карточный стол: она была весела и рассеянна, по обыкновению. Между нами установилось то согласие, какое существует между людьми, которые отличают друг друга и знают об этом. Но от этого до сердечного влечения еще очень далеко.

§ 15. — 1 февраля

Очевидно, что Амелия меня отличает, что она ищет случай мне в этом признаться, что ей досадно, если мы не видимся. Однако я до сих пор не слышал от нее ни единого слова, в котором сквозило бы что-нибудь, кроме желания выйти замуж, не замечал ни единого проявления чувства, которое относилось бы непосредственно ко мне. Нынче вечером она очень веселилась и произнесла несколько забавных фраз; впрочем, все это по-прежнему речи десятилетней девочки. Не питай я к ней привязанности, я, быть может, судил бы не так строго. Множество женщин, слывущих умными, говорят вещи столь же несуразные. А те, которые их не говорят, страдают другими недостатками, для меня куда более обременительными. Но все-таки Амелия — существо по меньшей мере заурядное; недаром никто о ней не говорит, никто не повторяет ее слов; она то и дело выставляет себя напоказ, а замечают других. Все мои друзья находят мое увлечение ею смешным, но избавляют меня от объяснений на сей счет. Если что и заставит меня сделать выбор в пользу Амелии, так это Жермена: с каждым днем она становится все беспокойнее, все раздражительнее, все требовательнее.

§ 16. – 2 февраля

Я как в воду глядел. Что за сцену устроила мне Жермена! Я, разумеется, признаю все ее достоинства, но дольше так жить невозможно: как это
[222] ни печально, я убежден, что связь между нами, по крайней мере связь
ИЛ 4/2002 любовная, наверняка оборвется, – тем больше оснований оборвать ее посредством моей женитьбы. Всякая другая форма разрыва показалась бы неблагодарностью: если же я женюсь – не важно, по любви или по расчету, – это меня извинит. Вдобавок, сколько бы я ни стремился отвоевать себе независимость, я смогу добиться этого лишь с помощью сцен и лишь на время; я соглашусь остаться еще на один день, после на два, а потом из этих дней составится целая жизнь. Я страстно желаю, чтобы с Жерменой меня связывали узы дружбы, а не любви; произойдет же это лишь в том случае, если, покончив с любовью, мы сблизимся благодаря родству наших умов и общности воспоминаний. Я женюсь на Амелии. Правда, сегодня мне сказали, что она своенравна, капризна, вспыльчива и охотно прибегает к такому испытанному средству, как нервный припадок. Вполне возможно. В свете она кротка, весела, послушна, но может оказаться, что так бывает не всегда. Постараюсь понаблюдать за ней. Впрочем, как бы там ни было, поскольку всего мне увидеть не дано, следует положить за правило, что, взяв ее в жены, я должен буду добиться от нее беспрекословного повиновения. Завтра я набросаю план действий.

§ 17. – 3 февраля

Я написал вчера, что хочу жениться, что хочу жениться на Амелии и что хочу сначала набросать план действий и избрать наилучший способ его исполнить. Припомню сначала все, что я заметил в Амелии нынче. По обыкновению пересыпая свою речь заурядными шутками и пустыми словами, она говорила со мной о своем одиночестве, о печали, какую она испытывает в глубине души, о том, как ей досадно не иметь никаких обязанностей, об ощущении бесполезности собственной жизни. Все это прямо вело к замужеству, но я не расслышал ничего, что касалось бы меня лично, что относилось бы ко мне больше, чем к любому другому. Она очень ловко – не знаю, нарочно или оттого, что в сущности ничего подобного и не чувствует, – избегает всего, в чем я мог бы увидеть понимание и согласие. В результате сегодня я еще дальше от цели, чем две недели назад, когда во время игры в вист она сказала мне: "Если мы будем вместе, счастье нам улыбнется". Правда, я и сам не тороплю события, ибо не желаю никаких объяснений прежде отъезда Жермены[1]. Ясно одно: если она не будет питать ко мне страстной любви, я не смогу подчинить ее своей власти. Если же я не смогу подчинить ее своей власти, я уподоблюсь всем женевским мужьям, а этого я не хочу. Значит, нужно вырвать у нее признание: завтра у меня появится для этого прекрасный

1. После выхода в декабре 1802 года романа г-жи де Сталь "Дельфина" Наполеон, и без того недолюбливавший писательницу из-за ее связей с оппозиционными кругами, предписал ей покинуть Париж. В феврале 1803 года возлюбленной Констана показалось, что гнев первого консула ослаб, и она сочла, что может вернуться в столицу, интеллектуальная атмосфера которой была ей необходима, однако эта поездка не состоялась, а осенью того же года Сталь получила новое приказание не приближаться к Парижу больше чем на 40 лье.

повод. Если ее не будет у г-жи Пикте, значит, она предпочла пойти в театр или решила меня подразнить. Тогда в субботу я к ней не пойду, а в воскресенье не стану с ней заговаривать. На несколько дней я решительно переменю свое с нею обращение. Если же она будет у г-жи Пикте, я спрошу, сделала ли она это ради меня, и откроюсь ей, отложив все прочее. Вернемся, однако, к общему плану. Я хочу, чтобы Амелия стала моей, но моей на моих же условиях, чтобы она сделалась частью меня самого и я мог распоряжаться ею по собственному усмотрению. Для этого я должен влюбить ее в себя, показать ей, что в самом деле хочу на ней жениться, и открыть свои условия: жизнь в моих поместьях, английские нравы, покорность. Высказав все это, дать ей созреть, а самому остыть. Все это завтра, если она будет у г-жи Пикте, а Жермена — нет. С другой стороны, возможно, лучше было бы оставить все как есть до отъезда Жермены, затем написать Амелии письмо, в котором объясниться как бы против воли и, предложив ей руку и сердце, в тоне наполовину нежном, наполовину суровом выставить мои условия. Письмо, например, такое:

"Я люблю Вас[1]. Вы не могли этого не заметить. Три месяца я боролся с Вашим неизъяснимым очарованием. Боролся изо всех сил. Обладая независимым состоянием, независимым положением, независимым характером, я намеревался и впредь сохранять независимость как ради моих убеждений, так и ради уз, связующих меня с Францией. Но старания мои были тщетны, и я вынужден признаться, что покорён Вами. Видеть Вас сделалось для меня желанием, которое я не могу превозмочь. Не видеть Вас сделалось мукой, которую я не могу перенести[2]. Итак, я решился искать счастья видеть Вас ежечасно, ежеминутно. Однако Ваша власть надо мной, поработив мое сердце, не лишила меня разума, и на тот случай, если чувства мои Вас тронут, я обязан описать вам мое положение, характер и взгляд на супружество. Я скорее соглашусь лишиться Вас, нежели Вас обмануть, пускай даже невольно. Из тех непродолжительных бесед, какие имели мы с Вами, Вы могли вынести убеждение, что я полагаю независимость женщин пагубною для их счастья, равно как и для нашего. На сей счет я решительно англичанин. Впрочем, англичане стоят за близость лишь в отношениях физических, я же притязаю также на сердце и ум избранницы. Узы самые тесные должны связывать обоих супругов во всякий час без изъятия. Жене отведена в общем бытии роль существа кроткого, сговорчивого, приветливого, дарующего утешение и покой, — существа уже по одному этому подчиненного. Всякое разделение занятий и планов, а следственно, всякая независимость женщины открывает доступ для развлечений, привязанностей и мнений посторонних и этим одним все губит. Женщин, с которыми такая связь — связь постоянная, безраздельная — возможна, на свете немного. Быть может, Вы одна такая и есть. Сколько могу надеяться, Вы

1. 2 марта. Все письмо лишено смысла. Амелия ни слова в нем не поймет. Вдобавок сколько ни ставь женщине условий, ничто не помешает ей впоследствии возроптать. Она даст все требуемые обещания, а затем начнутся жалобы. Если я хочу жениться на ней, следует идти обычным путем, оговоривши единственно, что жить я намерен во Франции, в деревне. (*Прим. автора.*)
2. Впоследствии Констан вложил сходную реплику в уста Адольфа, который, объяснясь в любви Элленоре, говорит: "Видеть вас стало для меня привычкой... я хочу только одного — видеть вас; и мне необходимо видеть вас, если я должен жить" (перев. А. Кулишер); в свою очередь эти слова Адольфа, как показала А. Ахматова, отразились в письме Онегина к Татьяне: "Я знаю: век уж мой измерен; / Но чтоб продлилась жизнь моя, / Я утром должен быть уверен, / Что с вами днем увижусь я..."

достойны того, чтобы Вас направляли или, говоря иначе, наставляли ради Вашего счастья и моего. Вы способны сделаться в тысячу раз лучше. До сей поры Вас ни разу не направлял человек, глубоко к Вам привязанный. Знакомцы Ваши забавлялись живыми и веселыми Вашими речами, а об воспитании ума Вашего и суждений не заботились. Оттого разговор Ваш всегда оживлен, нередко остер, подчас неприличен. Всем, что есть в Вас превосходного и естественного, обязаны Вы себе самой; всем, без чего могли бы Вы обойтись, обязаны ветрености, усвоенной в свете, и одиночеству сердца. Не думаю, что ошибусь, сказавши, что дружеская рука, действуя мягко и осторожно, превратила бы Вас в существо, исполненное прелестей и достоинств всякого рода. Вот что желал бы я предпринять, вот чему желал бы посвятить свою жизнь. Если, говоря о том, чего ныне Вам недостает, оскорбляю я Ваше самолюбие, следственно, дурно Вас знаю. В таком случае письмо мое должно Вам сжечь, а меня отвергнуть. Положение мое располагает и даже вынуждает к супружескому союзу теснейшему и исключительному. Имения и дела требуют присутствия моего во Франции, а возможно, и в деревне близ Парижа. Деревенская жизнь, говорите Вы, Вам не по нраву. Смею предположить, что Вы в деревне, в имении, Вам самой принадлежащем, подолгу никогда не живали. Проводили, должно быть, несколько дней у светских знакомых без дела, без привязанности, мучаясь непривычной обстановкой и праздным времяпрепровождением, вспоминая о жизни бурной и оживленной и о ней мечтая. Можете ли Вы судить о том, какое действие произведут на Вас чувство всеобъемлющее, каждодневные занятия, жизнь более основательная, любовь, материнство и природа? Итак, мы поселимся в деревне близ Парижа, а в столицу станем ездить вместе за развлечениями, поселимся вдали от света, чтобы не видеть непрошеных гостей, не слышать городского шума. Там поведем мы жизнь, посвященную любви, прерывать же наше уединение станем лишь ради друзей. Впрочем, следует мне объясниться подробнее насчет жизни супружеской. Самое важное в браке — первые шаги. Тут муж узнаёт, каков характер жены, а жена — мужа, тут они сходятся нравом или расходятся, и от этих первых сношений все дальнейшее зависит. Для первых этих шагов посторонние взгляды гибельны. Чужие люди вмешиваются и сулят поддержку, на которую рассчитывать нет резона. Вместо того чтобы думать о себе и о существе, с которым связали они свою жизнь, начинают супруги думать о том, что скажут о них посторонние. Вместо того чтобы основать счастье свое на привязанностях семейственных, основывают его на вещах ничтожных, мелочных, которые разъединяют сердца и иссушают души. Чтобы нечто подобное не приключилось с нами, предложу я Вам первые полгода совместной жизни провести в деревне в полном уединении. Полгода учебы — не так уж много для устройства целой жизни. Я хотел бы, чтобы с той минуты, как Вы сделаетесь моей женой, мы остались одни в целом свете. Через полгода узнаем мы друг друга в совершенстве и избегнем величайшей опасности, какая грозит браку, — разговоров с друзьями о семейных наших неурядицах. Мы поймем, суждено ли нам испытать первое блаженство на земле, суждено ли наслаждаться обществом друг друга, или же обречены мы жить, как все, призывая на помощь светские радости и не притязая на то, чтобы от прочих отличаться. Впрочем, как бы там ни было, за нами останется великое преимущество: мы научимся друг друга понимать и беречь, из достоинств наших извлекать выгоду, а недостаткам не давать воли; если

в обычных браках опыты и открытия нелестные и безрадостные совершаются в присутствии хотя бы нескольких друзей, мы свои опыты произведем с глазу на глаз и мнение наше о самих себе и о дальнейшем нашем поведении определим раз и навсегда. Говорю так долго о несчастливом исходе лишь потому, что не смею льстить себя надеждой на счастливый. Дай я волю своему воображению и распиши себе в красках то блаженство, какое, полагаю, сулит мне супружеская жизнь с Вами, представь я Вас такой, какой, полагаю, вы сделаетесь, у меня недостанет сил покоряться строгим правилам и жестоким условиям. Я примусь искать Вашей руки любой ценой, скрыв от Вас, что, хотя для счастья необходимо мне составить счастье другого существа, характер мой показаться может странным: свет, шум, волнение утомляют меня, мне потребны покой, уединение, жизнь упорядоченная. Характер этот даст себя знать, и Вы сочтете, что я Вас обманул, меж тем как я всего лишь люблю Вас чересчур сильно. Я признался Вам в этом в начале письма. Я уступаю власти, какую Вы забрали надо мной, неодолимому желанию Вас видеть, но разум подсказывает мне, что необходимо дать Вам самой решить, могу ли я сделать Вас счастливой, необходимо предоставить Вам оружие, которое обернете Вы против меня, если не придутся Вам по нраву ни характер мой — а он, пусть и преображенный любовью, не переменится, — ни мнение мое о месте, подобающем женщине, ни планы жизни в супружестве. Об обстоятельствах внешних скажу всего два слова. У меня немногим более 10 ооо ливров годового дохода. Наследство от нескольких родственников может это состояние умножить. 10 ооо ливров недостанет для жизни в городе, но сего дохода довольно для жизни в деревне, о которой я мечтаю. Не знаю, на сколько приданое Ваше увеличит общее наше состояние, но будь оно способно переменить что-либо в тех семейственных отношениях, что кажутся мне основанием счастья в браке, увидел бы я в нем скорее зло, нежели добро, и охотно принял все меры, которые, доказавши Вам, сколь малое значение придаю я Вашим деньгам, не позволили бы родиться меж нами тому различию интересов и той независимости, что кажутся мне противуестественными и гибельными. Я пишу Вам откровенно — пожалуй, даже чересчур откровенно: иначе не сладить бы мне с желанием говорить Вам лишь то, что могло бы доставить Вам удовольствие. Я убежден, что редкая женщина внушает мужчине чувство, какое внушили мне Вы. Я убежден также, что редкий мужчина выражает свое чувство более рассудительно и языком более беспристрастным. Я люблю Вас такой, какая Вы есть, но еще сильнее — такой, какой, полагаю, могли бы Вы стать. Я убежден, что нет в жизни большего счастья, чем посвятить себя счастью другого человека. Но я убежден также, что составить счастье другого человека можно лишь будучи любимым им глубоко и безраздельно, лишь сделавшись единственным предметом его помыслов. Любовь жены к мужу в браке есть вещь еще более необходимая, нежели любовь мужа к жене, ибо так уж заведено, что женщина — существо слабое и зависимое, зависимость же ее может обернуться счастьем, лишь если она полна любви. Итак, я не говорю Вам: выходите за меня, ибо я Вас люблю; я говорю: выходите за меня, если Вы меня любите. Если же Вы не любите меня так сильно, чтобы желать посвятить жизнь мне одному, откажите мне, ибо для чувств посредственных я не гожусь. Не знаю, что для меня хуже: сделать Вас несчастной или потерять навсегда; однако я выбрал бы последнее несчастье, ибо оно коснулось бы лишь меня одного. Полагаю, что пись-

мо мое, какое бы решение Вы ни приняли, должно остаться нашей с Вами тайной. Не стоит делать нас с Вами поживой женевских сплетников. Если Вы меня не отвергнете, позвольте мне увидеться с Вами наедине. Ведь в письме всего не опишешь. Если же Вы мне откажете, я вдали от Вас буду всем сердцем желать Вам счастья"[1].

§ 18. – 5 февраля

Еще относительно Амелии: сначала следует понять, хочу я жить в Париже или нет. Если хочу, то, вне всякого сомнения, не смогу это исполнить, женившись на ней; на это у меня не достанет средств. Если же не хочу, тогда брак с ней поможет мне устроить в деревне жизнь основательную и приятную. Очевидно, что в Париже я надолго не задержусь. Даже для карьеры политической куда удобнее обитать в собственном имении – завязать сношения с соседями, сделаться помещиком, живущим на своей земле, а не слоняться в течение десяти лет по Парижу, ничего не делая, изнуряя зрение и здоровье и – отчасти по собственной вине, а отчасти по вине Жермены – производя впечатление то ли искателя приключений, то ли человека, который мечтает наделать побольше шума. Покойная жизнь предпочтительна при любой власти. Друг Жермены при любой власти будет слыть человеком беспокойным и беспорядочным. Неустанные хлопоты могут в конце концов доставить ему должность, но лишь такую, на которой он долго не удержится и которая не принесет ему уважения окружающих. Положение Амелии удобно для меня во многих отношениях. Возможно, она лучше, чем кажется, но уж наверняка не хуже; меж тем мне она подходит именно такой, какой кажется. Я женюсь на ней, не питая иллюзий, готовый к разговорам по большей части заурядным, к скуке, какую по временам будем мы навевать друг на друга; главное – следовать с нею правилу очень простому, как-то: быть неизменно выше ее умом и характером, присутствием духа и твердостью воли. Ясно, что одиночество пугает ее больше, нежели расставание с Женевой и переезд в деревню. Ясно, что, если посулить ей возможность раз в два-три года наведываться в Женеву и часто бывать в Париже, она ответит мне согласием, и притом с большой охотой. Трудность в том, как заключить этот брак, не всполошив, с одной стороны, Жермену и ее друзей, с другой – кое-кого из моих врагов. Как бы ветрена ни была Амелия, как бы страстно она ни хотела замуж, ей недостает привлекательности. Она чересчур осмотрительна: все время думает о замужестве, но довольно ловко ускользает от любого разговора, касающегося лично до меня. Я лучше пойму, чего мне от нее ожидать, после отъезда Жермены, когда буду меньше бояться пересудов: покамест, то ли потому, что такова ее натура, то ли потому, что ее настроили против меня, она ни на шаг не отходит от из-

1. Чтобы дать представление о том, как Констан писал настоящие, а не сугубо головные, рассудочные любовные письма, приведем фрагменты из его письма к еще одной возлюбленной, ирландке Анне Линдсей: "Мне необходимо тебя видеть, прижать тебя к сердцу, умереть, впившись в твои губы. Ангел мой, обожаемый ангел, мне необходимо слить мою душу с твоей и вновь испытать ощущения, сделавшиеся моей жизнью. Жизнь эта в твоих руках. Кровь моя кипит, чувства возбуждены, и лишь твоим взглядам, твоим поцелуям под силу их успокоить" (22 декабря 1800 года). Письма Констана к Жермене де Сталь не сохранились. Их уничтожила после смерти Констана дочь г-жи де Сталь Альбертина.

бранной линии. Хорошо бы ее увезти: тогда она больше бы от меня зависела и мне было бы легче выставить ей свои условия. Но она совершенно свободна, ничто не мешает ей мне ответить; в таком случае чем объяснить отъезд прежде венчания? Боязнью сплетен и пересудов? Вчера она согласилась со мною в том, что пересуды отвратительны, однако из этого никак не следует, что ради того, чтобы их избежать, она готова уехать из дома, не сказавшись друзьям, и обвенчаться вдали от Женевы. Я не могу признаться ей ни в одном из своих истинных побуждений. Не могу сказать ей, что, поскольку она не красавица, все сочтут, что я женюсь на ней из-за денег, и рано или поздно дадут ей это понять, а такие намеки причиняют боль. Не могу сказать, что боюсь Жермену и ее друзей, она ответит мне на это, что, следственно, я люблю не ее, а Жермену и что странно человеку не иметь собственной воли. Наконец, не могу сказать, что, поскольку она часто выглядит смешной, я, остановив на ней свой выбор, не смогу бывать с нею в свете, ибо насмешек над своей избранницей не выдержу. Пренебрегши всеми этими обстоятельствами, я окажу самому себе дурную услугу. Во-первых, природный мой характер таков, что, если меня заподозрят в неблагородных расчетах, я непременно захочу доказать обратное и соглашусь на то, чтобы Амелия самостоятельно распоряжалась своим состоянием, а это противоречит всем моим видам на жизнь и взглядам на брак. Я скорее возьму за себя женщину без состояния, нежели соглашусь жениться на женщине богатой и позволить ей сохранить независимость в браке. Во-вторых, мне придется вступить в жестокую борьбу с Жерменой и ее друзьями, а это приведет к разрыву, которого я не желаю. Наконец, в-третьих, я не знаю, смогу ли я, после того как все признают меня за любовника Амелии, снести ее неприличное поведение в свете; между тем начни я ее воспитывать, не имея на это права, я прослыву жестоким и странным. Что в итоге? Лучше всего уговорить Амелию уехать со мной и обвенчаться вдали от Женевы, и я все-таки попробую это сделать. Если не получится, тогда следует дождаться, чтобы она привязалась ко мне как можно сильнее, а затем, сославшись на важные дела и пообещав вернуться, уехать во Францию и найти способ вынудить ее приехать ко мне — не важно куда, — чтобы обвенчаться. Так мы, по крайней мере, вырвемся из Женевы.

NB. Письмо из § 17 никуда не годится: чересчур романическое и страстное. Если решусь на последний способ, хороший предлог — болезнь моего отца; другой предлог, чтобы заставить ее приехать, — несчастный случай, якобы приключившийся со мной в дороге.

§ 19. — Тот же день

Всего чрезвычайного следует избегать. Поэтому, все обдумав, я избираю способ действий самый натуральный. После отъезда Жермены говорю с Амелией начистоту. Добиваюсь ее согласия, объясняю, что из боязни пересудов надобно держать все дело в тайне, и пытаюсь втолковать ей, что до моего отъезда мы должны связать друг друга обязательствами. Исчисляю ей свое состояние, показываю, как оно изменится в связи с женитьбой, и, если не удастся добиться, чтобы она первой заговорила о помолвке, предлагаю это сам. После помолвки

уезжаю в Эрбаж[1]; пишу Камбасересу[2] письмо, в котором сообщаю о желании полностью устраниться от жизни политической и обосноваться в собственных владениях с женщиной, на которой намерен жениться; прибавляю, что должен быть уверен в возможности обеспечить этой женщине покойную жизнь, если же уверенности этой не получу, то откажусь от всех своих планов и покину Францию, однако же надеюсь, что добровольно данное честное слово поможет мне обрести то единственное, чего я домогаюсь, а именно покой. Получив от Камбасереса ответ — а равно и не получив его — и покончив дела с Фурко[3], избираю местом жительства Эрбаж или другое имение, а затем возвращаюсь сыграть свадьбу с Амелией.

§ 20. — 8 февраля

Последние три дня ничего не записывал. Тем временем имел ужасную сцену с Жерменой. Я не сдержался и высказал ей многое. Возвратился к ней назавтра, и теперь мы вновь в прежнем положении. Лучше Жермены нет никого в целом свете, однако в ней такая жажда деятельности и такая бездна скорби, что близ нее счастье мне решительно не суждено. С другой стороны, Амелия ровно ничего собою не представляет, ума же у нее недостает даже на то, чтобы увлечься мною. Впрочем, я не отказываюсь от своих намерений насчет Амелии, с условием, однако же, что буду видеть в ней всего лишь средство возвратиться к жизни простой и обыденной, которая позволит мне, обретя свободу, начать все сначала. Посмотрим правде в глаза. Если я не женюсь, то в глазах публики навечно останусь любовником Жермены, и не более; я вечно буду отвечать за ее опрометчивые шаги, вечно буду разделять ее горести. Начав искать в женщине нечто большее, чем могу я найти в Амелии, принужден буду я отказаться от многих преимуществ. Женитьба на Амелии позволит мне и в супружестве не сделаться беднее: положение и характер Амелии таковы, что, не будучи связанной тесными узами ни с одним существом в мире и не пользуясь уважением в свете, она будет зависеть от меня более, нежели женщина, у которой живы родители и которая умеет снискать приязнь окружающих. Разумеется, я не стану ее притеснять: причиняя боль ближним, пусть даже всецело от нас зависящим, мы ничего не выигрываем. Однако с Амелией я сумею как нельзя лучше исполнить заветное мое желание — быть женатым в глазах света и, однако же, вольным распоряжаться собой как мне вздумается. Головка у нее пустая, следственно, ни на решения мои, ни на мою жизнь не окажет она никогда ни малейшего влияния.

§ 21. — 19 февраля

Снова долго не писал. Некоторое время не видел Амелию и решил, что она меня избегает, решил, что ей посоветовали меня избегать, решил,

1. Имение в швейцарском кантоне Люзарш, приобретенное Констаном в 1802 году.
2. Жан-Жак-Режи Камбасерес (1753–1824) — архиканцлер Империи, советчик Наполеона во всех важных вопросах.
3. Пьер Фурко де Паван — парижский нотариус Констана и г-жи де Сталь.

что она желает вынудить меня признаться в намерениях на ее счет. Ничего подобного. Амелия жила-поживала, даже и не помышляя обо мне, и то ли оттого, что наносила визиты, то ли оттого, что занималась родственниками, то ли еще по какой-либо причине совершенно спокойно провела четыре дня, не видясь со мной. Ей и в голову не пришло высказать мне по этому поводу хоть малейшее огорчение. Теперь я твердо знаю, что совершенная глупость служит женщине надежнейшей охраной. До тех пор пока я не подойду к Амелии в упор и не крикну: "Я в вас влюблен!", она не поймет меня и будет полагать, что все мои разговоры с нею — не более чем способ убивать время. У нее ум страдает тем же изъяном, каким у иных страдает зрение: она не видит того, что происходит подле нее; заметить она способна лишь то, что у нее прямо перед глазами. Нелепость заключается в том, что я в эти четыре дня всерьез мучился. Воображение мое разыгралось, и, если бы не моя превосходная система бездействия, я бы, пожалуй, натворил глупостей. Как ни досадно, брак с Амелией вне всякого сомнения уронит меня в глазах многих. Мое к ней внимание иные находят смешным, иные — жестоким, ибо полагают, что я занимаюсь ею забавы ради. Когда же все узнают, что я имею серьезные виды, о жестокости позабудут, а смеяться станут вдвое громче. Я все больше убеждаюсь в том, что самое лучшее — ее увезти. Тогда сочтут, что я действовал под влиянием страсти или из каких-либо неведомых побуждений. Но это чрезвычайно трудно осуществить.

§ 22. — В тот же день

Пожалуй, Амелия меня все-таки любит. Сказала мне несколько фраз, которые позволительно принять за недвусмысленные намеки; впрочем, в ее устах фразы, звучащие неопределенно, на поверку чаще всего оказываются общими местами. Однако она весьма явственно избегала своего смехотворного обожателя г-на де Фавержа, предпочитала говорить со мной, а не с ним и возмущалась жестокостью людей, которые прерывают разговоры собеседников, приятных друг другу. Не могу вообразить, чтобы эти слова не мне были адресованы. Я много думал относительно глупости Амелии. Ясно, что острым умом она не блещет. Она не получила образования, но, полагаю, тому, кто будет с нею ласков, она вверит себя вполне. Если обращаться с нею мягко, ее можно приручить. Я никогда не полюблю ее так страстно, чтобы устраивать ей сцены: ибо никогда не позволю ей оказывать влияние на мое поведение даже в вещах самых незначительных; если же она наскучит той жизнью, к какой я ее предназначаю, если начнет дуться и попрекать меня моими связями и невниманием к ее особе, тогда — невозмутимость, холодность, суровые и нелицеприятные оценки ее поведения; высказать ей все в таких словах, чтобы она поняла, а затем при первом же порыве раскаяния — снисходительность, ласки и удовольствия; это — верный способ получить над нею безраздельную власть. Мне тридцать шесть лет, в прошлом у меня развод, убеждения мои стоили мне почти официального предписания покинуть Францию; могу ли я надеяться взять в жены француженку (тысяча причин заставляет меня отказаться от мысли жениться на иностранке), которая была бы богата и умна? Могу ли я надеяться на это, притом что связь моя с Жерменой всем известна и что Жермена, встревожив-

шись, способна поднять шум и разрушить все мои планы? А если я и отыщу женщину красивую, богатую, умную и согласную выйти за меня, кто поручится, что она не принесет мне, с моей любовью к независимости, много горя и не помешает осуществлению моих планов? Не лучше ли такая жена, которую сама природа предназначила к роли второстепенной и которая, пожелай она сыграть роль более значительную, не найдет ни в ком поддержки и не вызовет ничего, кроме смеха, так что в конце концов непременно покорится мужу как естественному своему защитнику, лишь бы он держался учтиво и хладнокровно? На свете найдется двести тысяч женщин, которые куда лучше Амелии. Не знаю, однако, сыщется ли хоть одна, которая была бы лучше для меня.

§ 23. — 2 марта

За то время, что я не прикасался к этому журналу, я много выстрадал, много передумал, испытал много тревог. Жермена не едет в Париж. По этой причине она глубоко несчастна. Видя мою нерешительность, она составила себе превратное мнение о моих чувствах к Амелии: ее мучает ревность. В то же время нерешительность моя лишь усилилась. У Жермены тысяча достоинств. Амелия — полное ничтожество. А что, если под этим ничтожеством скрывается характер вздорный и сварливый? Я успокаиваю себя тем, что сумею с этим справиться, что сумею принудить ее к покорности. Но удалось ли мне хоть раз в жизни кого-либо к чему-либо принудить?[1] Буду откровенен; ведь я пишу не для публики, а для себя самого. У меня много мыслей, но мало силы. Люди докучные меня тяготят; недовольные мною — удручают. Браня слугу, я всегда чувствую, что не прав. Что же станется со мной, когда рядом окажется жена, которая, к несчастью, будет видеть меня без покровов! Характер мой несносен: я не имею уверенности в себе, даже когда я прав, если же я не прав, то вконец теряюсь, ибо не могу определить, в самом ли деле я заблуждаюсь или виню себя в этом лишь по причине собственной слабости. Посему действия мои нерешительны, а ощущения горьки, иными словами, таковое расположение ума приносит мне одни невыгоды. Я повинуюсь, как раб, имея притом вид деспота. Человек мягкий внушил бы к себе любовь, человек твердый принудил бы к покорству. Я не способен ни на то, ни на другое. Жермена давеча говорила мне не без оснований, что, лишь только я свяжу свою жизнь с Амелией, как ход мыслей моих тотчас переменится, ибо вместо недостатков женщины умной и чересчур знаменитой стану иметь дело с недостатками женщины посредственной, но оттого ничуть не менее требовательной и не менее капризной. Однако же, повторяю — и повторяю с болью, ибо я вступил в связь с Жерменой, повинуясь сердечной склонности, — нынешняя наша жизнь с ней невозможна. Она невозможна из-за тысячи препятствий, из коих одно решительно не-

1. Ср. в "Сесили": "Никогда мне не удавалось заставить людей не говорить мне того, чего бы мне не следовало слышать. Все всегда считали своим долгом давать мне советы. Я ни во что не ставлю себя, потому что не питаю к себе почти никакого интереса. Я спокойно выслушиваю других, потому что к ним не питаю интереса вовсе, и именно в силу безразличия принимаю вид человека покорного и добродушного, чем поощряю многочисленных советчиков".

преодолимо. Я нуждаюсь в чувственных удовольствиях; Жермена их мне дать не способна; связь с женщиной, стоящей ниже меня, мне отвратительна. Я не могу завести любовницу, ибо помыкать ею почитаю подлым; не могу в тридцать шесть лет иметь связи с замужними женщинами, потому что 1) я потрачу бесконечно много времени на дело, меня не достойное; 2) Жермена будет ревновать меня к замужним женщинам так же сильно, как к Амелии, и мы с нею рассоримся так же неотвратимо. Следственно, мне нужно жениться. Жениться мне нужно и по другой причине — политической. Только женитьба позволит мне начать во Франции жизнь покойную и размеренную. Как мучительна нерешительность! Между тем отмечу одно обстоятельство. Вчера я был превосходно принят на бале всем здешним обществом; больше того, один из умнейших и почтеннейших жителей Женевы, и притом опекун Амелии, говорил со мною особенно дружески, настоятельно просил меня продлить пребывание в этом городе, уверял, что здесь все, и мужчины и женщины, меня любят, и в конце концов сказал, что общество мое для всех драгоценно, а выбор — за мной. Очевидно, что я получу Амелию в жены, когда захочу, и на тех условиях, какие поставлю.

§ 24. — Тот же день

Все не так просто, как я думал. Повсюду только и говорят, что о браке Амелии с болваном и молокососом де Фавержем. Поскольку то же самое говорили и обо мне, хотя я еще ни слова не сказал Амелии о своих намерениях, толки эти скорее всего ничего не доказывают. Однако могло случиться так, что, поскольку от меня она не слышала ничего определенного, желание выйти замуж пересилило в ней склонность ко мне, если даже она таковую склонность питала. Я не верю, что Амелия способна увидеть разницу между мною и всеми прочими, кто ее окружает; для этого ей недостает ума. В сущности, если она готова выйти за г-на де Фавержа, даже не попытавшись заполучить меня, не стоит о ней особенно жалеть в рассуждении чувства. Что же касается расчета и устройства жизни, тут дело другое. Жермена сегодня держалась превосходно, но все ее шипы остались при ней, и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что через пару дней сцены возобновятся. В нынешнем положении жить спокойно нам почти невозможно. Если сцены возобновятся, мы, я полагаю, расстанемся, а этого мне не хочется. Как бы там ни было, следует на что-либо решиться в отношении Амелии, однако чем больше я вглядываюсь в себя, тем меньше вижу решимости.

§ 25. — 4 марта

Слухи о свадьбе Амелии с г-ном де Фавержем звучат все более правдоподобно; я имею глупость принимать это весьма близко к сердцу. Жермена так долго убеждала весь свет в том, что я не собираюсь жениться на Амелии, а меня боязнь сцен отбросила так далеко назад в сношениях с этой последней, что она легко могла подумать, будто я обращаю на нее внимание лишь забавы ради, и привязаться к мальчишке довольно

нелепому, но при этом довольно веселому, который имеет ум под стать ее собственному и ходит за ней по пятам. Дважды она пыталась — сколько это возможно при ее неловкости — вернуться к прежнему и дать мне повод заговорить о моих планах. Я этой возможностью не
[232] воспользовался, и она снова отвернулась от меня. Между тем моя нере-
ИЛ 4/2002 шительность, возможно, сообщает дополнительные преимущества человеку, который в намерениях своих более тверд и явно больше стремится к женитьбе на Амелии. Все внешние обстоятельства говорят в мою пользу; мне, полагаю, достаточно было бы произнести одно-единственное слово; но если я этого слова не скажу, скоро может оказаться слишком поздно. Сказать же его — значит пойти наперекор здешнему обществу, которое находит этот брак смешным, и Жермене, которая сочтет меня вероломным.

§ 26. — 8 марта

Сплошные сцены, сплошные мученья. Жермена в ярости и последние три дня беспрестанно обрушивает на меня град обвинений, слез и упреков, так что я сам перехожу от безразличия к ярости и от ярости к безразличию. Связь мужчины, который больше не любит, и женщины, которая хочет быть любимой по-прежнему, ужасна. В объяснениях есть нечто столь жестокое — или же столь поверхностное и неопределенное, — что начинаешь стыдиться собственной бесчувственности или делать вид, будто ничего не слышишь. Всегда одно и то же: стоит Жермене почувствовать, что она вот-вот меня потеряет, как она привязывается ко мне еще больше прежнего; долгая привычка распоряжаться всем моим бытием заставляет ее верить, что я непременно к ней вернусь; довольно одной двусмысленной фразы, чтобы ее в этом убедить, а поскольку я все еще по-настоящему ее люблю, страдания, которые она испытывает, не находя во мне чувства, ей необходимого, причиняют мне страшную боль[1]. С другой стороны, ее несправедливость меня возмущает. Когда она уверяет, будто я бросаю ее потому, что она несчастна, я возмущаюсь тем сильнее, что, складывайся ее дела лучше, я с еще большей силой стремился бы обрести независимость. Так я влачу жизнь, не принося счастья ни себе, ни другим. Что до Амелии, то она хочет выйти за меня, это ясно, больше того, только это и ясно. Мои предположения относительно г-на де Фавержа не имели под собой решительно никаких оснований. Но питает ли она ко мне хоть какое-нибудь чувство? Об этом мне до сих пор ничего не извест-

1. О степени зависимости Констана от г-жи де Сталь дает исчерпывающее представление один из эпизодов повести "Сесиль": между любовниками происходит бурная сцена; Сталь (в повести г-жа де Мальбе) призывает своих детей и говорит им, указывая на Констана: "Вот человек, который хочет погубить вашу мать, принуждая ее выйти за него замуж". В ответ на это Констан восклицает: "Считайте меня последним подлецом, если я когда-либо женюсь на вашей матери". Назавтра он уезжает из поместья г-жи де Сталь и отправляется к одной из своих родственниц. Та поздравляет его с освобождением от тягостного любовного ига, на что Констан отвечает: "Не заблуждайтесь, если г-жа де Мальбе не последует за мной и ограничится письмами, я устою, но если она приедет сюда, сопротивление будет невозможно". В эту минуту покинутая любовница появляется в доме, падает в обморок, умоляет Констана провести с нею еще два месяца, и он возвращается в поместье, оставленное навсегда двенадцать часов назад. О двойственности отношения Констана к г-же де Сталь свидетельствует и то обстоятельство, что он дал ей прозвище Бьондетта — так в повести Ж. Казота "Влюбленный дьявол" (1772) называют прелестную особу, в облике которой героя соблазняет сам Вельзевул.

но. Ей не может не льстить мысль о том, что я ее люблю. Однако ничто ни в поведении ее, ни во взглядах, на меня бросаемых, не обличает желания взволновать или смутить меня. Не находись я под прицелом Жермены, я бы давно покончил с этой неизвестностью. Покончил бы я с нею и в другом случае — если бы сам знал наверное, чего именно я хочу. Но с тех пор как, благодаря увлечению Амелией, я научился избегать гнева Жермены или же сносить его хладнокровно, мне кажется, что, пожалуй, лучше всего сделаться свободным и не связывать себя обязательствами новыми и куда более серьезными, нежели те, от которых я стражду ныне. Постоянная жизнь в деревне, если у меня достанет на это сил, если я не найду иного способа порвать с прошлым, или же путешествие по югу Франции, по Италии, по Германии — способы возвратить себе независимость ничуть не менее надежные, нежели женитьба на Амелии. Стоит мне вообразить Амелию, сделавшуюся моей законной супругой и принимающую моих друзей в имении близ Парижа, как на лбу у меня выступает испарина. Ее неумолчная болтовня; изумление просвещеннейших людей Франции при виде странного союза, мною заключенного; мое раздражение и суровость по отношению к женщине, которая ради меня отказалась от прежней своей жизни, не лишенной приятности, и на которой я имел неосторожность жениться, не питая иллюзий; упреки, которыми я стану осыпать самого себя и которые лишь усугубят мою вину, и без того очевидную, — все это обещает мне жизнь адскую. Будь Амелия очень молода и очень хороша собой, это бы все извинило. Характер мой таков, что мне совершенно необходимо быть правильно понятым теми, кто меня окружает. Быть же предметом их удивления и насмешек для меня невыносимо. Надобно во что бы то ни стало переменить мой образ жизни и возвратиться во Францию, а уж затем на что-либо решиться. Сделать предложение Амелии я успею всегда, лишь бы мне самому этого хотелось; между тем воздух Франции и ее умственный климат вкупе с возобновлением старых знакомств заставят меня, возможно, отказаться от намерения связать себя узами супружества.

§ 27. — 14 марта

Жермена все-таки вывела меня из терпения, и я наговорил ей много резких слов, признался в склонности к Амелии, одним словом, потерял голову. Что за странную власть имеет надо мной эта женщина! Со всеми остальными я могу держать себя в руках. Я осторожен, мягок, уверен в том, что не скажу ничего лишнего: с нею же память о прежних волнениях страсти и беспрестанных тревогах, оскорбления, какими она меня осыпает, несправедливость ее обвинений, настоятельность ее просьб, а главное, ужас, какой внушает мне мысль о вечном пребывании в ее власти, напрочь лишают меня самообладания. Чем дольше длится наша борьба, тем больше поводов у меня чувствовать себя виноватым, а у нее — бранить мой характер. Прежде она вредила мне тем, что вела жизнь бурную и беспорядочную, отводила мне место подчиненное и второстепенное, делала меня мишенью для врагов, вымещавших на мне ненависть, главным предметом которой была она сама. Отныне она будет вредить мне тем, что, желая отомстить, настроит против меня и своих собственных друзей, и

тех, с кем ее свел я. Прежде по ее вине жизнь во Франции сделалась для меня опасной, теперь она станет трудной. Меж тем длить нынешнее положение дел, отвечать за ее сумасбродство и ее славу, расплачиваться за ее непоследовательность в делах серьезных и исполнять все ее требования в обстоятельствах повседневных решительно невозможно. Я умру от усталости и волнений. Я имел тысячу случаев расстаться с нею достойно. Я отдал бы полжизни за возможность это сделать: я всегда боялся причинить ей боль и откладывал это решение, теперь же все запуталось до такой степени, что разрыв окончится скандалом, а продолжение связи усугубит страдания.

Впрочем, не следует мне идти на поводу у моего воображения, которое вечно преувеличивает трудности любого предприятия. Разрыв с женщиной, которая известна своей непоследовательностью и которая наотрез отказывается выйти за меня[1], не должен навлечь на меня всеобщего осуждения. Не следует забывать, что она, хотя бы из тщеславия, не станет открывать, до какой степени безразличия дошел я в своих сношениях с нею. Тщеславие заставит ее объявить, что я поссорился с нею из-за ее нежелания выйти за меня. Наконец, легче снести осуждение общества, чем нынешнее иго. Итак, надобно взять себя в руки и выбрать наилучший способ действия. Очевидно, что чем дольше все это продлится, тем хуже закончится. Я старею; следственно, времени на устройство жизни приятной и покойной остается у меня все меньше. В сорок лет найти жену мне будет еще труднее, чем нынче. В сорок пять одиночество сделается почти неотвратимым. Разрыв восьмилетней связи мучителен, но связь, продлившуюся десять или пятнадцать лет, разорвать еще тяжелее. Очевидно, что следует, стремясь смягчить горе Жермены и сохраняя благопристойность, разорвать нашу связь и ограничиться отношениями чисто дружескими, пусть даже тем самым я уроню себя в ее глазах. Но в то же время следует пойти на некоторые уступки, дабы избежать сцен, во время которых я всегда говорю много лишнего, а затем чувствую себя виноватым. Терпеть мне придется недолго, ибо я твердо решился уехать сразу после возвращения Эжена[2]; какой бы оборот ни приняли дела Жермены, я уеду и увижусь с ней не прежде, чем устрою свою жизнь. Итак, при первой же возможности увидеться с Амелией, но не отдаваться склонности к ней настолько, чтобы вновь навлечь на себя гнев Жермены; дотянуть до возвращения Эжена, а затем, какие бы вести он ни привез, уехать на неделю в Эрбаж, уехать во что бы то ни стало, пусть даже не простившись. И лишь после этого выбрать наиболее уместный способ действий: либо хоть отчасти посвятить Амелию в мои планы, либо оставить все в нынешней неопределенности.

1. Г-жа де Сталь дорожила доставшимся ей от мужа титулом баронессы и фамилией, которую она успела прославить своими литературными трудами; поэтому брак с Констаном она считала для себя некоторым мезальянсом и хотела сохранить Бенжамена при себе в качестве любовника и друга, но не мужа. По словам осведомленной, хотя и не слишком доброжелательной мемуаристки, хорошо знавшей обоих, "г-жа де Сталь хотела приковать Бенжамена к своей колеснице, а вовсе не следовать за колесницей Бенжамена" (Boigne, Mme de. Mémoires. Paris, 1986. T. 1. P. 172).
2. Эженом близкие называли Жозефа Южине (1771–1853), слугу и доверенное лицо г-жи де Сталь.

§ 28. — 17 марта

Самое прочное, самое неизменное... *<Далее несколько страниц из рукописи вырваны>*

§ 29

<Начало фрагмента в рукописи отсутствует>

...свою кочевую жизнь в разных странах Европы, в то время когда, получив возможность распоряжаться собой[1], она полагает невозможным выйти за меня. Все это не имеет ни малейшего смысла; она может сколько угодно объяснять мое стремление к супружеству страхом изгнания, сколько угодно обвинять меня в том, что, не желая следовать за нею в странствиях по Германии и Италии, я бросаю ее в несчастье и предаю узы дружбы[2]. Уединение и покой послужат исчерпывающим ответом на эти обвинения, а когда она немного успокоится, их опровергнет собственное ее сердце.

§ 30. — 21 марта

Прав я или не прав? Я снова подумываю об Амелии[3]. Это не бог весть что, но душа у нее добрая. Как недавно сказала мне одна особа, причем особа, к Амелии не расположенная, глупость в ней разбавлена толикой ума. Это десятилетний ребенок, но такой ребенок, которому можно дать образование. Не думаю, чтобы в ней было много чувствительности, но к мужу она привяжется; вообще она так одинока, так слаба, что подчинить ее будет легче легкого. Она лишена кокетства; она прогнала г-на де Фавержа по первому моему требованию; если со мною она держится скованно, то виной тому собственная моя нерешительность. Связь моя с Жерменой ни для кого не тайна; я то и дело иду на попятный — все это не может не пугать Амелию. Родные вовсе не стремятся выдать ее замуж. Они аристократы и не одобряют мои убеждения; старинные предрассудки не мешают им принимать меня, но мешают увидеть во мне достойного жениха. Поэтому Амелии поневоле приходится держать себя так, а не иначе. Мне было бы приятнее, если бы она увлеклась мною настолько, чтобы ослушаться родных, но, принимая во внимание мою сдержанность и нерешительность, рассчитывать на это я не вправе. Она сказала, что общество мое ей чрезвычайно приятно. Приди долг на помощь склонности, она легко привязалась бы ко

1. Барон Эрик-Магнус де Сталь-Гольштейн, законный супруг Жермены де Сталь, умер 9 мая 1802 года.
2. В конце концов Констан уступил настояниям г-жи де Сталь, и в октябре 1803 года они оба отправились в Германию.
3. Хотя от мысли о браке с Амелией Констан в конце концов отказался, он остался убежден в том, что при некоторых условиях смог бы найти с нею счастье; 18 сентября 1804 года он записал в дневнике: "Вновь увидел Амелию Фабри. Как жаль, что она стара, черна и тоща: будь она на десять лет моложе, я бы предпочел ее любой другой. Я бы сделал из нее очаровательную особу, будь я тогда тем, чем стал теперь. Недостатки ее объясняются исключительно тем, что она всегда была одинока. Все забавлялись ее живым умом, и, видя, что все смеются над тем, что она говорит, она решила, что *все, вызывающее смех, достойно того, чтобы быть высказанным*".

мне еще сильнее. Впрочем, откладываю все до возвращения из Франции.

§ 31. — 10 апреля

Я уехал. Десять дней я не виделся с Амелией. Ее образ почти изгладился из моей памяти. Скоро я окажусь среди людей и предметов, которые некогда волновали мою душу куда сильнее, и уже ощущаю притяжение этой на время покинутой сферы. Неделю я провел наедине с Жерменой. Сколько обаяния! Сколько страсти! Сколько самоотверженности! Сколько ума! Но могу ли я и дальше оставаться под игом, которое порою причиняет мне такие жестокие страдания? Женюсь я на Амелии или нет, разве могу я и дальше жить так, как теперь? Конечно нет. Я не отказался от своего намерения. Я хочу сохранить дружбу с Жерменой, хочу служить ей, способствовать ее счастью, но следовать за ней повсюду и во всем от нее зависеть я больше не могу. Мне потребна жизнь уравновешенная и спокойная. Я еду в деревню. Я должен жить там, если там меня оставят в покое. В противном случае я отправлюсь путешествовать, а недоброжелательное отношение ко мне со стороны властей окажется превосходным предлогом для расставания с Жерменой: она не должна разделить мою судьбу и страдать из-за меня, скажу я ей.

Фредерик Бегбедер

Последняя инвентаризация перед распродажей

Главы из книги

Попытка оправдания

Зачем нужны календари, юбилеи, рубежи тысячелетий? А затем, чтобы стареть, то есть подводить итоги, классифицировать, сортировать, вспоминать. Столетия очень удобны для рассказов об Истории Литературы: у нас есть XVIII век (так называемая эпоха Просвещения), который не похож на XIX век, окрещенный Романтическим, а затем Натуралистическим. А вот XX век — как его наречь? Модернистским или Постмодернистским? Чудовищным или Теоретическим? Дадаистским, Сюрреалистическим, УЛИПОанским или Трэшевым[1]? Смертоносным или Несусмертным[2]?

На протяжении тех пяти лет, что я работаю литературным критиком (в "Эль", "Вуаси", "Лир", "Фигаро литтерер", "Маск э ля плюм", а также на канале "Пари премьер"), я пытаюсь, в меру своих слабых сил, с субъективностью и наивным энтузиазмом дилетанта, низвергнуть культ литературы. Самое страшное преступление в моих глазах — это когда ее возводят на почетный (иначе говоря, покрытый пылью веков) пьедестал, ибо сегодня книге больше, чем когда-либо, грозит смертельная опасность. Мне кажется, следовало бы воспользоваться 2001 годом как удобным поводом, чтобы вновь проанализировать (но только, боже упаси, не канонизировать!) "пятьдесят лучших книг века". Эта цифра — кстати, такая же условная, как и календарные рамки, — позволит нам хотя бы бегло припомнить знаменитые романы (французские или иностранные), несколько сборников эссе, детскую сказку, а также два комикса — словом, произведения, ставшие заметными вехами минувшего столетия.

Эти пятьдесят книг были выбраны шестью тысячами французов, вернувших нам заполненные бюллетени, которые FNAC[1] и "Монд" рассылали им в течение лета 1999 года; таким образом, речь идет о вполне демократическом и одновременно жестком отборе, поскольку эти люди высказывали свое мнение, руководствуясь перечнем из 200 названий, предварительно сформированным группой книготорговцев и литературных критиков. И я отважился прокомментировать этот список с той же субъективностью, какая имела место при его составлении.

Доведись мне выбирать самому, результаты оказались бы совсем иными; уж конечно я не "забыл" бы Арагона, Арто, Баржавеля, Батая, Бессо-

© Éditions Grasset & Fasquelle, 2001
© Ирина Волевич. Перевод, 2002

1. Слово "УЛИПОанский" образовано от названия группы французских интеллектуалов OULIPO (OUvroir de LIttérature POtentielle — Мастерская потенциальной литературы, возникшая в 30-е. годы), члены которой занимались лингвистическими экспериментами. Трэшевый (от англ. trash) — грубый, вульгарный. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. В современном французском молодежном жаргоне, так называемом "верлане" (verlan — то есть à l'envers — наоборот), модно переставлять местами части слов.

1. Сеть книжных магазинов во Франции.

на, Бори, Бротигана, Вайяна, Вейерганса, Вьялатта, Гари/Ажара, Гамсуна, Гибера, Гитри, Гомбровича, Грасса, Дантека, Дебора, Десноса, Дика, Дриё ла Рошеля, Жаккара, Жене, Жоффре, Капоте, Кервера, Кокто, Колетт, Коссри, Керуака, Кесселя, Ларбо, Леото, Лорана, Лаури, Маккалерс, Малапарте, Матцнеффа, Миллера, Модиано, Монтерлана, Морана, Музиля, Наба, Нимье, Ногеза, Нурисье, Ори/Реаж, Паркер, Павезе, Пессоа, Пиле, Пиранделло, Прокоша, Радиге, Рота, Роше, Рушди, Сан-Антонио, Сандрара, Селби, Семпе, Сименона, Соллерса, Сэлинджера, Тула, Туле, Тцара, Уэльбека, Фанте, Франка, Чорана, Эллиса, Эшноза, Югнена... но это будет предметом следующего тома, а пока делать нечего, отныне я могу лишь возмущаться вместе с ними! <...>

Все книги из нашего топ-списка мы "проходили" в школе, то есть изучали из-под палки, без особого желания и удовольствия; не пора ли теперь взглянуть на них так, как они того заслуживают, а именно: как на живые свидетельства перемен и катаклизмов, сформировавших нашу эпоху? Мы должны все время помнить, что за каждой страницей этих памятников ушедшего века скрывается человеческое существо, которое отважилось на огромный риск. Ибо тот, кто пишет шедевр, знать не знает, что он пишет шедевр. Он так же одинок и неуверен в себе, как любой другой автор; ему неведомо, что когда-нибудь он попадет во все учебники литературы и каждую его фразу будут разбирать по косточкам; часто такой писатель молод и одинок, он работает до седьмого пота, он терзается сомнениями, он будоражит или смешит читателей — короче, он говорит с нами. И пора наконец попытаться услышать голос этих мужчин и женщин так, словно их книги только что увидели свет; пора отрешиться, хотя бы ненадолго, от критического и научного аппарата и сносок внизу страницы, которые в свое время внушали юным читателям такое отвращение, что они сбегали от "всей этой мути" в темные кинозалы или на концерты рок-музыки. Пора прочесть эти замечательные книги как бы впервые (что, кстати, в данном случае иногда имело место), словно их только что опубликовали, и прочесть легко, беззаботно. Тогда юмористические нотки, которые встречаются в моей небольшой книжице, будут выглядеть не "вежливостью отчаяния", но попыткой оправдать необразованность и преодолеть робость, внушаемую великими творениями искусства. Шедевры не терпят поклонения, им нравится жить — иными словами, они хотят, чтобы их читали и зачитывали до дыр, обсуждали и осуждали; в глубине души я убежден, что шедевры страдают комплексом превосходства (давно пора опровергнуть злую остроту Хемингуэя: "Шедевр — это книга, о которой все говорят и которую никто не читал").

В личном же плане я рассматриваю сей скромный опус как частичную оплату моего долга перед литературой. Когда ты в один прекрасный день по какому-то недоразумению оказываешься автором бестселлера[1], первое, что нужно сделать, — это ответить любезностью на любезность. И я надеюсь, что данная книга внушит читателям желание покупать другие, лучшие. Писательство все чаще и чаще кажется мне родом недуга, эдаким странным вирусом, который отделяет автора от остальных людей и побуждает совершать бессмысленные поступки (к примеру, запираться в комнате и долгими часами сидеть перед чистым листом бумаги вместо того, чтобы ласкать юное создание с нежной кожей). Тут таится загадка, которую мне, боюсь, никогда не разрешить. Что ищем мы в книгах? Неужели нам мало собственной жизни? Может быть, мы обделены любовью? Может, наши родители или дети, наши друзья или Бог, о коем нам постоянно толкуют, занимают недостаточно места в нашем существовании? Неужели литература дает нам то, чего не способна дать реальная жизнь? Не знаю, не могу сказать. Но очень надеюсь заразить страстью к чтению

1. Имеется в виду роман Фредерика Бегбедера "99 франков" ("ИЛ", 2002, № 2).

тех, кто случайно открыл мою книгу и имел неосторожность дочитать это предисловие до конца. Ибо я от всего сердца желаю, чтобы писателей хватило и на XXI век.

Ф. Б.

ТОП-50

1) Альбер Камю "Посторонний"
2) Марсель Пруст "В поисках утраченного времени"
3) Франц Кафка "Процесс"
4) Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц"
5) Андре Мальро "Условия человеческого существования"
6) Луи-Фердинанд Селин "Путешествие на край ночи"
7) Джон Стейнбек "Гроздья гнева"
8) Эрнест Хемингуэй "По ком звонит колокол"
9) Ален-Фурнье "Большой Мольн"
10) Борис Виан "Пена дней"
11) Симона де Бовуар "Второй пол"
12) Сэмюэл Беккет "В ожидании Годо"
13) Жан-Поль Сартр "Бытие и ничто"
14) Умберто Эко "Имя розы"
15) Александр Солженицын "Архипелаг ГУЛАГ"
16) Жак Превер "Слова"
17) Гийом Аполлинер "Алкоголи"
18) Эрже "Голубой лотос"
19) Анна Франк "Дневник"
20) Клод Леви-Строс "Печальные тропики"
21) Олдос Хаксли "О дивный новый мир"
22) Джордж Оруэлл "1984"
23) Госсиньи и Удерзо "Астерикс, вождь галлов"
24) Эжен Ионеско "Лысая певица"
25) Зигмунд Фрейд "Три эссе о сексуальной теории"
26) Маргерит Юрсенар "Философский камень"
27) Владимир Набоков "Лолита"
28) Джеймс Джойс "Улисс"
29) Дино Буццати "Татарская пустыня"
30) Андре Жид "Фальшивомонетчики"
31) Жан Жионо "Гусар на крыше"
32) Альбер Коэн "Прекрасная дама"
33) Габриэль Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества"
34) Уильям Фолкнер "Шум и ярость"
35) Франсуа Мориак "Тереза Дескейру"
36) Раймон Кено "Зази в метро"
37) Стефан Цвейг "Смятение чувств"
38) Маргарет Митчелл "Унесенные ветром"
39) Д. Г. Лоуренс "Любовник леди Чаттерли"
40) Томас Манн "Волшебная гора"
41) Франсуаза Саган "Здравствуй, грусть!"
42) Веркор "Молчание моря"
43) Жорж Перек "Жизнь, способ употребления"
44) Артур Конан Дойл "Собака Баскервилей"
45) Жорж Бернанос "Под солнцем Сатаны"
46) Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Великий Гэтсби"
47) Милан Кундера "Шутка"
48) Альберто Моравиа "Презрение"
49) Агата Кристи "Убийство Роджера Экройда"
50) Андре Бретон "Надя"

№ 49. Агата Кристи "Убийство Роджера Экройда" (1926)

Тот факт, что Агата Кристи (1890–1976) обставила Андре Бретона (№ 50), не должен удивлять поклонников английской романистки: подобно этому мэтру сюрреализма, Агата Кристи прячет скрытое безумие, потаенную жестокость за благопристойным фасадом общества. (Какая красивая фраза, не правда ли? – благодарю вас за внимание!) Итак, миссис Кристи являет собою, как и ав-

Фредерик Бегбедер. Последняя инвентаризация перед распродажей

тор номер 50, писателя-сюрреалиста. К примеру, почему она решила доверить расследования в своих романах детективу с такой внешностью — плюгавому самодовольному белыйцу с яйцевидной головой? Очень странная идея (которая посетила ее после встречи с одним любопытным типом — беженцем времен Первой мировой войны).

Главная проблема нашего инвентарного списка состояла в том, что требовалось выбрать только по одной книге каждого автора. Среди шестидесяти шести романов самого читаемого в мире писателя после Шекспира (два с половиной миллиарда проданных экземпляров!) наши шесть тысяч респондентов вполне могли бы указать "Десять негритят", "Смерть на Ниле" или "Убийство в Восточном экспрессе", но нет, это было бы слишком просто; вот отчего они остановились на "Убийстве Роджера Экройда" — шедевре изобретательности и виртуозно закрученной интриги. (Рядом с этим Мэри Хиггинс Кларк — просто "Клуб Пяти"![1]).

Сельский помещик Роджер Экройд убит, но перед смертью он успевает сделать признание своему другу, доктору Шеппарду, который и описывает читателю расследование Эркюля Пуаро. Тот, как обычно, подозревает в совершении преступления всех персонажей по очереди: выясняется, что масса людей была заинтересована в том, чтобы дорогой мистер Экройд отдал концы. Рехнуться можно, как подумаешь, сколько близких вокруг нас имеют самые веские основания желать нашей смерти! (Взять, например, хоть меня: могу поручиться, что, если я буду убит, следователи первым делом допросят некоторых писателей, с которыми я водил знакомство.)

Но меня смущает вот какая штука: для того чтобы разъяснить оригинальность замысла "Убийства Роджера Экройда", мне придется рассказать вам конец романа. Поэтому я предлагаю следующее. Сейчас я сосчитаю до трех. На счет "три" те, кто не хочет узнать неожиданную развязку "Убийства Роджера Экройда", должны пропустить следующий абзац. Готовы? Раз! Два! Три!

Потрясающая оригинальность замысла Агаты Кристи состоит в том, что виновник преступления и рассказчик — одно и то же лицо. Все повествование о расследовании ведется убийцей, коим является не кто иной, как доктор Шеппард. Эта блестящая писательская изобретательность сделала данный детектив уникальной в истории литературы книгой (даже если ранее та же идея пришла в голову Лео Перуцу[1] в его "Мастере страшного суда"). Примерно тот же принцип положен в основу недавно вышедшего фильма "Usual Suspects"[2]. Момент, когда Эркюль Пуаро обличает человека, рассказывающего нам историю убийства, вызывает у читателей дрожь приятного испуга. Эта сложная, запутанная интрига буквально свела с ума нескольких специалистов, обвинивших Агату Кристи в подтасовке; так, Пьер Байяр в недавно опубликованной книге "Кто убил Роджера Экройда?" (издательство "Минюи")[3] вновь исследовал все обстоятельства убийства и пришел к следующему выводу: Шеппард никак не мог совершить его. Но тогда кто же виновен? Лично у меня есть одно смутное подозрение: я думаю, что настоящий убийца — леди Меллоуин, сиречь Герцогиня Смерть — сама миссис Агата Кристи.

Эта загадочная дама, вероятно, почувствовала, что слегка перехватила в своем романе, ибо сразу же вслед за его публикацией исчезла на целых десять дней, с 4 по 14 декабря 1926 года; ее сочли умершей, однако в конце концов полиция обнаружила беглянку в одном курортном отеле проживающей под вымышленным именем. Через несколько десятилетий Жан-

1. Мэри Хиггинс Кларк — современная американская писательница, автор триллеров. "Клуб Пяти" — французская книжная серия для детей младшего возраста.

1. Лео Перуц (1884—1957) — австрийский писатель.
2. "Обычные подозреваемые" (*англ.*) — американский фильм-триллер (реж. Брайан Зингер, 1995).
3. Pierre Bayard. Qui a tué Roger Ackroyd? (1998).

Эдерн Алье[1] повторит сей рекламный трюк, организовав собственное похищение прямо у дверей "Клозери де Лила"[2]. Романисты терпеть не могут убаюкивать читателей, сочиняя свои книги-загадки. Агата Кристи решила сама стать одной из таких загадок, лишний раз доказав нам, какая опасная игра литература.

№ 47. Милан Кундера "Шутка" (1967)

Милан Кундера страшно доволен, что фигурирует в этом списке: последний раз, когда я встретил его в баре "Лютеция", мы с ним спрыснули это событие, раздавив бутылочку "Пилснера".

И было за что. Среди пятидесяти писателей XX века, избранных нашей уважаемой коллегией из шести тысяч французов, пока еще живы всего семеро — Умберто Эко, Габриэль Гарсиа Маркес, Клод Леви-Строс, Франсуаза Саган, Александр Солженицын, Альбер Удерзо и, наконец, наш Милан Кундера — этот продукт чешского импорта, родившийся в 1929 году, живущий в Париже с 1975-го и получивший французское подданство в 1981-м.

"Шутка" — первый его роман. В момент публикации книги, то есть в 1967 году, при режиме Новотного, цензура в Чехословакии слегка ослабила свою хватку. Но поскольку лучшие шутки — самые короткие, то год спустя, когда роман уже перевели во Франции, русские танки входят в Прагу, и "Шутка" оказывается под запретом на родине автора. Мгновенно роман становится в глазах мировой общественности книгой сопротивления, политическим памфлетом, каковым он, конечно, и являлся, хотя дело не только в этом.

Нужно перечитать "Шутку" сегодня, чтобы уяснить себе одну вещь: она уже содержит в себе зародыш всего последующего творчества Кундеры, а именно — виртуозное искусство смешивать роман и философию, идеи и фантазию, серьезность и фривольность. Кундера делает политику из постельных историй. Разумеется, контекст устарел, железный занавес разрушен, и в наши дни атмосфера всеобщей подозрительности, царившая в коммунистических странах, составляет главную шутку книги. Трудно поверить, что Людвика, героя романа, могли приговорить к шести годам каторжных работ в шахте из-за простой открытки, в которой он написал: "Оптимизм — опиум для народа, здоровый дух воняет идиотизмом". Трудно понять, отчего слово "интеллектуал" или "индивидуалист" могло считаться в этих странах оскорбительным, почему адюльтер рассматривался как преступление против Партии. В сущности, Кундера, сам того не желая, уподобился Кафке: он рассказывает те же абсурдные, жестокие истории, что и его знаменитый соотечественник, с той лишь разницей, что у него-то они — подлинные. Смех берет при мысли, что через двадцать с лишним лет та же страна выберет в президенты писателя Вацлава Гавела. И верно, сегодня революция походит на скверную шутку; подумать только: гуманистическая утопия послала на каторгу миллионы людей! Так и кажется, будто к узникам ГУЛАГа вот-вот явится Марсель Беливо[1] с сообщением, что их всего-навсего снимали скрытой камерой для передачи "Сюрприз на Приз".

Великие романы, в отличие от людей, не стареют: Людвик по-прежнему любит Гелену, которая замужем за Павлом, а тем временем русские подлодки терпеливо ржавеют на дне морском, иногда даже и с матросами внутри, чьих криков о помощи никто не слышит. "Шутка" рассказывает о победе любви и чувства юмора над скукой и начетничеством. В прежние времена в странах Восточной Европы шутить запрещалось. Отныне по всей земле наблюдается обратное: юмор теперь обязателен, наш мир — одна сплошная Шутка. Книга Кунде-

1. Современный французский писатель-романист, известный своими экстравагантными выходками.
2. Популярное литературное кафе в Париже.

1. Канадский (квебекский) шоумен, автор развлекательных телепрограмм.

ры сохраняет актуальность постольку, поскольку жизнь стала беспрерывным празднеством — без морали, без стыда. Теперь уже вполне очевидно, что в начале 60-х годов Кундера, сам того не подозревая, был первым романистом Конца Истории :"Вы думаете, разрушения могут быть красивыми?" — говорит Костка где-то уже на двадцатой странице. Ужас, описанный автором, ныне вывернут наизнанку. В своих последних романах (например, в "Неспешности") Кундера увлеченно занимается насмешкой над насмешкой. Вершина иронии: в эпоху "Шутки" смех был оружием против тоталитаризма, в наше же время смех сам тоталитарен. Что, разумеется, не помешает Кундере продолжать шутить и по этому поводу.

№ 39. Д. Г. Лоуренс "Любовник леди Чаттерли" (1928)

Внимание — ситуация усложняется! Не следует путать Дэвида Герберта Лоуренса, сокращенно "Д. Г." (1885–1930), с Т. Э. Лоуренсом, по прозвищу Лоуренс Аравийский, который жил в то же время (1888–1935), но не фигурирует на 39-м месте нашего хит-парада, ибо он не написал "Любовника леди Чаттерли".

Речь идет о несколько фривольном романе, который в 1928 году шокировал своей откровенностью читателей; будучи опубликован в Италии, он, однако, подвергался запрету в Англии и Америке вплоть до конца 50-х годов. Вообще, многие романы из нашего списка постигла та же судьба, как будто для участия в хит-параде века книга непременно должна была вызвать скандал: это и "Лолита", и "Улисс", и наш "Lady Chatterley's Lover" (сегодня именно эта фамилия — Chatterley — вызывает смешки во франкоязычных странах, и действительно, нужна была большая смелость, чтобы окрестить Chatterley героиню-нимфоманку из буржуазной среды[1]).

1. Во французском произношении Chatterley звучит как "киска в постели".

Леди Чаттерли — большая шалунья — не теряет времени даром. Нужно сказать, что ее супруг Клиффорд парализован наполовину (на нижнюю) в результате фронтового ранения, чего нельзя сказать о его леснича Оливере Меллорсе, человеке, конечно, менее утонченном, но зато щедро наделенном мужской силой. В те времена женский оргазм еще не имел права на существование. Так вот, миссис Чаттерли борется за право на сексуальное наслаждение, проживая при этом в самой пуританской стране мира. Конни Чаттерли — это Эмма Бовари, только родившаяся по другую сторону Ла-Манша; она стала родоначальницей всех наших юных романисток, озабоченных проблемами собственной плоти, просто ей на семьдесят лет больше, чем Клер Лежандр, Алис Масса или Лоретт Нобекур[1].

Легко понять, что "Любовник леди Чаттерли" — прежде всего гимн чувственной любви, правде чувств и ощущений, где нет места пуританству; кроме того, роман противопоставляет свободу буржуазным предрассудкам, супружескую неверность — браку, человеческую природу — общественной морали и воспевает смешение классов. Уже в своем письме 1913 года Д. Г. Л. провозгласил: "Что́ мне знание?! Все, чего я хочу, это слушаться зова крови — прямо и непосредственно, без докучного вмешательства интеллекта, или морали, или всего другого". Спустя пятнадцать лет Д. Г. Лоуренс идет еще дальше: появление секса в жизни леди Чаттерли представляет собой, по его убеждению, истинную революцию, аналогичную марксистской бомбе замедленного действия. Наслаждение стало политикой! Лоуренс мечтает о "демократии слияния плоти", способной превзойти классовую борьбу. Ах, если бы бога-

1. Современные французские писательницы: Клер Лежандр — автор романов "Making-of", "La viande" и сборника новелл "La crépuscule de la Barbe Bleue"; Алис Масса — автор книги "Le Ministère de l'intérieur"; Лоретт Нобекур выпустила книги "La conversation" и "La démangeaison".

тые чаще спали с бедными!.. Мир сделался бы более цельным (а кроме того, бедняк даст любому богачу сто очков вперед в постели, вот откуда у людей интерес к палаточному отдыху!). Д. Г. Лоуренс, несомненно, стал первым глашатаем того явления, которое впоследствии назовут сексуальной революцией; сей переворот в нравах, как всем нам известно, произошел между 1965 годом (изобретение противозачаточной пилюли) и 1982-м (нашествие СПИДа) и с тех пор благополучно предан забвению.

Д. Г. Лоуренс написал множество других романов, гораздо более интересных, чем этот залихватский опус, этот, по выражению Генри Миллера, "генитальный букет", ставший последней книгой его жизни (тут сразу вспоминаются "Влюбленные женщины" и "Пернатый змей"[1]); однако именно она вошла в историю литературы. Откуда вывод: любовь потомков — это роскошная дамочка, еще более ветреная, нежели леди Чаттерли (чей прототип, немка Фрида фон Рихтофен, превосходнейшим образом наставляла рога самому Лоуренсу — с его же благословения). А что касается скандала, то его методика действует по-прежнему безотказно: читайте "American Psycho" Брета Истона Эллиса и "Элементарные частицы" Мишеля Уэльбека[2], которые прославились именно благодаря развернувшейся вокруг них полемике. Когда же весь этот гвалт стихает, остаются два основополагающих романа XX века, вполне заслужившие места в нашем списке (и несомненно попавшие бы в него, если бы опрос проводился на 20 лет позже).

Я, конечно, мог бы также поведать вам о своих сексуальных экспериментах с животными и некоторыми овощами и фруктами, но это уж как-нибудь в другой раз.

1. Романы Лоуренса; первый вышел в 1921 г., второй — в 1926 г.
2. "Американский психопат" — роман-сатира на современное общество. В 2000 г. по нему был снят в Америке одноименный фильм; "Элементарные частицы" — см. "ИЛ", 2000, № 10.

№ 38. Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" (1936)

Вы уж не взыщите, но стоит мне вспомнить, что в этом списке книг века даже нет Жерара де Вилье[1], как меня охватывает чувство глубокого разочарования. Мало того, под номером 38 там значится Маргарет Митчелл (1900—1949) с ее "Унесенными ветром" — исключительно потому, что наши шесть тысяч респондентов когда-то посмотрели старый фильм с Кларком Гейблом!

Вы меня, конечно, заверите, что оригинал "Gone with the wind" — этот здоровенный "кирпич" — предпочтительней фильма и уж куда лучше римейка Режин Дефорж "Голубой велосипед"[2], даже и с Летицией Каста в главной роли (гм... хотя, честно говоря...). Знайте, что сия скептическая мина прославила меня во всем квартале Одеон. М-да-а-а... (Здесь читатель должен представить мое лицо с недоверчиво поднятой правой бровью — и так в течение целых пяти секунд.) По зрелом размышлении (еще бы, ведь я выпускник Школы политнаук!) объявляю вам, что в отношении "Унесенных ветром" могу высказать множество доводов и "за" и "против".

"За": верно, согласен; конечно, очень хорошо, что в этом списке фигурируют несколько бестселлеров. За всяческими литературными экспериментами и формалистическими новациями XX век начал постепенно забывать о главной задаче романиста: он должен, в первую очередь просто-напросто рассказывать истории, повествовать о приключениях и роковой любви, придумывать благородных героев, как, например, это делал Александр Дюма, и посылать их бегать по лугам и скакать галопом (или, наоборот, скакать по лугам и бегать галопом), а также целоваться посреди пылающего города, как Скарлетт

1. Жерар де Вилье — современный французский писатель, публицист, политолог.
2. Régine Deforges. La bicyclette bleue. (1984). По книге был снят одноименный телесериал.

О'Хара и Ретт Батлер. Романтика требует, чтобы все это скакало галопом, целовалось, разлучалось, снова встречалось и снова целовалось! Литература должна быть эдаким фильмом, который воображаемый киноаппарат прокручивает у нас в голове. Жак Лоран, будь он еще жив, объяснил бы вам это гораздо лучше меня, но поскольку он недавно покинул нас, отсылаю читателя к его "Роману о романе" (издательство "Галлимар", 1978).

"Против": все-таки это очень слащавое сочинение с устаревшими приемами — историческая фреска, война, убивающая людей, герой — циничный красавец, героиня — юная влюбленная гусыня, чьей идеальной любви угрожает людское безумие... Поистине, со времени изобретения кинематографа стало ясно, что такие истории, скорее всего, изжили себя в современной литературе. Когда нужно отобрать всего пятьдесят книг, отразивших наш в высшей степени бурный и революционный век, я не уверен, что "Унесенные ветром" непременно должны войти в список. Это книга позапрошлого века! Виктор Гюго — согласен, но не Макс Галло[1]! Теперь вот из-за Маргарет Митчелл, этой милейшей леди с американского Юга, книжные магазины завалены штабелями романов, написанных розовой водицей на фоне исторических катаклизмов и (или) с добавкой местного колорита. Длинные, нудные опусы, в которых дни "сияют", юноши "стремительны и мрачны", а ресницы девушек "трепещут, как крылья бабочки". Неужели мы ждали столько тысячелетий лишь для того, чтобы прочесть: "Скарлетт не ответила, но сердце ее мучительно сжалось. Если бы только она не была вдовой! Если бы она все еще была Скарлетт О'Хара! Она бы носила свое светло-зеленое платье с темно-зелеными бархатными ленточками, которые трепетали бы у нее на груди!" Н-да, вот уж действительно унесенные романом!

Разумеется, я мог бы еще многое порассказать вам об этой Скарлетт: мой американский прадедушка частенько встречал ее в доках Атланты; в молодые годы она звалась "гулёной" и, могу заверить, отнюдь не была сурова к мужчинам...

1. Макс Галло — французский писатель, автор романов, в том числе исторических.

№ 28. *Джеймс Джойс "Улисс" (1922)*

"Улисс" Джеймса Джойса (1882–1941) с лихвой заслужил свое место в этом хит-параде хотя бы своим весом. Этот роман — вершина творчества почти слепого ирландского писателя-пропойцы, который перебрался поближе к "Фуке" в 20-е годы, — был опубликован в Париже в день сорокалетия автора и стал, по выражению Оливье Ролена[1], в первую очередь "энциклопедией всех жанров", произведя в литературе такую же революцию, как кубизм в живописи. Впрочем, любопытно бы узнать, сколько человек из шести тысяч, что прислали нам заполненные бюллетени, позволившие составить эту "табель о рангах", действительно одолели все 858 страниц "Улисса"...

Мне-то самому везет — я завел целую команду "негров", которые читают книжки за меня: Патрик Пуавр д'Арвор, Клер Шазаль и Филипп Лабро[2]... Ну ладно, я пошутил, на самом-то деле я одинок, как бездомный пес.

Пересказ содержания "Улисса" занял бы часа три, а в нашем распоряжении всего три странички. Поэтому скажем так: роман, написанный в форме коллажа, повествует о странствиях некоего дублинца по имени Леопольд Блум в его родном городе-театре, в компании приятеля, Стивена Дедала, на протяжении одного дня — четверга 16 июня 1904 года. Название романа должно служить нам подсказкой: если Джойс озаглавил его "Улисс", значит, он считал эту книгу римейком Гомеровой "Одиссеи". Что касается данной одиссеи, то ее скорее можно назвать вселенским выпивоном, который начинает-

1. Оливье Ролен — современный французский писатель.
2. Автор перечисляет французских писателей — своих современников.

ся с утренней трапезой, а завершается, как и положено всем удачным кутежам, в борделе. Роман кончается внутренним монологом Молли Блум — без пунктуации, но не без экзальтации: "...и когда он меня обнял под мавританской стеной я сказала себе в общем-то какая разница он или другой и тогда я глазами попросила его еще разок спросить меня да и тогда он спросил хочу ли я сказать да мой горный цветочек и сперва я крепко обняла его и прижала к себе чтобы он почувствовал мои душистые груди да и сердце у него забилось как сумасшедшее и да я сказала да я очень хочу Да".

Чтение "Улисса" подобно двенадцати подвигам Геракла вместе взятым. Это необычайно сложный, нескончаемый, изнурительный, варварский, безумный, занудный и блистательно-утонченный роман. Вскоре после его публикации, в том же году, Вирджиния Вулф не пожалеет для Джойса строгих оценок в своем "Дневнике писателя": "Я закончила читать "Улисса" и думаю, что роман не удался. В нем конечно чувствуется гениальность, но гениальность самого низкого пошиба. Книга получилась рыхлой и невнятной, претенциозной и вульгарной... Мне невольно представляется эдакий хулиган-мальчишка, ученик начальной школы, умный и даровитый, но настолько уверенный в себе, настолько эгоистичный, что он теряет всякое чувство меры, становится экстравагантным, самовлюбленным, невоспитанным, нахальным горлопаном, который огорчает людей, расположенных к нему, и решительно отвращает от себя тех, кому и без того не нравился". Вот именно эта нападка и сподвигла меня полюбить Джойса, ибо я считаю, что одна из наипервейших задач писателя — быть экстравагантным, самовлюбленным, нахальным горлопаном. Конечно, для чтения Джойса требуются непомерные усилия; это автор очень нелегкий, но зато вы его уже никогда не забудете. Вопрос: много ли вы прочли романов, которые не забудутся уже НИКОГДА? Вот то-то же! И потому книги, подобные "Улиссу", крайне редки и крайне ценны. При этом возникает ощущение, что вы не читаете "Улисса", а сами сочиняете роман так же, как сочинял его автор; Джойс вывел новую породу читателей — "читатель-соавтор". ("Галлимару" следовало бы, вероятно, продавать его романы за полцены!)

"Улисс", вне всякого сомнения, один из тех романов, которые я смертельно ненавижу, но о которых, однако, думаю чаще всего. Закрыв эту книгу — с величайшим облегчением, — я понял, что никогда уже не буду таким, как прежде. Мой вам совет: если возможно, читайте "Улисса" мертвецки пьяными, прямо там, в Дублине, — ведь и "У подножия вулкана" Малколма Лаури[1] следует читать не где-нибудь, а в Мексике, притом хорошенько надравшись. Везите "Улисса" в Ирландию, чтобы проверить на месте, вправду ли чайки, парящие у вас над головой, распевают "гроа-гонна-генкири-гейк", и я готов спорить на билет в оба конца, что это будет в тысячу раз лучше, чем штудировать "Справочник туриста".

Если бы у меня осталась хоть минутка, я бы вам рассказал про ирландский паб у нас в доме, на первом этаже, но вместо этого я лучше отправлюсь туда прямо сейчас.

№ 22. *Джордж Оруэлл "1984" (1948)*

Приветствую вас, друзья, в вашем собственном доме; знайте: я вас вижу, я вас изучаю, я слежу за каждым вашим движением... Ну-с, и что же, собственно, я углядел? А углядел я, что номер 22 пришелся на "1984" — последнюю книгу в жизни англичанина Джорджа Оруэлла (1903—1950).

Сейчас на дворе 2001 год. И, стало быть, 1984-й был у нас 17 лет назад. А роман "1984" вышел в 1948 году (выбирая название, Оруэлл просто поменял местами две последние цифры в дате публикации). Так что же — значит, Оруэлл ошибся, как ошиблись создатели "Нью-Йорка-1997",

1. Малколм Лаури (1909—1957) — канадский писатель. Роман "У подножия вулкана" вышел в 1947 г.

"Космоса-1999" или "Космической одиссеи-2001"[1], рассказав о событиях, которые не состоялись в назначенный срок? Или мы все-таки живем в описанном им мире — тоталитарном обществе, где все люди находятся под неусыпным наблюдением Телекрана? В обществе, чья история непрерывно переписывается, чей язык варварски искорежен и превращен в новояз, где людям промывают мозги, где сексуальная жизнь строго регламентирована, где граждан угнетают, прикрываясь стремлением к любви, миру и согласию? Где все организовано так, чтобы помешать нам свободно мыслить?

Ответ таков: конечно да; конечно, мы живем в подобном мире. Старший Брат существует на самом деле; например, в квартале Левалуа-Перре установлены телекамеры, снимающие прохожих на улицах; институт Медиаметрии разрабатывает инфракрасную камеру, фиксирующую реакции телезрителей прямо у них дома, у экрана; веб-камеры в Интернете передают на весь мир информацию о частной жизни людей; нас регистрируют, фиксируют, фотографируют — благодаря кредитным карточкам, мобильным телефонам, спутникам слежения и прочей технике. Наша речь сведена к кошмарному волапюку с минимальным словарным запасом (о французском языке и говорить нечего — в ближайшие десятилетия он просто исчезнет). Нашими желаниями манипулирует реклама. Ревизионисты стирают из нашей памяти миллионы смертей. В Голландии даже существует телеигра (успешно продающаяся во всем мире), которая так и называется — "Большой Брат": она позволяет круглые сутки наблюдать за жизнью десяти участников, запертых в квартире, битком набитой телекамерами.

Нет, прав был Франсуа Брюн, утверждавший в своем эссе "Под солнцем Большого Брата" (издательство "Арматтан"), что Джордж Оруэлл не ошибся: даже если этот пророческий роман и был написан под впечатлением от тоталитарных режимов его времени — нацизма и сталинизма, — а также под влиянием романа "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли (британца, как и он сам), это не помешало автору подробнейшим образом описать эволюцию западного мира в течение ближайших пятидесяти лет. Недаром же Стэн Баретс, один из крупнейших специалистов по литературе science-fiction во Франции, задался вопросом: "Что же это на самом деле — еще фантастика или уже памфлет?"

"1984" Оруэлла неизменно читается с ужасом и захватывающим интересом. Нас поражает не только пророческий дар автора, но и особое ви́дение будущего, оказавшее громадное влияние на все жанры искусства, в частности на кино и литературу cyberpunk. До Оруэлла грядущее, с его невинным фильмом "Flash Gordon", марсианами и летающими блюдцами, выглядело вполне мирным, ласковым и светлым. После Оруэлла будущее никогда уже таким не покажется: теперь это тюремный мир, пугающий и мрачный, это "Brazil", это "Blade Runner"[1]... Оруэлл создал новую эстетику: грядущее в его книге — это огромный ГУЛАГ, из которого его герою, Уинстону Смиту, никогда не удастся сбежать. К счастью для себя, Оруэлл умер в 1950 году, через два года после выхода книги, то есть слишком рано для того, чтобы убедиться, насколько он был прав в своих пессимистических прогнозах. А впрочем, "1984" заканчивается следующей фразой: "ОН ПОЛЮБИЛ БОЛЬШОГО БРАТА". Уинстона Смита все-таки перевоспитали; он, как и все мы, проникся духом покорности и смирения. Система побеждает в тот миг, как ей удается заставить людей полюбить свою тюрьму.

Стоп!.. Кажется, кое-кто из вас читает меня не слишком внимательно... вот ты, да-да, именно ты — рас-

1. Американские фантастические фильмы.

1. "Бразилия" — американская фантастическая комедия (реж. Терри Гиллиам, 1984); "Бегущий по лезвию бритвы" — американский фантастический триллер (реж. Ридли Скотт, 1981).

селся там, ковыряешь в носу и думаешь, я тебя не вижу! Ну-ка, опусти глаза; я приказываю тебе, опусти глаза: на тебя смотрит Большой Брат! И берегись у меня, а не то я живо подошлю к тебе свою Бегбедеровскую полицию!

№ 12. Сэмюэл Беккет "В ожидании Годо" (1953)

Черт побери, ну конечно же! Я так и знал! Это ведь мне следовало написать театральную пьесу про двух бездомных бродяг, ожидающих своего дружка, который не придет! Ну что мне стоило — ведь это пара пустяков! И если я не значусь тут под номером 12, то делать нечего, сам виноват.

Сэмюэл Беккет, блистательный ирландец, родившийся в Дублине в 1906 году и проживший в Париже (как Джойс) с 1936-го до самой смерти в 1989-м, — вот кто написал ее, эту театральную пьесу, написал в 1953 году и по-французски, после чего получил в 1969-м Нобелевскую премию (ей-богу, в этом списке явная передозировка нобелеатов!). Пьеса называется "В ожидании Годо", и если вы о ней никогда не слышали, значит, вы глухи, слепы или совершенно бескультурны. Двое бродяг, Владимир и Эстрагон, или иначе, Диди и Гого, маются в бесконечном ожидании некоего Годо. Беккет вообще очень любит бомжей: еще Моллой, герой его романа, вышедшего в 1951 году[1], отнюдь не купался в золоте. Владимир и Эстрагон встречают парочку садомазохистов — Поццо, господина, и его раба Лукки, которого хозяин тащит за собой на поводке. Затем они долго спорят под деревом, а мы ждем, когда же они на этом дереве повесятся. Но в отличие от "Татарской пустыни"[2], где эти самые татары все-таки в конце концов появляются, здесь Годо нет как нет. И значит, героям приходится заполнять нескончаемую паузу разговором; временами "В ожидании Годо" напоминает приемную зубного врача, где пациенты нарочито оживленно беседуют, лишь бы забыть о предстоящей пытке; а еще это смахивает на ситуацию с застрявшим лифтом в каком-нибудь из небоскребов квартала Дефанс[1]. Что же до самого Годо, то он отнюдь не God (Бог) — Беккет сам написал об этом: "Если бы под Годо я подразумевал Бога, то так прямо и назвал бы его — God, а не Godot". Тут-то всем все становится ясно. "Ну конечно же, Годо — это Смерть!" — с понимающим видом воскликнут зрители. Ибо "В ожидании Годо" — пьеса, где каждый зритель становится соавтором Беккета (даже если этот последний и сохраняет все права на нее).

Эта интермедия, явно менее комическая, нежели "Лысая певица" Ионеско (написанная тремя годами раньше), все-таки забавнее пьес Брехта. "Годо" навсегда пребудет самым известным произведением Беккета (переведенным на 50 языков!) и ЖЕМЧУЖИНОЙ послевоенного театра абсурда. В некие достопамятные времена драматурги вдруг обнаружили, что мы умираем ни за понюх табаку, что жизнь лишена всякого смысла, и вообще придумывать сюжетную канву и реалистических героев жутко утомительно. Но при всем том пьесы Беккета отличает вполне доходчивый юмор (хотя впоследствии автор его несколько подрастерял). "Что я должен говорить?" — "Говори: я доволен". — "Я доволен". — "Я тоже". — "Мы оба довольны". — "Ну и что ж мы будем делать теперь, когда мы довольны?" Жан Ануй сказал о театре Беккета: "Это "Мысли" Паскаля в исполнении Фрателлини"[2]. Честно говоря, я так и не понял, что это — комплимент или колкость?

"В ожидании Годо" ставит проблему, которая актуальна для нас даже и сегодня, в 2001 году, и будет актуальной, по крайней мере, в течение ближайших столетий: если все идет к

1. Имеется в виду роман "Молли".
2. Роман "Татарская пустыня" (1940) итальянского писателя Дино Буццати (1906—1972) включен в список под № 29.

1. Дефанс — современный квартал высотных зданий на северо-западе Парижа.
2. Братья Поль, Франсуа и Альбер Фрателлини — цирковые клоуны.

лучшему в этом лучшем из миров (согласно Панглосу и Алену Мэнку[1]), если мы перестали воевать, если мы все как один хороши и милы, если к нам вернулось процветание, доходы текут рекой, а История завершена, то как все-таки ответить на этот невинный вопросец, который одним махом возвращает нас на грешную землю: "Ну и что ж мы будем делать теперь, когда мы довольны?"

№ 2. Марсель Пруст "В поисках утраченного времени" (1913–1927)

Как видите, великий Марсель Пруст (1871–1922) стоит только на втором месте в списке пятидесяти книг века, но знаете почему? Потому что он – первый среди всех писателей нашего тысячелетия и, следовательно, в рамках крошечного XX века находится как бы вне конкурса.

О его шедевре все уже многажды сказано, и написано, и разжевано, иногда даже больше, чем нужно, и вы хотите, чтобы я изложил содержание этого трехтысячестраничного монстра в нескольких строчках?! Да сегодня не Пруст – сегодня я маюсь в поисках утраченного времени! Впрочем, само название романа говорит о многом: "Поиски утраченного времени" чуть было не вышли под заголовками "Перебои чувств", "Убиенные голубки" и "Сталактиты прошлого", но выбранное в конечном счете название как нельзя лучше выражает суть нашего века. Если вдуматься, именно XX век ускорил бег времени, все сделал мгновенно преходящим, и Пруст неосознанно, но безошибочно, как и положено настоящему гению, угадал это свойство. Сегодня долг каждого писателя состоит в том, чтобы помочь нам отыскать время, разрушенное нашим веком, ибо "подлинные райские кущи – это те, которые мы утратили". Пруст построил свой семитомный карточный домик лишь для того, чтобы сообщить нам одну простую истину: литература нужна для того, чтобы найти время... для чтения!

Ну и конечно я мог бы вкратце пересказать вам его роман, одновременно и импрессионистский и кубистский, автобиографический и вымышленный, отобрав несколько основных сюжетных линий: да, это роман о любви, доведенной ревностью до безумия, – любви Свана к Одетте, Рассказчика к Альбертине; разумеется, это история Марселя, светского выскочки, жаждущего получить приглашение к принцессе Германтской, но, поскольку это ему не удается, ставшего литератором-мизантропом; бесспорно, это coming-out[1] стыдливого гомосексуалиста, который описывает декадентов своего времени, барона де Шарлю и его друга Жюпьена, дабы за их счет обелить самого себя; о'кей, это энциклопедия упадочных нравов аристократического общества до и во время Первой мировой войны 1914–1918 годов; несомненно, он повествует также и о жизни молодого человека, рассказывающего, как он стал писателем, ибо спотыкался о булыжники мостовой вместо того, чтобы забрасывать ими, как это принято сегодня, спецназовцев.

Но говорить обо всем этом – значит умолчать о настоящем герое книги, а именно – о вновь обретенном времени. В нем – в обретенном времени – может таиться великое множество самых разных вещей: тоска по детству, накатившая в тот миг, когда ты грызешь миндальное пирожное; смерть, когда снова встречаешься с одряхлевшими снобами; эрозия любовной страсти, или как превратить страдание в скуку; своевольная память – настоящая машина для странствий во времени, которое можно побороть только когда пишешь, слушаешь сонату Вентейля или колокол Мартенвиля. "Воспоминание о некоем образе – это всего лишь сожаление о некоем мгновении; и дома́, и дороги, и улицы, увы, так же эфемерны, как годы".

1. Доктор Панглос – персонаж романа Вольтера "Кандид"; Ален Мэнк – современный французский писатель, автор книг "Эгалитарная машина" (1987), "Новое Средневековье" (1995) и др.

1. Здесь: откровения (*англ.*).

Не побоюсь сказать: Пруст часто пишет слишком длинные фразы, и многие люди с трудом вникают в его текст. Но не упрекайте себя, нужно просто привыкнуть к ритму его прозы. Лично я преодолел это затруднение, сказав себе так: эти бесконечно совершенствуемые фразы соответствуют работе человеческого мозга. Стоит ли обвинять Пруста в том, что его фразы слишком длинны, если у вас в голове складываются и вовсе нескончаемые периоды (притом наверняка менее интересные, уж извините меня за прямоту)?!

Пруст не хотел умирать и потому, став затворником, жил по ночам и спал днем, питаясь, точно вампир, кровью Сен-Жерменского предместья, исступленно работая над своим романом с 1906 по 1922 год; он умер в том же году — и выиграл, обессмертив себя, ибо "настоящая жизнь, жизнь наконец-то постигнутая и разгаданная, а следовательно, единственная реально прожитая — это литература". Роман "По направлению к Свану", отвергнутый Андре Жидом в "Галлимаре", был издан в 1913 году издательством "Грассэ" за счет автора; следующий том — "Под сенью девушек в цвету", — опубликованный уже "Галлимаром", принес автору Гонкуровскую премию в 1919 году; Пруст еще застанет выход томов "У Германтов" (1921) и "Содом и Гоморра" (1922), однако три последние книги — "Пленница", "Беглянка" и "Обретенное время" — вышли после смерти писателя, в 1923, 1925 и 1927 годах, в весьма топорной обработке его брата Робера.

И вот в 1927 году наступил конец века. Пять лет спустя появится Селин и еще 48 книг, участвующих в нашем хит-параде, не считая всех остальных, которые туда не попали, но по большому счету игра уже окончена. Никто больше НИКОГДА не сможет писать так, как раньше. Никто больше никогда не сможет ЖИТЬ, как раньше. Отныне всякий раз, когда образ, ощущение, звук или запах напомнят вам нечто другое — ну я не знаю, что именно: может, в данную конкретную минуту, читая меня, вы вспоминаете о каком-нибудь давнем событии, переживании, школьном учителе, "заколебавшем" вас этим самым Прустом в старших классах, — так вот, всякий раз, как вас постигнет такая вспышка памяти, знайте, что это и есть Обретенное Время. Что это и есть Пруст. И что это в тысячу раз прекраснее всех DVD на свете и интереснее, чем Playstation. Сказать вам почему? Потому что Пруст учит нас, что время — не существует. Что все возрасты нашей жизни, вплоть до смертного часа, остаются при нас. И что только мы сами вольны выбрать для себя тот миг, который нам дороже всего.

№ 1. Альбер Камю "Посторонний" (1942)

Номер первый в списке из пятидесяти книг века, выбранных в результате опроса шести тысяч французов, опять-таки не я, хотя мне на это плевать, я даже не обижаюсь, все равно я попаду в первый же инвентарный список шедевров XXI столетия, верно? Или нет?

Прежде всего следует подчеркнуть, что наш главный победитель — подарок для лентяев: роман очень короток, всего 123 страницы крупным шрифтом. Откуда вывод: зачем надрываться, если можно создать шедевр, не марая при этом тысяч страниц, подобно Прусту, шедевр, который вы прочтете за какие-нибудь полчаса, минута в минуту. А вот и другая приятная новость: книга номер 1 из нашего списка является первым романом писателя. Таким образом, мы имеем дело с первым Первым романом. И наконец еще одна новость, на сей раз неприятная для ксенофобов: самый любимый роман французов называется в оригинале "L'étranger"[1].

В нем рассказывается история некоего Мерсо — чокнутого типа, которому плевать абсолютно на все: его мать умирает — его это не колышет; он убивает араба на алжирском пляже — ему это безразлично; его приговаривают к смерти — он даже не за-

1. L'étranger — переводится и как "посторонний", и как "чужой", и как "иностранец" (*франц.*).

щищается. Знаменитая первая фраза книги — прекрасный тому пример: "Моя мать умерла сегодня. А может, и вчера, не знаю точно". Вы представляете — парень даже не знает день смерти родной матери! Мы не всегда отдаем себе отчет в следующем: все знаменитые лузеры, все презренные убийцы, все разочарованные антигерои в современной литературе — потомки Мерсо. Это счастливые Сизифы, неодураченные бунтари, нигилисты-оптимисты, циничные кандиды — в общем, ходячие парадоксы, продолжающие существовать вопреки тщетности бытия.

Ибо для Альбера Камю (1913—1960) жизнь — абсурдна. К чему все это? Зачем? Для чего, например, эта бессмысленная хроника? Неужели у вас нет более интересного занятия, чем читать мою писанину? Все суета сует в этом ничтожном мире (Камю — Екклесиаст для "черноногих"). Однако эта скупая на выражение трезвость мысли не помешала Камю принять в 1957 году Нобелевскую премию по литературе (в возрасте 44 лет, что сделало его самым молодым лауреатом после Киплинга). Почему? Да потому, что он сам выразил свой экзистенциализм в простом девизе: "Чем меньше в жизни смысла, тем лучше она прожита". Все бессмысленно — и что же? А если это как раз и есть "неизбежное счастье"? В противоположность снобистскому отказу Сартра, который семью годами позже напрямую сравнит значение своего творчества с его высокой оценкой, Альбер Камю берет Нобелевскую премию именно потому, что она ему вполне безразлична. Оказывается, можно плевать на целую вселенную и все-таки принимать ее, даже любить. Иначе нужно сразу же взять и удавиться, поскольку такова единственная "действительно серьезная философская проблема".

Сама смерть Камю — и та абсурдна. Этот плейбой, этот двойник Хемфри Богарта, хоть и страдавший туберкулезом, был убит в возрасте сорока семи лет не своей болезнью, а каким-то платаном, росшим на обочине Национального шоссе № 6, между Вильблевеном и Вильнёв-ла-Гюйяром, при пособничестве Мишеля Галлимара и автомобиля "фейсел вега" с откидным верхом[1].

Единственная не абсурдная вещь — изобретенный Камю стиль: короткие фразы в прошедшем времени ("подлежащее, сказуемое, дополнение, точка", — как написал Мальро в своем внутреннем отзыве издателю); этот сухой бесстрастный слог оказал громадное влияние на всех авторов второй половины века, включая и "новый роман". Однако этот стиль отнюдь не препятствует созданию сильных образов — взять, например, описание слез и капель пота на лице Переза: "Они разбегались и сливались, покрывая прозрачной маской его убитое горем лицо". Даже если вам чересчур усердно вдалбливали "Постороннего" в школе, не поленитесь перечитать сейчас этот роман, чье опаленное яростным солнцем отчаяние нередко служит, как говорится в рекламе аперитива "Suze", "предметом для подражания, хоть он неподражаем!" Интеллигентный гуманизм Альбера Камю временами может и поднадоесть, но четкая, решительная манера изложения — никогда.

***

Спросим же себя в момент завершения сей последней "инвентаризации перед распродажей нашего литературного товара", когда спокойно близится конец света и человечество с улыбкой организует свои собственные похороны: нет ли тонкой иронии в том, что первое место (а значит, последнее, если считать в обратном порядке) занял именно Альбер Камю — писатель, объяснивший нам, что секрет счастья скрыт в умении приспосабливаться ко всем на свете катастрофам?

Перевод с французского
Ирины Волевич

1. Мишель Галлимар, друг Камю, уговорил его ехать вместе с ним в Париж не на поезде, а на машине, которая попала в автокатастрофу.

“Нам хочется ломать свои игрушки”

С Фредериком Бегбедером беседует Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова. В этом году в февральском номере “Иностранной литературы” публикуется ваш роман “99 франков” — нашумевший бестселлер, уже переведенный на несколько языков. В какой степени роман автобиографичен? Ваш герой работает в крупном рекламном агентстве и пишет разоблачительную книгу о мире рекламы, мечтая быть уволенным, получить гарантированную в таких случаях компенсацию и вырваться на свободу. Вы ведь тоже занимались рекламой, и вам принадлежит несколько известных слоганов, верно?

Фредерик Бегбедер. Верно. Я действительно работал в рекламном агентстве “Young & Rubicam”. Мне платили фантастические деньги, я был на вершине успеха и чувствовал себя чуть ли не хозяином жизни. Представьте себе, вы придумали какую-то фразочку, а потом видите ее всюду, на каждом шагу, куда ни глянь. Я сознавал, что как автор рекламных слоганов обладаю огромной властью над умами. Казалось бы, это должно доставлять удовольствие, но мне было не по себе. Меня мучило чувство неудовлетворенности и вины. Поэтому я и взялся за эту книгу. Решил показать изнанку своей профессии. Я очень хотел вылететь со службы и спокойно заниматься литературой. И это сработало. Правда, меня уволили без всяких компенсаций. Зато теперь я наконец-то свободный человек, писатель и несравнимо более счастлив, чем когда занимался этим ужасным ремеслом.

В моем романе есть, разумеется, вещи вымышленные: безумие героя в

конце или мифический Остров блаженных, — но в основном я исходил из своих наблюдений. Та часть, где описывается жизнь агентства, механизм рекламной кампании — это все правда, до мелочей. Я называю подлинные марки, подлинные цифры, которые иногда кажутся нереальными, но они реальны. Зато потом все соскальзывает в чистый вымысел: история с убийством, арест героя и т. п. Потому что, должен вам признаться, я никого не убивал.

"99 франков" — попытка сказать правду о рекламе, которая, за отсутствием других утопий, воплощает сегодня единственную мечту человечества. И мне это не нравится.

И. К. Интересно, что в вашем романе история рекламы тесно связана с тоталитарными системами.

Ф. Б. Но ведь так оно и есть! Я рассматриваю рекламу как сильное оружие. Это, если угодно, способ манипулирования людьми, обработки мозгов, изобретенный советскими мастерами пропаганды в двадцатые годы, затем использованный нацистами, а потом подхваченный американцами. Конечно, современное западное общество основано на свободе, на демократии, и это прекрасно, но тем не менее его есть за что критиковать. Потому что эта система тоже несовершенна, она превращает планету в гигантский супермаркет, в перманентную распродажу, где мы из последних сил гонимся за недостижимым счастьем. Человек ведь не в состоянии раз и навсегда — или даже на время — удовлетворить навязанные ему потребности. Иначе говоря, средствами рекламы фабрикуется мечта, которая делает человека несчастным.

И. К. Еще лет пятнадцать назад вашу книгу в России просто не поняли бы. В Советском Союзе торговой рекламы практически не существовало — нечего было рекламировать. А сейчас эта тема всех живо интересует, и свидетельство тому роман Виктора Пелевина "Generation 'П'", тоже написанный от лица рекламиста. Он вышел в 1999 году и имел огромный успех. Во многом он перекликается с вашей книгой. Вы его читали?

Ф. Б. Да, он переведен на французский язык. Обратите внимание, что в разных странах, причем практически одновременно, романисты обратились к одной и той же теме: Пелевин — в России, Наоми Кляйн — в Канаде, я — во Франции. И в общем это вполне логично. Писателей во все времена интересовали механизмы власти — например, Бальзака и Льва Толстого, по-моему, тоже. Писателя не может не занимать политика, но сегодня политику делает реклама, потому что правит нами, в сущности, экономика.

Интересно, что Пелевин в своей книге критикует то, о чем при коммунистах мечтали диссиденты, к чему многие стремились. То есть русский писатель сегодня говорит, что он неудовлетворен, что в обществе не все в порядке. Это впечатляет. Ведь мы смотрим на вас внимательно уже несколько веков, а в XX веке особенно. Сколько французская интеллигенция боролась за марксизм, за коммунизм! И теперь она как будто свалилась с небес на землю. Как и российский народ, я думаю.

И. К. Народ у нас, как мне кажется, волнует сейчас другое. Люди вовсе не хотят возврата к тоталитаризму. Они хотят стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А что до идеологии... Жизнь обходится без нее.

Ф. Б. А я склонен полагать, что новая идеология — это реклама, что она заняла место прежних идеологий. Не прибегая к насилию, реклама, однако, учит вас, что́ надо хотеть, что́ любить, что́ думать, демонстрирует образцы для подражания. И в итоге, как бы без принуждения, ловко навязывает нужный образ мыслей. Она умеет внушить человеку: если ты не похож на рекламную картинку, если у тебя нет вот такой красивой машины, вот такого красивого дома, то ты дерьмо. Ты вообще ничто.

Я считаю, что демократия и свобода, даже на Западе, нуждаются в постоянной защите — в частности, от агрессии со стороны рекламы, — потому что крупные бизнесмены, то есть те, кто действительно руково-

дит жизнью общества, не избираются народом. Это люди, которые ни по своему менталитету, ни по уровню образования не готовы к тому, чтобы блюсти хороший вкус, оберегать культуру или красоту пейзажа. Их интересуют только деньги, только прибыль. И я убежден, что, если оставить всю власть в их руках, мы придем к катастрофе. Их господство необходимо ограничить. И надо создать для этого новые законы. Но, главное, потребители должны ощутить себя гражданами, то есть занять критическую позицию по отношению к рекламной пропаганде. Тут нужно личное усилие каждого. Прежде всего нельзя слепо повиноваться настырным призывам рекламы, а следует разобраться в своих желаниях: чего же мы все-таки хотим на самом деле? А потом, не поленившись навести справки, бойкотировать те фирмы, которые держатся по отношению к нам неуважительно. Не покупать их товары, покупать другие. Фирмы борются между собой, и можно поддержать те, которые ведут себя более этично, более достойно, чья реклама не грешит расизмом, сексизмом и т. п. Короче, покупатель должен делать выбор, как он делает его, голосуя за политических деятелей. Ведь можно точно так же голосовать и за товары. При этом я вовсе не имею в виду, что надо прийти к коммунизму или что существует какая-то идеальная система. И не призываю устраивать революции, как Маркс.

Кстати, можно сказать, хотя это звучит провокационно: капиталистическая система, очень либеральная, очень развитая, постепенно приходит к той же монополистической концентрации, что и система жесткого государственного регулирования, когда каждый вид товара выпускался только одним или двумя предприятиями. То есть конкурирующие компании в конце концов сливаются и превращаются в единую корпорацию, выпускающую такое же ограниченное число продуктов, как при тоталитарной экономике. Это очень странно, но это факт. Из множества сортов яблок фактически осталось три: желтые, красные и зеленые. Или что, например, случилось с курами? Вместо десятков пород появилось некое животное, не имеющее разновидностей. То же происходит и с говядиной, и со всем остальным. В результате вкусовое разнообразие исчезает. В общем... над этим стоит задуматься.

И. К. Судя по вашим книгам и по тому, что вы говорите, вы знаете о тоталитарных системах больше, чем очень многие на Западе.

Ф. Б. Я люблю сопоставлять систему, в которой живу, с другими. С катастрофическими утопиями XX века — фашизмом, коммунистическим тоталитаризмом. Поразительно, что всякий раз это начиналось как мечта — мечта о всеобщем счастье. Даже фашисты сулили народу идеальное общество и объясняли, что надо только убить некоторое количество людей — и счастье будет достигнуто. Каждый раз обещания счастья приводили к худшему, и капитализм сегодня тоже обещает счастье. Он обещает, что если ты будешь работать всю жизнь и выплачивать кредиты, то будешь счастлив, потому что у тебя будет хорошая машина, красивый дом, полный холодильник...

И. К. Но человек волен отказаться от такого счастья. А при социализме или фашизме открытый отказ карался. Ведь если у вас немодная модель автомобиля, вас никто не отправит за это в ГУЛАГ.

Ф. Б. Конечно! Когда я делаю такие сравнения, я не хочу сказать, что капитализм — это тоталитаризм, но это своего рода диктатура транснациональных компаний. Это диктатура cool, soft[1], толерантная, улыбающаяся, поэтому она не кажется диктатурой, но именно такие компании на деле правят миром. И надо все же обратить внимание на эту ситуацию.

На ярмарке non/fiction в Москве выступал писатель из бывшей ГДР Инго Шульце, он сказал: "Раньше в Восточной Германии нельзя было критиковать Ленина. Теперь критиковать Ленина можно, но нельзя кри-

1. Сдержанная, мягкая (*англ.*). (*Здесь и далее — прим. ред.*)

тиковать своего начальника". У нас много кого нельзя критиковать, и в частности торговые марки. Если вы журналист и работаете в журнале или в газете, которые живут на средства от рекламы, то нельзя критиковать "Данон" или "Макдоналдс"...

И. К. Но вы это сделали! Ведь "Мадонна" в вашем романе — это "Данон", разве не так?

Ф. Б. Да, я это сделал, это можно делать, но в книге. А если у вас в газете публикуется реклама кока-колы, нельзя рядом написать, что их заводы загадили окружающую среду, что они нещадно эксплуатируют рабочих и зомбируют наших детей. Вас за это тут же уволят.

И. К. А в книге?

Ф. Б. Преимущество литературы в том, что она пока свободнее, чем пресса. В книге можно говорить вещи более резкие. В первом варианте "99 франков" фирма-заказчик так и называлась "Данон", но издатель попросил меня поменять ее название, потому что "Данон" немедленно подал бы в суд. Это ведь тоже своеобразная форма цензуры — затевать процессы. Писатели сплошь и рядом подвергаются судебным преследованиям со стороны разных фирм — Мишель Уэльбек, например, или Кристоф Донер — им хотят помешать свободно высказываться. То есть, как видите, за свободу приходится бороться каждый день, чтобы ее у нас не отняли.

И. К. В некоторых странах, где ваш роман уже вышел, переводчики заменили в заглавии франки на деньги своего государства, на лиры, например. Вам хотелось бы, чтобы в русском издании вместо "99 франков" было бы "99 рублей"?

Ф. Б. Почему бы нет? Сколько стоит, например, ваш журнал? Роман мог бы называться по цене одного экземпляра. Во Франции моя книга стоит 99 франков и называется "99 франков".

И. К. Но у журналов цена свободная, они стоят везде по-разному. В каждом магазине своя цена, при подписке — своя. Потом ваш роман выйдет книгой, и цена опять будет другая. Кроме того, у нас инфляция. Нельзя же менять название книги в зависимости от курса Центробанка. Так что мы оставили франки. Все-таки твердая валюта.

Ф. Б. Прекрасно, я не против. Взяв для названия цену книги, я просто хотел продемонстрировать, что литература сегодня тоже находится под угрозой превращения в товар, как йогурт или любой другой продукт. Мне показалось забавным назвать роман по его цене[1].

И. К. Поскольку вы занимаете определенную гражданскую позицию во всем, что пишете, скажите, какова, по-вашему, роль писателя в современной ситуации и может ли художественный — именно художественный — текст как-то влиять на нее?

Ф. Б. В XX веке произошло много революций, в том числе и в искусстве. Были всяческие авангарды, "новый роман", упразднение персонажей и фабулы. В романах теперь часто вообще отсутствует какая-либо связная история, события, действие.

Старая романтическая идея — быть может, наивная — заключалась в том, что искусство способно изменить мир, что, написав книгу, вы измените общество. Это все термины марксистские, но все-таки есть некоторый романтизм в уверенности, будто своей авторучкой и листком бумаги можно повлиять на реальность. В "99 франках" я, с одной стороны, открыто признаю свое бессилие, так как описываю несокрушимую систему, из которой невозможно вырваться, с другой — пытаюсь, смеясь и шутя, открыть людям глаза, показать, что еще не поздно поправить дело. В общем, моя позиция противоречива: я стремлюсь что-то изменить и в то же время ясно отдаю себе отчет, сколь мало́ влияние писателя на ход вещей по сравнению с мультинациональными гигантами. Конечно, писатель немного смешон на их фоне, но мне хочется думать, что я все-таки могу на что-то сгодиться.

1. В январе 2002 г. роман Ф. Бегбедера "99 франков" переиздан во Франции под названием "14.99 €".

Одни авторы убеждены, что искусство есть нечто отвлеченное, никак не связанное с действительностью, другие — что литература должна быть конкретной, оставаться внутри реальности. Я принадлежу к последним.

И. К. Некоторые критики говорят про новую форму литературы — "роман, основанный на подлинных фактах". Что вы об этом думаете?

Ф. Б. Возможно, они правы, но разве это так уж ново? Если мы посмотрим на великих русских или французских писателей XIX века — Бальзака, Золя, Флобера, — то все они рассказывали об окружавшей их действительности. Так что мы ничего в этом смысле не изобрели. Просто после всех экспериментов над текстом в XX веке люди немножко забыли, что романист может исходить из простого наблюдения над своим временем.

И. К. Но, похоже, писатели потихоньку возвращаются к этому?

Ф. Б. Да, и таких авторов критика теперь именует постнатуралистами — за возврат к связному повествованию, наблюдению, описанию мира. Во Франции это определение относят в первую очередь к М. Уэльбеку, в Америке — к Б. И. Эллису.

И. К. К кому еще во Франции, кроме Уэльбека и вас?

Ф. Б. К Равалеку, к Виржини Депант... Каждый на свой лад показывает эпоху, в которую мы живем. Это сейчас просто необходимо, потому что у нашей эпохи нет аналогов в истории. Техника за пятьдесят лет полностью изменила образ жизни людей. Телевидение, мобильные телефоны, транспорт, авиация... Перемены происходят стремительно, так что у писателей работы по горло.

И. К. А что вы вообще думаете о литературной ситуации во Франции? У меня и у многих, кто следит за французской литературой, складывается впечатление, что с приходом молодых, радикально настроенных авторов в ней началось оживление, если не сказать подъем.

Ф. Б. Что-то новое в самом деле происходит, и, я думаю, это связано с несколькими обстоятельствами. Прежде всего с влиянием кинематографа. Писатели моего поколения выросли не только на великих литературных образцах, но и на фильмах, на американском кино, на рекламе. Это сказалось на нашей манере письма, более визуализированной, что ли, более энергичной. Кроме того, на мой взгляд, немалую роль сыграла и американская литература — Джек Керуак, Чарльз Буковски, уже упомянутый Брет Истон Эллис, их ви́дение нашей эпохи, которую они изображают динамично, ярко, без прикрас. У вас есть Виктор Пелевин, он, если можно так выразиться, русский Эллис, это очень новый, очень оригинальный автор. В Италии есть целое движение, которое называется "Юные людоеды", это Альдо Ново, Николо Амманити. В Германии существует направление "поп-литература". В Англии в том же ключе работают Ирвин Уэлш, Ник Хорнби. Я говорю только о тех, кому сейчас от тридцати до сорока, все эти авторы живут в разных странах и пишут каждый в своей манере, но всегда о реальности.

И конечно, почти всех их волнует то, что сейчас на нас надвигается, я имею в виду глобализацию. Ведь это униформизация планеты! В Москве, в Париже, в Токио, в Нью-Йорке, в Берлине — всюду жизнь станет одинаковой. Это нечто беспрецедентное, такого еще в истории не бывало. И вопрос в том, удастся ли нам сохранить разнообразие культур, не исчезнет ли оно, не окажемся ли мы все в конце концов на одно лицо? В любом случае, об этом интересно подумать.

И. К. Что вы любите в литературе? Какие авторы оказали на вас влияние?

Ф. Б. Наверно, я человек странный, потому что мои литературные пристрастия плохо сочетаются между собой. С одной стороны, я люблю автобиографии. У меня воображение не такое уж богатое, поэтому я и сам во всех книгах пишу о себе — о своей женитьбе, о разводе, о работе в рекламе и т. п.

И. К. "99 франков" посвящены Хлое. Это ваша дочка?

Ф. Б. Да, ей два с половиной года.

И. К. Вы назвали ее в честь героини Бориса Виана?

Ф. Б. Да, в честь Хлои из "Пены дней" и в честь героини романа Лонга "Дафнис и Хлоя", первого настоящего романа о любви в истории цивилизации. Мне нравится, когда писатели говорят о себе, рассказывают свою жизнь, как Шатобриан, Руссо, Монтень, в некотором смысле — Пруст, нравится читать дневники: Жюля Ренара, Поля Леото. Дневники меня всегда волнуют, потому что я идентифицирую себя с человеком, говорящим от первого лица, вижу, что мы сталкиваемся в жизни с похожими ситуациями, мучаемся теми же вопросами. Обожаю фразы, которые начинаются с "Я". И думаю, что в следующей моей книге тоже будет много "я". Мне свойствен нарциссизм, даже очень. С другой стороны, я люблю смешное в литературе, писателей, которые разоблачают условности и всякую фальшивую видимость. Тут я поклонник Бальзака и сатириков... Я уже называл не раз Уэльбека, Пелевина, Эллиса. Француз, русский, американец — по-моему, неплохой триптих современной сатиры.

Кроме того, я фанатик "Цветов зла". Я очень люблю поэтов, которые ищут красоту там, где ее, по идее, быть не должно — у проституток, в грязных притонах. Помните, как говорил Бодлер: "Я взял всю грязь твою и в злато обратил"[1].

И. К. Как вы воспринимаете свой успех?

Ф. Б. Он меня удивляет. Нет, правда. Из всех моих книг это самая беспощадная, самая радикальная, самая порнографическая, самая натуралистичная, тут и кокаин, и все что хотите... И непостижимым образом именно она имеет колоссальный успех. Мне даже начинает казаться, что общество хочет вознаградить меня за то, что я его обвиняю. Это, в сущности, парадокс: мы очутились сегодня в ситуации, прямо противоположной той, что была в СССР. У вас интеллигенция за критику попадала в тюрьму. А на Западе интеллигентов, которые критикуют систему, общество осыпает деньгами, благодарит за то, что его ругают.

И. К. Мазохистское общество?

Ф. Б. Ну, в каком-то смысле, да. И еще оно, возможно, пытается достичь того же результата, что и тоталитарные государства: умерить мой пыл. Создать мне комфортабельную жизнь, чтобы я помалкивал. Может быть, успех — это способ заставить писателя замолчать. Но я не замолчу, я буду продолжать говорить. *(Смеется.)* А если серьезно, то я думаю, что среди публики во Франции — точно так же как в Италии или в Германии, то есть в странах, где "99 франков" встретили хороший прием, — созрело некое внутреннее беспокойство, и книга пришлась в тон настроению. Как всем избалованным детям, нам хочется ломать свои игрушки. Мне повезло, я родился в демократической стране, могу позволить себе роскошь свободно жить, свободно высказываться. И в то же время испытываю непреодолимую потребность ломать игрушки, капризничать, жаловаться.

И. К. Какую игрушку вы собираетесь ломать следующей? Иначе говоря, над чем вы работаете?

Ф. Б. Взялся после рекламы за новую большую тему — телевидение. Я сам веду передачи на телевидении, наблюдаю за тем, что там делается, и вижу: телевидение, как и реклама, стремится нас подмять, формировать по шаблону наше сознание. Вы знаете, что французы смотрят телевизор в среднем по четыре часа в день? Четыре часа в день мы просиживаем перед этой штуковиной! В общем, я сейчас пишу про это толстый роман.

И. К. Мы его ждем. Спасибо.

1. Последняя строка из незаконченного эпилога ко второму изданию "Цветов зла".

Александра Борисенко

Песни невинности и песни опыта

О новых переводах "Винни-Пуха"

В 1999 году издательство "ЭКСМО-пресс" выпустило книгу Алана А. Милна "Винни-Пух" в переводе В. Вебера и Н. Рейн[1].

В общем, ничего особенно странного в этом нет: появление новых переводов уже переведенных произведений — совершенно закономерный процесс. Другое дело, что для нас это отчасти ново — в отечественной традиции советского времени чаще бытовал один "канонический" перевод прозаического текста, который в сознании среднестатистического читателя был абсолютно равен оригиналу. В детской литературе, правда, наличие нескольких переводов одной и той же книжки встречалось значительно чаще — видимо, жанр представлялся менее обязывающим, оставляющим простор для пересказа, переделки, "адаптации для советского ребенка" ... ("Нашим детям не нужны черно-белые картинки", — уверяли меня в одном издательстве).

Совершенно естественно, изменения в социокультурной ситуации спровоцировали в том числе и критическое переосмысление старых переводов, появились "новый Сэлинджер", "новый Данте", "новый Шекспир"; нередко в этих новых текстах ощутимо присутствие прежнего перевода (хотя бы в качестве невидимого оппонента) — в тексте так и слышится полемика, не имеющая прямого отношения к автору оригинала.

Но переводчик в России — больше чем переводчик. Вот, к примеру, цитата из пламенного отзыва Л. Брунн (с красноречивым названием "Украли медведя") на появление перевода В. Вебера[1].

Знаете ли вы, кто такие Хрюка, Тигер или Хоботун? Уверяю вас, что знаете. Это известные всей стране Пятачок, Тигра и Слонопотам, имена которых изменились по злой воле издательства "ЭКСМО-пресс", выпустившего книгу А. А. Милна "Винни-Пух" в переводе В. Вебера и Н. Рейн. <...>

Нет! Ничего, абсолютно ничего святого не осталось. Разворовав все материальное, взялись теперь и за духовное. <...>

Сорок лет Винни-Пух, Кристофер Робин, Пятачок и Все-Все-Все, открытые для нас Борисом Владимировичем Заходером, были нашими кумирами. Сорок лет. Юные личики покрылись морщинами, волосы выпали, бороды поседели, а мы все еще нет-нет, да и наведываемся к друзьям с криком "кто ходит в гости по утрам — тот поступает мудро" и, усевшись за стол, лукаво спрашиваем, "не пора ли нам подкрепиться?" Короче, "куда идем мы с Пятачком"... То есть теперь, по милости гг. Вебера, Рейн и "ЭКСМО-пресс", надо просопеть "куда идем мы с Хрюкой". Фу, какая гадость.

Действительно, гадость. Но обратите внимание на суть упрека: В. Вебер обидел Б. Заходера и заодно наплевал в душу всем нам. Скромная фигу-

1. Алан Александер Милн. Винни-Пух. Перевод В. Вебера, Н. Рейн. М., 1999. Далее все цитаты приведены по вышеуказанному изданию.

1. Рецензия была напечатана в Интернете на сайте Vesti.ru:http://old.vesti.ru/editor/2000/03/02/winnie/_Printed.htm

ра Алана Милна совершенно затерялась в этой коллизии. Потому что, как справедливо заметил тот же Л. Бруни, "...удивительным образом английский медвежонок с опилками в голове стал неотъемлемой частью русского культурного достояния", и в этом — несомненная заслуга поэта и переводчика Бориса Владимировича Заходера.

Так что же мы можем с полным правом говорить "Заходер", а подразумевать "Милн"? Ничуть не бывало. С переводами Бориса Заходера все не так просто. Его талантливой рукой были отброшены многие фрагменты, а то и целые главы таких книг, как "Винни-Пух", "Мэри Поппинс", "Алиса в Стране чудес"; его переводам неизменно сопутствуют добавления и композиционные изменения — недаром в любой из упомянутых книг вы увидите характерную упреждающую пометку: "*пересказал (*курсив мой. – *А. Б.)* Борис Заходер". К такого рода переводческой вольности можно относиться по-разному. Например, с Кэрроллом, на мой взгляд, Заходер как-то неуловимо разминулся — в интонации, в тончайшей пропорции викторианской сентиментальности и викторианской же иронии, не совпавшей с веселым, бурливым юмором самого Заходера... Но заходеровская "Алиса" и не стала "каноническим" переводом, уступив более точному по букве и духу переводу Н. М. Демуровой.

Зато с "Винни-Пухом" и "Мэри Поппинс" попадание в интонацию и дух подлинника оказалось настолько точным, что пропущенные главы, непереведенные посвящения и прочие вольности остается только принять как данность — ибо дети, говорящие по-русски, будут вновь и вновь слушать на ночь Алана Милна и Памелу Трэверс в пересказах Бориса Заходера... А победителей, как известно, не судят. Конечно, во многом эта ситуация уникальна. Прежде всего потому, что речь идет о детской литературе, при переводе которой особенно трудно достичь такой степени органичности языка и юмора. Во-вторых, нельзя упускать из виду основную читательскую аудиторию — дети, привыкшие к Пятачку, вряд ли воспримут незнакомого Хрюку, сколько бы им ни объясняли, что теперь в книге на две главы больше и все стихи вдвое длиннее. Ну может быть, можно сделать попытки реконструировать выпущенные главы, бережно сообразуясь со стилем и находками заходеровского перевода (кажется, такая попытка была предпринята — во всяком случае, серия "Наши любимые мультфильмы" рекламирует книгу "Алан Милн, Борис Заходер. Дом на Пуховой опушке", где можно найти "все двадцать историй, а не восемнадцать, как было в других изданиях"[1]...) И все-таки попытки выпустить в свет "полную Мэри Поппинс" или "полного 'Винни Пуха'" в новых переводах неизбежны — вполне в духе наступившего переводческого плюрализма.

Кстати о плюрализме — небесполезно вспомнить и о том, что у перевода могут быть самые различные *цели*. М. Л. Гаспаров, например, всегда ратовал за сосуществование в культуре различных переводов — более вольных, адаптирующих иностранное произведение для читателя, и более точных, практически дословных, научных переводов, облегчающих работу филолога или изучение языка. В 1996 году издательство "Моимпекс" выпустило англо-русского "Винни-Пуха"[2], с параллельным английским и русским текстом. Имена персонажей оставлены привычные, заходеровские, в остальном перевод вполне отвечает своей задаче — как можно ближе следовать английскому тексту, "для удобства изучения языков", как сказано в аннотации. Книга напечатана с традиционными для англоязычных изданий иллюстрациями Эрнеста Х. Шепарда, которые (увы!) преобразованы в цветные...

Говоря о переводах "Винни-Пуха" на русский язык, нельзя, конечно, обойти вниманием головокружительный эксперимент В. Руднева и Т. Михайловой. Собственно, перевод — лишь незначительная (во всех смыслах слова) часть исследования под на-

1. http://www.knigi.ru/deiatkmul.htm.
2. Miln A. A. Winnie-the-Pooh. Параллельный перевод Т. Ворогушина, Л. Лисицкой. М., 1996.

званием "Винни-Пух и философия обыденного языка"[1]. В аннотации ко второму изданию (1996) книга названа "интеллектуальным бестселлером". В. Руднев в присущей ему парадоксальной и провокативной манере анализирует "Винни-Пуха" с самых различных сторон: соответствующие разделы работы носят названия "Мифологизм", "Сексуальность", "Перинатальный опыт", "Пространство и время. *ВП* как целое" и т. д. Библиография включает такие имена, как Фрейд, Витгенштейн, Лотман, Бахтин; словом, "Винни-Пух" предстает перед читателем в совершенно новой роли. В. Руднев пишет:

Заходеровский ВП был единственным "Винни-Пухом", которого мы знали; тем сложнее задача, которую поставили перед собой переводчики в данном издании. С одной стороны, нам жаль было расставаться с заходеровским ВП, с другой – необходимо было освободиться от его языкового давления и постараться представить милновские повести по-другому... Мы стали исходить прежде всего из интересов автора, Алана Александра Милна. И там, где эти интересы были, как нам казалось, соблюдены, мы не ломились в открытую дверь, удовлетворяясь тем, что есть, там же, где, как нам казалось, перевод перебарщивал в ту или иную сторону, мы проявляли соответствующую активность.

Надо сказать, что академическая общественность отнеслась к "интеллектуальному бестселлеру" не слишком благожелательно. То есть у многих возникло смутное чувство, что Руднев опять-таки "замахнулся на святое". Возможно, не все согласились со специфическим пониманием В. Рудневым интересов автора, Алана Александра Милна. Для нас важно другое: вошедший в русскую литературу "канонический" перевод в данном случае является не просто фоном нового перевода, но необходимым условием его существования. Руднев не хочет вытеснить заходеровский перевод – напротив, он использует его в своей игре. "...*ВП* до сей поры известен русскоязычным читателям в единственном переводе Б. Заходера и практически все тридцать с лишним лет своего бытования на русском языке числится по разряду сугубо детских книг", – говорит Руднев и тут же берется показать, что на ту же книгу можно взглянуть и совсем иначе. Поэтому, пытаясь подчеркнуть "недетскость" повестей Милна, В. Руднев избирает следующую стратегию – он ищет стилистический ключ, который помог бы "создать эффект отстраненности" и удовлетворял бы следующим требованиям: "во-первых, не чуждый оригиналу, во-вторых, хорошо известный русскому читателю и, в третьих, достаточно неожиданный и парадоксальный". Надо сказать, что особенно хорошо удалось В. Рудневу соблюдение третьего условия – поскольку стилистическим ключом послужила, ни много ни мало, "проза зрелого Фолкнера (или, скорее, уточняет В. Руднев, тех его замечательных переводов на русский язык – прежде всего, Р. Райт-Ковалевой, – которые близки нам по установкам)". Проведя некоторые параллели с Фолкнером в оправдание своего нетривиального выбора (замкнутый мир Леса / Йокнапатофы, карта местности, жанр саги и "нечто неуловимое в интонации, чего мы не беремся объяснить, но что мы попытались передать в переводе"), Руднев переходит к формальной стороне дела. Ключевым приемом стало "введение в грамматику милновских повестей отсутствующего там praesens historicum" – В. Руднев несколько туманно поясняет, что это "позволило... добиться эффекта большей стереоскопичности текста и его большей стилистической весомости". Кроме того, оговаривается: "С идеей фолкнеровской стилистики связано и единственное крупное отступление от оригинала: вместо длинных милновских названий глав мы дали короткие 'фолкнеровские' – 'Пчела', 'Нора', 'Woozle' и т. д."

1. Винни-Пух и философия обыденного языка. Алан Александр Милн. Winnie Пух. Алан Александр Милн. Дом в медвежьем углу. Перевод с английского Т. Михайловой, В. Руднева. Статьи и комментарии В. Руднева. М., 1996. Далее все цитаты приведены по вышеуказанному изданию.

Во всей этой логике прежде всего бросается в глаза постмодернистская манера — произвольно связывать два текста и читать один на фоне другого, что, видимо, соотносится с задачей убедить читателя, "что *ВП* является одним из серьезнейших произведений литературы XX века". Руднев не утверждает, что Милн, например, подражал Фолкнеру или хотя бы читал его. Фолкнер в данном случае — просто средство вызвать у читателя определенные ассоциации.

Что такое Фолкнер для читателя, к которому апеллирует Руднев? Это элитарное чтение, сложная, высоколобая литература в противоположность детскому, легкому, массовому "Винни-Пуху". А теперь зададим еще более существенный вопрос: кто тот читатель, тот адресат, которого имеет в виду Руднев? Это, конечно, не ребенок — вряд ли можно рассчитывать, что дети "младшего и среднего школьного возраста", даже очень развитые, узнают специфику стиля Фолкнера по переводам Райт-Ковалевой. Руднев, можно сказать, знает своего читателя в лицо, да и мы, читая комментарий, начинаем его узнавать: это человек интеллигентный, почти наверняка подписчик журнала "Иностранная литература", к тому же владеющий в какой-то степени английским языком — В. Руднев предпочитает оставлять без перевода некоторые имена (Woozle, Heffalump), комментируя богатые коннотации оригинала, а также приводить по-английски иные слова и фразы "иногда даже оставляя их без комментариев в силу их тривиальности (sic!) (например, *A Happy Birthday*! или *How do you do*!)... Роль этих слов и выражений, добавляет Руднев, — напоминать время от времени читателю, в какой языковой среде он находится". Tigger становится Тиггером — "по ассоциации с nigger, так как Тиггер в определенном смысле цветной". Руднев уже не в силах остановить тотальную фолкнеризацию текста — цветной Тиггер явно имеет отношение к американскому Югу, а не к английскому фантазийному лесу.

Получается, что между существующим переводом Б. Заходера и новым переводом В. Руднева складывается своеобразное разделение обязанностей: Б. Заходер отвечает за детскую книгу, возникшую из сказок, которые А. А. Милн рассказывал на ночь сыну. В. Руднев оставляет этот аспект книги без внимания — всю прелесть "детского" мира А. Милна уже донес до русскоязычных читателей Заходер. Дело же Руднева — подчеркнуть более взрослый, более сложный план произведения, так сказать, повысить престиж А. Милна (вот где, по-видимому, соблюдение интересов автора!) в глазах русской интеллигенции. То есть новый перевод, по сути, лишь дополнение к уже сделанному — Руднев безбоязненно искажает облик Милна, подробно комментируя, как и почему он это делает, чтобы выделить те черты, которые, по его мнению, потерялись в работе предшественника...

Приведем в качестве примера цитату, выбранную почти наугад:

"Доброе утро", сказал Пух.

"Доброе утро, Пух-Медведь", сказал И-Ё мрачно. "Если это действительно доброе утро", говорит. "В чем я", говорит, "сомневаюсь".

"Почему? Что за дела?"

"Ничего, Пух-Медведь, ничего. Мы все не можем, а некоторые из нас просто не хотят. Вот, собственно, и все".

"Чего все не могут?" сказал Пух, потерев нос.

"Развлечения. Песни-пляски. Танцы-шманцы. Широка страна моя родная".

"О!" сказал Пух. Он долго думал, а затем спросил: "Какую страну ты имеешь в виду?"

Нельзя сказать, что это похоже на Фолкнера. Но, видимо, для автора перевода было гораздо более важно, чтобы не получилось похоже на Милна. И уж тем более на Заходера. Перевод оставляет впечатление некой литературной мистификации, где один текст выдается за другой.

Мы уже упоминали концепцию М. Л. Гаспарова о существовании в культуре перевода вольного, облегченного и более точного, обучающе-

го, филологического. Однако в данном случае речь идет о принципиально ином явлении. Перевод В. Руднева не является ни точным, ни научным, ни просветительским. Строго говоря, он вообще не является переводом. Это своеобразная игра с господствующей традицией, деконструкция, произвольное выделение одной (воображаемой!) части целого с нарушением всех пропорций... Одним словом, "интеллектуальный бестселлер".

Но вернемся к В. Веберу и его "полному" переводу "Винни-Пуха"...

Мы бы, собственно, не стали к нему обращаться вовсе — однако неожиданно выяснилось, что за скучноватым переводом Вебера стоит уникальный переводческий метод, о чем можно узнать из интервью, данного переводчиком газете "Книжное обозрение"[1]. Интуиция не обманула многочисленных рецензентов: В. Руднев, со всей его интеллектуальной экслибристикой, не хотел обидеть Заходера — и уж тем более не собирался *заменять* заходеровский перевод своим экспериментальным конструктом, а В. Вебер хотел. Вот что отвечает В. Вебер на вопрос "Для чего понадобилось еще раз переводить более чем известное произведение":

Дело в том, что тот "Винни-Пух", которого читали мы с вами, он, мягко говоря, кастрирован и переработан.

И это еще "мягко говоря"! Интересно, как бы выразился Вебер в более непринужденной обстановке?

Милна – его рассказы – я перевожу с 1982 года. <...> Когда я узнал о том, что произошло с оригинальным текстом "Винни-Пуха" при переводе, стало обидно – как же так, хороший автор, а мы на самом деле его не знаем.

Любопытно — чисто хронологически, — *когда* же В. Вебер узнал о той вопиющей несправедливости, которая была допущена по отношению к "Винни-Пуху"? Ну когда бы ни узнал — не стерпел. Как видите, речь в данном случае не идет ни о каком мирном сосуществовании нескольких переводов в одном культурно-языковом пространстве. Виктор Вебер взялся за новый перевод "Винни-Пуха", потому что, как говаривал Карлсон, "старый никуда не годится". Так что читателю просто необходимо познакомиться наконец с "хорошим автором" в его первозданном, некастрированном (мягко говоря) виде.

(Признаться, взяв в руки увесистый том, изданный "ЭКСМО-пресс", я слегка оробела: неужели Заходер *столько* глав выбросил из милновского "Винни-Пуха"? Оказалось, дело в другом — просто в том же томе пребывает еще и роман Алана Маршалла "Шепот на ветру" — инкогнито; на обложке об этом не упоминается. Как остроумно заметил в своей рецензии В. Березин: "Я сначала даже решил, что начали издавать всех Аланов подряд...[1]")

Итак, Виктор Вебер берется за осуществление своей благородной миссии. При этом он очень зависим от заходеровского перевода — с одной стороны, влияние предшественника видно невооруженным глазом, с другой — Вебер изо всех сил старается сделать "не так, как у Заходера", что связывает ему руки во многих отношениях. Иногда В. Вебер может претендовать на "бóльшую точность": скажем, "Мишка со Слабеньким Умишком" — более точный перевод английского "Bear with Very Little Brain", нежели заходеровский "Медведь с опилками в голове". Правда, по-русски в "мишке со слабеньким умишком" неприятно и неизбежно слышится "слабо-умие", но чего не сделаешь ради торжества истины.

В других случаях Веберу приходится, наоборот, поступиться точностью — как, например, в эпизоде, где Винни-Пух находит хвост ослика Иа-Иа, который Сова использует как шнурок дверного колокольчика. В переводе Заходера читаем:

1. В. Вебер. Всегда оставаться за кадром. Книжное обозрение, 2001, 24 сентября.

1. В. Березин. Душераздирающее зрелище. Независимая газета, 2001, 1 апреля.

– Сова, – сказал Пух торжественно, – он кому-то очень нужен.

– Кому?

– Иа. Моему дорогому другу Иа-Иа. Он... он очень любил его.

– Любил его?

– Был привязан к нему, – грустно сказал Винни-Пух.

"Был привязан" в данном случае очень точный и совершенно *очевидный* перевод английского "was *attached*", поскольку английское слово attached тоже означает и механическую "прикрепленность" и душевную привязанность. Вебер вынужден перевести по-другому: "не расставался с ним ни на секунду"... Не повторять же за Заходером!

Во многих случаях В. Вебер вообще игнорирует каламбуры и идиомы. Возьмем тот диалог между Пухом и осликом Иа-Иа, который мы уже приводили в переводе Руднева. У Вебера одна из реплик ослика звучит так: "Веселиться. Петь и... танцевать. Водить хороводы вокруг шелковицы".

Это практически дословный перевод оригинала. Но по-английски "here we go round the mulberry bush" – припев, сопровождающий детскую игру-хоровод; кроме того, это выражение может означать "ходить вокруг да около". По-русски же выражение "куст шелковицы" в данном контексте лишено смысла.

В. Вебер вообще не слишком стремится использовать ресурсы родного языка для какой бы то ни было словесной игры.

Вот Хрюка (бывший Пятачок) размышляет о загадочном Хоботуне (Слонопотаме):

На кого похож этот Хоботун?
Неужто он злой?
Идет он на свист? Идет или бежит?
А поросят он любит?
Если любит, то всех или каких-то особенных?

В общем, все это довольно близко к английскому оригиналу. И у Заходера тоже довольно близко... Но давайте сравним:

Какой он, этот Слонопотам?
Неужели очень злой?
Идет ли он на свист? И если идет, то зачем?..
Любит ли он поросят или нет?
И как он их любит?

Последний из процитированных вопросов переведен у Вебера дословно, а у Заходера, можно сказать, "выдуман". Но с какой точностью зловещая догадка, звучащая в коротеньком "И *как* он их любит?" передает самую суть нарастающего беспокойства Пятачка!

Иногда, конечно, В. Веберу не удается избежать игр и каламбуров – текст оригинала не позволяет полностью уклониться от этого несерьезного занятия.

В заходеровском переводе перепуганный Пятачок вопит не помня себя:

Караул! Караул! <...> Слонопотам, ужасный Слонопотам!!! <...> Караул! Слонастый ужопотам! Караул! Потасный Слоноужам! Слоноул! Слоноул! Красный Потослонам!

Вебер тоже вынужден исполнить этот языковой трюк, но если Заходер, вслед за Милном, искусно жонглирует *тремя* словами ("караул", "ужасный" и "Слонопотам" – в оригинале "help", "horrible", "Heffualump"), то Вебер, как неумелый жонглер, ограничивается лишь двумя, да и с ними управляется не сказать чтобы виртуозно:

На помощь! На помощь! <...> Хоботун! Здесь ужасный Хоботун! <...> На помощь! На помощь! Хоботун! Ужасный Хоботун! Там! Там! Страшный Хоботам! Старший Хобошум!

Ну что ж, "Минздрав рекомедует": по крайней мере, вашему ребенку не грозит опасность захлебнуться от смеха...

Однако, как выяснилось, все то, что можно было принять за огрехи перевода, на самом деле – результат продуманной концепции, которой без стеснения делится В. Вебер с читате-

лями "Книжного обозрения". "В чем вы видите задачу переводчика?" — спрашивают Вебера. (О, этот сакраментальный вопрос, невольно заставляющий вспомнить загадочные эссе Беньямина, знаменитую речь Шлейермахера, пространные рассуждения Гёте, страстные доводы Лютера...) Вековые споры и баталии с легким хрустальным звоном разбиваются о ясную, ничем не замутненную позицию переводчика Виктора Вебера:

Ничего не выдумывать, ничего не привносить своего. Задача простая – взять произведение на языке оригинала и перенести на поле русского языка. Высший комплимент: "И незаметно, что это перевод". Именно потому мне кажется, что писателю трудно быть хорошим переводчиком. Слишком богатое воображение просто заставляет его переиначить авторский текст – ведь он знает, как надо писать, и имеет по этому поводу собственное мнение.

Простите мне пространное цитирование (непослушная рука только что напечатала "престранное"...), но право же, вчитайтесь в это изумительное, кристальное описание процесса: *взять и перенести.* Главное, чтоб без творческого воображения и без собственного мнения о том, как надо писать. И все само получится. "Но ведь какие-то реалии не так просто поддаются переносу?", — робко предположил интервьюер "Книжного обозрения". "У меня такого не встречалось", — ответил Виктор Вебер.

Как же так? У всех, кто когда-либо сталкивался с нелегким делом перевода, непременно возникали проблемы с переносом кое-каких реалий, каламбуров, имен, понятий, сленга — ритма, наконец! А у Виктора Вебера — нет.

Я попробую сделать попытку объяснить этот удивительный феномен. Мне кажется, разгадка кроется в одной коротенькой фразе, оброненной В. Вебером в том же интервью:

Переводил не один, моим соавтором была Наталья Рейн, сам я, к сожалению, совершенно не могу переводить стихи...

Как-то раз один человек, очень далекий от филологии, задал мне такой вопрос: "А вот скажи... Если взять стихи на иностранном языке и переводить одно слово за другим... По-русски тоже в рифму получится?"

Узнаете этот незамутненный взгляд, эту чистую веру в первозданную мировую гармонию?.. По всей видимости, Виктору Веберу все же довелось сделать скорбное открытие: мир не вполне совершенен, стихи сами собой не переводятся в рифму. Однако по поводу прозы он так и остался в неведении — а поэзия удивительной сказки Милна никак не хотела сама собой складываться "в рифму", вот и получился тот непроходимо унылый текст, по которому нам предлагают заново узнать "хорошего автора".

К счастью, как уже было сказано, Виктор Вебер не переводит стихов. Их, к несчастью, переводит Наталья Рейн. Я не буду сравнивать ее творения с переводами Заходера — если вам любопытно, сравните сами, не пожалеете. Я приведу здесь два посвящения — к первой и второй книге о Винни-Пухе, которые Борис Заходер не переводил вообще. А Наталья Рейн — перевела.

Для сравнения в таблице дан оригинал и перевод — более точный — каждого из посвящений, выполненый В. Рудневым и Т. Михайловой.

Alan A. Miln	В. Руднев, Т. Михайлова	Н. Рейн
To her	***Ей***	***Посвящается ей***
Hand in hand we come Christopher Robin and I To lay this book in your lap.	*Рука об руку мы идем,* *Кристофер Робин и я,* *Чтоб положить* *эту книгу* *тебе на колени*	*Кристофер Робин и я* *Пришли к тебе в гости и просим* *Подарок принять.* *Преподносим* *Мы книгу, сюрприз для тебя.*

Say you're surprised?
Say you like it?
Say it's just what you wanted?
Because it's yours —
because we love you.

Скажи, ты удивлена?
Скажи, она тебе
нравится.
Скажи, это как раз
то, чего ты хотела?
Потому что она твоя –
Потому что мы тебя
любим.

Понравится, нет ли –
не знаем,
Но очень надеемся – да!
Теперь эта книга твоя,
С любовью тебе посвящаем.

Dedication

You gave me
Christopher Robin,
and then
You breathed
new life in Pooh.
Whatever of each has left
my pen
Goes homing back to you.
My book is ready, and
comes to greet
The mother it longs
to see —
It would be my present
to you, my sweet,
If it weren't your
gift to me.

Посвящение

Ты дала мне
Кристофера Робина,
а потом
Ты вдохнула
новую жизнь в Пуха.
Кто бы ни вышел
из-под моего пера,
Он все равно
возвратится домой
к тебе.
Моя книга готова,
она идет навстречу
Своей матери, которую
давно не видала —
Это было бы
моим подарком
тебе, моя радость,
Если бы ты сама
не была подарком
для меня.

Настало время оживить
Героев прежних глав,
Где всякий может удивить
И показать свой нрав.
Из-под пера выходят вновь
Как будто на парад,
Чтоб высказать свою любовь
Тому, кто встрече рад.
Я книгу новую дарю
Тебе, о ангел мой!
И от души благодарю
За жизнь, которую делю,
Бесценная, с тобой!

Можно заметить, что в переводе Руднева и Михайловой тоже есть неточности: например, у Милна во втором посвящении сказано: "это было бы моим подарком тебе, если бы ты сама не подарила мне все это". Но это пустяк в сравнении с тем, как ловко лирические, сдержанные строки Милна обращаются под рукой Н. Рейн в бойко-слащавый речетатив. И что бы Н. Рейн не последовать совету В. Вебера, не оставить все как было? Зачем же привносить столько многословной отсебятины?

В задачи этой статьи не входит подробный анализ перевода В. Вебера и Н. Рейн — дело это трудоемкое и неблагодарное. Но прежде чем "опустить завесу жалости над этой сценой", скажем несколько слов о главном — о точности не текстуальной, но душевной.

Помните, как в Зачарованном Месте подросший Кристофер Робин прощался со своим медвежонком? Торжественное посвящение Винни-Пуха в рыцари... Печальные мысли бедного Медведя с опилками в голове...

И тогда, наверно, грустно сказал он про себя, Кристофер Робин не захочет мне больше ничего рассказывать. Интересно, если ты Верный Рыцарь, неужели ты должен быть только верным, и все, а рассказывать тебе ничего не будут?

Так сказано у Алана Милна и у Бориса Заходера. А у Виктора Вебера немного иначе, совсем чуть-чуть:

Неужели, спросил он себя, если ты – Верный Рыцарь, значит, ты остаешься вер-

ным, даже если тебе уже ничего не рассказывают?

Слышите фальшивую ноту? Эту фальшивую ноту сомнения — надо ли оставаться верным, если тебе ничего не рассказывают? Ее нет у Милна и нет у Заходера — ее привнес В. Вебер. (Ейбогу, лучше б пару-тройку глав пропустил...) За этим искажением интонации нет злого умысла — одно святое неведение. Виктор Вебер не только не умеет *переводить* поэзию, но и не в состоянии *распознать* ее — как в сказке "хорошего автора" Алана А. Милна, так и в пересказе хорошего поэта Бориса Заходера...

Дж. Таунсенд, английский критик, специалист по детской литературе, однажды написал, что одна из самых больших радостей отцовства — чтение вслух "Винни-Пуха". Будем же по-прежнему предаваться этой родительской радости — только бы книжку не перепутать... Берите ту, где *верность* остается верностью — что бы ни случилось.

Издательство "Дедалус"

С директором британского издательства "Дедалус" Эриком Лэйном беседует Полина Копылова.

Встреча состоялась в издательстве "Симпозиум".

Полина Копылова. Как вы сами могли бы охарактеризовать ваше издательство?

Эрик Лэйн. Мы издаем интеллектуальную художественную литературу, что не совсем обычно для английских издателей. Нам нравится издавать книги оригинальные и по всем позициям отличные от продукции других издательств. Мы ищем авторов, которых в других издательствах сочли бы слишком умными или слишком странными. Обычно они описывают "измененную реальность". Нам этот термин полюбился за то, что никто, в сущности, не знает, что он обозначает. Вообще-то мы считаем, что издаем фантастику, но люди зачастую полагают, что фантастика — это либо Толкиен, либо космические оперы, а то и вовсе низкосортные поделки в ярких обложках. Потому мы и сошлись на "измененной

реальности", ведь наши книги и в самом деле имеют мало общего с реальностью и реализмом. Они тяготеют к разного рода странностям, гротеску, игре ума. Безусловно, реальность отражена в них — но в измененном, искаженном виде. Кроме того, наши книги развивают скорее европейскую литературную традицию, нежели англо-американскую. Просто так уж вышло, что наше издательство расположено на Британских островах. Но при этом мы "глядим" через Ла-Манш, тогда как большинство английских издательств "смотрят" за океан.

П. К. Когда ваше издательство было создано?

Э. Л. Первые книги вышли из печати 30 ноября 1983 года, и среди них — "Арабский кошмар" Роберта Ирвина. Что было очень дальновидно с нашей стороны.

П. К. Есть ли у вас конкуренты? Не мешают ли вам большие издательские фирмы?

Э. Л. Прямых конкурентов у нас нет. Наиболее близок к нам по стилистике и подходу "Пикадор". Но большинство крупных издательств ориентированы на быстрый коммерческий успех. Сейчас в Англии идут параллельные процессы — укрупнения и уменьшения издательств. Быть "середняком" очень сложно. Пожалуй, наиболее успешным издательством средних размеров является "Блумсбери", издающее книги о Гарри Поттере. А так издательства средних размеров вынуждены либо присоединяться к издательским группам, либо переходить в разряд маленьких. Что касается нас, то мы, во-первых, издаем современную англоязычную художественную литературу — и здесь составляем какую-то конкуренцию другим заинтересованным в ней издательствам; во-вторых, печатаем переводы европейских классиков — и тем самым вторгаемся в сферу деятельности "Пенгвина". Однако в отличие от того же "Пенгвина" мы часто оказываемся первопроходцами. Так, включенный нами в серию европейской классики "Голем" Майринка, имевший определенный успех у читателей, был впоследствии переиздан "Пенгвином". И это не единственный случай.

П. К. В России открытый вашим издательством Роберт Ирвин получил большую известность в кругах молодых интеллектуалов. Каков уровень его популярности на Западе?

Э. Л. Популярность Ирвина неуклонно растет. На Западе она имеет двоякий характер: во-первых, он самый известный из ныне живущих востоковедов, автор множества научных книг об исламе и комментариев к "Тысяче и одной ночи", на составление которых у него ушли пять лет; Ирвин писал об исламском искусстве, о Крестовых походах. Так что он очень авторитетен в этой области. Но Ирвин также стал культовым автором благодаря "Арабскому кошмару", который попал во все энциклопедии, даже в детскую. Более того, отрывки из романа включены в путеводители по Каиру. Конечно, Ирвин наиболее известен среди людей образованных. Его последняя книга "Я нужен Сатане" имела серьезный коммерческий успех. На нее было написано более тридцати рецензий в одной только Англии — это очень много. Его поклонниками стали многие известные писатели. В 1995 году его выдвигали на Букеровскую премию. Но помимо интеллектуалов, его охотно читают и любители разного рода фантастики. Нельзя забывать и о том, что при всей серьезности Ирвин — весьма ироничный автор. Его книги в хорошем смысле слова смешные.

П. К. Сейчас в издательстве "Симпозиум" выходит перевод книги Дэвида Мэдсена "Мемуары придворного карлика, гностика по убеждению". Впервые Мэдсен был издан опять же у вас. Не могли бы вы представить его русскому читателю?

Э. Л. Думаю, Мэдсен будет здесь популярен. Его "Мемуары придворного карлика, гностика по убеждению" были самым успешным проектом "Дедалуса" за последние шесть лет. Книгу начали повсюду переводить: в Голландии, Германии, Испании, Португалии, Чехии. Дэвид Мэдсен — католический священник. Он пишет под псевдонимом. Его книга прежде всего философская, что, правда, не исключает ни гротеска, ни экстравагантности. В ней рассматриваются два типа человеческих взаимоотношений: один на примере отношений между Папой и тем самым карликом, другой — гностическое родство карлика и женщины. В книге немало и эротики, в том числе и гомосексуальной.

Хочу заметить, что две наши самые удачные книги олицетворяют собой две разновидности успеха: "Арабский кошмар" — закономерный успех издательской концепции; "Мемуары карлика" — коммерческий успех удачной находки. Но тем не менее когда я прочел рукопись "Мемуаров...", я некоторое время не мог поверить в ее реальность — книгу как будто писали специально для нас, со всеми ее странностями. Кстати, обстоятельства появления "Мемуаров..." в нашем издательстве также весьма странны. Когда автор искал для себя литагента, он просто просматривал список фамилий. И его привлекла одна — Габриэль. Он и подумал, что неплохо было бы поручить рукопись заботам ангела. А этот агент (Юрий Габриэль) давно сотрудничал с "Дедалусом".

Так вот, я не знаю книги, которая подходила бы нам более, чем эта. Она мгновенно завоевала успех в Англии. Объем ее продаж постоянно растет. Романы на основе истории итальянского Ренессанса пишут очень многие, но очень немногие авторы могут состязаться с Мэдсеном в мастерстве. Он владеет "высоким стилем", фразы будто написаны на латыни. Кроме того, автору удалось передать психологию религиозности. Кстати, первой зарубежной страной, где был проявлен интерес к Мэдсену, стала Греция. Греческая православная традиция и русская православная традиция, в контексте которой будет воспринята книга в России, создают новые возможности — в том числе и коммерческие. Священники действительно "без ума" от Мэдсена, хотя иногда он излагает весьма рискованные мысли. И я думаю, что рано или поздно "Мемуары..." обгонят по популярности "Арабский кошмар".

Вообще у нас три "звезды": Ирвин, Мэдсен и Крами. Разумеется, мы публикуем и многих других авторов, но их уровень ниже. Думаю, что в следующие несколько лет мы еще не раз услышим о Крами. Герой "Фитца", одного из его романов, — князь, который воздвигает города в своем воображении, потому что не имеет возможности построить их в реальности. Он похож на Петра Первого, но без власти, без денег. "Фитц" — книга о воображаемом происшествии с пуделем этого князя в таком вот придуманном городе.

Большинство других издателей не понимают, откуда берутся наши читатели. Но люди хотят читать *разные* книги, а большие издательства повинуются смене литературной моды. Любой период в истории литературы — господство той или иной моды. Так что каждый норовит издать самую модную книгу и таким образом предает читателя, потому что

читателю на самом деле нужна не поверхностная мода, а книги, в которых он нашел бы пищу для размышлений.

П. К. Какие социальные группы читают интеллектуальную литературу в Британии?

Э. Л. Как нам представляется, наш читатель молод, умен, по преимуществу университетски образован, любознателен и проявляет интерес к разным сторонам жизни. Разумеется, он должен понимать подлинную ценность книг... и не скупиться в книжном магазине.

Наш читатель интересуется такими книгами, которые заставляют его думать, может быть даже злят. Ему также нравится читать что-то совершенно отличное от того, что читают все. То есть наш читатель весьма разборчив. Тем более что разыскать книги маленького издательства труднее — это тоже своего рода аналитический процесс. Все вышеперечисленное и спасает нас от искушения вырасти...

П. К. Каковы ваши критерии отбора авторов: личный вкус? требования рынка?

Э. Л. Сейчас мы выбираем авторов под влиянием тех книг, которые издали до этого. То есть сначала мы формировали список согласно нашим вкусам, теперь этот список формирует наши вкусы.

Из того что нам предлагается, конечно же, следует выбирать лучшее. Тут мы оказываемся перед дилеммой: иногда по-настоящему хорошая книга выбивается из нашей стилистики. А другая, чуть менее интересная, в стилистику укладывается. Как тут быть? Порой приходится издавать книгу "на вырост" — то есть отдавать предпочтение той, которая не совсем подходит по стилю, но зато удовлетворяет качеством текста. Кроме того, мы не бросаем наших авторов. Это тем более необходимо в работе с авторами интеллектуальной литературы. Ведь что сейчас происходит с автором, пришедшим в большое издательство? Нужно написать минимум три книги, чтобы тебя заметили и ты попал в рейтинг — а далее продолжать писать быстро и без перерывов, иначе вылетишь из рейтингов и о тебе забудут. Нам же важно, чтобы автор продолжал писать хорошо, а не выматывался в погоне за модой и спросом. Так что наши главные критерии: необычность и высокое качество текста.

П. К. Если подходящий вам текст окажется, к примеру, апологией сатанизма, будете ли вы его издавать только потому, что по формальным признакам он вам подходит?

Э. Л. Наше издательство не имеет ни идеологической, ни политической ориентации. Единственная политика, которую мы осуществляем, — литературная. Кстати, последняя книга Ирвина как раз о сатанизме. Не то чтобы нам была так уж интересна всяческая "чернуха", просто мы ценим качественное отражение этой стороны жизни в книге, и если бы, положим, к нам принес свои рукописи молодой Достоевский, мы бы издали его с радостью.

П. К. Какие у вас тиражи? Пользуетесь ли вы системой "печать по требованию"?

Э. Л. Наш обычный тираж — две тысячи экземпляров. И если мы делаем допечатку, то это обычно те же две тысячи. Дело в том, что "печать по требованию" — слишком медленный способ. Кроме того, авторам пришлось бы смириться с задержкой выплат. Обычный технологический цикл (наши книги печатаются в Финляндии) занимает три недели.

Цифра "две тысячи" определяется неким торговым балансом: если печатать больше (что мы иногда делаем) возрастает риск "убить" книгу тиражом. Кроме того, когда тираж составляет две тысячи, опечатки (а они всегда возможны) воспринимаются не так болезненно. В следующей допечатке ошибку можно исправить.

П. К. Как вы проводите исследования рынка? В чем особенности вашей рекламы?

Э. Л. Сейчас английская книготорговля по сути монополизирована. Почти вся наша продукция реализуется через одну книготорговую сеть, и это создало проблему, потому что для этой самой сети настали трудные времена, и хозяева пытаются ее продать.

Что до рекламы, то маленькому издательству она ничего не дает — затраты не окупаются. Что нам нужно? Регулярно поставлять наши книги на прилавок, чтобы они все время там присутствовали, но и не залеживались — десять, а лучше двадцать экземпляров. Поставлять больше затруднительно уже для нас. Немалое внимание мы уделяем рецензиям. Особенно важны отклики на книги наших новых авторов. Рецензия не столько способствует росту продаж, сколько укрепляет репутацию автора и поднимает его престиж, что полезно при продаже прав. Меньше волнений доставляет классика: этим книгам надо "вылежаться" в магазине, но рано или поздно они все равно разойдутся. А новым авторам реклама и публичность необходимы, иначе их просто не заметят. Ведь если книга за три месяца не будет распродана, ее отошлют нам обратно.

Здесь приходится идти на ухищрения и отыскивать нетривиальные сегменты рынка. Так, статья про одну из книг, где героем был священник-гомосексуалист, была помещена в "голубое" периодическое издание, да еще с религиозным уклоном. В статье поднимался вопрос: может ли христианский священник быть "геем"? Никаких сексуальных сцен в книге не было, но она быстро завоевала "голубой" сегмент рынка и продвинулась на религиозный книжный рынок. О ней писали даже в журналах для подростков.

А чтобы продвигать книги, лишенные "специфики", — то есть такие, про которые только и можно сказать, что они "умные", "тонкие" и тому подобное, но ничего конкретного (потому что дальше надо читать саму книгу), — мы звоним журналистам, договариваемся о материалах.

Поэтому с коммерческой точки зрения нам лучше всего подходят те книги, которые содержат в себе какую-либо проблему, и она волнует ту или иную часть общества.

П. К. Насколько важна для вас продажа прав на перевод и издание ваших книг за границей?

Э. Л. Продажа прав — важная часть нашей деятельности. Ведь большое издательство получает права, действующие только на территории Соединенного Королевства. В случае везения зона действия прав расширяется на весь англоязычный мир. Прочие права остаются у литагента. Но мы, маленькое издательство, покупаем книгу со всеми возможными правами, действующими везде и всюду. Ведь книги, которые мы издаем, не считаются по-настоящему коммерческими и не обещают сверхприбылей. Так что мы очень активно торгуем правами на издание за рубежом — и существуем как издательство в большой степени благодаря торговле правами.

Когда мы выпускаем книгу, мы предъявляем к ней минимальные требования. 1. Должна разойтись половина тиража (1000 экземпляров). Этот уровень продаж кажется очень невысоким, однако большинство издаваемых в Англии романов и до этого уровня не дотягивают. 2. Книга должна получить минимум пять откликов в британской прессе. 3. Мы должны осуществить две сделки по продаже прав на эту книгу. Потому что только в этом случае у нас появится прибыль. Таким образом, в нашем деле все взаимосвязано: отзывы и рецензии способствуют формированию репутации автора, а она, в свою очередь, помогает продавать права. Следующая книга того же автора идет уже легче.

У английских издателей есть и еще одно преимущество: книгу, изданную в Британии, можно реализовывать в США. Конечно, мы и права пытаемся в Америку продавать, но американцы весьма консервативны, даже более консервативны в издательском деле, чем англичане. У нас есть представители в США, Канаде и Австралии. Был и в Южной Африке, но он почему-то не возвращает денег. Еще у нас есть очень специфический европейский рынок: переведенные книги продаются в той стране, откуда происходит оригинальный текст. То есть мы отправляем книги итальянских авторов в Италию, испанских — в Испанию. Особенно хорошо такие книги продаются в Португалии. И по такому же принципу мы будем продавать в России английские переводы романов Юрия Буйды. Кроме того, в России всегда есть рынок для англоязычных изданий.

В Англии мы также известны как издатели переводов. А это без преувеличения стратегически важно, потому что большинство наших издателей не уделяют переводам должного внимания или отдают предпочтение большим европейским романам, которые зачастую не имеют успеха в Англии. Книги для перевода мы отбираем по тому же принципу, что и англоязычные. Их издание позволяет нам занять свою нишу, на которую не претендует больше никто в Британии. С нами работают переводчики очень высокой квалификации, и благодаря им мы часто получаем премии в номинации "Перевод".

Я уже говорил, что "Дедалус" — европейское издательство. И наша задача заключается в том, чтобы все, связанное с "Дедалусом", ассоциировалось с европейской культурой. Мы полагаем, что англичане все-таки европейцы. И нам важно, что мы не копируем Америку, хоть и говорим с американцами на одном языке. Мы — часть Европы, хоть языки у нас разные. Важно для нас и то, что английский становится языком международного общения. Это повышает значение нашей миссии.

Переводы важны для нас лишь с культурной точки зрения, потому что издавать их — себе в убыток. Основной доход нам приносят книги английских авторов и концептуальные издания, наподобие "Кулинарной книги декадента", которая читается не хуже, чем иной роман. Мы стараемся расширить кругозор наших читателей, убедить их, что европейская классика XIX века до сих пор может считаться современной европейской литературой... Мы не навязываемся читателям, мы стараемся пробудить в них любопытство и вкус к вещам, отличным от тех, что они обычно видят вокруг. Фактически мы занимаемся воспитанием вкуса и любознательности. Тем более что мы поддерживаем постоянную и тесную связь с читателями, авторами, переводчиками. В этом преимущество нашего "малого роста": у нас нет возможности отгородиться от них. Мы несем друг за друга ответственность и имеем одни и те же пред-

ставления о мире. Многие наши книги были изданы благодаря рекомендации переводчиков. И порой мы начинаем издательский проект только для того, чтобы удержать и заинтересовать хороших переводчиков, которым мы преданы и которые преданы нам. А значительное число книг было издано по предложению читателей. Так что многие книги как бы сами к нам приходят.

П. К. Что для вас значит ваше издательство?

Э. Л. Сейчас это моя жизнь. Я с университетской скамьи хотел заниматься книгоизданием. Но когда я пришел на свое первое собеседование в большое издательство, мне предложили отправиться в качестве их представителя в Индию, чтобы там выяснять, какие транспортные компании меньше просят за перевозку, (они печатали свои тиражи в Индии). Это было весьма ругинное занятие. А для меня издательское дело ассоциировалось прежде всего с чтением книг. Я не принял предложения, уехал на какое-то время в Америку, занялся там туристическим бизнесом. Но в 1983 году был основан "Дедалус". Поначалу дела шли хуже некуда. Издательство прозвали "Dead loss", то есть "убийственно убыточное" предприятие. Под этой кличкой нас знали все книготорговцы. Но из гордости мы не сдавались. Когда выходила новая книга, магазины, забирая ее, отдавали нам те наши издания, которые не успели реализовать. Так и жили. Хотя, в принципе, мы были полными банкротами. Потом нашелся поставщик в США. А потом стала расти популярность "Арабского кошмара", мы продали права на него в Германию и Голландию, "Пенгвин" заплатил нам за право публикации 23 000 фунтов. К 1990 году мы удвоили объем выпуска и выросли достаточно, чтобы я мог полностью переключиться на книжное дело (до этого приходилось параллельно работать в сфере туристического бизнеса, иначе было не прожить). Правда, удвоение объема принесло и ряд сложностей, потому что количество магазинов не увеличилось. Но мы решили изменить оформление нашей продукции, чтобы ни в чем не уступать по этой части большим издательствам. Таким образом, мы стали действительно современным издательством, поскольку приняли концепцию "упаковки" и сумели обернуть ее себе на пользу, вписавшись в самые современные тенденции маркетинга. Можно сказать, что мы этому научились. Кажется, это заняло у нас четыре года.

Когда выбираешь имя, никак не можешь предугадать всех коннотаций. Мы называли издательство в честь Стивена Дедалуса из джойсовского "Улисса". Название должно было отражать нашу издательскую концепцию и наше понимание литературы.

Если мы когда-нибудь все же обанкротимся, я напишу книгу о том, как Данте Алигьери пытается открыть издательскую компанию в современном Лондоне. Она тоже будет называться "Dead Loss Publishing Company". Это будет сатира на современный издательский мир.

Санкт-Петербург

Мир любви Анджея Стасюка

Анджей Стасюк. *Зима.* Воловец, издательство "Чарне", 2001
Andrzej Stasiuk. *Zima.* Wołowiec, wydawnictwo Czarne, 2001

> Время интересует только тех, кто надеется на перемены, то есть безнадежных глупцов.
> А. Стасюк. *Судовой журнал*

Эту маленькую книжечку приятно взять в руки, и выглядит она своеобразно. На обложку наклеена картинка, на которой изображен ворон, озирающий зимний деревенский пейзаж (оформление Камила Таргоша), ни дать ни взять — "Родная речь".

Оформление книжки немного лукаво, оно демонстрирует, что автор — он же издатель — вполне равнодушен к модам книжного рынка. Читая, убеждаешься в верности первого впечатления: писатель А. Стасюк плевать хотел на новейшие литературные приличия и табу — он не боится быть серьезным, допускает прямые лирические высказывания, не скрывается за цитатностью и обходится без аллюзий. Да и героев таких — деревенских жителей — нечасто встретишь в нынешней прозе. При всем том "Зима" во всех смыслах — текст современный.

Давно новая книга не читалась мною с таким интересом и даже жадностью. Не потому, что автор говорит что-то сенсационное или совсем неожиданное, просто многое из того, что подспудно ощущалось, подразумевалось, но не называлось, наконец сказано. От прозы А. Стасюка исходит какая-то душевная свежесть, пленяет сам способ повествования, ход мысли, отмеченный парадоксальностью, иронией, доброй насмешкой и юмором. Художественная плотность текста такова, что сорока девяти страниц автору хватает за глаза, а читатель испытывает сожаление, что уже дочитана последняя страница...

Пересказывать книжку "Зима" — такое же неблагодарное занятие, как пересказывать стихотворение. Это пять новелл, не связанных общим сюжетом — только темой, временем и местом действия. Первый сюжет: Павел в торговый день едет в райцентр, там разглядывает и примеряет рыночное барахло, которое ему все равно не по карману; второй: лесник Метек ведет группу австрийцев на отстрел оленя в брачный сезон; третий: Гжесек ночью ворует медный провод с неиспользуемых пограничниками телефонных линий; четвертый: Генек развозит одежду second-hand по деревням; пятый: Хрынач и Качмарек ремонтируют бульдозер. Наблюдения над деревенской жизнью достигают уровня философского обобщения благодаря излюбленному методу писателя — созерцать и анализировать вещи, явления и события с точки зрения преломления в них времени. Писатель создает бесконечные метафоры времени. Он мыслит этими метафорами настолько убедительно, что его выводы как бы и не нуждаются в доказательствах.

Стасюк наблюдает за временем не из столицы, а из деревни, затерянной в горах на южной гра-

нице Польши со Словакией. Он пишет не о бедности здешних мест и не об особенностях провинциальной жизни — он пишет об особенностях времени, которое одинаково и для деревень, и для городов, и для целых стран. Проницательным и отрезвляющим оказывается этот взгляд издалека, где в каждом доме "полки шкафов устланы газетами, полными сообщений с лондонской биржи и из столичных салонов", а на газетах лежит и ждет праздника одежда на выход, купленная в автолавке пана Генека, сплошь покрытая эмблемами и надписями. Эти символы здесь никто и не пробовал расшифровать, их принимают просто за признаки элегантности...

Время — сквозная тема творчества Анджея Стасюка. Для него время — не отвлеченное понятие, не абстракция: писателю хочется его ощутить, потрогать, а когда это не удается, оценить или измерить, как физическое поле, которое невидимо, и поэтому его приходится изучать по производимому им действию. Этот авторский прием оказывается удивительно плодотворным: писатель не только хочет понять, как новое время влияет на жизнь людей, он стремится найти в новой реальности какие-то универсальные смыслы.

Суть процессов, происходящих в обществе, Анджей Стасюк, как кажется, видит в противостоянии двух цивилизаций, а точнее разрушении традиционного крестьянского мира — сначала советской системой, потом западной цивилизацией новейшего времени. "Зима" развивает и углубляет эту тему, начатую в "Галицийских рассказах" (1995). Обе книги составляют единый цикл, и сравнение двух картин мира в них помогает понять характер движения времени.

В "Галицийских рассказах" Стасюк рисует упадок и деградацию начала 90-х, так хорошо знакомые жителям России, — опустошение, "гангрена полей", бедность. Труд не дает никакого результата. "Еще нет голода, но неизвестно, что принесет будущее"; "Весна — как всегда, будут умирать старики". Деревня представляет собой "проплешины нищеты и тоски по миру, манящему с телеэкранов". Растасканные, разбитые и недостроенные дома — "трогательные и отвратительные бетонные сны о богатстве".

Время здесь воспринимается как застывшее (хотя некий "боковой ветерок" уже и сюда принес перемены), деревня погружена сама в себя, в свой бесконечный труд, в свои страсти, в свои тайны. Здесь мир разделен на мир мужчин и женщин, здесь история (что Австро-Венгрия, что война с Гитлером) растворилась в обыденных вещах и вошла в обиход. Постепенно автор сосредотачивается на персонажах, обуреваемых темными страстями — ему нужна интрига, — поэтому к середине книги философски неспешное повествование устремляется в детективное русло — туг и убийство, и любовный треугольник, и явление духов живым людям. Поэтическая интонация, ритмичность и сгущенность прозы в некоторых местах приближают ее к поэзии.

В "Галицийских рассказах" эпоха социализма еще не стала прошлым и сорокадвухлетний "последний тракторист" (в том же значении, что и "последний романтик") еще помнит "райские времена", когда "новый мир" и "первые люди" были сотворены в абсолютной пустоте. Они, лишенные наследства, "вырвавшиеся из-под тяжелого ярма морали, религии, памяти", названы Стасюком "первыми людьми" потому, что не чувствуют и не понимают греха. Отсюда центральный мотив хаоса, "распотрошенного" времени и безверия.

В "Зиме" "первые люди" уже смыты водами нового потопа, а оставшиеся не слишком усердные прихожане традиционной церкви оказываются вовлечены в круг

"новой мировой религии, которая отбросит противоречия, примирит споры и направит желания в нужное русло". Размышления о грехе и спасении уступают место описанию царства вещей, где мыкается отчужденный от него человек. Тема "люди и вещи" в книге "Зима" становится центральной.

Уже в "Галицийских рассказах" смену эпох Стасюк показывает как смену религий. Та же мысль нашла свое продолжение в "Зиме". Религиозная война, конечно, метафора, но метафора не случайная. Думается, что здесь автор задолго до того, как стала обсуждаться проблема противостояния цивилизаций — Севера и Юга, — нащупал основной узел времени. При этом Стасюк обошелся без таких слов, как "глобализм", "культурный империализм", "консюмеризм" и т. п., ведь то, о чем он пишет, — не теоретическое построение, все это уже вошло в быт и представления людей.

"Новая мировая религия" воздействует не на мысли, а на чувства, служит "пожеланиям, прихотям и пристрастиям отдельных частей тела". Ее символ, или, как пишет Стасюк в "Галицийских рассказах", знамение, уже не Нового, а "Новейшего Завета", — торговый ларек, поставленный Владеком в центре села.

Образ Владека фокусирует многие опасения начала 90-х, связанные с новым устройством жизни. Перед тем как разбогатеть, Владек был самым никудышным хозяином в деревне, нищим многодетным отцом, который сидел дома с детьми, посылая жену на лесозаготовки. Теперь Владек процветает и расширяет дело: на его сарае уже красуется вывеска "Заграничная одежда second-hand". Метафора "second-hand" стала центральной и для книги "Зима", только здесь торговец подержанной одеждой из вызывающего зависть и осуждение ловкача превратился в средневекового рыцаря-неудачника. Опасения не оправдались: время показало, что новые хозяева жизни рождаются где-то в другом месте.

Тяжелое кожаное пальто из автолавки с одеждой second-hand — знамя и метафора новой цивилизации, "сшившей себе наряд из дикой бестии". Время идет вспять, утверждает писатель, ведь это "дикое и траурное" знамя родом из древнейших времен, и оно наконец "пришло взять свое".

Время в "Зиме" — это худший его вариант, "когда сорокалетние мужчины встают с утра и, не побрившись, выходят на дорогу, чтобы молча смотреть, как наступает день, и проходит, и не оставляет никаких следов, кроме выкуренной пачки сигарет. На зрителях стоптанные ботинки из кожзаменителя, они свободны и умирают от сердечного приступа раньше, чем закончится представление. <...> Никто их не замечает. Живые внимательно смотрят в окна в ожидании перемен, будто не понимают, что те уже текут в их жилах вместе с кровью, и отныне будет только так".

Но не одни сорокалетние отчуждены от жизни. Большинство людей здесь только зрители. Вечером, когда "земля охвачена всемирным свечением кинескопов", усталый Эдек с пультом от телевизора в негнущихся пальцах смотрит: "...с синего неба над горлицким районом сходит белый ангел с теннисной ракеткой, и наемные убийцы, и бронзовые ленивые женщины на лежаках, пеперминт, Лас-Вегас, Годзилла, Рурк, борцы, фильмы ужасов и порно, голубоглазые президенты, и кто дальше въедет на восемнадцатиколесном велосипеде в груду песка..." То же видит и сержант Рыжий, и Метек, и Хрынач — о чем они думают при этом? Может быть, о том, что их труд по-прежнему остается бессмысленным, не приносящим не то что богатства, а даже достатка?

Мир торговых развалов, "тряпексов" и "барахлендов" манит героев и отталкивает одновремен-

но. В этом недоступном мире все поддельное, все на один день. Гжесеку человечество напоминает покойника в гробу, одетого во все одноразовое. Вещи теперь не успевают стареть. Прежде они были сделаны на века, передавались от отца к сыну. Теперь земля покрыта свалками — пришла мусорная цивилизация.

Пейзаж у писателя неотделим от царства мертвых механизмов — "перманентной коррозии под руку с постиндустриальной печалью". Стасюк, как Энди Уорхол, делает предметом искусства то, от чего в жизни отворачиваешься с досадой: ширпотреб — новый и б/у.

И все же приметы нашего времени писатель воспринимает скорее философски, оценивая, наверное, как возврат к естественному ходу вещей — интонация "Зимы" спокойная, умиротворенная. Жалеет ли Стасюк об уходящей крестьянской цивилизации? Наверное, нет, — по крайней мере, она не представляется ему потерянным раем. Кажется ли то новое, что пришло, спасением? Тоже нет.

Писателю дороги лишь люди и немногие вещи, необходимые для жизни, ведь им люди "отдали часть своих бессмертных душ". Герои Анджея Стасюка не добродетельны, но человечны. Писатель видит в их жизни нечто, за что им многое можно простить. Энергия любви наполняет всю книгу: "В такую тихую ночь, как эта, можно услышать, как стареет мир, перегорают лампочки и транзисторы, ржавчина разрушает механизмы, дерево в печи сгорает быстрее, чем растет в лесу, одежда изнашивается и истлевает на наших телах и с каждым мгновением становится тоньше и теряет прочность; полное становится порожним, а затем и разбитым, сигарета в пепельнице самостоятельно оканчивает свое существование, изображения и звуки испаряются с магнитных лент, и паста опускается в стержне ручки, а бумага становится хрупкой, как облатка, и даже фальшивое царство искусственных материалов не устоит. Это настоящий мир любви, ибо темная тень утраты висит над ним, как ястреб над добычей".

И в этом утверждении человечности в искусстве — в наши дни, когда все уже, кажется, согласились с тем, что она, по меньшей мере, подозрительна и в общем неприлична, — главная прелесть книги Анджея Стасюка.

Марина Курганская

"Мещанин во дворянстве"

Иэн Бэнкс. *Шаги по стеклу.* Перевод с английского Е. Петровой. СПб., Азбука, 2001

Библиография современного шотландского романиста Иэна Бэнкса насчитывает около двух десятков книг, однако "Шаги по стеклу" (1985) — первое и пока единственное произведение писателя, переведенное на русский язык. Литературную известность на родине Бэнкс приобрел уже в начале восьмидесятых после выхода дебютного романа "Осиная фабрика" (1984), вызвавшего большое количество отзывов в прессе. Но в отличие от выпускников "Оксбриджа" — Питера Акройда, Джулиана Барнса и Грэма Свифта, — доминирующих на литературной сцене Великобритании, а последние несколько лет и на отечественных книжных прилавках, Бэнкс (окончил университет Стерлинга) идет в несколько ином направлении: в своей работе он тяготеет к жанру фантастического романа.

Сегодня фантастическая литература существует обособленно от постмодернистского мейнстрима современной прозы,

функционирует по своим законам, мало подвластным влиянию основных тенденций художественного процесса, и вследствие своеобразия проблематики имеет хотя и многочисленную, но особую аудиторию. Большой популярностью среди читателей пользуется один из видов фантастического повествования, получивший название *фэнтези*. В отличие от научно-фантастического романа, рационально объясняющего описываемые явления, фэнтези создает иррациональную ситуацию, волшебный мир, населенный сказочными персонажами: богами, демонами, добрыми и злыми волшебниками, привидениями, говорящими животными и предметами и т. п. Этот мир лишен какой-либо временной или географической конкретности — действие происходит "где-то" или "когда-то". Существование такого рода пространства предполагается как нечто само собой разумеющееся и никак логически не мотивируется. Корни жанра кроются в архаическом мифе, волшебной сказке, героических песнях и средневековом рыцарском романе: в основе сюжета фэнтези также лежит противоборство героя с силами Зла, прохождение множества препятствий и испытаний на пути к конечной цели. Не менее важен для фэнтези и эстетический опыт романтизма: писатели фэнтези активно используют романтический принцип двоемирия, противопоставления мечты и реальности. Герой фэнтези сродни романтическому герою: часто одинокий, отверженный, он "обречен совершать Квест (от англ. quest — путь, поиск), представляющий собой не столько перемещение в пространстве с определенной целью, сколько путь в пространстве души в поисках себя и обретения внутренней гармонии" (так характеризуется этот жанр в "Энциклопедии литературных терминов и понятий", 2001).

Конечно, признаки данной жанровой категории не являются исчерпывающими по отношению ко всему творчеству Бэнкса, но вполне могут рассматриваться в качестве важнейших характеристик созданного писателем на сегодняшний день.

В восприятии тех западных читателей, что успели за полтора десятка лет ознакомиться со всеми произведениями автора, Бэнкс существует прежде всего как писатель-фантаст. В Интернете любой желающий может посетить два сайта, непосредственно посвященных творчеству Иэна Бэнкса, — официальный и неофициальный, созданный поклонниками его таланта. Причем второй гораздо более показателен, так как отражает мнение обычного читателя. На этом сайте приводится полный перечень опубликованного писателем, поделенный на две рубрики: книги, написанные в жанре "science-fiction", и все остальные, входящие в рубрику "non-genre", то есть созданные не в основном жанре. Важно, что, хотя количество книг "non-genre" превосходит количество созданных романистом фантастических произведений, автор библиографии основывает свою классификацию на принципе соответствия/несоответствия каждого произведения поэтике и проблематике именно фантастического романа. Все это необходимо иметь в виду, приступая к чтению и обсуждению "Шагов по стеклу".

Однако российские издатели никак не отметили принадлежность большинства произведений Бэнкса к жанру по сути маргинальному. И напрасно. Произведение, опубликованное без указания его специфического жанра, попадает "в сложную ситуацию", так как в какой-то мере обманывает ожидания читателей. По меткому замечанию одного критика, "Шаги по стеклу" оказались в положении почти комическом, совсем как мольеровский мещанин во дворянстве.

Текст романа в отличном переводе Елены Петровой сопровожден чрезвычайно учеными комментариями самой переводчицы и подборкой высказываний западных критиков. Сочтя репутацию хорошего писателя-фантаста недостаточной, российские издатели предпочли максимально "раздуть" литературную славу Бэнкса, поставив его практически на одну ступень с Шекспиром, Диккенсом, Достоевским, Сервантесом и Джойсом. Именно в качестве подтверждения справедливости этого сопоставления на обложке книги приводятся высказывания зарубежных рецензентов, самое яркое из которых принадлежит Джеку Салливану, обозревателю "Таймс": "Макабрический пир духа, щедро сдобренный инцестом, конспирологией и залихватским живописанием мук душевных и телесных... большая литература". Я не берусь с уверенностью судить о том, насколько содержание романа соответствует такому эпитету, как "макабрический", что же касается остальных характеристик, то поверивший им читатель будет, возможно, разочарован.

Что представляет собой этот роман? Композиционно он построен на параллельном развитии нескольких планов действия (любовно-реалистического, умозрительно-фантастического и ...фантастического) и соответствующих им сюжетных линий. Сопоставление этих уровней слабо формирует единый сюжет — качество, допустимое для сборника рассказов или новелл, но весьма прискорбное для романа. Каждая из историй вполне могла бы существовать в виде отдельного произведения, ничуть не обеднив своим отсутствием две другие. Параллельное развитие в рамках одного художественного целого нескольких сюжетных линий предполагает обычно развязку, сводящую все нити повествования воедино. Однако ожидания тщетны, этого не происходит. Сюжетно роман распадается на три неубедительно связанные между собой истории.

Первая повествует о любви молодого художника Грэма Паркера, вторая — о дорожном рабочем Стивене Грауте, одержимом манией преследования и воображающем себя воином, отправленным на Землю, "чтобы прозябать здесь, в этой выгребной яме, которая звалась у них словом "жизнь". Если действие первых двух историй разворачивается в Лондоне середины 80-х, то события третьей происходят в далеком будущем и на другой планете, куда сосланы великие воины Квисс и Аджайи. Они томятся в Замке и тщетно бьются над вопросом: "Что случится, если на пути неостановимой силы окажется несдвигаемый объект?" Правильный ответ — единственное, но невыполнимое условие их освобождения. Жанровое родство историй Граута, Квисса и Аджайи нельзя не заметить: они созданы в рамках одной поэтики, с соблюдением основных принципов построения произведений в жанре фэнтези. Так, факт сумасшествия Граута вносит в произведение иррациональную стихию. Это иррациональное мировидение и есть основа фантастического в истории персонажа. И поэтому, хотя Стивен обретается в пространстве реального, а не волшебного Лондона, автор достигает фантастического эффекта, описывая действительность через неадекватное восприятие героя.

Мир, в котором томятся Квисс и Аджайи, абсолютно фантастичен; они живут в далеком будущем ("когда-то"), в загадочном замке, не имеющем даже точного названия ("где-то"): для Аджайи — это Замок Наследия, для Квисса — Замок Дверей. Он бесконечен, похож на лабиринт и оттого до конца не познаваем; там не бывает ни дня, ни ночи — замок погружен в сумеречное состояние и населен странными существами,

скрывающими свои лица. Все обитатели замка живут по особым правилам, которых никто не знает, кроме всемогущего сенешаля, но нарушать их строжайше запрещается. Выбраться из замка невозможно, и единственным местом, где его обитатели пытаются скрыться от повседневных забот, является подземелье, в котором находятся специальные устройства для путешествия во времени. Воспользовавшись ими, можно, скажем, забраться в голову какого-нибудь человека из далекого прошлого с планеты Грязь (читай — Земля) и увидеть мир его глазами. Стены же замка, как оказывается, построены из книг, созданных когда-то жителями этой планеты.

Квартира Граута на Земле (то есть на планете Грязь) является копией замка в миниатюре: психопат увлекается чтением фэнтези, и его единственная комната заполнена книгами; они сложены стопками на полу, в результате чего квартира становится своеобразным лабиринтом с книжными стенами. Замок же является воплощением той реальности, которую Стивен воспринимает как настоящую, ту, откуда, как ему представляется, его сослали на Землю. И Граут, и Квисс, и Аджайи, как и подобает героям фэнтези, заняты поисками некоего Ключа к Выходу из той действительности, в которой они заключены. Их Квест, в соответствии с законами жанра, происходит не столько в географическом пространстве, тем более что воины будущего ограничены пределами Замка, сколько "в пространстве души". Соединяя таким образом два фантастических пространства, Бэнкс устраивает фэнтезийное двоемирие.

Казалось бы, текст, в основе которого лежит сочетание элементов повествования реалистического и фантастического, — явление в современной литературе чрезвычайно распространенное, и, например, поэтика постмодернизма, зиждущаяся всецело на принципе коллажа, оксюморонного порой соединения в рамках одного целого различных жанров, языков, текстов, стилей, тому подтверждение. Однако в романе существует не органичное переплетение характерных черт сразу нескольких художественных традиций, а нагромождение чужеродных друг другу элементов, но диалога между ними так и не происходит. Чем более очевидным становится единство жанровой природы фантастических частей, тем более инородной по отношению к ним ощущается история художника Грэма Паркера, созданная в границах реалистической эстетики и являющаяся лучшей, на мой взгляд, частью романа.

Грэм спешит на свидание к своей возлюбленной, странной девушке по имени Сэра ффитч. Главы этой части носят названия улиц, по которым проходит герой: "Теобальдс-роуд", "Роузбериавеню", "Пентон-стрит" и наконец "Хаф-Мун-Кресент". Бэнкс использует ретроспективный метод изложения: продвигаясь по городу, герой постепенно вспоминает всю историю своих взаимоотношений с Сэрой с первой встречи и, сам того не зная, приближается к последней. Писатель использует метафору дороги как воплощение жизненного пути героя — прием не новый, но обыгранный Бэнксом мастерски: за один день Паркер "проходит" столько, сколько герои романа-воспитания XVIII века "проходили" в течение всей жизни. Более того, с помощью этого же приема автор добивается создания максимального напряжения интриги вплоть до финальных сцен романа: читатель знает только те факты, которые Грэм восстанавливает в памяти по пути к Сэре, но художник не может вспомнить того, что еще только ждет его впереди, а сцена свидания — конечно же одна из финальных в романе.

Однако сам финал, в котором должны соединиться все сюжет-

ные линии, Бэнксу не удался. Невозможно отделаться от впечатления, что автор устал "тянуть" цепь повествования, оказавшуюся для него непосильным бременем, и постарался как можно быстрее собрать все рассыпанные им части мозаики, приложив к ней в качестве объяснения получившегося "рисунка" главу с недвусмысленным названием "Истина и следствия". В ней автор предлагает читателю как собственную интерпретацию произведения, так и собственную мировоззренческую позицию: "Вот это оно и есть, вот к чему все сводится; вот вам цивилизация, миллиарды лет вашей эволюции — вот они: засаленные картинки для онанистов да гнилое звериное мясо. Секс и насилие в уменьшенном масштабе, как все наши типовые фантазии". Подобные заявления в последней главе и настойчивость, с которой автор продолжает отождествлять название нашей планеты со словом "грязь", не дает возможности усомниться в том, о чем, собственно, был написан этот роман.

"Истина и следствия" — заключительное авторское морализаторство, не оставляющее недосказанности и провозглашающее диктатуру авторского голоса. Бэнкс до конца верен себе — он выдерживает "принцип инородности" каждой части по отношению к остальным: эта глава так же инородна по отношению ко всему тексту романа, как несоединимы между собой реальный и фантастический пласты повествования; она вступает в противоречие с поэтикой произведения в целом. Ведь предыдущие части были написаны с использованием основных приемов постмодернизма: главные события романа освещались с нескольких точек зрения, что исключало доминирование какой бы то ни было версии. В книге содержатся многочисленные аллюзии на произведения как элитарной, так и массовой культуры: герои читают Кафку, исландские саги и бульварную газету "Сан", смотрят телевизионные сериалы. Казалось бы, Бэнкс не чужд основным принципам постмодернистского повествования, но по прочтении последней главы складывается впечатление, что для писателя коллаж остается всего лишь формальным приемом, в то время как за эстетической практикой постмодернизма стоит определенное мировоззрение, принципиально не приемлющее каких бы то ни было абсолютов и мнений, претендующих на исчерпывающее знание о мире.

"Шаги по стеклу" не самое убедительное доказательство принадлежности Бэнкса к "большой литературе", это утверждение английского критика остается всего лишь рекламным трюком.

Екатерина Тарасова

Великобритания

Откровения любовницы Пикассо

Недавно в Великобритании вышла книга "Любить Пикассо: личный дневник Фернанды Оливье", изобилующая пикантными подробностями о взаимоотношениях великого художника и одной из его многочисленных муз.

Пабло Пикассо и Амели Ланг (Фернанда Оливье — псевдоним) встретились в 1904-м — обоим было немногим более двадцати лет, но жизненный опыт их был несопоставим. Пикассо совсем недавно приехал из Испании и снимал крохотную студию на Монмартре; Фернанда стала его первой возлюбленной. Она сама к этому времени уже многое испытала: за ее спиной остались трудное детство, кошмарный брак, лесбийская связь с родственницей мужа, роман со скульптором Дебьеном. На излете этого романа Фернанда и познакомилась с молодым испанским художником, чей вид — потрепанная одежда, давно не мытые длинные волосы — привел ее в ужас. И тем не менее, уже вскоре Фернанда переехала из одной мастерской в другую. Жилище Пикассо производило поистине удручающее впечатление — в комнате не было даже мебели.

Роман Пикассо и Фернанды продолжался восемь лет. И все эти годы Пикассо рисовал ее — то спящей, то занимающейся с ним любовью, то стоящей обнаженной с молитвенно сложенными руками. В творчестве она была его музой, но в жизни все было куда более прозаично. "Жалкая бедность" и "болезненная ревность" возлюбленного приводили Фернанду в уныние; еще больше угнетало ее вынужденное безделье — Пикассо не позволял ей позировать другим художникам, а к ее попыткам литературного творчества относился с плохо скрываемым презрением. Жизнь немного улучшилась, когда Гертруда и Лео Стайны и галерейщики Амбруаз Волар и Даниель Анри Канвейлер стали покупать работы Пикассо. Художник и его возлюбленная получили возможность перебраться в большую квартиру с мастерской неподалеку от знаменитой площади Пигаль. У них появилась прислуга, а Фернанда на радостях даже стала представляться "мадам Пикассо". Но для Пабло на первом месте попрежнему оставалась работа, и Фернанда постепенно перестала его интересовать. К 1911 году роман Пикассо и Фернанды угас.

Пикассо оставил бывшую возлюбленную без гроша. Впрочем, нищета не стала самым тяжелым испытанием — к ней она уже привыкла. Невыносимым для самолюбия оказалось то, что Пикассо вскоре после их разрыва невероятно разбогател. Тогда-то Фернанда и решила написать воспоминания о годах, проведенных в обществе гения. Она надеялась, что скандальная книга привлечет к ней внимание. Летом 1930 года выдержки из мемуаров появились в парижской газете "Суар". Пикассо был в бешенстве — Оливье рассказала об их совместном курении опиума, об их интимных отношениях, о нищете, в которой они жили. Скандал действительно разразился, однако денег Фернанде он не принес. Тогда она стала бомбардировать бывшего любовника письмами с угрозами открыть миру все его тайны, если он не поделится деньгами. Но Пикассо был неумолим. В 1933 году Фернанда выпустила книгу "Пикассо и его друзья". Макс Жакоб назвал ее "лучшим зеркалом кубистского Акрополя", а Гертруда Стайн даже пообещала найти американского издателя. Впрочем, об этом обещании Стайн быстро забыла — в это время вышла ее собственная книга "Автобиография Алисы Б. Токлас", быстро ставшая бестселлером. Фернанда опять осталась ни с чем.

Фернанда Оливье умерла в 1966 году в бедности и безвестности. Ее квартира была разграблена, вместе с немногочисленными ценными вещами исчезла и часть личных бумаг. Однако крестник Фернанды, Жильбер Крилл, собрал все, что осталось от ее мемуаров, дневников и различных записей. Плодом его усилий стала книга, вышедшая в 1988 году, через много лет после смерти Пикассо, в Париже. Именно благодаря этой книге стал известен "допикассовский" период жизни Фернанды, в "Пикассо и его друзьях" о нем написано совсем немного.

В книгу "Любить Пикассо" вошли самые разные тексты — и из "Пикассо и его друзей", и из книги, составленной Криллом. Отрывки из дневников, жалобы неудачницы Фернанды на судьбу и на жадного Пикассо, грязные подробности их совместной жизни, анекдоты о великих друзьях художника — будь Пикассо жив, он ни за что не допустил бы публикации этой книги.

США

Клаус и Эрика Манны: история жизни на периферии легенды

На американские экраны вышел фильм Андреа Вайс и Виланда Шпека "Бегство в жизнь: история Эрики и Клауса Маннов". Это документальный фильм, в котором рассказывается о сложной судьбе двух старших (из шести) детей Томаса Манна. В 1933 году они были вынуждены бежать из Германии, и их взрослая жизнь прошла в изгнании, фактически в безвестности, в тени знаменитого отца.

Фильм состоит из хроники событий, материалов газет, инсценировок отрывков произведений Эрики и Клауса, фрагментов интервью и киножурналов. Работа по сбору материалов была долгой, утомительной и кропотливой, а сценарий, бесспорно интересный с исторической точки зрения, выглядит достаточно сырым. Но в целом удачей фильма можно считать достоверное воспроизведение атмосферы эпохи.

Взаимоотношения Клауса и Эрики всегда отличались большой близостью и теплотой. Несмотря на два года разницы в возрасте, они часто называли себя близнецами. Однако судьба Клауса была более трагичной. Его изводило чувство, которое он сам определял как "мучительная жажда смерти", он периодически употреблял героин, так и не обзавелся семьей. И Клаус, и Эрика неоднократно имели гомосексуальные связи, хотя Эрика дважды выходила замуж. (Ее первым мужем был известный поэт Уистен Хью Оден, и благодаря этому браку она смогла получить британское гражданство.) В отличие от брата, Эрика была живой, энергичной, деятельной, прирожденным лидером. В то время как Клаус занимался литературным творчеством (роман К. Манна "Мефисто", в котором изображается его родственник Густав Грюндгенс — "фюрер театральных кругов третьего рейха", прототип главного героя в знаменитом фильме Иштвана Сабо, — получил очень одобрительные отзывы) и издавал солидный литературный журнал, Эрика объездила всю Европу с антифашистским театральным обозрением "Перцемолка". Позднее, в Америке, оно не пользовалось успехом: американцы были гораздо более озабочены "новым курсом", чем проблемой нацизма. Эта неудача, впрочем, не очень обескуражила Эрику. Она нашла другой способ борьбы с фашизмом: после войны выступала с показаниями на Нюрнбергском процессе.

Клаус, пацифист по убеждениям, из ненависти к гитлеровскому режиму записался добровольцем в американскую армию, и какое-то время сознание долга и пользы, которую он приносит, удерживало его в душевном равновесии. В конце войны, когда союзники вошли в Мюнхен, он увидел, что в поместье, где прошло его детство, гитлеровцы выращивали свиней. На другого человека это зрелище, вероятно, не произвело бы такого страшного впечатления, но при тогдашнем психическом состоянии Клауса оно оказалось последней каплей. Незадолго до окончания войны он покончил с собой. И этот исход явно не был трагической случайностью.

Вся жизнь Клауса и Эрики была глубоко искалечена фашизмом и войной. Единственным безоблачно светлым периодом для них осталось идиллическое детство, проведенное в Мюнхене. Потом они переехали в Берлин и с головой окунулись в шумную и вольную атмосферу столичной богемы. Впоследствии Клаус отзывался об их тогдашнем окружении как о "клоаке блестящего разврата". Царивший в этой среде либертинаж полностью заслонял собой угрозу распространявшегося фашизма. В 1933 году, когда закрывать на нее глаза уже стало невозможно, Клаус и Эрика покинули Германию, были лишены гражданства и обосновались в США.

При всей своей добротности фильм получился несколько однобоким. Стремясь отделить воспоминания о детях от истории жизни их великого отца, авторы практически обошли молчанием вопрос об отношениях поколений в семье Маннов, во всяком случае, об их психологической стороне. Упоминается лишь о том, что дети осуждали Томаса Манна за то, что он сразу не высказался против фашизма. Впрочем, впоследствии Эрика примирилась с отцом и даже сопро-

вождала его в поездках в качестве переводчика. Однако сама история сложных и драматичных семейных конфликтов почти полностью осталась за кадром.

Франция

В мире животных

В свои предсмертные минуты этой осужденной не довелось услышать утешение пастыря. Ей было позволено иметь защитника, но его миссия изначально была обречена на провал. Смертный приговор был объявлен преступнице в тюремной камере лично виконтом де Фалезом. Тюремщикам, плотникам, каменщикам и всем остальным, принимавшим участие в сооружении плахи и в самой казни, щедро заплатили. Палач получил "десять су и десять турских денье за труды". Из архивных документов известно, что осужденная была одета в "кафтан, короткие штаны и белые перчатки на передних ногах". На казнь созвали публику — крестьян с детьми и... домашними свиньями, для которых поучительное зрелище должно было "послужить уроком". Ибо осужденной была свинья.

Преступница совершила ужасное злодеяние: отгрызла руку и часть лица ребенка, который от этого скончался. Кара была ужасной: свинье отрубили рыло, связали и повесили за ноги на деревянный шест, пока она не истекла кровью, и после этого привязали к изгороди и разорвали лошадьми. Останки несчастного животного сожгли на костре. Это произошло в Нормандии в 1386 году. Впоследствии местная церковь Троицы была украшена фреской, увековечившей это событие. Меньше века спустя, в 1457 году, такая же печальная участь постигла одну бургундскую свинью: ее приговорили к смертной казни после того, как она "призналась под пыткой", что набросилась на пятилетнего Жана Мартена, убила и съела его.

В XIII—XVII веках судебные процессы над животными не были в Европе редкостью. К сожалению, они еще не привлекли должного внимания историков, сетует Мишель Пастуро — медиевист, архивист, палеограф, директор и заведующий кафедрой европейской средневековой символики Высшей практической школы, автор книги "Знаменитые животные". Причину столь "огромного интереса к животным как в историческом и юридическом, так и в антропологическом плане" он объясняет следующим образом: судя животных, человек тем самым вершил суд над самим собой, поскольку эти процессы были реализацией его культурного опыта. В них отражались его фантазии, древние страхи и всякого рода предубеждения — нравственные, философские, политические, теологические. Преступникам-животным приписывали те же побуждения, что и людям. Можно ли с уверенностью утверждать, что домашняя свинья, которая в роковой день 13 июня 1134 года бросилась под ноги лошади Филиппа, старшего сына короля Людовика VI Толстого, и загрызла принца, выброшенного из седла, не покушалась на судьбу Франции? Такое предположение выглядит вполне правдоподобно: царствование Людовика VII, младшего брата Филиппа, было на редкость несчастным и окончилось провалом второго крестового похода. С другой стороны, кто осмелится осудить несчастного огромного медведя из окрестностей Тарантеза за то, что он безумно полюбил некую Антуанетту Кюле, похитил ее и три года держал в пещере? Следствие установило, что он не только "не совершил над нею плотского насилия", но, наоборот, всячески заботился о своей пленнице: "днем выходил из пещеры, отправлялся в окрестные деревни и воровал там то, в чем Антуанетта, по его представлениям, нуждалась — хлеб, сыр, фрукты и даже одежду". Но преступление, хотя и внушенное чувствами, было наказано: в начале 1605 года влюбленный медведь был убит наповал выстрелом из аркебузы.

Впрочем, не все животные достойны суда присяжных. Среди них, как и среди людей, попадаются и герои, и негодяи, грубые крикуны и тихони, "посланцы небес" и "клевреты дьявола". Одни скупы, как Гарпагон, другие ветрены, как Казанова, третьи — плуты не хуже Скапена, четвертые хитростью превосходят Улисса. И главное, одни знамениты на весь мир, а другие прозябают в безвестности: трудятся в поте лица или плетут козни, оставаясь в тени. Они живут на скотных дворах, в джунглях, на городских улицах и в домах. А еще они населяют мифы и страницы книг от сказок до философских трактатов. "Знаменитые животные" Мишеля Пастуро — это собрание исторических анекдотов, связанных с животными, реально существовавшими

(свинья-цареубийца и влюбленный медведь), мифологическими (троянский конь, римские гуси) и теми, которые фигурируют в библейских преданиях (Валаамова ослица, кит, поглотивший Иону), в легендах и народных верованиях (Лохнесское чудовище), в сказках (Винни-Пух, Братец Кролик), в философских притчах (Буриданов осел), в геральдической символике (лев, леопард), в иконографии (свинья святого Антония, олень святого Губерта), в комиксах (кабан из "Астерикса и Обеликса") и в кино (Микки-Маус).

Среди животных, которым уделяется больше всего внимания, — осел и бык. В платоновском диалоге "Федон", где обсуждается переселение душ, осел — это участь, которая ждет в следующем воплощении гуляк, обжор, выпивох и распутников. Осел — предмет насмешек и упреков в упрямстве, лени, безответности и слабости к жалким искушениям. Однако в притче о Буриданом осле, не решавшемся сделать выбор между двумя равноценными возможностями, просматривается будущая декартовская концепция "свободы безразличия" и учение Лейбница о самодостаточности разума. Бык же упоминается Лукрецием как образец терпения, чуждый гнева и страха. Бык находится как бы посередине между свирепым львом и пугливым оленем.

В этом контексте по-новому можно понимать и Евангелие, где фигурируют осел и бык. Ни в одном из канонических апостольских Евангелий не говорится о том, что за яслями младенца Иисуса стояли именно эти животные, лишь в Евангелии от Луки мельком упоминается, что Мария и Иосиф остановились на ночлег в хлеву. Сообщение об осле и быке появляется, как указывает Мишель Пастуро, только в апокрифических Евангелиях IV—V веков. В Средние века этот вопрос был предметом бурных теологических дискуссий. Считалось, что эти животные были выбраны методом исключения, так как они лучше всего выражали идею "просто хлева": лошадь указывала бы на конюшню, баран — на овчарню. Возможно, осел и бык были тем домашним скотом, который привели с собой беглецы: на осле ехала Мария, а быка Иосиф привел в качестве платы за право находиться на чужой земле. Были и более сложные богословские толкования. По словам Пастуро, осел и бык "понимались как прообразы двух разбойников, которые были распяты вместе с Христом", причем осел отождествлялся с худшим из них, лодырем и распутником. С другой стороны, животные служили "символическим изображением двух народов, которых апостолы стремились обратить в христианство, — иудеев и язычников". В этом вопросе теологические расхождения, естественно, часто переходили в ссоры, потому что было непонятно, кто олицетворял иудеев: глупый осел (за то, что евреи не сумели распознать в Иисусе Мессию) или работящий, но упрямый и косный бык (ведь евреи крепко держались старого закона). Вообще в богословских изысканиях ослу всегда уделялось больше внимания, чем быку. Взять хотя бы ослицу, на которой Христос въехал в Иерусалим. По преданию, после распятия Иисуса она покинула город и добралась до Италии, где удостоилась почестей и поклонения: культ ослицы просуществовал в Вероне до VII века, а ее мощам поклонялись еще несколько столетий.

Сказка ложь, да в ней намек. Автор "Знаменитых животных" предполагает, что человек столь настойчиво изображал животных, ставя себя на их место, вовсе не из желания утвердить свое превосходство. Скорее, он примерял обличья разных животных, чтобы лишний раз увидеть, что ни одно из них ему не подходит, почувствовать свою обделенность и неприкаянность, иметь лишний повод пожаловаться на судьбу. Как говорил Лукиан о петухе, побывавшем во множестве душ: "Я думаю, что он отведал всего: был мужчиной, женщиной, рабом, рыбой, конем, даже губкой. Но в конце концов он рассудил, что нет на свете скотины несчастнее человека".

По материалам газет "Нью-Йорк таймс" [США], "Либерасьон" [Франция], еженедельника "Лондон ревью оф букс" [Великобритания].

Пол Теру
Paul Theroux
[р. 1941]. Американский прозаик.

Автор романов *Уолдо* [*Waldo*, 1967], *Семейный арсенал* [*The Family Arsenal*, 1976], *Отель "Гонолулу"* [*Hotel Honolulu*, 2001] и др., сборников рассказов, путевых записей и др. В *ИЛ* были опубликованы рассказ *Уроки поэзии* [1996, № 10], роман *Моя другая жизнь* [2000, № 3].
Перевод выполнен по изданию *Kowloon Tong* [Boston, Houghton Mifflin, 1998].

Федерико Гарсиа Лорка
Federico García Lorca
[1898–1936]. Испанский поэт, драматург.

Автор поэтических сборников *Поэма о канте хондо* [*Poema del cante jondo*, 1921], *Цыганское романсеро* [*Romancero gitano*, 1927], *Диван Тамарита* [*Divàn del Tamarit*, 1936] и др., трагедий *Кровавая свадьба* [*Bodas de sangre*, 1933], *Йерма* [*Yerma*, 1934], *Дом Бернарды Альбы* [*La casa de Bernarda Alba*, 1936] и др. пьес. Произведения Ф. Гарсиа Лорки неоднократно издавались на русском языке, наиболее полно его стихотворения и драматургия представлены в *Избранных произведениях*, т. 1–2 [1986], проза – в книге *Самая печальная радость...* [1987]. В *ИЛ* [1998, № 6] была опубликована подборка его стихов и эссе.
Публикуемый перевод выполнен по изданию Federico García Lorca. *Obras completas.* Т. 1. *Opera mundi.* [Barcelona, Edición de Miguel García Posada, 1996].

Сальвадор Дали
Salvador Dalí
[1904–1989].

Испанский живописец, график, театральный художник; автор цикла теоретических работ и манифестов нового искусства [1927–1929], романа *Скрытые лица* [*Rostors ocultos*, 1944], книги *Дневник гения* [*Diario de un genio*, 1964]. В *ИЛ* были опубликованы фрагменты книги *Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим* [1991, № 12, 1992, № 5-6, 8-9].
Перевод стихов выполнен по изданию Rafael Santos Torroella. *Dalí residente.* [Madrid, Publicaciones della Residencia de estudiantes, 1992].

Корнель Филипович
Kornel Filipowicz
[1913–1990]. Польский писатель.

Автор четырех романов, пяти "микророманов" [рус. изд. сб. *Микророманы*, 1972], более 20 сборников рассказов. В *ИЛ* были напечатаны микророман *Сад господина Ничке* [1966, № 11] и подборка рассказов [1978, № 6].
Публикуемые рассказы взяты из разных сборников.

Вольфганг Хильдесхаймер
Wolfgang Hildesheimer
[р. 1916]. Немецкий писатель и драматург.

Автор романа *Рай фальшивых пташек* [*Paradies der falschen Vögel*, 1953], пьес *Трон дракона* [*Der Drachenthron*, 1955], *Опоздание* [*Verspätung*, 1961] и др.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Нелюбимые сказки* [*Lieblose Legenden.* Frankfurt-am-Main, Suhrkamp Verlag, 1952].

Бенжамен Констан де Ребек
Benjamin Constant de Rebeque
[1767–1830]. Французский писатель,

Автор романа *Адольф* [*Adolphe*, 1806–1810, изд. 1816], автобиографических сочинений *Моя жизнь* [*Ma vie*, изд. 1907 под названием *Красная тетрадь* – *Le cahier rouge*] и *Сесиль* [*Cécile*, изд. 1951], многотомного историко-философского труда *Об источниках, форме и развитии религии* [*De la religion considérée dans ses sources, sa forme*

публицист, политический деятель.

et ses développements, 1824–1831] и ряда брошюр и статей на политические и литературно-критические темы, часть их которых он включил в сборник *Статьи о литературе и политике* [*Mélanges de littérature et de politique*, 1829].
Перевод повести *Амелия и Жермена*, впервые опубликованной в 1952 г., выполнен по изд.: Constant B. *Amélie et Germaine. Cécile. Ma vie.* [Paris, ed. P. Delbouille, 1989].

Фредерик Бегбедер
Frédéric Beigbeder
[р. 1965]. Французский писатель, журналист, критик.

Автор романов *Каникулы в отключке* [*Vacances dans le coma*, 1994], *Любовь длится три года* [*L'amour dure trois ans*, 1997], *99 франков* [*99 francs*, 2000]. В *ИЛ* опубликованы его новеллы из сборника *Рассказики под экстази* [2001, № 11] и роман *99 франков* [2002, № 2].
Перевод выполнен по изданию F. Beigbeder. *Dernier inventaire avant liquidation* [Paris, Editions Bernard Grasset, 2001].

Александра Леонидовна Борисенко
Кандидат филологических наук, переводчица с английского.

Автор ряда статей, рецензий и переводов, напечатанных в *ИЛ*. Часть из них была выполнена в соавторстве с В. Сонькиным.

Переводчики

Светлана Владимировна Силакова
Переводчица с английского и испанского. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3] и Д. Рэмптона [1996, № 10], рассказы Дж. Сондерса [2001, № 7], а также статья *Поколение дворников И(кс) сторожей* [1998, № 3].

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993] и *Иноллитл* [1995].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. Его переводы многократно публиковались в *ИЛ*.

Наталия Родионовна Малиновская
Филолог-испанист, кандидат филологических наук, переводчица. Лауреат премий *ИЛ* [1991] и *ИЛлюминатор* [1996].

Автор статей об испанской литературе XX века. В ее переводе публиковались проза и пьесы Ф. Гарсиа Лорки [*ИЛ*, 1982, № 4], эссеистика и афоризмы Р. Гомеса де ла Серны, автобиографическая книга Сальвадора Дали *Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим* [фрагменты в *ИЛ*, 1991, № 12; 1992, № 5-6; 8-9], эссе об Испании Хосе Ортеги-и-Гассета [совместно с А. Гелескулом, *ИЛ*, 1993, № 4] и др.

Евгений Николаевич Колесов
[р. 1951]. Поэт, переводчик с немецкого.

В его переводе издан роман М. Шпербера *Слеза в океане* [1991]. В *ИЛ* в его переводах выходили *Письма в Древний Китай* Г. Розендорфера [1993, № 1], стихи А. Густас [1996, № 2], повесть У. Видмера *Рай забвения* [1998, № 9], рассказы М. Сутера [2001, № 10].

Вера Аркадьевна Мильчина
Переводчица с французского, историк русско-французских

Лауреат премий им. А. Леруа-Больё [1995, в составе редакционного коллектива журнала *Новое литературное обозрение*, и 1997], им. М. Ваксмахера [2000] и Французской академии.
В ее переводе изданы книги О. де Бальзака, Ж. де Сталь, Ш. Но-

литературных и культурных связей первой половины XIX века.

дье, П. Б. Козловского, М. Блока. Соавтор перевода книг *Замогильные записки* Ф. де Шатобриана и *Россия в 1839 году* А. де Кюстина. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны *Записки Жирафы из зоологического сада. Письмо к возлюбленному в пустыню* Ш. Нодье [1999, № 8].

Ирина Яковлевна Волевич
Переводчица с французского, лауреат премии *Инолит* [1997].

В ее переводе изданы новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Верна, А. Камю, М. Турнье, Р. Кено, Веркора, А. Кристоф и др. Переводы И. Волевич неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчица с французского, лауреат премии *Инолиттл* [1997], премии им. М. Ваксмахера [1999].

В ее переводе публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, произведения А. де Виньи, А. Ланжевена, С. Пру, Колетт, Х. Семпруна, А. Камю, В. Денона, С. де Бовуар и др. Переводы И. Кузнецовой неоднократно публиковались в *ИЛ*.

ANGLIA
British Bookshop

Лучший выбор книг из Британии в России

www.anglophile.ru

Москва:
Хлебный пер., 2/3
Тел: (095) 203 5802,
202 4066

Санкт-Петербург:
наб. Фонтанки, 40
Тел: (812) 279 8284,
279 8007

Самара:
ул. Куйбышева, 131
Тел: (8462) 78 4223

Высылаем книги по почте
*
Информация по размещению заказов

Тел: (095) 202 4066,
Факс: (095) 203 0673
www.anglophile.ru

Многокомпонентные и многоуровневые учебники английского для школ, вузов и самостоятельного изучения

Словари, энциклопедии, история, лингвистика

Искусство, дизайн, архитектура

Художественная литература – от классики до новейших бестселлеров

Бизнес и экономика
Менеджмент и маркетинг

Путеводители, атласы

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
испанского художника
Сальвадора Дали
[1904–1989]
Больной ребенок (Автопортрет в Кадакесе) [1914]

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Подписано в печать 21.3.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3251.
Тираж 10 100 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

ЛИНИЯ-АРТ

галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

Михаил **Р**удаков, **О**льга **Р**удакова,
Валерий и **А**лександр **В**олковы,
Анатолий **З**верев, **И**горь **К**ислицын,
Сергей **А**лферов, **А**лександр **Б**абин,
Ирина **Р**усакова, **И**горь **Е**рмолаев,
Гиви **А**наньев, **О**лег **С**лепов,
Евгений **В**ерешагин –

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства

Наш телефон/факс: (095) 953 36 24
E mail: liniya-art@yandex.ru
Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1

Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов по предварительной договоренности с Администрацией Галереи

---

[5] 2002

НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ ВИДИА С. НАЙПОЛА / РОМАН ХАВЬЕРА МАРИАСА "В ЧАС БИТВЫ ЗАВТРА ВСПОМНИ ОБО МНЕ..." / ТРИ ЭССЕ МИРЧИ ЭЛИАДЕ / "Я ПОЭТ В БУНТЕ ПРОТИВ ПРАВИЛ": ИЗ ПОЭЗИИ ФРАНЦУЗСКИХ СЮРРЕАЛИСТОВ / РАССКАЗЫ ГИШ ЧЖЭНЬ И ИНГОМАРА ФОН КИЗЕРИЦКИ / "РОБЕРТ И ЭЛИЗАБЕТ БРАУНИНГ" АНДРЕ МОРУА В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ"

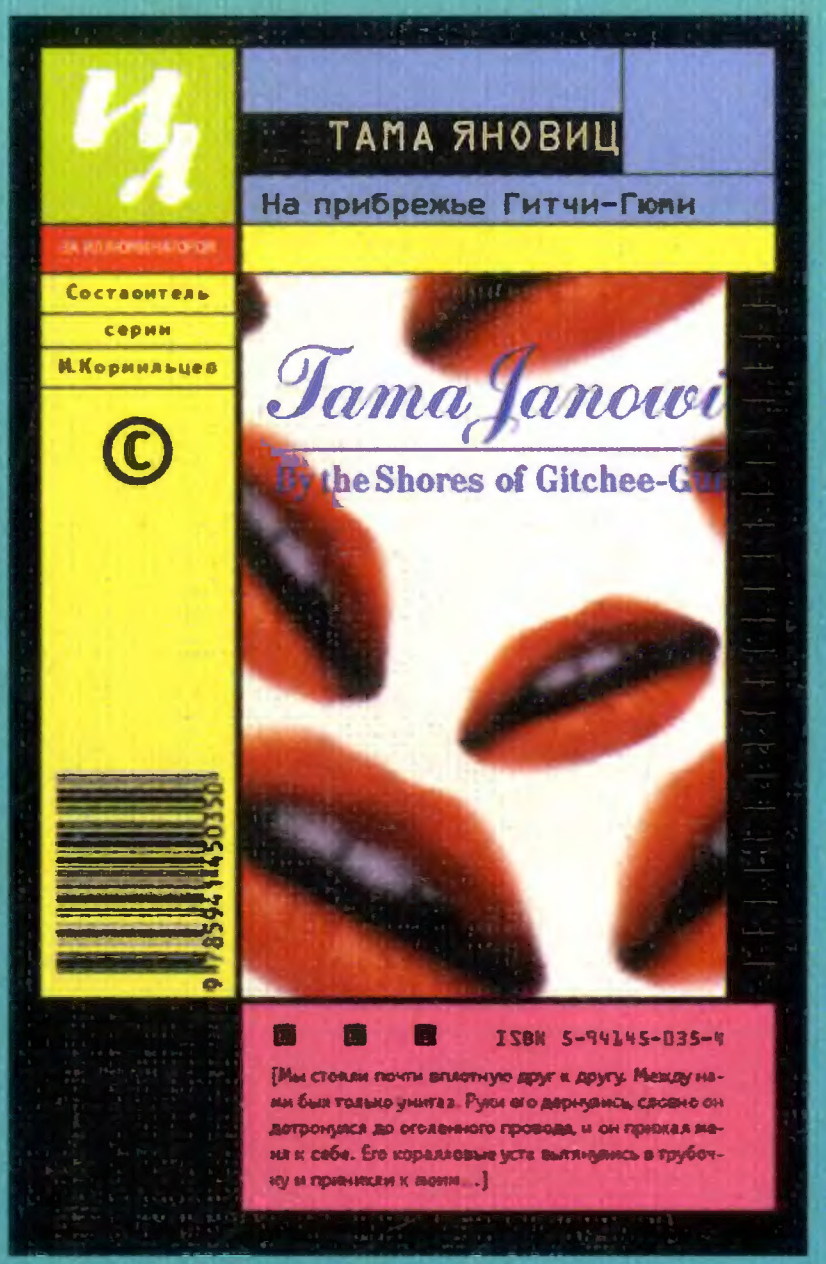
ИНДЕКС 70394

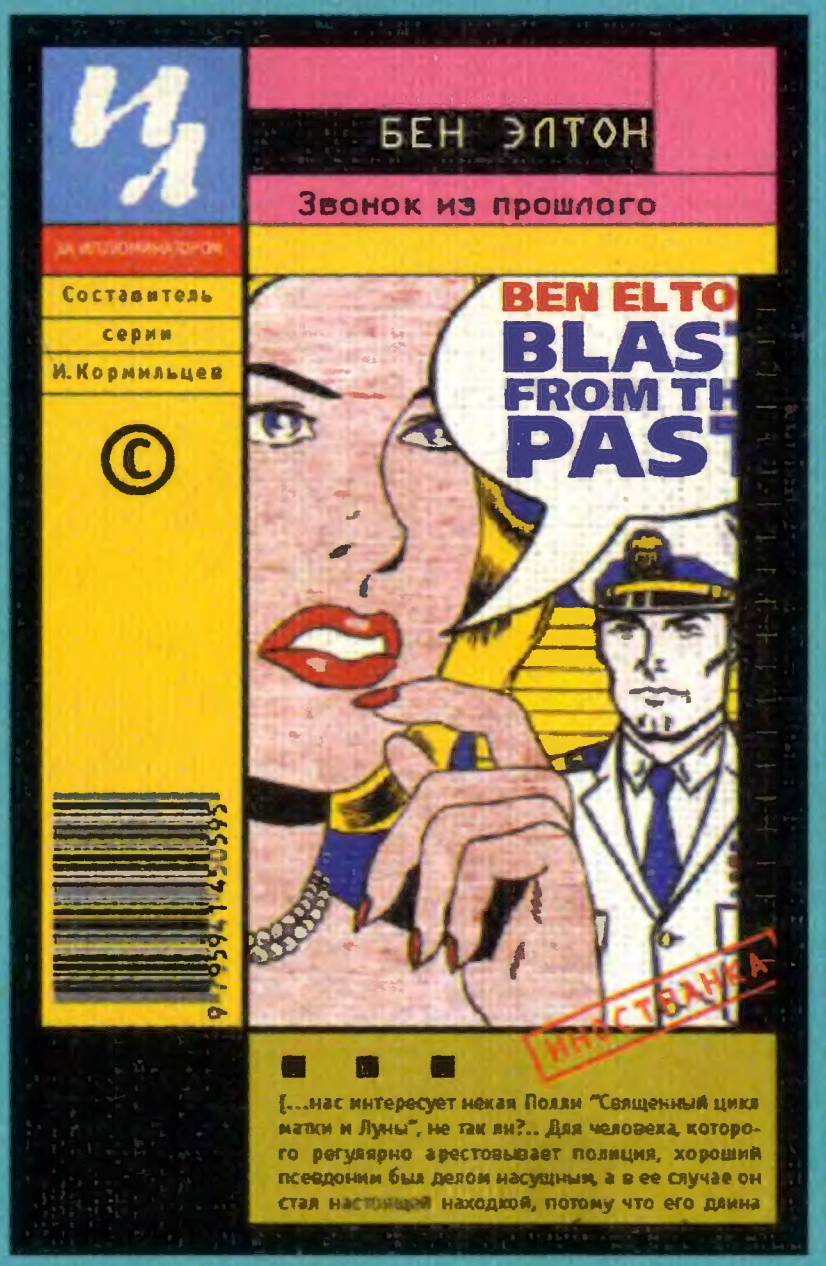
Новая серия издательства "Иностранка"

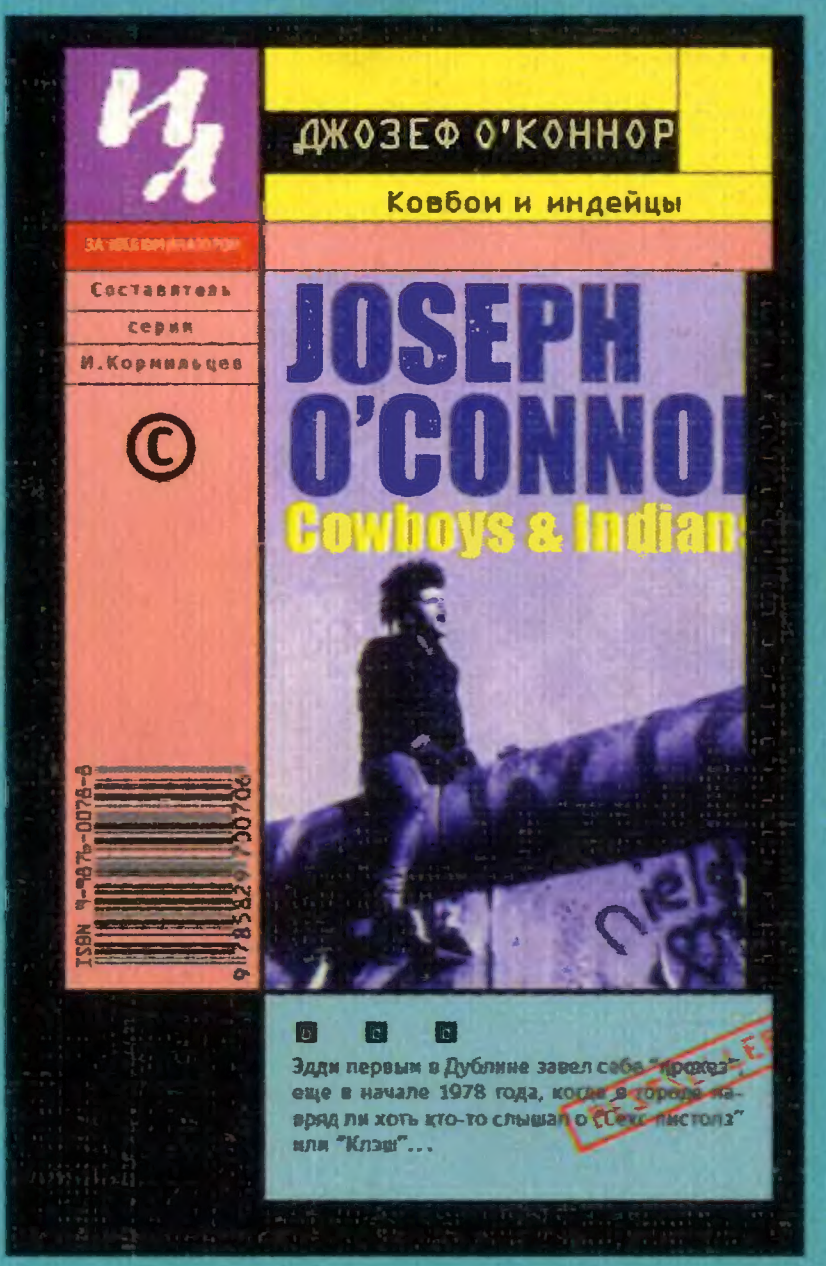
"За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века







По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №4, 1-288